Илья Эренбург

ЛЮДИ ГОДЫ ЖИЗНЬ







МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990


Илья
ЛЮДИ,

Эренбург

ГОДЫ, ЖИЗНЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

КНИГИ ЧЕТВЕРТАЯ И ПЯТАЯ

ИЗДАНИЕ ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

ББК 84 Р7
Э76

Подготовка текста
И. И. Эренбург и Б. Я. Фрезинского
Комментарий
Б. Я. Фрезинского
Оформление и макет книги
Н. С. Лаврентьева

В книге в качестве иллюстративного материала, наряду с фотографиями последних лет жизни писателя, используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии. Значительная часть иллюстраций — из личного архива И. И. Эренбург.

Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал, представляющий несомненный исторический интерес.

Э $\frac{4702010201-499}{083(02)-90}$ 163—89

ISBN 5—265—00669—9

КНИГА IV

1

В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку — искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я — Леня Мильштейн из Кишинева...»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни...» Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде...»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нэпа. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские...»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и окрошка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом — худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить... Может быть, пошел дождь? Или из дому выходит старушка с кошелкой?..»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутины, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер...»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне.

(Незадолго до второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливчиках, выигравших в государственной лотерее по пяти миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнел; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпиков и Поля Валери, обрушивался на сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей, писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в «Известия» — словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокатрехлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнени-



Бертольт Брехт

ем. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня завтра фашистский режим рухнет — так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в «Клозери де лиля» глава первого революционного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист...» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Ланжевен, Андре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро. Андре Жид произнес проповедь — доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков. Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву»,— радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо перекашивал нервный тик; вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно загремел.

Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов, а пока он жив, сегодняшний день заслоняет вчерашний.

В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма; вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маќи. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жолио-Кюри не понимает всей опасности фашизма.

Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом; он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих былых друзей; это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о тридцатых годах, не называя Мальро.

В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования»; я писал о нем: «Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры; он загромоздил его сознание той усложненно-

стью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть». Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни, и обрадовался, когда писатели весьма консервативные присудили ему Гонкуровскую премию: на жюри подействовала обстановка — Франция шла налево.

Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями — с Кассу, Авелином, Низаном, Даби. С одним из его последователей я подружился — с Гийу. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь» — один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов — простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или усложнить. (Недавно я неожиданно встретил Гийу в Риме; мы с нежностью вспомнили давние годы.)

Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы и театральных пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово.

Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию.

Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации «Французской солидарности»; молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания «Боевых крестов», «Патриотической молодежи». В отличие от Германии, среди фашистов было мало рабочих, и я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов.

Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием...

В 1933 году я прочитал «Поднятую целину», последние поэмы Багрицкого, «Охранную грамоту» Пастернака, новые рассказы Бабеля, стихи Сельвинского и Заболоцкого. Мне казалось, что наша литература набирает высоту.

В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой к коммунистам; вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жионо и Дрие ля Рошелля.

С Жионо я познакомился в конце двадцатых годов; он был мечтательным, тихо улыбался, писал поэтичные романы о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитав его статью, где он писал, что нужно примириться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации; это меня уже не удивило.

Дрие ля Рошелль был куда значительнее — талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточиной. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидал Дрие. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу; в ней были странные признания: «Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм... Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я — интеллигент и вечный свободолюбец...» Он обольстился фашизмом, когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита.

На наши собрания приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего, Геенно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»; я ее сейчас раскрыл: «К концу войны на Востоке показалось большое зарево. Его отсвет помогает нам жить... Мы не последовали его примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того пожара. Но все равно эта битва, этот пример — вот почти вся наша надежда, вся наша радость...»

Теперь Геенно — академик. Недавно он приезжал в Москву, пришел ко мне. Во многом наши пути разошлись, но мы с нежностью вспоминали середину тридцатых годов.

В конце 1933 года французские фашисты приподняли голову. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрипоты

Георгий Димитров на Красной площади. 1934 г.

А. Шамсон и Ж. Бенда

Шуточное поздравление Эренбургов Ирине в связи с замужеством. 1934 г.

Жан Жионо





в кафе, в вагонах метро, на углах улиц. Раскалывались семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года.

Даже монпарнасские художники начали интересоваться политикой.

Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника.

К. А. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котантен, когда Мальро его расспрашивал о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в «Куполе», и у меня дома.

Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «якобинцем». Теперь и он академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое.

В бар «Куполь» приходили С. Б. Членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Деснос, Роже Вайян, Рене Кревель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кревеля были глаза добрые и затравленные: он мучительно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно.

Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери издатель еженедельников «Вю» и «Лю» неистовый Вожель. Он был снобом не по программе, а по природе — сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с А. А. Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мари-Клод вышла замуж за Вайяна-Кутюрье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожель, мягкий в жизни и свирепый в отзывах.

Незачем скрывать, что я радовался своему успеху: вопреки мрачным предсказаниям, «День второй» печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий? В жизни я часто видел, как в суждения людей вмешиваются сугубо личные дела, успехи или неуспехи в работе, даже состояние здоровья.

Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием.

В конце декабря я получил телеграмму из Москвы: «Вышла замуж Бориса Лапина фамилия адрес прежние поздравляю Новым годом Ирина». С Б. М. Лапиным я познакомился за год до этого; он мне по-



нравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям; понравилась мне и его книга. Телеграмма, однако, меня удивила: никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресе мне показались забавными — были в этом и характер Ирины, и характер эпохи.

Мы выпили за счастье Ирины. Встреча Нового года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином: почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении, и веселились мы до утра.

Мне было почти сорок три года; не так уж это молодо, но, видимо, еще зелено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами, и книгу статей, написанных в 1932—1933 годах, я озаглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу — я разделял иллюзии многих и уж никак не мог себе представить, что состарюсь, а развязки не увижу.

2

С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двенадцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: «Ну что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть — бедный человек выигрывает пять миллионов...»

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария, в поисках «гагов» * участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинокомедия погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

---

* Gag — шутка, острота, трюк *(англ.)*.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый, шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства. Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек; он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают...» За полгода до того как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал: «Немцам осточертела война...»

Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее — во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков — Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку; написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу — умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: все, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки»...» Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело — его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

«Как теперь нам писать? — сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже.— «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес — это «уродливое явле-

ние». А напишешь рассказ, сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета...»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы...»

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород в «древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона». В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в страхе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород...

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников: «А на третье был компот из вишен». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом карандаш назывался «Копир-учет». Ух, как скучно!» «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов» «Это были гордые дети маленьких ответственных работников». «— Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки

Чехова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел, может быть, по скромности не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге — он понимал, что автор, которого звали Ильфпетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала...»

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С. А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев, сможет для них писать без цитат и штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое послало Хемингуэя в Испанию). Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу; он писал также для «Известий» и «Красной звезды».

Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. 5 февраля погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухиничей Евгений Петрович, контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние; едва дополз по лестнице до десятого этажа. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бои.

В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице, в номере К. А. Уманского. Пришел адмирал И. С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», немецкая бомба попала в корабль; было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И. С. Исаков, а потом при авиационной катастрофе в Мексике погиб К. А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушие, грубость, чванство. Хорошие люди, лучше не скажешь. Хорошие писатели — в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей.

А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петровиче: хорошие были друзья.

3

Как-то в 1931 или в 1932 году я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый брюнет, похожий на аргентинского танцора; он ухаживал за дамой; когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал: «Сдачи не нужно». Мерль наклонился ко мне: «Это Александр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник...» Я не стал расспрашивать: мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения.

А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Стависский действительно родился в Киеве, на Слободке. Журналисты называли его «красавцем Сашей». Выяснилось, что красавец нахапал за короткий срок шестьсот пятьдесят миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверием дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но даже некоторым министрам.

Началась газетная перебранка: правые заверяли, что Стависский подкупал радикалов, радикалы отвечали, что чеки перепадали и друзьям Тардье.

Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности; жулик походил на Вертера. Мелодрама длилась недолго; оказалось, что Стависского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди.

Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал: «Моя программа — довольно политических принципов! Прежде всего честность!»

Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции; каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера: Устрик, Пере, Багдад, «Нгоко-Санга». Ну еще один... Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории.

Правые газеты усиленно занялись моралью: объяснялось это политическими расчетами — у власти стояло правительство «левого картеля». Министр иностранных дел Поль-Бонкур был сторонником сближения с Советским Союзом. Что касается различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии; скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма — за «здоровое государство с твердой властью».

Разразился очередной министерский кризис; он мало что изменил:

большинство в парламенте принадлежало радикалам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабрившись, решил сместить префекта полиции всесильного Кьяппа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяпп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия, он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнав, что он смещен, он сказал, что в случае надобности «выйдет на улицу».

Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на нарядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники «Боевых крестов», «Французской солидарности», «Патриотической молодежи» пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты.

«Марсельеза» фашистов прерывалась улюлюканьем. Полицейские, среди которых было много корсиканцев, вели себя непривычно мягко: многие из них были преданны своему начальнику и земляку Кьяппу, к тому же перед ними были не рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобусы, опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы. Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам.

Радикалы любили называть себя «якобинцами»: однако эти «якобинцы» струсили; Даладье подал в отставку. Началась обычная парламентская суетня, и новый кабинет состряпал правый Думерг, включив в него различных добропорядочных французов, в том числе Петена и Лаваля.

Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к Восточному вокзалу: говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий; он попросил у меня прикурить, сказал: «Вот безобразие!..» В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими; один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове.

На узкой улице строили баррикаду; тащили бочки, столы, ручные тележки; пели «Интернационал». Я попробовал пройти дальше. Начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было; я увидел только кровь на тротуаре.

Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь: хотел передать поскорее корреспонденцию о происшедшем. Несколько раз меня останавливали, обыскивали.

Это было в пятницу; два последующих дня многое решили: различным профсоюзам — тем, что шли за коммунистами, и тем, во главе которых стояли социалисты,— удалось прийти к соглашению: на 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призвали всех собраться на площади Насьон.

Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится; однако на следующий день ни одна из них не вышла: печатники за-

бастовали. Жизнь замерла: не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта; даже учителя примкнули к забастовке.

Я пошел на площадь Насьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статую Республики красным флажком; статуя большая и на высоком цоколе: сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев — беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира...

Двенадцатое февраля стало для Франции большой датой. Казалось, ничего не произошло, и на следующее утро Париж выглядел как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило: не состав кабинета — Францию. Как-то сразу заглохли догадки, когда фашисты снова выступят и кого они прочат в фюреры. Все поняли, что сила у народа. 12 февраля было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию.

Весь день я бродил по улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следующий день пришла телеграмма от редакции: в Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией; я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать.

Двенадцатое февраля меня окрылило; я видел повсюду победы. Вслед за Парижем — Вена... Видимо, приближается тот «последний и решительный», о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом нельзя стрелять: остается выполнять работу военного корреспондента...

И. Эренбург, И. Ильф и Е. Петров. 1934 г.

Демонстрация Единого фронта в Париже 12 февраля 1934 г.

Вена. Февраль 1934 г.

Дом кооператоров. Вена. Февраль 1934 г.



4

Я понимал, что австрийцы въездной визы мне не дадут, и решил прибегнуть к хитрости: сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал: «Останусь в Вене столько, сколько будет нужно; да еще неизвестно, кто победит...» Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы.

Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны; чернели дыры домов, разбитых артиллерией хеймвера. Во Флоридсдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки — белые флажки капитуляции. Среди щебня я увидел неубранный труп женщины. Хеймверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на Пресню в декабре 1905 года.

Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мюнихрайтера; он был тяжело ранен, и в здание суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором последовали другие.

Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал; все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шуцбундовцам удалось добраться до чехословацкой границы.

После победы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шуцбундовцев меня поразил.

Я вспомнил, что, когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома; приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десяток газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями: «Дома изумительные! Но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле?..» Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным





путем — ведь на последних выборах в Вене семьдесят процентов избирателей голосовали за социал-демократов...

Теперь эти чудесные дома, названные именами Маркса, Энгельса, Гёте, Либкнехта, чернели, продырявленные снарядами...

Я услышал выстрел: хеймверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На Ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши: «Бал в Савойе», «Девушка с темпераментом», «Мы хотим мечтать».

Я уехал в Братиславу и там нашел шуцбундовцев. Один из них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал: «Мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не струсили. Конечно, оказались предатели, как Корбель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались!.. Это хорошие люди, я с ними проработал двенадцать лет. Но когда начался бой, они растерялись...»

Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Брно находится один из руководителей шуцбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Брно. Дейч хмурился; потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразил разлад между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека — жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. (Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречиями: он был в Испании во время гражданской войны; его произвели в генералы, и социал-демократы на него дулись — он слыл «левым». Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали.)

Я увидел человека, подавленного событиями; его обиды мне многое объяснили.

Брно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других «марксистских организаций» распущен «Союз владельцев маленьких садиков и кролиководов». Это было смешно, но я не улыбнулся.

В Брно я написал очерки для «Известий», получилась небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением.

Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому, что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи; они, например, создали боевые дружины — шуцбунд, скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в два-три дня?..

В нашей печати социал-демократов тогда именовали «социал-фашистами»; это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди

немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Но социал-демократы не были фашистами; это было ясно любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов, и если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать «третьей силой», а на самом деле теряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции.

Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне честных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хеймверовцев князя Штаремберга.

В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианско-социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей шуцбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие Линца отказались сдать винтовки и вступили в бой, в Линц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы: это был условный язык — Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флоридсдорфа забастовали и вытащили припрятанное оружие, руководители шуцбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена.

Я писал в «Известиях»: «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны — право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как сделали их германские собратья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись...» Редакцию газеты несколько смутили эти строки, но они были напечатаны.

Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-демократов, я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие-печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в несознательности. Они понимали, что канцлер Дольфус не сулит им счастья, но, сочувствуя шуцбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались «насильниками», «убийцами», «наемными агентами»; печатники знали, что это неправда, но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке и железнодорожники; это дало возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около двадцати тысяч

рабочих, во второй и третий день сопротивлялись семь-восемь тысяч. Это меня не удивило; так бывало в истории не раз. Поразительно другое: всеобщая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шуцбундовцы оказались без тыла.

Я понял, что победа Гитлера не была одиноким, изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посулы, и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше — Париж или Вена, отпор или капитуляция?

Тысяча девятьсот тридцать четвертый год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты — от Латвии до Испании. Осенью горняки Астурии попытались повернуть ход событий, но были разбиты.

Я не могу сказать, что австрийская буржуазия радовалась в феврале 1934 года победе хеймверовцев. Конечно, она была довольна, что шуцбундовцы разбиты, в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое — беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, остроумные фельетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на Ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене; он походил на карлика, его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини — хотел спасти Австрию от Гитлера. А в июле его убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаремберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в пароходной компании. Канцлером был осторожнейший Шушниг; он знал, что нельзя гневать ни господа бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушниг предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты все же посадили его в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года.

5

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег. Скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных «каварнях» доказывал мне, что сюрреализм Бретона мало чем отличается от социалистического реализма.

Я познакомился с Чапеком. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде

говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать — под тяжестью веков... Надвигается эпоха воинствующей глупости...

Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашека. Прошло всего шестнадцать лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идиллическими.

Гоффмейстер начал рисовать меня на память — с трубкой и без трубки, с чемоданом и без чемодана; последнее, признаться, меня пугало: я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли. А я не мог привыкнуть к своему положению; как я ни люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться.

Мои статьи появились в «Известиях» до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе; мне отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага — Париж приземлялся в Нюрнберге, требовалась транзитная виза.



Карел Чапек

Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик». Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и непримиримости, а чешскими кронами они не гнушались.

В издательстве бывало много народу: часть немецких литераторов перекочевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает запретные книги, переплел в роскошный переплет «Хулио Хуренито»; может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу.

Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким, белобрысым, с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добродушными глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказался: «Я не хочу инцидентов». Я не понял, о каких инцидентах он говорит, и стал заверять, что, находясь на аэродроме Нюрнберга, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся: «Инцидент может произойти не по вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены... Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии».

Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт; я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу: «Вам придется выбрать другой маршрут».

Меня пригласил к себе министр иностранных дел Чехословакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького, чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал: «Я знаю, что вы любите Словакию и критикуете наше отношение к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить.

Наконец Бенеш сказал: «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил: «Да! Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж, я пропустил все сроки...» Я рассказал о злоключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня к карте Европы, висевшей на стене: «Теперь вы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности».

Подумав, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу, в случае успеха я смогу поехать через Румынию — Югославию — Италию. Я еще раз поглядел на карту и улыбнулся: нужно на запад, а поеду на восток... Привередничать, однако, не приходилось, и я поблагодарил Бенеша.

Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт — никогда прежде они не видели советского паспорта. (Это было до установления дипломатических отношений.)

Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Орадя. Я с любопытством глядел на ободранных, но лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на босых крестьян, на изысканных полицейских, а журналисты с не меньшим любопытством разглядывали меня — советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Орадя на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишоара и там увидел две примечательные личности — министра народного

И. Эренбург. Прага. 1934 г.

И. Эренбург в Праге. Дружеский шарж А. Гоффмейстера. 1934 г.





просвещения Ангелеску и фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о «великой Румынии», фюрер — о «великой Германии».

При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное перо как контрабанду, но, узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник, к моему удивлению, попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «Тринадцать трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками врангелевской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, усташи, другие говорили, что динамитчики действуют по указанию белградской полиции.

В Триесте я разыскал одну знакомую, жену врача; она долго рассказывала о глупости и унизительности жизни под властью дуче. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд, и подняла по-фашистски руку, потом сказала: «Простите мне этот жест. Приходится...»

Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был устлан малиновыми ковриками; по ним торжественно прошел австрийский канцлер Дольфус. На площади Святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини: «Фашистская и пролетарская Италия, вперед!..» Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед — по площади, блестевшей после весеннего дождя.

В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод «Дня второго». Книга была снабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями, автор, например, прославляет коммунизм; но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи — «День второй» прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объяснять полушепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала: «Когда я вижу на стенах «дуче, дуче», мне хочется кричать от стыда...»

Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями: фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повырубили деревья, вместо них поднялись заросли колючей проволоки. Обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии «железная гвардия» громила лавчонки и грозила мадьярам, а в Венгрии приверженцы Хорти убивали крестьян и клялись, что завоюют Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савойе. Фашистская чума пересекала границы без виз.

Описывая путешествия по европейским джунглям, я говорил: «Проезжему кажется, что в Европе — война. Кто с кем воюет — сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми».

Перед моими глазами вставали картины поражения: Флоридсдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хеймверовцы...

Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни «Комитетов бдительности». Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Итали; у людей было такое настроение, что скажи им: «Вот фашисты»,— они пошли бы на танки с голыми руками.

Профессор Ланжевен и Ален организовали «Комитет бдительности», куда входили писатели, ученые, профессора; были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни,— Роже Мартен дю Гар, Бенда, Леон Поль Фарг, много других.

Жан Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции.

В начале июня я отправился в Москву; снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом; я выбрал морской путь: Лондон — Ленинград. Со мною поехал Мальро — у него было много планов: «Межрабпом» хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко, потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку.

Советский пароход шел по Кильскому каналу. Я жадно разглядывал берег: вот фашистская Германия... На берегу стояли торговцы с большими сачками — предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон.

Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего; он поднял кулак — салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак — приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет.

Увидеть истину прежде, чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми.

6

В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью «Известий» получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было.

Как-то утром я заказал чай; официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса: чая я не получу, с сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал, попросил принести кипяток и чайник для заварки — у меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками: «И кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем...»

Я решил пойти к директору гостиницы. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли, выстроенные в шеренги, коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные в шуршавших лифах, с пышными

наколками; по команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма из быта старого купечества.

Я проник в ресторан и увидел его преображенным: там предполагали торговать солонками с резными петушками, скверными иконами суздальских богомазов и васнецовскими богатырями на ларчиках, на брошках, на блюдцах. Музыканты репетировали «Вниз по матушке по Волге...».

Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер: через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов.

Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников; это были очень богатые люди; коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помня урок, кокетливо улыбались, и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним; он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился: гостиница как гостиница: «Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан «Тройка»...»

(Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите?.. Это для иностранцев...» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед им подавали на чистой скатерти.)

Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которую озаглавил «Откровенный разговор». Я описал все, что увидел в гостинице «Националь», и сказал, что глупо выдавать Советскую страну за старый русский трактир с вышколенной челядью и бутафорским надрывом. «Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка» только потому, что налево стоит очередь... В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества: мы ведь только начинаем жить... Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестокого наследства, которое оставило нам прошлое. Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились... Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок...» Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе «Шарикоподшипник». Я знал капиталистический мир; там жгли и хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраи-

вали погромы; словом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнусно, но и глупо.

Напомню дату: июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «ура», которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть — разве мог я предвидеть, как развернутся события? Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скованности еще не было, и редактор «Известий» Бухарин напечатал мою статью.

Я получил много писем: читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье. «Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как «Интурист» «обманывает иностранных туристов». Руководители «Интуриста» утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. Бухарин меня защищал. Я не знал о различных телефонных звонках — был возле Архангельска на лесозаготовках. Подоспели другие события, и про мою статью, к счастью, забыли.

Если я рассказал об этом комическом и не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в «Национале», я сам над многим задумался.

Впервые я вспомнил о коридорных, низко кланявшихся интуристам, в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал: мне хотелось верить, что речь идет об унизительном поведении некоторых людей, вроде описанного мной работника «Интуриста», о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюр оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада.

Я никак не мог понять, что значит «Запад»: для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет: Жолио-Кюри жил в другом мире, чем Бидо, профессор Бернал не походил на Мак-Артура, Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. «Запад»?.. Но разве Маркс не родился в Трире, разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада?

Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкопоклонства и раболепства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр камамбер в «закусочный», а ленинградское кафе «Норд» в «Север». Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая советская энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западно-

европейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фразу в моей статье о том, что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул: «Это, Илья Григорьевич, чистейшее низкопоклонство».

В 1949 году во время Первого конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков...» Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту — гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: «Вечерка»...

С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкопоклонство — не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора «Интуриста», еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в городе Истра стоит небольшой бюст Чехова (Антон Павлович работал в земской больнице Воскресенска — так называлась до 1929 года Истра). Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местные власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки «Юманите»; одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову.

Андре Мальро и Илья Эренбург на пароходе. 1934 г.

Подготовка к I съезду писателей. И. Эренбург — первый слева. 1934 г.





Работник райсовета удивился: «Выходит, что во Франции Чехова знают...» Француженка ответила: «Конечно. Но я думала, что его знают и в Советском Союзе»,— она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника анютины глазки.

Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства .и человек, не уверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно. Наш народ не только первым пошел по трудному пути строительства нового общества, в некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, дурной живописи, недостатков в том или ином предмете обихода; стыдиться этого перед иностранцами не приходится; стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы; они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раболепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба. А чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством полураба, полузазнайки.

7

Я писал, что готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд остался в моей памяти как большой диковинный праздник. Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников — Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне — молодой, мечтательный и, разумеется, насмешливый; я машинально повторял:

У Колонного зала во время I съезда писателей

М. Горький в халате и тюбетейке, подаренных узбеками

Президиум I съезда писателей: И. Эренбург, Б. Пастернак, М. Горький. Выступает А. Лахути. 1934 г.





Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно...

Начало я вспоминаю с улыбкой: неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты.

Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы, люди смотрели, узнавали некоторых, приветствовали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей.

Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров — «База курносых», работниц «Трехгорки» и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами и овощами; узбеки привезли Горькому халат и тюбетейку, матросы — модель катера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями — всеми цветами ранней московской осени.

Я раскрыл книгу, ставшую теперь редкостью,— стенографический отчет съезда, просмотрел список делегатов; редкостью стали и участники Первого съезда писателей — из семисот осталось в живых, может быть, полсотни. Прошло тридцать лет, да и годы были нелегкими.

Я председательствовал на заседании, когда выступил участник Парижской коммуны Гюстав Инар; ему было восемьдесят шесть лет.

Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую крепкую женщину, колхозницу из Московской области; она говорила: «У меня самой муж. Я четвертый год — председателем колхоза. Вы знаете, ведь председа-



теля колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж — рядовой колхозник. Но он терпения набрался. Ему дают наряд — изволь его выполнить. Если не так делаешь, то я на правлении скажу. Не исправишься — трудодней не дам. Если еще не исправишься — из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам: скажут — расправилась с мужем, и нам не легче будет...» Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился.

Все делегации «предъявляли счет»: текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобразить Донбасс, изобретатели настаивали на героях-изобретателях. (Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность; появились сотни производственных романов. А читатели тем временем росли. Тридцать лет не прошли бесследно... Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят «Петра» А. Толстого, ткачихи плачут над «Анной Карениной», изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от «Тихого Дона» до «Старика и моря».)

Старый ашуг Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее, спеть стихи о съезде:

Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,
На славный съезд певцов пришел.

А. М. Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления, Андерсен-Нексе, когда его обступили пионеры, тоже прослезился.

Б. Л. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил — хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку».

Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей; восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Безыменский — страстными митинговыми речами, Кольцов и Бабель сумели рассмешить.

Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Ю. К. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений: «Ко мне вдруг неизвестно почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на мне майка, я стал молод — мне шестнадцать лет. Ничего не надо. Все сомнения, все страдания прошли. Я стал молод. Вся жизнь впереди». Может быть, в тот же самый день, может

быть, назавтра или через неделю я с ним обедал, и он печально говорил: «Я больше не могу писать. Если я напишу: «Была плохая погода»,— мне скажут, что погода была хорошей для хлопка»... Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем. Да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась; это было иллюзией, сном на празднике...

А. М. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое: «Историю фабрик и заводов», книгу «День мира», историю гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть деловым: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события: фашистский путч в Париже, разгром шуцбунда. Присутствие революционных зарубежных писателей расширяло стены Колонного зала; мы смутно ощущали приближение войны.

Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы, она сказала, что молодой писатель Ли Вэйсэн был живым закопан в землю. Японский гость рассказал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Бределя — он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвига Ренна, Осецкого. Можно ли было спокойно это слушать? Для того чтобы воссоздать настроение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите родины, сказал: «Вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Участники I съезда писателей. Шарж Кукрыниксов

Юрий Олеша. Шарж Кукрыниксов





Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших: Андерсена-Нексе, Мальро, Жана Ришара Блока, Якуба Кадри, Бределя, Пливье, Ху Ланьчи, Арагона, Бехера, Амабель Эллис — и слал приветы отсутствовавшим: Ромену Роллану, Жиду, Барбюсу, Бернарду Шоу, Драйзеру, Эптону Синклеру, Генриху Манну, Лу Синю (сохраняю порядок резолюции). Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году; но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде.

Андерсен-Нексе просил советских писателей быть шире: «Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой... Художник должен давать приют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто, все равно по каким причинам, не может поспеть за нами».

В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жана Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта: «Товарищ Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма». Арагон, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве «Рембо и Золя, Сезанна и Курбе».

Мальро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы: «Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы и что фотография великой эпохи — это еще не великая литература... Вы, похожие друг на друга и все различные, как зерна, вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий».

Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции: «Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова, не ездил бы в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и, наконец, не был бы здесь». Мальро страдал нервным тиком. Радек решил, что Мальро морщится от дискуссии: «У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко». Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика, конечно, не смог.

Выступали мои старые друзья: Толлер, Незвал, Новомеский. Рафаэль Альберти держался очень скромно и даже не попал в список знатных гостей.

О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Асеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами.

Громче других шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове А. М. Горький, назвав Маяковского «влиятельным и оригинальным поэтом», сказал, что ему свойствен «гиперболизм», который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет агитки, о романтизме, о доходчивости, о многом другом.

Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников. Работа писателя протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил «Пармскую обитель», но вовремя спохватился и отказался переделать роман. Тургенев, стараясь исправить некоторые стихотворения Тютчева, страдавшие, по его мнению, ошибками, нещадно их исковеркал.

Писатели порой (не очень часто) говорят друг с другом о литературных проблемах; эти беседы или споры помогают осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале, среди тушей и оваций? Не думаю. Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог.

Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимович, отвечая мне, сказал, что я так говорю «по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом».

Горький потом сказал мне: «Вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверно, мало читаете, что теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других — Тынянова, Леонова, Федина. А молодые... Они не только не умеют писать, не знают, как подступиться...» Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом: он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они

находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от профессоров проектировавшегося Литературного института. Обидно мне другое — что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим, и зал замер: все знали, что Алексей Максимович болен. Его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у него на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить — устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне: «Ему плохо. После смерти Максима он сдал. Не тот Горький...» Наверно, он был прав, а «того» Горького мне увидеть не удалось.

Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков.

«Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романсы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен... Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота — не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония... А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья...»

Илья Эренбург и Андре Мальро на I съезде писателей. 1934 г.
Ю. Тынянов, Ирина Эренбург, И. Эренбург. Москва, 1934 г.
Жан Ришар Блок, Илья Эренбург и Михаил Кольцов. Москва, 1934 г.
О. Ю. Шмидт





«Великие писатели прошлого века оставили нам опыт... Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести... Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы... Рабочий справедливо протестует против дома-казармы... Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?.. Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера XVII века писали яблоки, Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки...»

«Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочна легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачи как реабилитацию».

Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить, с трудом себя узнаю на выцветших фотографиях. Речь на съезде писателей меня удивила другим: мне показалось, что это цитаты из моей недавней статьи. А с тех пор прошло тридцать лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде О. Ю. Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации: в ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь тогда представить себе, что двадцать семь лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг нашей планеты?

Я тогда был вихрастым, задористым; высох, полысел, да и помягчел. И вот я повторяю в статьях, в этой книге мысли, высказанные в 1934 го-





ду. Может быть, я выжил из ума, напоминаю старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора околоточный его незаслуженно обидел? Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не доживу до того дня, когда вопросы, поднятые мною на съезде, устареют...

В 1934 году, после «Дня второго», мое имя стояло на красной доске, и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен по уставу собраться Второй съезд писателей, у нас будет рай. На съезде выступил О. Ю. Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев: «И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: «Вперед! Быстрей! Еще быстрей! Вперед, вперед!» Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждаются в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждаются в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы». Мы дружно аплодировали умной речи. Отто Юльевич был хорошим ученым; оракулом он не был.

Во время съезда группу писателей пригласили вечером на дачу А. М. Горького. Там я увидел, кажется, всех членов Политбюро, кроме И. В. Сталина. Я ни с кем из них не был знаком. Когда после ужина с беспрерывными тостами все встали, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и другие товарищи со мной заговорили; всех почему-то интересовала моя книга, написанная еще в 20-е годы,— «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга им нравилась, но, к моему великому удивлению, они добавляли, что в книге почувствовали антисемитизм, а это нехорошо. Герой названного сатирического романа — гомельский портной, по воле судьбы занимавшийся многими профессиями, изъездивший много стран, горемыка, если угодно, духовный родственник Швейка. Л. М. Каганович сказал, что, по его мнению, роман страдает еврейским национализмом. Я снова удивился. Потом он перешел на «День второй», упрекал меня за то, что я хожу среди котлованов и вижу не корпуса заводов, которые вскоре вырастут, а землянки, бараки, грязь. Я возражал. Под конец я сказал: «Главное сейчас — это разбить фашизм»... Возвращаясь поздно ночью в Москву, я думал именно об этом: с литературой будет трудно, очень трудно, может быть, два года, пять лет. Дело сейчас в другом.

Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

8

Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотьме, Вологде. Плыли на

пароходах, носивших гордые имена: «Лютый», «Марксист», «Массовик», «Крепыш». Пароходы шли медленно; люди рассказывали долгие истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными; казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врезается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье — кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы — лес шел по тихой Сухоне, по капризной Вычегде, по широкой Двине — вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский север, он меня сразу покорил нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотах, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела,— казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда — английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников.

Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запанях, в порту людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью — не вечно улыбающихся ударников с Доски почета, а сложных, внутренне взрослых людей, и как бы ни был жесток быт, как бы ни возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами (порой воображаемыми), я радовался: видел, как растет наше общество.

Недавно, просматривая старые комплекты «Красной нови», я случайно напал на такие строки: «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии севера в 1934 году. Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру? Я читаю старые записи, стараюсь восстановить в памяти лето 1934 года, не так уж давно это было, все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, я видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе — на контрасты она не скупилась.

Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла известкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих

хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей.

А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ, и не стихийно — организованно. Помню разговор с И. Э. Грабарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот, писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению,— все равно машинам придется объезжать площадь, и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера; доводы не подействовали.

На севере я увидел, с каким исступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого — семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквах хранили картошку, сено, и, простоявшие триста — четыреста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру; «куклу» поломали.) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим». В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели Христы. На севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко; чаще всего мастера изображали Христа в темнице. (В испанском городе Вальядолид я видел скульптуру, очень похожую на великоустюжскую.) Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый симпозиум Христов; у некото-

Выброшенные из церквей скульптуры Христа. Великий Устюг, 1934 г.

Красные ворота. Москва

С. Г. Писахов показывает свои работы И. Эренбургу

И. Эренбург с дочерью в Архангельске. 1934 г.





рых были отбиты руки, ноги; они сидели и о чем-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старины, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество — глиняные бело-черные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь не было южной цветистости — все выглядело ясным, строгим.

Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров — «честянка», «мизгиречек», «речка», «медведка» — изображать тракторы. В Великом Устюге я познакомился со старым мастером, специалистом по черни Чирковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна, потом пришли из горсовета: «Раскрой твой секрет». Напрасно Чирков объяснял, что никакого секрета нет, дело не в производственной технике, а в мастерстве, в фантазии. Организовали артель и начали изготовлять безвкусные браслеты. (Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова, рассказал про резчика по кости Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Чиркова вызвали в Москву, но артель продолжала изготовлять те же браслеты. Потом Чирков умер.)

Тысяча девятьсот тридцать четвертый был годом героики. Погибли отважные люди, поднявшиеся в стратосферу. Летчики спасли челюскинцев. Никогда не забуду, как их встречала Москва: солнце, прозрачные транспаранты, цветы и какое-то всеобщее умиление — другого слова не подберу — перед мужеством, перед братством.

Один из челюскинцев рассказал мне, что у них на льдине был томик Пушкина; они читали стихи вслух, и это всех приподымало. Мог ли писатель слушать такие признания без глубокого волнения?

В клубе «Красный лес» комсомолец декламировал стихи Тютчева. Я невольно вспомнил строку Фета: «К зырянам Тютчев не придет». А было это в Сыктывкаре — в столице коми, которых прежде звали зырянами.

К одним приходил трудный Тютчев. От других уходили обыкно-







Николай Заболоцкий

венные человеческие чувства. Проводили партийную чистку. На собрании обсуждали работу Краснова (фамилия, как и последующие, вымышленная). Его сослуживец Смирнов сказал: «А между прочим, товарищ Краснов живет с женой Шелгунова...» Шелгунов присутствовал на собрании; он налил в стакан воду, но не выпил. Краснов начал оправдываться: «Она сама лезла...» Его перевели из членов в кандидаты.

В Тотьме устраивали курорт для страдающих нервными заболеваниями. Клуб поместили в церкви, и под потускневшей богородицей висел плакат: «Здоровое тело необходимо для выполнения второй пятилетки». Церковное кладбище разрыли. Я видел человеческие останки. Заведующий, с глазами идеально пустыми, гладил свои свисавшие щеки и равнодушно отвечал: «Уберем, до всего руки не доходят. А начнут гонять мяч и замечать не будут...»

Газетные критики еще одобрительно отзывались о новой опере Шостаковича «Катерина Измайлова». На премьере «Дамы с камелиями» Мейерхольду устроили овацию. Мне показали поэму «Торжество земледелия» Заболоцкого; стихи меня удивили, потом прельстили; я их долго повторял про себя. В Москве я провел несколько вечеров с А. П. Довженко; он был, как всегда, взволнован, страстен, терзался над «Аэроградом». А ему ставили в пример фильм «Встречный», в котором сусальные ударники одерживали легкие победы. Выставки уже были заполнены огромными холстами, напоминавшими раскрашенные фотографии: Сталин на трибуне, Сталин на скамейке. «Заседание сельсовета», «Митинг в литейном цеху». Рядом с гостиницей «Националь» построили дом в ложноклассическом духе; о нем говорили: «Вот это наш, советский стиль, никаких формалистических выкрутасов...» В Мосторге продавали вазоны, кошечек, сов, которых я видел в детстве на комодах купеческих домов. Из окон вырывалась модная песенка «У самовара я и моя Маша». Маш было куда больше, чем самоваров, но Маша у самовара нравилась и членам коллегий, и председателям горсоветов, и делопроизводителям: вкусы дореволюционного мещанства казались им канонами красоты.

Контрастов в жизни было куда больше, чем в моих книгах, не потому, что я хотел умолчать о гигантском бурьяне, о чертополохе, похожем на баобаб, о крапиве, не выполотой, а выхоленной. Я говорил

и о сорняках; они меня сердили, но не удивляли. А удивляло меня другое — первые побеги нового сознания, подростки, раскрывавшие книгу жизни и захваченные лихорадкой строительства не только фабрик или домов, но и своего сознания. Давно я уехал с севера, кругом были не зеленые леса, а серый Париж, поблескивавший под осенними дождями, а я все видел юношей и девушек, которые на далекой запани говорили о дружбе, о горестях любви, о борьбе за лес, за страну, за счастье.

Полгода спустя я написал повесть «Не переводя дыхания», действие которой разворачивалось на севере.

Критики приняли мою повесть куда более благожелательно, чем предшествующие книги. А мне она кажется неудавшейся: я вложил в нее многое из того, что не поместилось в «Дне втором», и, не замечая этого, повторял самого себя.

Все же для меня повесть была полезной: в ней наброски героев, к которым я впоследствии не раз возвращался. Ботаник Лясс, жизнерадостный, умный, ворчливый,— первый черновик профессора Дюма и доктора Крылова из «Бури». Неудачливая актриса Лидия Николаевна, которая находит утешение в эфемерном успехе, стала потом Жаннетой, Валей. Непризнанный художник Кузмин, жаждущий совместить современность со своим пониманием искусства,— родной брат француза Андре и героя «Оттепели» Сабурова.

Был еще один персонаж в повести, который выдавал мою тревогу; он проходит по книге беглой тенью — это немец Штрем. Он приехал в Архангельск с подозрительными поручениями. Жизнь его мало привлекала, он был поглощен мыслями о смерти. Выпив в архангельском ресторане с шведским капитаном, он бубнил: «Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность... Зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь... Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал — раз-два. Это вовсе не садизм. Но подумайте, над своей жизнью мы не властны... А если ты распоряжаешься чужой жизнью — «расстрелять»,— как-то сразу растешь в своих глазах. Получается суррогат бессмертья...»

Монологи Штрема не были анекдотом, болтовней, кабацким самохвальством, за ними стояла страшная жизнь огромной цивилизованной страны. Перечитав «Не переводя дыхания», я вижу, что, если говорить о сюжете повести, Штрем попал в книгу случайно, без паспорта и без прописки. Его облик не дорисован, его самоубийство ничем не оправдано, кроме желания автора поскорее убрать со сцены противного человека, а с ним и мир, который порождает таких людей. Почему немец Штрем попал в Архангельск, почему ночью в городском сквере беседовал с милой растерянной актрисой? Да только потому, что я не мог освободиться от мыслей о Штреме. Книга писателя почти никогда не ограничивается рамками сюжета. В повести о жизни на запани, о любви комсомольцев, о горе молодой женщины, потерявшей сразу и ребенка и веру в мужа, проступало нечто другое: мысли и переживания автора, берлинские костры, на которых жгли книги, парижская

ночь фашистского мятежа, развалины Флоридсдорфа, тревога за будущее. Я еще не мог многое предвидеть, но уже понимал, что сосуществовать с фашизмом невозможно. Вот те контрасты, которые мне казались нестерпимыми.

9

Жан Ришар Блок сказал на съезде, что догматической узостью легко оттолкнуть колеблющихся. Многие писатели Запада не понимали метода социалистического реализма; но методы фашизма были понятны всем: он сулил книгам костры, авторам — концлагеря. Во время съезда мы не раз говорили, что нужно попытаться создать антифашистский фронт писателей.

Я поехал в Париж снова кружным путем: на советском пароходе доплыл до Пирея. Ехали со мною греческие писатели Глинос и Костас Варналис. Мы подружились. Варналис соединял в себе боевой задор с мягкостью, мечтательностью. В Салониках греческая полиция не разрешила Глиносу и Варналису сойти на берег — их должны были обыскать в Пирее. Все в Греции говорили о надвигающемся фашизме. Повсюду можно было увидеть немцев, которые вели себя как инструктора. «Они нас хотят сожрать»,— говорил Варналис. Год спустя его арестовали.

Из Афин мы поехали в Бриндизи и пересекли Италию; снова я услышал вой чернорубашечников.

Газеты сообщали, как наемники-марокканцы усмиряют астурийских горняков. Я уж не мог относиться к Испании как к одной из стран Европы, вспоминал ее гордых и добрых людей; в тоске спрашивал себя: неужели и таких поставят на колени?..

С ревом неслись продавцы газет по парижским улицам: в Марселе убили короля Югославии и французского министра иностранных дел Барту. Короля я не знал, да и не понимал, кто и почему его убил. А с Барту я как-то встретился на обеде иностранной прессы; он удивил меня молодостью мыслей — ему ведь было за семьдесят,— с блеском говорил о Мирабо, Дантоне, Сен-Жюсте. Был он страстным библиофилом, я не раз его видел на набережных Сены возле ларьков букинистов. Немецкие фашисты его ненавидели: Барту, хотя был он человеком правых убеждений, отстаивал необходимость сближения с Советским Союзом, пакт безопасности, который смог бы остановить Гитлера. Убийство Барту все поняли как один из симптомов наступления фашизма.

Помню большой митинг в зале «Мютюалитэ», посвященный съезду советских писателей. В президиуме сидели Вайян-Кутюрье, Андре Жид, Мальро, Виоллис, рабочие-коммунисты. В зале были люди, тоже давно сделавшие свой выбор; они скандировали: «Советы повсюду!» Виоллис, которая сидела рядом со мной, шепнула: «Советские писатели должны показать, что готовы в борьбе против фашизма сотрудничать со всеми...»

Был у меня разговор с Жаном Ришаром Блоком. Он говорил, что пришел к коммунизму извилистым путем, что сейчас нужно объединиться вокруг самого насущного — борьбы против фашизма, иначе писатели-коммунисты окажутся изолированными.

Я написал в Москву длинное письмо, рассказывал о настроениях западных писателей, об идее антифашистского объединения.

Сейчас может показаться странным, почему я придавал такое значение писателям,— многое изменилось за четверть века, в том числе и роль литературы, ее место в жизни миллионов людей. На съезде советских писателей О. Ю. Шмидт, рассказав об успехах астрономии и физики, добавил: «Писатель — счастливый человек. Я ему глубоко завидую. Ученому надо долго и кропотливо продумывать, тогда как у писателей, как говорят, бывает «озарение». В тот самый год, когда мы встретились в Колонном зале с нашими читателями, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность; начиналась эпоха ядерной физики. Я (как, наверно, большинство писателей) не имел об этом никакого представления.

Четверть века спустя сотни миллионов людей то с надеждой, то с ужасом начали следить за работой ученых. Поэт Слуцкий написал шутливые строки: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...» Лирики читали и не улыбались.

Между двумя мировыми войнами общественная роль ученых была ограничена. В представлении миллионов людей ученый был человеком, который сидит в своей лаборатории и смотрит не то с пренебрежением, не то с испугом на встревоженные улицы. Ученые мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. Ланжевен был исключением. Воевали против фашизма статьи Горького, обращения Ромена Роллана, речи Барбюса. Писатели еще пользовались огромным авторитетом. Помню, как в рабочем предместье Парижа Вилльжюиф одной из улиц присвоили имя Горького. На церемонию пришли тысячи рабочих. Вайян-Кутюрье объявил, что предоставляет слово Андре Жиду. Рабочие, наверно никогда не читавшие книг Жида, устроили ему такую овацию, что он растерялся. Я привел пример самого парадоксального преклонения перед званием «писатель». Может быть, отчасти почтение к писателям в 1934 году было процентами на капитал, заработанный литературой сто лет назад, когда жили Пушкин, Гюго, Бальзак, Гоголь, Стендаль, Гейне, Мицкевич, Диккенс, Лермонтов.

С тех пор многое изменилось. После Хиросимы ученые поняли свою ответственность. Во главе движения сторонников мира стал Жолио-Кюри. Международными совещаниями ученых, желающих предотвратить ядерную войну, люди интересуются куда больше, чем конгрессами пэн-клубов. Не знаю, стали ли забывать писатели о своей роли «учителей жизни» или ученики запросились в другие классы, но сейчас мне кажется преувеличением то значение, которое придавал я (да и не только я — ответственные политические деятели) антифашистскому объединению писателей.

Разгадка происшедшей перемены скорее всего не в успехах науки, разумеется бесспорных, и не в потускнении литературы, тоже очевид-

ном, а в событиях, не имеющих прямого отношения к вопросу о праве поэзии на существование,— в угрозе атомной войны. Ни лирики, ни физики не решают вопросов мира и войны, но по характеру своей работы лирики могут только способствовать обогащению духовной жизни читателей, а физики способны и улучшить условия жизни, и усовершенствовать орудия смерти. Спираль — одна из распространенных форм развития и живых организмов, и человеческого общества; наверно, лирики будут в «почете», когда люди смогут снова спокойно глядеть на небо — и на луну физиков, обследованную людьми, и на луну влюбленных, которым перестанет угрожать луна физиков. Это размышления о настоящем и будущем, а заговорил я о значении писателей в прошлом не для того, чтобы лишний раз вздохнуть. Мне хочется сделать понятным последующее. Я сидел на улице Котантен и писал пятую или шестую главу повести «Не переводя дыхания», когда мне позвонил наш новый посол В. П. Потемкин и попросил зайти к нему — дело срочное. Владимир Петрович сказал, что в связи с моим письмом о настроениях западных писателей меня просят приехать в Москву — со мною хочет поговорить Сталин.

В Москву я приехал в ноябре; погода была препротивная, валил мокрый снег, но настроение у меня было хорошее. Ирину я нашел веселой. Раньше она мне не говорила, что занялась литературой — написала книгу «Записки французской школьницы». А теперь как бы вскользь сказала, что вещь напечатана в альманахе, который редактировал Горький, и скоро выйдет отдельным изданием. Я прочитал «Записки» за ночь. Читал я, понятно, с особым интересом: Ирина описывала свои школьные годы, первые сердечные бури. Я узнавал ее подруг, мальчишек, которые иногда приходили к нам, и открывал многое, мне неизвестное,— Ирина была скрытной.

С. М. Киров

Похороны С. М. Кирова. Урну несут: К. Ворошилов, И. Сталин, В. Молотов, М. Калинин. 1934 г.

Демонстрация против присоединения Саарского бассейна к Германии. Зальцбах, 1934 г.

И. Эренбург. Рисунок Н. Альтмана. 1931 г.







В ожидании встречи со Сталиным я проводил вечера со старыми друзьями. Ко мне приходили и молодые писатели — Лапин, Славин, Левин, Габрилович. Братья Васильевы показали мне «Чапаева». Я часто бывал у Всеволода Эмильевича; он не сдавался, рассказывал о постановке «Горе уму». Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии Советов будет обсуждаться проект новой конституции. Ноябрь казался маем, и я на все глядел радужно.

Как-то я отправился в «Известия», зашел к Бухарину, на нем лица не было, он едва выговорил: «Несчастье! Убили Кирова»... Все были подавлены — Кирова любили. К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?.. Я заметил, что большим испытаниям почти всегда предшествуют недели или месяцы безмятежного счастья — и в жизни отдельного человека, и в истории народов. Может быть, так кажется потом, когда люди вспоминают о канунах беды? Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все примолкли, насторожились.

Несколько дней спустя заведующий отделом культуры ЦК А. И. Стецкий сказал мне, что ввиду событий намеченная встреча в ближайшее время не может состояться; меня не хотят зря задерживать. Алексей Иванович попросил меня продиктовать стенографистке мои соображения о возможности объединения писателей, готовых бороться против фашизма.

В Париже я успел написать еще несколько глав повести.

Я разговаривал с Мальро, с Вайяном-Кутюрье, с Жидом, с Жаном Ришаром Блоком, с Муссинаком, с Геенно. После долгих споров группа французских писателей решила созвать весной или в самом начале лета международный конгресс. Писатели — не рабочие: объединить их очень трудно. Андре Жид предлагал одно, Генрих Манн другое, Фейхтвангер третье. Сюрреалисты кричали, что коммунисты стали бонзами и что надо сорвать конгресс. Писатели, близкие к троцкистам,— Шарль Плинье, Мадлен Паз — предупреждали, что выступят — «разоблачат» Советский Союз. Барбюс опасался, что конгресс по своему политическому диапазону будет чересчур широким и не сможет принять никаких решений. Мартен дю Гар и английские писатели Форстер, Хаксли, напротив, считали, что конгресс будет чересчур узким и что дадут вы-





ступить только коммунистам. Потребовалось много терпения, сдержанности, такта, чтобы примирить, казалось бы, непримиримые позиции.

Впрочем, все трудности встали перед нами в начале 1935 года. А приехав из Москвы, я едва успел оглядеться, как пришла телеграмма от редакции: в Сааре плебисцит, я должен туда выехать. Я оставил на столе недописанную главу повести и позвонил Мальро: не смогу присутствовать на очередном заседании подготовительной группы.

Ночью в вагоне я мечтал, или, как говорил когда-то рыжий Ромка, строил «рабочие гипотезы». Конгресс заставит колеблющихся выбрать путь борьбы. Уж не так силен фашизм, как кажется,— он держится на всеобщем оцепенении! Может быть, в Сааре немцы проголосуют против Гитлера?..

Вдруг я вспомнил тревожный вечер в редакции «Известий». Кто убил Кирова?..

В купе было натоплено. Я с трудом опустил окно. Ворвался дым — желтый, густой, едкий.

10

Я приехал в Саарбрюккен вечером. Сквозь туман мерцали плошки иллюминации. На главной улице в витрине большой колбасной красовалась свастика из сосисок; прохожие смотрели и восхищенно улыбались. Хозяйка гостиницы, толстая, апоплексическая женщина, кричала в коридоре: «Не забывайте, что я немка!» На улице громкоговорители передавали военные песни: «Мы идем, раз-два...» Я плохо спал. Ночью стреляли; я приоткрыл дверь, и коридорный, собиравший для чистки выставленные ботинки, объяснил: «Наверно, убрали еще одного предателя...» Утром хозяйка мне сказала: «Вы должны сейчас же очистить комнату. Я вам сдала ее по ошибке. Я — немка, сударь! Понимаете?..»

Я все понял; но, может быть, молодому читателю непонятно, что же тогда происходило в Сааре. Напомню. В 1919 году, составляя Версальский договор, союзники долго спорили о Саарском бассейне. Клемансо хотел, чтобы саарский уголь достался Франции. Вильсон возражал. Помирились на том, что пятнадцать лет спустя в Сааре будет устроен плебисцит, жители сами решат, присоединять ли их округ к Германии или нет. До прихода к власти Гитлера все было ясно: в Сааре живут немцы,— следовательно, они выскажутся за присоединение.

Фашистский террор заставил некоторых призадуматься. Перед избирателями был поставлен вопрос, хотят ли они присоединения к Германии или статус-кво, то есть сохранения автономного управления и экономического союза с Францией. Кроме незначительной партии автономистов, только коммунисты призывали голосовать за статус-кво. Приехав в Саар, я сразу понял, что огромное большинство выскажется за присоединение: нацисты играли на патриотизме. Плакаты, песни, флаги вслед за хозяйкой гостиницы, где я провел первую ночь, повторяли: «Мы — немцы, наше место в Германии!»

«Свободное волеизъявление» походило на трагический фарс. В тео-

рии всем была предоставлена свобода слова, собраний, печати. Английские солдаты должны были гарантировать порядок. На деле фашисты срывали собрания коммунистов. Ни в одном киоске я не смог купить газет, высказывавшихся против присоединения: продавщицы испуганно отвечали: «Они предупредили, что сожгут киоск...» Людей убивали из-за угла. Даже мне прислали анонимное письмо со свастикой: если я тотчас не уберусь из Саара, для меня найдется «хорошая немецкая пуля».

Подлинный хозяин Саарского бассейна, Герман Рехлинг сулил послушным премиальные, ослушникам — голодную смерть. Безработных, не желавших записаться в «Германский фронт», тотчас лишали пособий.

(Теперь, читая в западной печати о том, что германский вопрос можно разрешить «свободными выборами», я вспоминаю плебисцит в Сааре...)

В деревне Пикард я увидел смешной эпизод несмешной кампании. Там были два быка, узаконенные в качестве производителей. Один считался лучшим, и бедный крестьянин в известной степени жил за счет своего быка. Этого крестьянина заподозрили в политической неблагонадежности, и бык был объявлен «быком статус-кво». Никто не смел случать его с честной арийской коровой.

Помог мне попасть и в деревню Пикард и в другие закоулки Саара немецкий писатель Густав Реглер. Я с ним познакомился в Париже, потом мы встречались в Москве во время съезда писателей. Был он человеком нервным, впечатлительным. Саарские фашисты грозились, что его убьют. Он смело выступал повсюду, рассказывал про террор в Германии. Он повел меня в дома шахтеров, где я услышал правдивые рассказы о происходящем.

Еще до плебисцита я написал для газеты очерки и последний из них кончил словами: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».

Битва была проиграна. Я уже знал, что до победы предстоит немало поражений, и не пал духом.

Вернувшись в Париж, я дописал повесть, пошел на собрание подготовительной группы, и тут снова пришлось уехать: в Женеве должна была собраться Чрезвычайная сессия Совета Лиги Наций.

Швейцарцы тянули с визой. Наконец советник посольства показал мне телеграмму из Берна; я переписал ее: «Советскому гражданину Илье Эренбургу разрешается десятидневное пребывание в Швейцарии в качестве корреспондента газеты «Известия» на Чрезвычайной сессии Совета Лиги Наций при условии, что названный Илья Эренбург будет воздерживаться от всего способного нарушить внутреннее спокойствие Швейцарии или омрачить ее добрые отношения с соседними государствами». Дипломат объяснил мне, что, находясь на швейцарской территории, я не должен говорить или писать что-либо направленное против Германии — того требует швейцарский нейтралитет.

Что же, нейтралитет (как, впрочем, и все на свете) можно понимать по-разному. Незадолго до моего приезда в Швейцарию агенты Гитлера похитили в Базеле немецкого эмигранта антифашиста Якоба и увезли

его в Германию. Швейцарские власти сделали вид, что ничего особенного не произошло. Я увидел Женеву, переполненную гитлеровцами; никаких подписок с них не брали; у них были в Швейцарии свои газеты, и они преспокойно писали, что «для удаления злокачественной опухоли коммунизма необходимо прибегнуть к хирургии и начинать с России».

Теперь я привык к различным международным конференциям и знаю, что они чрезвычайно напоминают судилище, описанное в «Рейнеке-лисе». Тогда же я был новичком и многому удивлялся. Лига Наций была черновиком ООН; американцы в ней не участвовали, и господами положения считались англичане и французы. Германия еще в 1933 году вышла из Лиги Наций, но перед Гитлером пасовали все. В датском Шлезвиге я видел, как датчане боятся немецких дивизий. А в Женеве представитель Дании долго доказывал, что политика Гитлера пример миролюбия; этот адвокат фашизма к тому же был социал-демократом. Переговоры шли за кулисами — в различных загородных ресторанах. Немцы обещали Испании торговый договор, и Леррус вдруг почувствовал нежность к третьему рейху. Португальцам и чилийцам сулили различные подачки. Тревогу, охватившую мир, хотели усыпить параграфами, сносками, комментариями.

Выступил М. М. Литвинов; говорил он спокойно и с виду походил на толстого добродушного семьянина. Он напомнил дипломатам, что аппетит приходит во время еды и что нельзя полагаться на улыбки Гитлера: «Вряд ли могут быть приняты во внимание какие-либо обещания воинственного гражданина щадить некоторые кварталы города и оставлять за собой и за своим оружием право на действие в остальных кварталах...»

В кафе «Бавария», где собирались журналисты, корреспондент «Фигаро» кричал: «Эмиль Бюре сошел с ума! Почему Франция должна бояться германской армии? Ведь и ребенку ясно, что Гитлер двинется на Украину...»

В витрине немецкого бюро путешествий, находившегося недалеко от «Баварии», висела большая карта Европы, на ней Эльзас и Лотарингия входили в границы Германии.

Весна была холодной, ненастной; но газеты писали, что летом во Франции ожидается куда больше туристов, чем в предшествующие годы: «Мир торжествует...» Германия продолжала вооружаться. Лига Наций рассматривала различные планы разоружения. Французы толковали о предстоящих каникулах. Я поехал в бельгийский город Эйпен, принадлежавший до 1918 года Германии. Снова мытарили с визой. В Бельгии тогда было коалиционное правительство, в него входили социалисты Вандервельде, Спаак. Еще недавно Спаак считался «красным». Я помнил, как он потрясал кулаками на собрании шахтеров в Боринаже. Перегримировался он с быстротой, которой позавидовал бы любой актер Мейерхольда. Он стал крупной политической фигурой в послевоенной Европе. Я его видел в Брюсселе в 1950 году; несмотря на тучность, он держался неистово. Он защищал идеи, как он говорил, «умеренные»; но защищал их неумеренно. Я таких людей побаиваюсь: они способны поджечь мир только потому, что считают себя хорошими

пожарниками. Вандервельде был человеком прошлого столетия и не пробовал угнаться за Спааком; ему тогда было семьдесят лет. Он написал статью о моей повести «День второй». Не знаю, что на него подействовало — мой стиль или стиль Гитлера, но в статье были неожиданные признания: «Так, несмотря на все, этот народ идет по грязи, по снегу к звездам. Самая законная изо всех революций дала ему веру и надежду — чудодейственное обновление всей социальной жизни». Однако идеи министра Вандервельде никак не отражались на будничной политике: в Эйпене я увидал картину, похожую на Саар. Нацисты приезжали на трамвае из Дортмунда или Дюссельдорфа; никаких виз от них не требовали. Вели они себя бесцеремонно. Выходила газета «Эйпенер цейтунг»; там писали, что немцы скоро освободят город. Я зашел в книжный магазин, принадлежавший Гирецу, местному фюреру. Он вежливо улыбнулся и предложил мне сочинения Розенберга.

Когда я был в Эйпене, туда прибежал немецкий коммунист, которому удалось выбраться из концлагеря. Эйпенская полиция его арестовала, грозила выдать гитлеровцам. Его выслали четыре дня спустя во Францию. Я отвез его до границы — он был в тяжелом душевном состоянии, несвязно отвечал на вопросы пограничников.

Опять Париж. Писатели, разговоры о конгрессе. Мальро доволен — Бенда обещал выступить. Уолдо Фрэнк прислал из Америки длинное письмо; он приедет на конгресс. Джойс пришлет приветствие...

Парижане обсуждали, где лучше провести летние месяцы — на нормандском побережье или в Савойе. Все казалось обычным. Но я не мог забыть о том, что делается по ту сторону Рейна.

Я поехал в Эльзас и увидел знакомую картину: гитлеровцы, ухмыляясь, говорили о «близком освобождении», «автономисты», вдохновленные Сааром, требовали плебисцита, люди вздыхали, ежились, запасались посулами местных фашистов спасти их в час «освобождения». Вечером на глухой улице я встретил десяток парней, они горланили «Вахт ам Рейн» *.

Я писал тогда: «Последние месяцы я занят изнурительным занятием: езжу по различным областям, находящимся в непосредственном соседстве с Германией... Можно долго глядеть на змею и остаться в своем уме: если змея проглатывает кролика — это, в конечном счете, обед. Но нельзя долго глядеть на кролика: остановившиеся глаза способны заразить безумием даже человека с воловьими нервами...»

Осенью 1961 года в Риме состоялась встреча «Круглого стола». Мы пытались убедить наших западных коллег, что нельзя вооружать вчерашних эсэсовцев. В один из вечеров итальянские друзья показали нам документальный фильм — историю фашизма. Дуче на балконе подымал руку и фиглярствовал, как дурной захолустный актер. Умирали люди в Абиссинии. Рушились дома Мадрида. Несли мертвых детей. По улицам Праги маршировали нацисты. Гитлер, узнав, что Франция капитулировала, хлопал себя по животу. Русские пленные умирали

---

* Стража на Рейне *(нем.)*.

в концлагерях. Еврейских девушек вели в газовые камеры... Потом была победа, и вот снова на экране буянят недобитые фашисты, снова умирает итальянский подросток. Сказка все еще не досказана. Я глядел на экран и вдруг подумал: да ведь это история моей жизни! Сорок лет прошли под знаком зверств, войн, погромов, концлагерей. Пушкин когда-то писал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Наверно, и тогда это было только мечтой: Рылеева повесили, Кюхля изнывал в ссылке. Да и сам Пушкин умер рано навязанной ему смертью. Но хоть помечтать он мог...

Весной 1935 года я меньше всего думал о «сладких звуках». Мы тратили дни и ночи на подготовку конгресса. Жизнь казалась идиллической, но жить по-прежнему я не мог: воздух стал другим. Еще не было ни мобилизаций, ни учебных тревог, ни пробных затемнений. А война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней.

11

Часто в моей тесной квартире на улице Котантен собирались французские писатели, занятые подготовкой конгресса: Андре Жид, Жан Ришар Блок, Мальро, Муссинак, Низан, Рене Блек.

У меня был пес Бузу, ласковый и лукавый, помесь спаниеля со скотчтерьером; на выставку его не взяли бы, но он был умницей — самостоятельно ходил в мясную лавку, где продавали конину, и там исполнял цирковые пируэты. Бузу любил Андре Жида, любил не бескорыстно: Андре Жид брал печенье и начинал длинную тираду, размахивая рукой; Бузу подпрыгивал и выхватывал лакомство. Андре Жид, не замечая происшедшего, брал другое печенье; так повторялось раз десять.

В те годы я часто встречал Андре Жида, бывал у него на улице Ванн, видел его на литературных собраниях, на рабочих митингах. Когда мы оставались вдвоем, он почти всегда говорил о себе. Казалось, я мог бы его хорошо узнать, но я его не узнал: он оставался для меня человеком с другой планеты.

Когда он увлекся политикой и объявил себя сторонником коммунизма, мне это показалось победой: Андре Жид был кумиром западной интеллигенции. Я радовался его участию в борьбе против фашизма; но даже в то время я добавлял, что до шестидесяти лет Андре Жид «не видел перед собой ничего другого, кроме отсветов собственной страсти». В 1933 году я писал о его романе: «Конечно, никого не может взволновать судьба героев романа «Фальшивомонетчики». Но существуют ли эти герои? Это роман о романе и о романисте, отнюдь не о людях... Это книга о книге: жизни в пустыне не оказалось».

Я не был одинок в моем восторге перед «обращением» Андре Жида. На московском съезде писателей Горький сказал: «Ромен Роллан, Андре Жид имеют законнейшее право именовать себя «инженерами

душ», а Луи Арагон кончил свою речь словами: «Мне остается передать вам приветствие от нашего большого друга — Андре Жида». Год спустя на Парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали, как Жида.

В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз, всем безоговорочно восхищался, а вернувшись в Париж, все столь же безоговорочно осудил. Не знаю, что с ним произошло: чужая душа — потемки. В 1937 году, будучи в Испании, я прочитал его статью — он обвинял республиканские власти в насилии. Я не выдержал и в сердцах назвал его «стариком со злобой ренегата и с нечистой совестью». Теперь все это далеко позади. Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своем жизненном пути. Конечно, я ошибался и когда прославлял его приход к коммунизму, и когда называл его ренегатом: порхание мотылька я принимал за чертеж архитектора. Не раз в этой книге я признавался в различных заблуждениях: слишком часто считал свои желания действительностью.

Может ли человек, прожив шестьдесят лет в пустыне, интересуясь только собой, вдруг переродиться, стать человеколюбцем, защитником социальной справедливости? Андре Жид не раз говорил мне, что для человека нет радости, когда вокруг него горе; эти слова меня трогали. Он говорил искренне, и в нем было обаяние. Все же я мог поверить в глубину, в длительность политических страстей Андре Жида только потому, что мне очень хотелось верить. Я не задумывался над его путем. В годы первой мировой войны он восхитился, когда его друг стал воинствующим католиком: «Ты меня опередил!» Пятнадцать лет спустя он повсюду повторял, что религия — злейший враг человека. Он походил на проповедника; у него были умные глаза, тонкие выразительные руки; его окружали книги, рукописи; он всегда носил в кармане маленький том Гёте или Монтеня; говорил, что изучает Маркса. А основной его чертой было величайшее легкомыслие. Одни восторгались его смелостью; другие, напротив, упрекали его в чрезмерной осторожности;

Э. Эррио и М. М. Литвинов в Лиге Наций

Андре Жид





а мотылек летит на огонь не потому, что он смел, и улетает от человека не потому, что осторожен, он не герой и не шкурник, он только мотылек.

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли: говоря о мотыльке, я отнюдь не пытаюсь преуменьшить талант или ум Жида. Однажды в своем дневнике он записал: «Я сомневаюсь, что бабочка после того, как она отложит яички, испытывает много удовольствия в жизни. Она порхает туда, сюда, подчиняясь ароматам, ветерку, своим желаниям...» Жиду, когда он это писал, было семьдесят два года; он считал, что сделал свое. Может быть, случайно он заговорил в дневнике о бабочке, не знаю: но образ удачен,— он был грандиозной ночной бабочкой с той редчайшей окраской, которая ослепляет и дотошного энтомолога, и мальчишку с сачком. (Жид рассказывал, что любил ловить ярких бабочек.)

Сколько я ни встречался с Андре Жидом, он всякий раз говорил о своем здоровье: боится простудиться, теперь грипп, не может пообедать в этом «бистро» — печень, печень... В огромном мире Андре Жид, встречая множество людей, замечал только одного — Андре Жида. Когда он умирал, в квартире на улице Ванн был его старый друг Роже Мартен дю Гар, который оставил «Записи об Андре Жиде», написанные с любовью, в них я нашел подтверждение моих куда более беглых наблюдений: «Он живет, погруженный в самого себя, озабоченный своими мелкими горестями...», «Он еще более сосредоточен на самом себе...»

О чем бы он ни писал — о Ницше или о Достоевском, о вымышленных героях или о близких друзьях, о гомосексуализме или о разгроме Франции,— он видел себя, собой восхищался или ужасался.

У него был превосходный язык — ясный, точный и в то же время своеобразный. Может быть, его успеху способствовал стиль — он ведь выступил, когда всем опостылели нарочитые туманности эпигонов символизма; другие подражали Малларме, а Жида прельстил Монтень.

Блистательный стилист, писатель большой эрудиции — все это бесспорно, и все же трудно себе представить, что между двумя мировыми войнами многие считали Жида учителем, совестью эпохи, чуть ли не пророком.

Его всегда увлекали редкостные казусы. В конце двадцатых годов он начал редактировать серию книг, посвященных различным преступлениям; смутно помню одну из книг этой коллекции — рассказ о женщине, замурованной своими близкими.

Всем известно, что на свете существуют люди, сексуальная жизнь которых является исключением. Андре Жид сделал из патологического казуса боевую программу. Он пошел на разрыв со многими друзьями, на неприятности, на газетную шумиху.

Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе: «Меня, наверно, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос об отношении к моим единомышленникам...» Хотя я знал особенности Жида, я не сразу понял, о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил: «Я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов...» Я едва удержался от улыбки; стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Он был протестантом, даже пуританином не

только по формации, но и по характеру, и вот он стал фанатичным моралистом аморальности.

Нет, не только стилем он привлекал читателей, но и беспощадностью духовного эксгибиционизма — самообнажения. Он очень поверхностно критиковал недостатки не только советского общества, которое увидел мимоходом, в качестве знатного туриста, но и хорошо ему знакомой буржуазной среды; зато, преклоняясь перед собой, он себя не щадил.

Летом 1936 года, будучи в Москве, он говорил студентам: «Так как здоровье мое слабое и я не могу надеяться на долгую жизнь, я был согласен оставить эту землю, не узнав успеха. Я охотно рассматривал себя как писателя, к которому известность приходит только после смерти, как это было со Стендалем, Бодлером, Китсом или Рембо... Молодежь новой России, теперь вы понимаете, почему я обращаюсь к вам, я ждал именно вас, для вас я писал новую книгу...» Как странно это перечитывать! Андре Жид узнал долголетье: он умер в восемьдесят два года. Да он и не принадлежал к тем авторам, которых открывают потомки,— его читали и почитали при жизни. Шведская королевская академия присудила «аморалисту» Нобелевскую премию. А теперь и во Франции читатели редко возвращаются к его книгам. Он видел себя пирамидой, а был он, несмотря на талант, на мастерство, на художественную смелость, только однодневкой, бившейся в мутное стекло...

Я говорил, что время все ставит на свое место. А я вспоминаю, как Андре Жид сидел у меня и говорил о «коммунистическом братстве», пока Бузу поглощал печенье, и мне становится почему-то жалко Жида. Он был очень одинок; его чтили, и никто, кажется, его не любил. Любил ли он кого-нибудь? После смерти были изданы некоторые страницы его дневника, которые при жизни он не хотел публиковать. Он писал, что любил свою жену. Женился он в молодости на кроткой, богобоязненной девушке и, женясь, знал о своем извращении. Жена его жила отдельно в деревне, он писал ей письма о своей любви. Однажды ему понадобились для первой книги мемуаров письма к жене, и он узнал, что жена их сожгла. Он записал в дневнике: «В течение целой недели я плакал с утра до ночи... Я себя сравнивал с Эдипом...» Я не сомневаюсь в искренности этих слез; он плакал не над предметом любви, но над своими признаниями — это был человек, который, если припомнить стихи Брюсова, «с беспечального детства» искал «сочетания слов». Пожалуй, никто не мог рассказать о нем злее, чем он сам.

При жизни он опубликовал дневники первых военных лет. Есть там страшные страницы; 5 сентября 1940 года, вскоре после оккупации гитлеровцами Франции, он писал: «Приспособиться к вчерашнему врагу не трусость, а мудрость... Тот, кто сопротивляется неизбежному, попадает в западню; зачем биться о решетки клетки? Для того чтобы меньше страдать от узости тюремной камеры, лучше оставаться посредине». Три недели спустя он себя утешал: «Если завтра, чего я опасаюсь, нас лишат свободы мысли или, по меньшей мере, свободы выражения мысли, я постараюсь себя убедить, что искусство, мысль потеряют от этого меньше, чем от чрезмерной свободы. Угнетение не может при-

низить лучших; что касается остальных, то это несущественно. Да здравствует подавленная мысль!»

Я убежден, что в 1930—1935 годы он искренне увлекался коммунизмом. Ему было холодно на свете, и его привлекла теплота рабочих митингов; как бродяга, он грелся у чужого костра. Помню его выступление на уличном митинге в предместье Вилльжюиф; он поднял кулак и застенчиво улыбнулся. Он никого не хотел обмануть, разве что самого себя.

В 1934 году Роже Мартен дю Гар после беседы с Жидом записал: «Какая неосторожность придавать столько значения присоединению человека, который по своей природе не годен для твердых убеждений, который всегда не там, где, казалось, он твердо осел накануне! Несмотря на искреннюю добрую волю, я сильно опасаюсь, что вскоре его новые друзья в нем разочаруются...» Мартен дю Гар хорошо знал Жида. А я поверил... Говорю это спокойно, без горечи: время — хороший врач.

А в 1935 году Андре Жид часто приходил ко мне; мы вместе подготовляли антифашистский конгресс писателей. Было бы глупым малодушием, восстанавливая те годы, вырезать из них тень шестидесятишестилетнего мотылька в крылатке, то с «Капиталом», то с томиком Еврипида в руке.

12

На московском съезде писателей я был рядовым участником; парижский конгресс я подготовлял. Сознание своей ответственности для меня было новым, и я волновался, как подросток. До последнего дня мы боялись, что все сорвется; писателей с именем отговаривали: конгресс — затея коммунистов; участники восстановят против себя не только критиков, издателей, редакторов, но и читателей.

Мы готовили конгресс по-кустарному — почти без денег, без помещения, не было ни секретаря, ни машинисток, приходилось самим переписывать, звонить по телефону, уговаривать, мирить. Больше всех работали Жан Ришар Блок, Мальро, Гийу, Рене Блек, Муссинак.

В своем выступлении на конгрессе М. Е. Кольцов напомнил, что первая международная встреча писателей состоялась тоже в Париже — в 1878 году. Михаил Ефимович добавил, что теперь русские писатели могут разговаривать с их западными собратьями по-другому — за их спиной больше нет ни каторги, ни всеобщей неграмотности, ни салтыковских помпадуров.

На писательской встрече, о которой упомянул Кольцов, присутствовали Гюго и Тургенев. Таких писателей на нашем конгрессе не было, но, кажется, их не было в 1935 году на свете. А нам удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых: Генриха Манна, Андре Жида, А. Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабеля, Арагона, Андерсена-Нексе, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс. В президиум Ассоциации, которую конгресс

создал, вошли Ромен Роллан, Горький, Томас Манн, Бернард Шоу, Сельма Лагерлеф, Андре Жид, Генрих Манн, Синклер Льюис, Валье Инклан, Барбюс.

Конгресс был очень пестрым: рядом с либеральным эссеистом Бенда сидел Вайян-Кутюрье, после скептического английского романиста Форстера выступал неистовый Арагон, испанский индивидуалист Эухенио д'Орс беседовал с Бехером, семидесятилетний немецкий критик Альфред Керр говорил о значении культурного наследства молоденькому Корнейчуку, друг и единомышленник Кафки Макс Брод обсуждал проект резолюции с Щербаковым, а в буфете Галактион Табидзе пил коньяк за здоровье растроганной Карин Михаэлис.

Конгресс продолжался пять дней, и неизменно огромный зал «Мютюалитэ» был переполнен; громкоговорители передавали речи в вестибюль; люди на улице стояли и слушали. Газетам, сначала решившим замолчать конгресс, пришлось уделить ему немало места. Даже Гитлер не выдержал и в гневе заявил: «Большевиствующие писатели — это убийцы культуры!»

Мне невольно вспоминается другой конгресс — тринадцать лет спустя во Вроцлаве; там не было парижской пестроты, а немногочисленные либералы или социалисты все время обижались, язвили, грозили покинуть заседание. Парижский конгресс назывался «В защиту культуры», вроцлавский — «В защиту мира». Конечно, фашизм пугал всех, но и война в 1948 году не была отвлеченным понятием.

Политическая обстановка в 1935 году благоприятствовала успеху нашей инициативы. Во Франции рождался Народный фронт. Один из организаторов конгресса, Андре Шамсон, был радикал-социалистом, занимал пост директора Версальского музея, и он с восторгом говорил о Советском Союзе, жал руку Вайяну-Кутюрье. Это не могло никого удивить: три недели спустя на площади Бастилии я увидел, как Даладье обнимал Тореза. Фашизм наступал. Просматривая в дни кон-

В президиуме Парижского конгресса писателей: Уолдо Фрэнк, Илья Эренбург, Анри Барбюс, Поль Низан. Париж, 1935 г.

И. Эренбург и Б. Пастернак на Парижском конгрессе. Париж, 1935 г.





гресса газеты, мы узнавали, что пятнадцать тысяч фашистов прошли по улицам Алжира, а над ними кружили фашистские самолеты, и что очередной «вождь» воскликнул: «Клянусь, не пройдет и месяца, как мы захватим власть во Франции!..» В Германии рубили головы строптивым. Хиль Роблес расправлялся с испанскими вольнодумцами. Италия открыто готовилась к нападению на Абиссинию. Это бесспорно, и я ни на минуту не забываю, что после второй мировой войны положение было куда более сложным — страх перед коммунизмом возрос, а в Америке еще только начиналась «охота за ведьмами». Все же, мне кажется, дело не только в этом.

Во Вроцлаве не было писателя Хаксли, но туда приехал его брат, биолог Джулиан Хаксли; право же, он был настроен ничуть не «правее», чем Олдос Хаксли в 1935 году, но с ним иначе разговаривали, ему казалось, что он попал по ошибке в чужой дом.

Во Вроцлаве я встретил очень мало участников парижского конгресса: Андерсен-Нексе, Бенда, Мархвица, Стоянов, Корнейчук, я — вот, кажется, все. Эссеист Бенда, неистовый рационалист, как-то сказал мне: «Видите, я все-таки приехал. Но я больше ничего не понимаю... Скажите, что стало с Бабелем, с Кольцовым? Я спрашиваю, мне не отвечают... Выступал ваш товарищ, он назвал Сартра и О'Нила «шакалами». Разве это справедливо, разве это попросту разумно? И почему мы должны аплодировать каждый раз, когда произносят имя Сталина? Я против войны. Я против политики Соединенных Штатов. Я ищу объединения, а мне предлагают присоединение... Но мне семьдесят восемь лет — для начальной школы это поздновато...»

Вернусь к парижскому конгрессу. Может быть, в известной степени его успеху содействовало поведение советских писателей. Трудно было пять дней подряд только и делать, что проклинать фашизм. Выступавшие говорили также о роли писателя в обществе, о традициях и новаторстве, о национальной основе культуры и общечеловеческих ценностях. Разумеется, всех интересовал советский опыт. Мне запомнились некоторые выступления наших писателей. Речь Кольцова была живой, веселой; он говорил о значении сатиры в советском обществе: «Нашего читателя возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, уравнивает всех людей на один фасон, заставляет их есть, надевать на себя, говорить, думать одно и то же». Лахути рассказал, что задолго до желтой звезды, придуманной немецкими расистами, в дореволюционной Бухаре евреи должны были подпоясываться «нахи ланат» — «поясом проклятья» и что теперь все народы Советского Союза объединяет «нахи вахдат» — «пояс братства».

Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психастению, он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. Он написал проект речи — главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на фран-

цузский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал.

Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил о поэзии: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффонадного и комедийного стихового театра... Багрицкий! Вот стих пламенный и простой. Стих убедительного образа, глубина настоящего волнения. Охотник, рыболов, партизан — он любил природу... Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений!»

(В очередном очерке для «Известий» у меня была такая фраза: «Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал стоя, долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». Полгода спустя один московский литератор, который, по его же словам, любил «капать» на товарищей, объявил, что я в Париже, приветствуя Пастернака, будто бы сказал, что «совесть только у него одного». Эта басня понравилась, и «Комсомольская правда» осудила не Тихонова, не участников парижского конгресса, аплодировавших Пастернаку, а меня. Во французской печати появилась заметка: «Москва дезавуирует Эренбурга». Я писал Щербакову, Кольцову — просил опровергнуть сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали: в чем дело? Это было четверть века назад — еще до 1937 года, и я наивно думал, что на все вопросы можно ответить.)

На Западе говорили (да и поныне говорят), что вся наша литература — агитка. В своем выступлении я сказал: «Мы прожили трудные годы — наши дни были окопами. Чувства людей не меняются сразу. Наша агитационная литература связана с памятью о прошлом. Зная, что враги могут напасть на нашу страну, мы создали Красную Армию. Но как бы ни было совершенно ее оружие, мы никогда не станем выдавать пушки за образцы советской культуры. Пушки имеются и у фашистов. Но у них не может быть наших красноармейцев. Агитационная литература — это военное снаряжение, она родилась в арсеналах буржуазии. Твердя о «чистом искусстве», буржуазия проклинала писателей-отщепенцев и баловала прирученных. Не «прóклятые поэты», а прирученные создали служебную литературу. Настоящее бескорыстное искусство, стремящееся не к сохранению социальной иерархии, а к развитию человека, мыслимо только в новом обществе... Мы пришли сюда с гордостью не за себя, а за наших читателей...» Два старейших писателя — Генрих Манн и Андре Жид,— сидевшие в президиуме, встали и подошли, чтобы пожать мне руку; это, конечно, относилось к советским читателям. Я разволновался и что-то пробубнил.

Мне то и дело приходилось уходить из зала: было много кропотливой работы. Возвращаясь на свое место, я неизменно слышал дружественные, а то и восторженные слова о советском обществе — они

исходили от различных писателей Запада: от Шамсона, католика Мунье, Манна, Жида, Геенно и других.

Были патетические минуты. Неожиданно на эстраде появился человек в черных очках, с наспех приклеенной черной бородой; это был немецкий коммунист, работавший в подполье. Романтику любят не только юноши; и зал неистовствовал; Андре Жид, переводивший речь подпольщика на французский язык, сбивался от волнения.

Стояли на редкость знойные дни — духота, грозы. В переполненном зале трудно было дышать, и не было ни минуты передышки. Ночью приходилось переводить выступления, писать отчеты для «Известий», а то утешать литератора, которому не дали слова.

В моем описании все выглядит строже, да и скучнее, чем было на самом деле. Мы жили в десяти планах. В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку. Почему-то полночи мы проспорили в маленьком кафе о социалистическом реализме; с нами сидел А. С. Щербаков, он боролся со сном и вдруг сказал: «Ну зачем спорить? Ведь все сказано в уставе...» Лахути поднес Андре Жиду таджикский халат, тюбетейку, и, увидав автора «Коридана» в непривычном одеянии, мы вдруг поняли, что он должен сидеть в чайхане и примеривать вечность, а не выступать на митингах. Бабель с увлечением рассказывал Андре Триоле о необычайном жеребце. Галактион Табидзе купил редкие издания Бодлера и Рембо; по-французски он не читал, но любовно гладил страницы. Брехт и Мальро говорили о том, может ли войти смерть в жизнь. В маленьком баре возле «Мютюалитэ», куда мы забегали, чтобы выпить ледяной лимонад, влюбленные целовались; а громкоговоритель передавал, что сейчас выступит драматург Ленорман; и я с завистью глядел на парочку, глядел и думал, что мой дядюшка Лева, антрепренер бродячего цирка, любил говорить: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит!..»

В кулуарах вдруг стало тихо: сейчас выступят сюрреалисты — они решили сорвать конгресс...

Накануне открытия конгресса мы узнали о самоубийстве молодого писателя-сюрреалиста Рене Кревеля. Я с ним иногда встречался, знал, что он болезненно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Рассказывали: отравился, оставил короткую записку: «Все мне опротивело...»

Потом от его друзей — от Клауса Манна, от Муссинака — я узнал, что, сам о том не подозревая, сыграл в этой трагической истории некоторую роль. Я написал резкую статью о сюрреалистах. Мы сидели ночью в кафе, я вышел, чтобы раздобыть пакет табака. Когда я переходил улицу, подошли два сюрреалиста, один из них ударил меня по лицу. Вместо того, чтобы ответить тем же, я глупо спросил: в чем дело?.. Все это было в нравах сюрреалистов, и вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кревеля. Конечно, капля не чаша, но мне тяжело об этом вспоминать.

На конгрессе Арагон прочитал речь Кревеля. Все встали. Ему было всего тридцать пять лет. Вот и выходит, что писатели даже на конгрессе не обошлись без самоубийства...

Элюар потребовал слова. Зал всполошился: начинается!.. Кто-то истошно кричал. Муссинак, который председательствовал, спокойно предоставил слово Элюару, бывшему тогда правоверным сюрреалистом. Элюар прочитал речь, написанную Бретоном; в ней, разумеется, имелись нападки на конгресс — для сюрреалистов мы были консерваторами, академиками, чинушами. Но полчаса спустя журналисты разочарованно отправились в буфет — все кончилось благополучно: мы понимали, что беда не в Бретоне, а в Гитлере.

Мне запомнилась речь английского романиста Форстера. Он говорил: «Будь я моложе и смелее, я, может быть, стал бы коммунистом... Если разразится новая война, то писатели, верные принципам либерализма и индивидуализма, вроде Хаксли и меня, будут попросту сметены. Мы ничего не можем против этого сделать, мы будем ржавыми иголками класть заплаты, пока не разразится катастрофа». (И молодой Хаксли и пожилой Форстер пережили вторую мировую войну. А если «ржавые иголки» теперь в меньшем спросе, то знатоки уверяют, что дело не столько в сдвигах сознания, сколько в конкуренции телевидения.)

Речь Кольцова была, разумеется, куда оптимистичнее. Обращаясь к фашистам, он вспомнил французскую поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кольцов не увидел развязки. Фашистов действительно разбили, но 9 мая 1945 года мы не смеялись. Помню женщину на Красной площади, она тихо показывала всем фотографию ее сына, погибшего на Волге.

(Я прервал работу над этой главой почти на месяц: Рим, Варшава, Лондон; встречи, заседания, конференция — разоружение, ядерные бомбы, Бонн, реваншисты... Передо мною были не писатели, а самые различные люди — американский сенатор, лейбористы, физики, итальянские депутаты, Жюль Мок, священники, профсоюзники. Конечно, мне хочется дописать эту книгу, но если можно убедить хотя бы десяток людей, что нет другого выхода, как уничтожить все бомбы, распустить все армии, то бог с ней, с книгой,— куда важнее судьба подростков: перед ними их люди, их годы, их жизнь.)

Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат; из советских в него вошли Кольцов и я. Михаил Ефимович сказал мне: «Поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам». Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил: «Ругать будут тоже вас...»

О том, как меня ругали, я уже упоминал. Да и в работе не было недостатка. Мы устраивали митинги, лекции, диспуты — в Париже, в провинции. Время благоприятствовало: это был медовый месяц Народного фронта. Я выступал с докладами в Париже, в Лилле, в Гренобле.

На парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапеком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум Ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил: «Вы, наверно, слышали пражский анекдот: в солнечный день Чапек

идет по Пришкопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает: «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах, мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются, в метро или в автобусе не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху, общество теснит человека, один народ наваливается на другой...»

Секретарем Союза чешских писателей был тогда поэт Гора; он предложил включить в нашу Ассоциацию чешский союз. Я был на съезде писателей Словакии, они тоже вошли в Ассоциацию.

В Испании с нами были почти все молодые писатели: Лорка, Альберти, Бергамин. Я встретился с моим давним приятелем Гомес де ля Серна, который чурался политики; мне удалось уговорить его войти в Ассоциацию.

В июне 1936 года в Лондоне состоялся пленум секретариата. Мы были настроены радужно; обсуждали всевозможные проекты: создание международных литературных премий, бюро для переводов на различные языки лучших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии, которая, по замыслу Бенда, Мальро, Блока, должна была стать тем, чем была энциклопедия Дидро, Вольтера, Монтескьё для людей второй половины XVIII века.

Неожиданно на наше собрание пришел Герберт Уэллс. Я с ним познакомился летом 1934 года на даче М. М. Литвинова. Беседуя с Максимом Максимовичем, с Эйзенштейном, со мной, он говорил, что многое у нас ему понравилось, и это, видимо, его раздражало — он не любил, чтобы действительность шла вразрез с его прогнозами. Он многое умел предугадывать, был дальнозорким: если Андрей Белый говорил в 1919 году об атомной бомбе, это было предчувствием поэта, а когда Уэллс в 1914 году описал применение в будущей войне атомного оружия, это можно назвать научным прогнозом. Он дорожил логикой и к диалектике относился подозрительно. На даче у Литвинова, разговаривая с дочкой Максима Максимовича, озорной девочкой Таней, он вдруг становился естественным, даже добрым.

Войдя в зал заседаний, Уэллс положил шляпу на стол и тотчас вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями. Он рассказал анекдот о трех портных, которые вздумали выступать от имени Великобританской империи. Кончив говорить, он взял шляпу и вышел из зала.

Конечно, в своем скептицизме он был прав: мы не составили и первого тома энциклопедии, не учредили литературных премий. Мы даже ничего не сделали для поощрения переводов. Бергамин предложил созвать Второй Международный конгресс в Мадриде в 1937 году; это предложение приняли. Мы не знали, что через три недели в Испании начнется страшная, разрушительная война. Но из всех наших решений мы осуществили только одно: Второй конгресс действительно собрался в 1937 году в Мадриде, и мы заседали, обстреливаемые фашистской артиллерией.

Ассоциация сделала свое дело: она помогла писателям, да и многим читателям, понять, что начинается новая эпоха — не книг, а бомб.

13

Ранней осенью 1935 года я писал в «Известиях» о Франции и Париже: «Я долго думал: почему сейчас так печальна эта земля? Ее красота только оттеняет печаль. Прекрасны старые вязы или ясени среди поляны. С яблонь падают красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленую, как детство. Белые крестьянские домики обвиты глициниями... «Жизнь так коротка» — это поет под моим окном застенчивый неуклюжий подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сшили. Он пришел на эту землю слишком поздно: все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места — от кресла сенатора до ящика, в котором роется мусорщик. Он может только петь натощак «Жизнь так коротка»... Их много, они родились, как все, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы и глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами. Потом оказалось, что они выросли зря... Ночью в Париже, вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип снастей... Кружится голова: черна ночь Европы. Грусть веков скопилась на маленьком отрезке земли, как в шкатулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и сирены заводов; они как будто повторяют: «Тебя ждут высокие дела, борьба, будущее!..»

О судьбе Франции, Парижа я думал и в небольшой мастерской, загроможденной холстами, рухлядью с «блошиного рынка» (так зовут парижскую толкучку), кувшинами, глядя на пейзажи Р. Р. Фалька. Парижей много: мы знаем омытый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идиллический и захолустный Париж Утрилло. А Париж Фалька — тяжелый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой. Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы, чужой ему город.

Я познакомился с Робертом Рафаиловичем в начале тридцатых годов, а особенно часто мы встречались и подолгу беседовали в последний период его жизни. Но вот я рассказываю о нем, отрываясь от событий 1935 года: тогда я впервые почувствовал всю силу его живописного голоса. Он вытаскивал из закоулков мастерской десятки холстов, высокий, худой, с печальным, даже унылым лицом, которое порой освещала легкая стыдливая улыбка, и я, восхищаясь живописью, по-новому видел окружавший меня мир — людей, эпоху, пестрое чередование событий, неразборчивую стенограмму века.

(Когда я писал роман «Падение Парижа», на стене передо мной висел парижский пейзаж Фалька. Часто, оставляя рукопись, я глядел

на него — дома, дым, небо. Может быть, я не написал бы некоторых страниц, если бы не холст Роберта Рафаиловича.)

Я признавался в этой книге, что жил в десяти планах, разбрасывался, торопился; я валил все на эпоху, а может быть, виноват был я. Ведь Фальк — мой современник (он был всего на три года старше меня), а он работал сосредоточенно, упрямо, фанатично. Шестнадцатилетним подростком он уже сидел, восхищенный, у подмосковного прудика и писал первые пейзажи. Он работал до самой смерти, исступленно, мучительно, уничтожая холсты, в десятый раз замазывая; соскребал краски, нараставшие, как струпья, и снова писал; в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все двери; работал, не думая, выставят ли его холсты,— говорил не потому, что перед ним был набитый людьми зал, а потому, что у него было много что сказать.

Есть художники, которые легко, быстро пишут,— я говорю сейчас не о халтурщиках, а о подлинных художниках; они пишут потому, что, как говорил Роберт Рафаилович, у них «хорошо поставлены глаза». Кто не встречал человека, который охотно рассказывает только потому, что умеет связно и образно говорить. Древние греки восхищенно отзывались об ораторском даре Демосфена, а он по природе был косноязычен. Фальк в каждой работе преодолевал живописное косноязычие. Но его трудолюбие не похоже на пот Брюсова, назвавшего свою мечту «волом»: мечта Фалька была ретивой, и он стремился ее обуздать, подчинить законам искусства, своим мыслям. Он любил стихи Баратынского о скульпторе:

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

Пожалуй, он напоминал одного из своих наиболее любимых предшественников — Сезанна — невероятной работоспособностью, тяжестью, сочетанием мягкости с неуживчивостью, отшельничеством. Но Роберт Рафаилович был человеком и другой эпохи, и другой земли. Он говорил о Сезанне: «Величайший художник! У него было абсолютное зрение... А если говорить о человеке, в нем были черствость, сухость, эти черты довольно часто встречаются у французов. Думаю, что эти душевные свойства окрасили и живопись Сезанна...»

Роберт Рафаилович знал традиции русской литературы, русской музыки, да и по природе он был человечным, никогда не оставался холодным соглядатаем жизни — волновался, страдал, радовался.

Он любил Врубеля. Учителем Роберта Рафаиловича в Художественном училище был К. А. Коровин. (Фальк рассказывал, что

в Париже встречался с Коровиным. Константину Алексеевичу было уже семьдесят пять лет, но он работал, искал и говорил Фальку: «Знаешь, кто теперь самый большой художник во Франции? Сутин!») Начал Фальк выставляться в группе «Бубновый валет» вместе с Кончаловским, Ларионовым, Лентуловым, Гончаровой, Малевичем, Машковым, Куприным, Рождественским, Шагалом. Распространено мнение, будто бубнововалетцы слепо подражали французам, а это было большое, вполне самостоятельное явление в русской живописи, которое еще до сих пор не нашло грамотного и честного исследователя. Конечно, Фальк в то время отдал дань кубизму, порой несколько обобщал предметы, но его пейзажи не имели ничего общего с геометрией; они были выражением чувств молодого художника.

Фальк жадно присматривался к жизни. Как я говорил, в Париже он прожил всего девять лет и за это время сменил четырнадцать адресов, из одной мастерской или мансарды перебирался в другую; объяснял, что районы Парижа не похожи один на другой и что ему хотелось не только повидать, но и пожить в четырнадцати различных городах.

Он знал глухие переулки Москвы, пески и камни Средней Азии, различные русские города — охотно колесил. Отшельник в живописи, в жизни он был общительным, встречался со множеством людей, внимательно слушал споры, рассказы, исповеди.

Роберт Рафаилович любил труд преподавателя; учившиеся у него — и в двадцатые и в сороковые годы — говорят, что он делился с начинающими художниками не только опытом, но и находками, прозрением, вкладывал в уроки душу.

В отрочестве он мечтал стать музыкантом, всю жизнь обожал музыку. Он любил и поэзию — я часто говорил с ним о стихах; он сразу схватывал внутренний ритм стиха, может быть потому, что в живописи искал ритм.

Поль Сезанн, необычайно зоркий в своем ремесле, ничего не знал, кроме холста и красок. Общественные события его оставляли равнодушным. Много смеялись над Золя, который не понял своего школьного товарища, считал Поля неталантливым, да и не очень-то умным. Смеялись справедливо. Но можно добавить, что Сезанн тоже не понял Золя, перевернувшего построение романа, пробовал почитать и бросил — показалось скучным. А Фальк и многое знал, и многим интересовался. Париж на его холстах («не город, а пейзаж») был таким, каким он его и видел и понимал. В 1935 году он говорил: «Франция обречена. Трудно работать, не хватает воздуха. Пора домой...» Ему тогда жилось хорошо: его выставляли, критики много писали о нем, коллекционеры покупали его холсты. Но, равнодушный к деньгам, к славе, он остро воспринимал воздух эпохи, настроение окружающих. Он знал, что Франция не выстоит, твердо это знал, и когда, после падения Парижа, я вернулся в Москву, расспрашивал меня о деталях — самою историю он знал давно, и не только по сообщениям газет.

Он как-то сказал мне: «Я думаю о многом до того, как сажусь за работу, думаю о человеке, которого пишу, да и об эпохе, о пейзаже, о политических событиях, о стихах, о бабушкиных сказках, о вчерашней

газете... Когда я пишу, я только гляжу, но я вижу многое иначе именно благодаря тому, что думал, продумал...» Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят. Пикассо как-то сказал, что он изображает мир таким, каким он его мыслит. Фальк видел так, как мыслил. Он не искал иллюзорного сходства, говорил, что не любит термина «изобразительное искусство» — предпочитает «пластическое искусство»: живопись для него была не изображением, но отображением, созданием реальности на холсте.

Фальк писал в одном из писем: «Произведения Сезанна не подобья жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных зрительно-пластических формах. Кубисты считают себя его преемниками. С моей точки зрения, они узурпаторы его искусства. Я не люблю, откровенно говоря, абстрактную живопись. Абстракция даже у самых талантливых художников ведет к схеме, к произволу, к случайности... Элементарно говоря, я — реалист... В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн. Из более поздних имен меня особенно притягивает Руо...»

Фальк недолюбливал декоративность в живописи; о таком художнике, как Матисс, он говорил с уважением, но и с холодом. Он искал раскрытия предметов, природы, человеческих характеров. Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной: цветом он передает сущность модели, цвет создает не только формы, пространство, он также показывает «незримую сторону Луны» — писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография.

В 1946 или в 1947 году Фалька зачислили в «формалисты». Это было абсурдом, но в те годы трудно было чем-либо удивить. «Формалиста» решили поставить на колени; помню заявление одного из тогдашних

Марина Цветаева с сыном. Париж, 1935 г.
Парижский пейзаж Р. Фалька
Р. Фальк. Автопортрет. 1957 г.
Р. Фальк. Подмосковье, 1948 г.





руководителей Союза художников: «Фальк не понимает слов, мы его будем бить рублем...» Вот это изумило меня даже в то время: человек «рубля» не знал, с кем имеет дело. В жизни не встречал я художника столь безразличного к разным благам, к удобствам, к достатку. Фальк сам варил горох или картошку; годами ходил в той же протертой куртке; одна рубашка была на нем, другая лежала в старом чемодане. В обыкновенной, прилично обставленной комнате он чувствовал себя неуютно, жил в запустении, а дорожил только красками и кистями.

Его перестали выставлять. Денег не было. Он считался заживо похороненным. А он продолжал работать. Иногда в его мастерскую приходили любители живописи, молодые художники; он всех впускал, объяснял, стыдливо улыбался.

Он писал в 1954 году: «Только теперь, мне кажется, я созрел для настоящего понимания Сезанна... Как грустно и обидно! Прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать. Но нужных сил больше нет, их будет все меньше и меньше...» Эти слова показывают, как Фальк был требователен и суров к себе — до последнего часа.

Все больше и больше накапливалось холстов в длинной сумрачной мастерской возле Москвы-реки. Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время подымался — до самой смерти. (Как-то он сказал, что Коро написал лучшую свою работу в возрасте семидесяти шести лет. Роберт Рафаилович умер в семьдесят.) Он болел, осунулся, с трудом ходил и все же продолжал работать. Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа, вскоре после выставки, привезли Фалька — в гробу. Люди стояли и плакали — знали, что потеряли.

Теперь выходят книги, которых ни за что не издали бы десять лет назад; строят современные дома. А холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке...





14

Четырнадцатого июля 1935 года, вскоре после конгресса писателей, Париж увидел небывалую демонстрацию: это был военный смотр Народного фронта. Весь день я бродил по улицам, иногда забегал в кафе — писал отчет, который должен был на следующий день пойти в «Известиях». Демонстрация началась утром на площади Бастилии, и колонны шли к Венсенскому лесу, находящемуся всего в нескольких километрах от этой площади; столько, однако, было народу (газеты потом давали различные цифры, в зависимости от направления,— шестьсот — семьсот — восемьсот тысяч), что последние демонстранты дошли до заставы только к ночи. Лидеры еще недавно враждовавших партий шли рядом — Торез и Блюм, Даладье и Кашен. Шли также ученые, писатели: Ланжевен, Перрен, Риве, Арагон, Мальро, Блок.

На Елисейских полях в тот день демонстрировали фашисты; они лихо маршировали, подымали руки, стараясь во всем походить на гитлеровцев; кричали: «Да здравствует де ля Рокк!» — так звали полковника, вождя «Боевых крестов».

«Де ля Рокка к стенке!» — скандировали люди на площади Бастилии. Скрытая гражданская война разгоралась. Мало кто интересовался правительством, во главе которого стоял юркий Лаваль; он подписывал соглашения с Муссолини, с Советским Союзом, хотел перехитрить и Народный фронт и де ля Рокка, отодвинуть хотя бы на год-другой развязку.

Мне казалось, что мирные времена далеко позади. Еще год назад утром я прежде всего читал письма; теперь я засовывал конверты в карман и, купив газету, здесь же на улице ее разворачивал. Радиоприемник поселился в моей комнате и заполнял ее голосами незнакомых людей, спешивших поделиться со мной тревожными вестями. Ночные часы у этой проклятой коробки были мучительными; речи Гитлера или Муссолини, отчеты о стычках с фашистами на улицах французских городов перебивались рекламой — радиовещание еще было в руках различных частных компаний; почему-то до сих пор помню песенку, прославлявшую целительные свойства «Бальдофлорина», забыл, от каких именно болезней он должен был исцелять, но меня это слово «Баль-до-флорин» между криком дуче: «Пролетарская и фашистская Италия, вперед!» — и описанием казни топором в Гамбурге выводило из себя.

Седьмого сентября Париж снова вышел на улицы: хоронили умершего в Москве Анри Барбюса. Похороны стали демонстрацией.

Конечно, сотни тысяч людей больше думали о предстоящих боях, чем о погибшем писателе: они знали, что Барбюс был смелым товарищем, коммунистом, автором книги о Сталине; сорокалетние помнили «Огонь», рассказавший о судьбе верденского поколения. Барбюс был сложным человеком, нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой: «С капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее...» Однако он умел бороться и с собой. В одном из выступлений он сказал о судьбе «скром-

ных знаменосцев», к которым причислял себя. В тот сентябрьский день он стал знаменем. Военных инвалидов везли в колясках. Женщины подымали к небу грудных детей. Из окон рабочих домов вылетали красные флажки, а где не было флагов, выставляли красные шторы или подушки. На гробу среди пышных южных цветов лежали осенние астры, георгины — цветы Подмосковья.

Мне запомнилась группа людей, которые несли полотнище: «Рабочие Лана не потерпят фашизма!» Скептик мог бы усмехнуться: Лан — небольшой город, в нем нет и двадцати тысяч жителей. Но в этом была своя правда: Франция переживала необычайный подъем, каждый верил, что будущее зависит и от него.

В феврале 1936 года «королевские молодчики» (так называли одну из крайне правых организаций) напали на Леона Блюма, избили его и почему-то в качестве трофеев уволокли шляпу и галстук.

Возмущенные демонстранты двинулись к Пантеону, где покоится прах Жореса, убитого одним из предшественников фашизма. Вокруг Пантеона собрались студенты, входившие в фашистские организации. Было много перебранок. Сотни тысяч рабочих, служащих, интеллигентов еще выше подымали красные флаги, сжимали кулаки.

В одной из колонн я увидел Марселя Кашена и подошел, чтобы поздороваться. Рабочие, стоявшие на набережной, кричали: «Здравствуй, Кашен! Они тебя не посмеют тронуть! Мы тебя отстоим!» Кашен махал рукой, смущенно улыбался.

(Однажды я встретил Кашена в кафе — это было в 1932 или 1933 году,— он сидел с Ланжевеном и художником Синьяком, рассказывал про свою встречу с Лениным. Я вдруг подумал: эти люди пришли в наш век издалека, все поняли и ничего не растеряли... Кашена любили: он как бы собой доказывал, что большая культура может уживаться с повседневной революционной борьбой и что коммунизм не означает ни душевной сухости, ни ограниченности, ни повадок кандидата в вожди.)

Я часто бывал на различных митингах, собраниях; требовали освобождения Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами. Говорили опытные ораторы и подростки, Андре Жид, Ланжевен или Мальро и домашние хозяйки. На одном из собраний в горном бассейне Дофинэ, когда все уже было сказано и пересказано, старый рабочий с синими жилками на лице попросил слова; поднявшись на трибуну, он дрожащим старческим голосом запел: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года:

Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на древке.

В душных залах, набитых незнакомыми мне людьми, я тоже подымал кулак, и в нем тоже билась, как бабочка, надежда тех месяцев. Для

надежд было много оснований. Рабочие меня поражали своей зрелостью. Расскажу об одном эпизоде. В Лилле я познакомился с доктором, одним из организаторов общества дружбы «Франция — СССР». Он меня повез в поселок Ланнуа неподалеку от Рубэ; там была большая льнопрядильня. Союз предпринимателей ввиду продолжавшегося кризиса решил закрыть ряд фабрик и уничтожить оборудование. Рабочие и работницы отправили письмо Лавалю: «Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми... Мы будем следить за тем, чтобы машины, являющиеся общим достоянием, сохранились в неприкосновенности». Я увидел рабочих, охранявших фабрику от ее владельцев. Мастер с седыми усами сказал мне: «Я читал в «Юманите», что Горький теперь пишет историю русских заводов. Расскажи ему, что мы живем при капитализме, машины принадлежат не нам, а мерзавцам, но мы их ни за что не отдадим, это — народное добро. По-моему, такой писатель, как Горький, может в своей книге отметить этот факт...»

На глазах происходило чудодейственное сближение партий, профсоюзов, людей. Передо мной пожелтевший номер «Юманите» со списком тогдашних сотрудников ее литературного отдела: театральные режиссеры Жуве и Дюллен, художник Вламинк, писатели Жид, Мальро, Шамсон, Геенно, Жионо, Дюртен, Вильдрак, Кассу. Теперь мне это кажется неправдоподобным.

Рабочим удалось (ненадолго) заручиться поддержкой значительной части интеллигенции, крестьянства, мелкой буржуазии. Я увидел это в шахтерском поселке Ля Мюр возле Гренобля. Там была забастовка, длилась она долго — хозяева хотели взять горняка измором. Стачечный комитет помещался в здании мэрии; туда приходили крестьянки — брали детей шахтеров к себе. Был базарный день, и крестьяне привезли забастовщикам подарки: картошку, яйца, сало, гусей. На собрании местный парикмахер объявил, что будет бесплатно стричь и брить забастовщиков. Шахтеры в итоге выиграли забастовку.

Одновременно чуть ли не каждый день приходилось наблюдать, как быстро формируется другой лагерь. Может быть, не так уж много было во Франции фашистов, но они шумели, дрались, нападали из-за угла. Некоторые из них носили короткие усики и называли себя «насистами»; у других было изображение черепа на рукаве, и они себя звали «франсистами». Открыли в Париже «Синий дом» — в Берлине ведь имелся «Коричневый».

Германия ввела войска в прирейнскую демилитаризованную зону. Лига Наций обсуждала этот поступок много месяцев и в итоге ничего не решила. Каждый вечер треклятый радиоприемник передавал хриплые выкрики: «Мемель наш! Страсбург наш! Брюнн (Брно) наш!» И вот не молодчики с подстриженными усиками, а добродетельные отцы семейств начали поговаривать, что мир куда дороже, чем какая-то Чехословакия, что Народный фронт приведет к войне, что пора унять левых «крикунов». Италия каждый день захватывала кусок Абиссинии; фашисты вели войну цинично, бомбили госпитали, пустили в ход отравляющие газы. Лига Наций применила к Италии экономические санкции;

по существу это осталось резолюцией; но фашисты в Париже каждую неделю устраивали демонстрации под лозунгом «Долой санкции!». Опять-таки средние французы со средним достатком, а их во Франции немало, говорили: «Зачем ссориться с Италией? Это наша латинская сестра. Муссолини поможет успокоить Гитлера...» А по радио стоял вой: «Средиземное море наше! Корсика наша! Ницца наша!» На самом деле средние французы боялись победы Народного фронта, им мерещились потерянная рента, уплотнение квартир, колхозы.

Когда в кино показывали итальянские победы в Эфиопии, в рабочих районах публика отчаянно свистела, в буржуазных многие зрители аплодировали. Иногда в темном зале начиналась драка.

Спорили друг с другом незнакомые люди — в кафе, в метро, на улице. Раскалывались семьи, обрывались дружеские отношения.

Все говорили, что скоро будет война, и все требовали мира. Национальный фронт правых партий клялся, что не допустит войны. Народный фронт готовился к выборам с лозунгом «Мир. Хлеб. Свобода». Правые уверяли, что коммунисты хотят атаковать фашистские страны. Все перепуталось. «Патриотическая молодежь» пела «Марсельезу», требовала, чтобы воспитание шло в духе национальных традиций, и одновременно устраивала демонстрации с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Дружба с Италией!» Англичане настаивали на применении санкций к Италии (они, однако, старались ничем не обидеть Гитлера), и писатель Анри Беро опубликовал памфлет в правой газете «Необходимо обратить англичан в рабство!». Рабочая молодежь предпочитала «Марсельезе» «Интернационал» и выступала против итальянских фашистов, против Гитлера, обличала «двести семейств», которые хотят предать Францию.

Однажды, раскрыв газету, я увидел обращение правых писателей, пытавшихся оправдать нападение фашистов на Абиссинию «культурной миссией Италии». Среди подписавшихся было имя одного писателя, моего друга двадцатых годов, человека, которого я не мог заподозрить в симпатии к чернорубашечникам. Я написал ему возмущенное письмо. В ответ он прислал длинное, запутанное и, наверно, искреннее письмо. Оно погибло с другими письмами, когда гитлеровцы оккупировали Париж. Сохранились только выдержки, которые я привел в газетной статье, не называя автора: «Я не знаю, что такое фашизм и каковы его цели. Вам это покажется невероятным, но вот уже три недели, как я не читаю газет. Мне за пятьдесят, и у меня больше нет убеждений, я говорю об искренних убеждениях, способных заставить человека пойти на жертвы... Я меняю убеждения по двадцати раз в день...» Вместо того чтобы поехать к моему другу и заставить его в двадцать первый раз изменить свои убеждения, я рассердился. Это хороший писатель и хороший человек, но больше мы с ним не встречались.

Я жил в каком-то непрестанном возбуждении. Полгода спустя я написал маленькую книгу рассказов и озаглавил ее «Вне перемирия». Мне казалось, что существует некое негласное перемирие с фашизмом, и я думал о том, что судьбы людей, с которыми я был связан, не подпа-

дают под условия этого перемирия. В статье для «Известий» я писал: «Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых полуистлевших листочках останутся гнев, стыд, страсть. Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос...»

Конечно, в конце 1935 года я не мог знать, что главные испытания впереди. Я только чувствовал, что развязка будет трагичной, и статью кончил словами: «Надежда мира — Красная Армия».

Во Франции в тот год стояла удивительная осень; гремели грозы, в садах вторично зацвели вишни. Я глядел на тщательно обработанные садики, на белые домики с черепичными крышами, на мир милый и хрупкий, может быть обреченный, глядел из окна вагона — газета дала мне отпуск, и я ехал в Москву.

15

Вскоре после моего приезда в Москву редакция дала мне билет на совещание рабочих-стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а Большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом вполголоса; никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит Стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых.

Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро — их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: «Великому Сталину ура!» — и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: «Сталину слава!» Мы вскочили и снова зааплодировали.

Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивался, иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко посвечивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю — все время гляжу на Сталина. Оглянувшись, я увидел, что тем же заняты и другие.

Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Сталин — большой человек, но он коммунист, марксист; мы говорим о новой культуре, а смахиваем на поклонников шамана, которых я видел в Горной Шории... Тотчас я себя оборвал: наверно, я рассуждаю по-интеллигентски. Сколько раз я слышал, что мы, интеллигенты, ошибаемся, не понимаем требований времени! «Интеллигентик», «путаник», «гнилой либерал»... И все-таки непонятно: «мудрейший руководитель», «гени-

альный вождь народов», «любимый отец», «великий кормчий», «преобразователь мира», «кузнец счастья», «солнце»... Однако мне удалось убедить себя, что я не понимаю психологии массы, сужу обо всем как интеллигент, притом проживший полжизни в Париже.

На совещании Сталин сказал: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». Эти слова приподняли всех — ведь в Кремлевском дворце сидели не манекены, а люди, и они радовались, что к ним будут подходить бережно, любовно...

Прошло несколько дней. Я встретил живых, интересных людей. Долго разговаривал с ткачихой Дусей Виноградовой. Она оказалась умной и удивительно скромной; почести, аплодисменты, фотографы не вскружили ей головы. Я решил, что овации в Кремлевском зале — своеобразное выражение чувств, своего рода присяга. Ведь не коробит меня, что на парижских митингах люди стоят с поднятыми кулаками, без конца скандируя: «Ле совье пар-ту!» Борьба против фашизма была настолько реальной, так меня захватывала, что я посмеялся над собой: до чего глупо было огорчаться!

Я встречался с писателями, художниками, режиссерами и невольно ввязался в спор — искусство оставалось для меня кровным делом, ввязался с горячностью, да и неуклюже: плохо разбирался в положении, снова принимал свои желания за действительность.

Побывав в клубе «Динамо», в университете, у тимирязевцев, в районных библиотеках, где происходили обсуждения моей повести, я писал: «Я слышал, что говорили о литературе рабочие, вузовцы, красноармейцы. Уровень наших читателей куда выше, чем это предполагают наши писатели». Мне казалось, что читатели выросли и что слишком часто мы им подсовываем книги для подростков. Вероятно, я несколько забегал вперед, но на читательских конференциях я встретил людей с глубокой внутренней жизнью, с большими требованиями.

Может быть, в моих словах сказалось и недовольство собой, повестью «Не переводя дыхания», которая была не только посвящена зеленой молодости, но и написана как-то зелено, упрощенно, будто автору не сорок четыре года, а вдвое меньше. Неловкость я испытывал и, читая книги некоторых моих сверстников, частенько думал, что пора нам писать для взрослых и по-взрослому.

В статье я выступил против обязательной «доходчивости» — слово тогда входило в обиход: «Наши читатели растут, как трава в сказках,— бурно и неожиданно. Надо стараться поднять читателя, даже самого отсталого, до уровня подлинной литературы, а не отменять подлинную литературу, говоря, что такой-то писатель непонятен такому-то читателю. Автор, который ориентируется на так называемого «среднего читателя», сплошь да рядом оказывается в дураках: пока он сидел и писал, читатель успел вырасти. Автор мечтал о доходчивости, о массовости, а читатель, взяв в руки его произведение, говорит: «Скучно, плоско, давно известно, шаблонно...» Секрет нашей удивительной страны в том, что у нас нельзя ставить на «сегодня»: тот, кто ставит на «сегодня», оказывается во «вчера». Надо ставить на «завтра».

«Известия» статью напечатали. Издательство «Советский писатель» решило переиздать мой старый роман «Хуренито». («Хуренито» действительно был переиздан, но не в 1935 году, а в 1962.) Некоторые критики меня поругивали; я огрызался. Мне казалось, что спор о литературе, об искусстве только-только начинается.

Художники устроили диспут о портрете. Я пошел и выступил против академической живописи, против холстов, напоминающих фотографии, защищал право на искания нового живописного языка. Я сказал, что буржуа, когда он не понимает произведения искусства, неизменно винит художника, а рабочий говорит: «Нужно еще раз прийти — посмотреть получше...» (Эти слова я как-то подслушал в Музее западной живописи.) Некоторым художникам мои мысли не понравились; один выступил с разоблачением: «Эренбург так рассуждает потому, что его жена — ученица Пикассо». (Люба была польщена — она ведь никогда не училась у Пикассо.)

В Доме кино я сказал, что мне очень нравится «Чапаев», но этот фильм — завершение предшествующей блистательной эпохи советской кинематографии; я знаю смелость Эйзенштейна, Довженко и многого жду от этих художников. Газета «Кино» определила мои мысли как «старые заблуждения по новому поводу» и сердито меня одернула.

Я увидел новую постановку Мейерхольда и восхитился: Всеволод Эмильевич воистину обладал неиссякаемой фантазией. Комедия Грибоедова звучала как современная пьеса не только потому, что актеры по-новому читали стихи, но и по возрожденной свежести мыслей, чувств. Была немая сцена, которой нет в тексте: за длинным столом сидели расфуфыренные истуканы, и какая-то очередная грязная, может быть кровавая, сплетня гуляла вдоль стола. Я писал: «Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных. Они еще барахтаются в тине канцелярий, они переменили костюм и лексикон, но они остались столь же заносчивыми

Похороны Анри Барбюса. Париж, 1935 г.

И. Эренбург с ткачихой Дусей Виноградовой. Москва, 1935 г.

«Багаж» С. Маршака с иллюстрациями В. Лебедева

Заключительная сцена «Ревизора» в театре Вс. Мейерхольда





и угодливыми. Мы живем и работаем для того, чтобы вывести их из жизни, и мы не можем равнодушно слушать монологи Чацкого, с ним мы терзаемся, с ним ненавидим. Такова мощь подлинного искусства». Долго в моих ушах стояли слова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно...» Был еще только ноябрь 1935 года, и газета напечатала мою статью.

До чего я был тогда наивен! Я не знал, что многое зависит от вкусов, даже от настроения одного человека. Да и люди, хорошо это знавшие, не могли предвидеть, что приключится завтра.

Когда я был в Москве, И. В. Сталин объявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Все сразу заговорили о значении новаторства, о новых формах, о разрыве с рутиной.

Месяца два спустя я прочитал в «Правде» статью «Сумбур вместо музыки»: Сталин пошел на оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», и музыка его рассердила. Срочно собрали композиторов, музыкантов, и все они осудили Шостаковича за «кривляние», даже за «цинизм».

С музыки легко перешли на литературу, живопись, театр, кино. Критики требовали «простоты и народности». Маяковского, конечно, продолжали восхвалять, но теперь уже по-другому — «простого и народного». (В одном из ранних футуристических стихотворений Маяковский просил парикмахера: «Будьте добры, причешите мне уши». Он, разумеется, не знал, что смогут причесать не только уши.) Началась кампания «против формализма, левацких уродств, вывертов»; кампания велась яростно, ей отводили много места.

Первой жертвой оказалась книга детских стихов Маршака с рисунками В. Лебедева — рисунки были объявлены «мазней», и книжку уничтожили. Архитекторы собрались, чтобы осудить «формалистов»; нападали не только на Мельникова, построившего в 1924 году павильон на Парижской выставке, не только на конструктивистов — Леонидова, Гинзбурга, но и на «сочувствующих формализму» — на Веснина, Руднева. Еще хуже пришлось художникам; критики уверяли, что Лентулов не может нарисовать даже спичечную коробку, что Тышлер, Фонвизин, Штеренберг — «пачкуны со злостными намерениями».





На собраниях театральных работников одобряли удаление из Москвы театра МХАТ-второй, поносили Таирова и особенно Мейерхольда. Его покаяние было признано «туманным», «неискренним», начали поговаривать о закрытии театра. Киноработники взялись за Довженко и Эйзенштейна. Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу, но, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, и вскоре в «формалистических вывертах» оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Лидин, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов. Нашелся человек, не лишенный воображения, который обвинил в формализме постановку пьесы «Волки и овцы» в Малом театре. В «Красной нови» появилась статья, призывающая в борьбе против формализма «биться за классические рифмы, за классическую точную и стройную ритмику, за классическое правильное развитие сюжета».

Я думал, что спор начинается, а он кончался: его заменили сотни собраний с обязательным признанием своих формалистических ошибок, с обещаниями стать «простым и доходчивым», с хорошо знакомыми возгласами, за которыми следовало: «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию».

Меня много раз обвиняли в «барском отношении к читателям», обвиняли не читатели, а некоторые литераторы, принимавшие активное участие в очередной кампании. Что касается читателей, то и в те недели и позднее в часы сомнений, печали они неизменно меня поддерживали своим пониманием, зрелостью. Редактор «Литературной газеты» писал, что мое пренебрежение советскими людьми сказалось хотя бы в том, что я утверждал, будто не все рабочие могут понять все картины музеев. «Эта мысль,— писал редактор,— выражает уверенность писателя в том, что художник является носителем какой-то более тонкой, более сложной, более высокой культуры, чем та культура, которой обладает масса читателей». Я переписал эту фразу и задумался. Много раз в этой книге я писал о моих заблуждениях, но здесь я упорствую: я и теперь согласен с тем, что говорил четверть века назад.

Мне кажется, что место писателя, художника не в обозе, а в разведке. Люди развиваются неравномерно, и в нашем современном обществе имеются различные уровни культурного развития. «Массы читателей» не существует, даже если книга выходит массовым тиражом: читатели читают по-разному — бывают книги, в которых одно доступно всем, другое только некоторым. Одних посетителей Эрмитажа восхищает живопись Рембрандта, другие спрашивают, что тут изображено, и равнодушно идут дальше. Есть люди, которых ни за что не затащишь на концерт симфонической музыки. Все это общеизвестно, но об этом предпочитают умалчивать. А новые формы в искусстве всегда воспринимались медленно и вызывали раздражение. Можно привести множество примеров, начиная с драки на премьере пьесы Гюго, с поношения Курбе до гогота аудитории, когда Маяковский читал «Человека». Если писатель или художник не видит большего, чем арифметическая «масса», не старается сказать людям нечто новое, им еще неизвестное, то он вряд ли кому-нибудь нужен.

Нападки на собраниях и в газетах на разных людей действовали по-разному. А. Н. Толстой, любивший спокойствие, решил на всякий случай покаяться и публично объявил, что написал формалистическую пьесу. Бабель говорил улыбаясь: «Через полгода формалистов оставят в покое — начнется какая-нибудь другая кампания». Мейерхольд томился и по десять раз перечитывал вздорную статейку, что-то подчеркивая. В тот мой приезд в Москву я часто встречался и подружился с А. П. Довженко. Он был большим художником, достаточно вспомнить его фильм «Земля», сделанный в 1930 году. Александр Петрович хорошо рассказывал — с украинским юмором и с мягкой украинской печалью. Все происходившее он воспринимал болезненно. Как-то он рассказал мне, что накануне его вызвал Сталин, показал ему «Чапаева» и все приговаривал: «Вот так нужно и вам...»

Меня несправедливые обвинения огорчали, порой выводили из себя, но я был в лучшем положении — шла борьба с фашизмом, и я находился на поле боя.

Вспоминая некоторые московские впечатления, все эти овации и огульные обвинения, я писал в «Книге для взрослых»: «Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть». (О том же я говорил позднее в стихах:

Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до конца.)

Работа над книгой меня захватила, хотя то и дело приходилось от нее отрываться — писать статьи для «Известий», выступать на различных собраниях, работать в Ассоциации писателей. «Книга для взрослых» была первым черновиком той книги, которую я теперь пишу. Я задумал нечто увлекательное и порочное: решил перемешать главы, в которых рассказывал о себе, о своей жизни, с другими, где персонажи повести раскрывали мне свои тайны, работали, боролись, любили, страдали. Я назвал замысел порочным; может быть, это неправильно — просто мне не хватило таланта и мастерства, чтобы герои повести выглядели действительно существующими, а вследствие этого я сам порой казался условным литературным персонажем.

В книге много страниц было посвящено литературе, искусству; я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги или холсты. Я говорил о судьбе писателя: «Он весь облеплен чужими страстями, как репейником. Человеческое горе знает, к кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому, она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристают к писателю, только те, что должны к нему пристать... Гоголь умер среди мертвых душ; вокруг его изголовья толпились Плюшкины и Ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тему подарил ему Пушкин, героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплачиваться юродством,

немотой, убогой смертью?.. Неужели книги это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?»

Больше всего я думал о борьбе, которая шла вокруг, о выбранном мною пути. «Справедливость — это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из чугуна, иногда оно теряет вес, становится оловом. Его нужно согреть своей страстью... Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево: кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты».

Может быть, в 1935 году я слишком рано взялся за рассказ о своей жизни: недостаточно знал и людей, и самого себя, порой принимал временное, случайное за главное. В основном я и теперь согласен с автором «Книги для взрослых», но война в ней описана не ветераном, а человеком среднего возраста, среднего опыта, который едет в темной теплушке на фронт и рисует себе предстоящие битвы.

Многое в книге было, скорее, предчувствием, предвидением, нежели выводами из пережитого. Я сам не понимаю, как я мог весной 1936 года, до всего, что мне пришлось испытать в последующие годы, будучи нестарым и далеко не умудренным, написать такие строки: «Я пережил в жизни все, что пережило большинство людей моего возраста: смерть близких, болезни, предательство, неудачи в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, за пишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе: в тишине, когда, не отрываясь, смотришь на лампочку или на буквы газеты, которой не читаешь, когда надо победить то, что сделала с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить».

Приподымая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди, годы, жизнь» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова — победить то, что сделала со мною жизнь, и если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью.

«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале; потом решили выпустить отдельным изданием; издавали долго — шел 1937 год, когда забота о деревьях была предоставлена не садовникам, а лесорубам. Из книги изымали целые страницы с именами, ставшими неугодными. В том экземпляре, который у меня сохранился, один листок белее и короче других, его вклеили: нужно было изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова.

А писал я книгу в Париже в начале 1936 года, писал под шум демонстраций: борьба разгоралась. Теперь я твердо знал: что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения (не в правоте идеи, а в разуме людей, стоявших на командном посту), нужно молчать, бороться, победить.

В конце марта я отослал рукопись в «Знамя». А седьмого апреля в испанском городе Овиедо я разговаривал с горняком Сильверио Кастаньоном; он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах,

о пытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией: цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гюго. Судьи одобрительно кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни: он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил: «Пятнадцать месяцев. Только я ждал не смерти, а революции...» Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками: «Жизнь у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод — детское лицо...

Вернувшись в сырую, мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал: нет, жизнь не одна — за одну приходится прожить не одну, не две жизни, а много; в этом, кажется, вся беда, но и все счастье.

16

Мне трудно сейчас описать Испанию в ту далекую весну: я пробыл в ней всего две недели, а потом в течение двух лет видел ее окровавленной, истерзанной, видел те кошмары войны, которые не снились Гойе; в распри земли вмешалось небо; крестьяне еще стреляли из охотничьих ружей, а Пикассо, создавая «Гернику», уже предчувствовал ядерное безумье.

Я вспоминаю огромные арены, предназначавшиеся для боя быков, заполненные десятками тысяч людей: рабочими в кепках, крестьянами в широких шляпах, женщинами, повязанными платками, гончарами, сапожниками, мастерицами, школьниками.

Я увидел на подмостках Рафаэля Альберти. Он никак не походил на Маяковского: у него был облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи. Теперь он читал романсеро современности; стихи проносились по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, взволнованные, выбегали на улицу. У молодых социалистов были кумачовые рубашки, у комсомольцев — синие с красными галстуками. Отворачивались священники, старухи в ужасе крестились, буржуа пугливо озирались, фашисты стреляли из окон. Яркое солнце сменялось тяжелыми, лиловыми тучами.

То была необычная для Испании весна: чуть ли не каждый день падали шумные ливни, и рыжая земля Кастилии ослепляла зеленью. Бог ты мой, сколько я слышал радостных возгласов, замечательных проектов, клятв и проклятий! Помню, на рабочем митинге в астурийском поселке Мьерес старый шахтер с длинным узким лицом, приподняв рудничную лампу, сказал: «Три тысячи товарищей погибли, чтобы фашистов больше не было. Их и не будет. Будем мы. И ничего больше, испанцы!..»

В Овиедо я увидел развалины университета. Люди говорили, как старый шахтер: «Нет, это никогда не повторится!»

В поселке Сама Фернандо Родригес повел меня в Народный дом, там усмирители в 1934 году пытали и убивали повстанцев. На стенах были пятна выцветшей крови, сохранились имена расстрелянных, нацарапанные ногтем. Фернандо Родригес рассказывал: «Меня подвешивали за руки и тянули за ноги, они называли это «самолетом». Лили на голый живот кипяток, потом ледяную воду. Кололи... Все равно я не сказал, куда мы спрятали оружие».

Ко мне пришли ребята, дали старательно написанное письмо: «Овиедо, 22 апреля 1936 года. Товарищи, красные пионеры Овиедо поздравляют с днем Первого мая товарищей в Советском Союзе! Товарищи, мы готовимся ко второй битве, она скоро придет. Мы будем сражаться стойко и храбро. Привет и революция!»

Я стоял у окна и видел, как ребята, выйдя из гостиницы, расшалились; для них все происходившее еще было игрой. Не знаю, что с ними стало, но осенью 1936 года я прочитал в фашистской газете: «В Овиедо дети, развращенные марксистскими учителями, кидались на офицеров».

В ту весну я познакомился с дочерью астурийского шахтера, с Долорес Ибаррури, которую рабочие прозвали Пасионарией. Она была крупным политическим деятелем и оставалась простой женщиной; были в ней все черты испанского характера — суровость, доброта, гордость, смелость и, что всего милее, человечность. Мне рассказали, как в Астурии она освободила заключенных: пришла с толпой рабочих, скомандовала солдатам «вольно», вошла в тюрьму и, когда все арестованные вышли на свободу, улыбаясь показала толпе большой ржавый ключ.

Дирекция «Сиудад линеаль», фирмы, владевшей трамваями Мадрида, отказалась принять на работу «смутьянов», уволенных осенью 1934 года. Тогда рабочие взяли в свои руки эксплуатацию трамваев. На вагонах стояли три буквы «UHP» — «Унион эрманос пролетариос» («Союз братьев-пролетариев»),— с этими словами рабочие в 1934 году шли на фашистов, на Иностранный легион, на обманутых генералами марокканцев. За исключением трех магических букв, трамваи выглядели, как прежде,— старенькие, обвешанные гроздьями веселых мальчишек. Цифра 8 — маршрут до квартала Куатро-коминос. И все-таки никто не знал, куда придет этот трамвай — в депо или на поле боя.

Когда я был в Мадриде, на рабочих напали фашисты. Тотчас началась всеобщая забастовка. Я жил в большой гостинице; ушли коридорные, лифтеры, официанты, судомойки. Хозяин мобилизовал свою многочисленную родню, приговаривал: «Мы отстоим интересы наших клиентов от этих треклятых бездельников. Прошу вас — перейдите на самообслуживание».

Потом я увидел грандиозную забастовку в Барселоне. Испанская буржуазия, ленивая, беспечная, растерялась. Один адвокат говорил мне: «Я даже не мог себе представить, что у рабочих такая сила! Если Европа не вмешается, мы будем зависеть от этих полуграмотных лодырей».

Правительство старалось успокоить всех. Крестьянам говорили, что

Институт аграрной реформы быстро изменит их положение. Но институт не торопился. Есть в Испании выражение «маньяна пор ля маньяна» — «завтра утром», или, говоря по-русски, после дождичка в четверг. Крестьяне начали распахивать огромные пустовавшие поместья различных графов и не графов. Они составляли акты. В деревнях Кастилии я видел много таких документов. У графа Романонеса, депутата кортесов, в одном из многочисленных поместий было шесть тысяч гектаров; крестьяне разоружили гвардейцев и составили акт о переходе земли во владение кооператива. В кухне они нашли окорок, картошку и поставил в документе, что найденные продукты должны быть возвращены графу. Крестьяне деревни Гуадамус написали: «Мы заняли поместье, причем стража свидетельствует, что мы не обидели никого ни действием, ни словом». Крестьяне другой деревни, Полан, писали: «30 марта утром представители муниципального совета, совместно с представителями «Федерации тружеников земли», в присутствии персонала, обслуживавшего поместье, заняли Вентилосья, а именно 1992 га земли».

В Эскалоне, в Мальпике, в окрестностях Толедо я видел крестьян, восторженно повторявших: «Земля!» Старики верхом на осликах подымали кулаки, девушки несли козлят, парни ласкали старые, невзрачные винтовки.

Гражданская гвардия (жандармерия) в апреле выступила против правительства. Создали штурмовую гвардию, но и штурмовики подозрительно поглядывали на министров Народного фронта. Фашисты кричали: «Долой Асанью!»; Асанья был премьером, а потом президентом республики. Против фашистов шли рабочие. Казалось бы, гвардейцы должны разогнать фашистов, выступающих против правительства, но они не осмеливались обидеть хорошо одетых кабальеро и отводили душу на рабочих.

Газета монархистов «АВС» открыто требовала интервенции: «Гит-

Александр Довженко
Долорес Ибаррури
Дениз Лекаж. Париж, 1936 г.







лер сказал, что он этого не допустит... Европа не захочет жить в большевистских клещах...» В этой же газете собирали пожертвования; я тогда выписал: «Поклонник Гитлера — 1 песета. За бога и Испанию — 10. Проснись, Испания! — 5. Национал-синдикалист — 10. Сторонник фаланги — 5».

Кортесы одобрили законопроект, согласно которому уволенные в отставку генералы, если они выступают против республики, лишаются пенсии. Военные презрительно усмехались: Народный фронт долго не продержится. Генералы Санхурхо, Франко, Мола не скрывали своих планов. Санхурхо говорил: «Испанию может спасти только хирургическая операция...» Священники и монахи призывали к борьбе за господа бога и за порядок. На стенах кто-то писал мелом: «Испания, проснись!» Вчерашние правители спокойно разгуливали по улицам Мадрида; я как-то увидел Хиля Роблеса, он пил кофе с молоком на террасе кафе. Во время пребывания его у власти двести тысяч фашистов получили разрешение носить оружие; никто не пытался это оружие отобрать.

Я разговаривал с социалистами, с президентом каталонского автономного правительства Компанисом, который до победы Народного фронта сидел в тюрьме. Все понимали опасность положения, но говорили, что должны соблюдать конституцию: нельзя ограничивать свободу.

Страшны были не плотный корректный кабальеро, которого звали Хилем Роблесом, не статьи в фашистских газетах, даже не проповеди бесноватых монахов. Страшно было другое: крестьяне восхищенно показывали старые охотничьи ружья, безоружные рабочие подымали кулаки. А сторонники фаланги постреливали. В церквах «случайно» находили пулеметы. Полиция, гвардия, армия относились к параграфам конституции куда менее почтительно, чем вновь назначенный министр внутренних дел Касарес Кирога, чем социалист Прието или пылкий Компанис.

Я должен был вернуться в Париж: на 26 апреля во Франции были назначены выборы, и редакция хотела, чтобы я был на месте. Уезжал я с грустью: все сильнее и сильнее влюблялся в Испанию. Я писал в статьях о фашистской опасности. В старом номере «Юманите» я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры; я говорил, что испанские фашисты обязательно выступят. А в душе я не очень-то в это верил — не хотелось верить. (Слишком часто не только рядовые участники событий, вроде меня, но и крупные политические деятели принимали и принимают свои желания за трезвую оценку действительности; видимо, это в человеческой природе.)

Французам Пиренеи издавна казались стеной, за которой начинается другой континент. Когда на испанский престол взошел внук Людовика XIV, французский король будто бы в восторге воскликнул: «Пиренеев больше нет!» Пиренеи, однако, оставались. И вот в апреле 1936 года я их не заметил: люди так же подымали кулаки, на станциях можно было увидеть те же надписи «Смерть фашизму!», а в поезде перепуганные обыватели вели знакомые разговоры о том, что нужно «обуздать бездельников». «Френте популар» и «Фрон попюлер» звучали одинаково. Франция вдохновлялась примером Испании.

В воскресенье вечером с Савичем и с редактором «Лю» Путерманом мы стояли возле редакции газеты «Матэн». Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводили глаз с экрана: сейчас объявят первые результаты. «Морис Торез — избран». Аплодисменты, радостные крики. «Монмуссо... Даладье... Кот... Вайян-Кутюрье... Блюм...» Восторг. «Да здравствует Народный фронт!» Поют «Интернационал». Когда показывались имена избранных правых — Фландена, Скапини, Домманжа,— свистели. «Предателей к стенке!», «Долой фашизм!» Все это происходило не возле «Юманите», а перед зданием газеты, которая каждый день писала, что «Народный фронт — это конец Франции».

Газеты сообщали, что ничего еще не решено: в следующее воскресенье предстоят перебаллотировки. Снова вечер на улице, и снова возбужденная, радостная толпа. В полночь выяснилось, что Народному фронту обеспечено большинство. По бульварам шли люди, пели «Интернационал», обнимали друг друга, кричали: «Фашистов к стенке!»

Я радовался со всеми: после Испании — Франция! Теперь ясно, что Гитлеру не удастся поставить Европу на колени. Наше дело побеждает — революция переходит в наступление! Эти мысли еще не омрачались ни потерей близких и друзей, ни испытаниями, на пороге которых мы стояли. Весну 1936 года я вспоминаю как последнюю легкую весну моей жизни.

Несколько недель спустя во Франции начались массовые забастовки; рабочие бросали работу, но не уходили из цехов; служащие оставались в банках, в конторах, в магазинах. Буржуа с ужасом повторяли: «Это захватчики!..»

Париж был неузнаваем. Красные флаги реяли над сине-сизыми домами. Отовсюду вылетали звуки «Интернационала», «Карманьолы». На бирже бумаги падали. Богатые люди переправляли деньги за границу. Все повторяли — кто с надеждой, кто в ужасе: «Это революция!..»

Я запомнил витрину фешенебельного магазина на бульваре Капюсин; красотка из гипса в модном платье держала в руке плакат: «Служащие и рабочие забастовали — мы не хотим больше жить впроголодь!»

Проходили девушки с простынями — прохожие кидали деньги для семей забастовщиков.

На некоторых заводах предприниматели оказались упрямыми, и забастовки длились долго — две-три недели. Заводы были оцеплены полицией — боялись столкновений. Каждый день женщины приходили к воротам, приносили хлеб, колбасу, апельсины.

Дениз работала в труппе левых актеров. Их пригласили рабочие крупного металлургического завода, бастовавшие уже третью неделю. Я пошел на спектакль. Дениз повторяла монолог героини «Фуэнте овехуна». У нее были глаза лунатика и смутная улыбка. Когда я вышел на улицу, полицейский меня обыскал — нет ли на мне оружия. Я ничего не понимал и улыбался; мне хотелось быть не корреспондентом «Известий», а одним из рабочих, которых я только что видел.

Забастовки повсюду кончались победой. За один месяц рабочие Франции добились не только увеличения зарплаты, но и подлинного

изменения социального законодательства — коллективных договоров, признания юридического статута профсоюзов, платных отпусков.

Весну сменило жаркое лето. Опустели западные районы: люди с достатком уезжали в Швейцарию, в Бельгию, в Англию, в Италию: говорили, что хотят отдохнуть от «разнуздавшейся черни». А на пляжах Нормандии или Бретании они могут оказаться рядом с рабочими: ведь теперь у «этих лодырей» платные отпуска!

Четырнадцатого июля свыше миллиона парижан участвовали в демонстрации. Шли углекопы севера с лампами, виноделы юга с бутафорскими гроздьями, рыбаки Бретании несли голубые сети. Сожгли чучела Гитлера и Муссолини. Даладье по-прежнему обнимал коммунистов. Председатель совета министров Леон Блюм, типичный интеллигент XIX века, приветствуя рабочих, неумело подымал вверх маленький кулак. На шесте несли кепку рабочего с надписью: «Вот корона Франции!» Проплывали портреты Ленина, Сталина, Горького. Испанцам кричали: «Молодцы! Смерть фашистам!» Проходили рабочие-эмигранты — итальянцы, поляки, немцы; им аплодировали. (Я не подозревал, что многих из них вскоре увижу на рыжих камнях Кастилии.)

Конечно, демонстранты требовали роспуска фашистских организаций, кричали по-прежнему: «Де ля Рокка к стенке!» — но кричали весело, даже добродушно. В феврале на улицы вышел народ, готовый ринуться в бой, а демонстрация 14 июля была невиданным карнавалом.

Вечером, как всякий год, начались танцы — на площади Бастилии, на сотнях улиц и уличек — с традиционными китайскими фонариками, аккордеонами, кружкой пива или бутылкой лимонада, с поцелуями влюбленных. Рабочие постарше сидели, смотрели, как веселится молодежь. Я прислушивался к разговорам; толковали о том, где лучше провести отпуск, о дядюшке в лимузинской деревне, о домике на Луаре, о рыбной ловле, о горных прогулках, о песчаных пляжах для детворы. Слово «революция» уступило место другому — «каникулы». Легкая победа придала людям спокойствие, благодушие.

Теперь Париж не походил на Мадрид: у него не было позади ни астурийского восстания, ни пыток, тюрем, расстрелов. Не было также фанатического духовенства и бряцавших оружием генералов; французская буржуазия была куда просвещенней и хитрей: она рассчитывала взять Народный фронт измором. А победители смеялись и не слишком задумывались над будущим.

Я дописывал книгу коротеньких рассказов «Вне перемирия». Из Москвы приехала Ирина. В Париже было нестерпимо жарко; Люба и Ирина уехали в Бретань, я сказал им, что должен передать в газету отчет о демонстрации 14 июля и кончить книгу, потом приеду.

Помню душный летний вечер на улице Котантен. Я сидел, писал; отложил рукопись и включил радио. Леон Блюм совещался с министром просвещения... В Мадриде толпа штурмует казармы Ля Монтанья... Барселона... Гостиница «Колумб»... Артиллерия... Генерал Аранда... Бои в районе Овиедо... Убитые, раненые...

Я вскочил. Нужно куда-то пойти!.. Поздно: двенадцать часов, никого не найду... Я не мог оставаться один в слишком тихой комнате.

А диктор спокойно сообщал, что на выставке роз в Кур-ля-Рен первая премия досталась розе «Мадам Мейянд»...

Для одних жизнь раскололась надвое 22 июня 1941 года, для других — 3 сентября 1939, для третьих — 18 июля 1936. В том, что я писал прежде о моей жизни, имеются, наверно, главы, далекие многим моим сверстникам: когда-то у нас были разные судьбы, разные темы. А с того вечера, о котором я рассказываю, моя жизнь начала чрезвычайно напоминать жизнь миллионов людей: небольшая вариация общей темы. Хорошо известные всем слова определяют десять недобрых лет: сообщения, опровержения, песни, слезы, сводки, воздушная тревога, отступление, наступление, побывки, минутные встречи на полустанках, разговоры о нотах, о тактике и стратегии, молчание о самом главном, эвакуации, госпитали, огромное всеобщее затемнение и, как воспоминание о прошлом, беглый свет карманного фонарика...

17

Я протомился в Париже несколько недель: передавал в «Известия» каждый день сообщения из Испании, напечатанные во французских газетах, ходил в испанское посольство, помогал первым добровольцам пробраться в Барселону. Сидел я в Париже только потому, что не получал от редакции ответа — могу ли я поехать в Испанию в качестве военного корреспондента. Мне повторяли лаконично и таинственно: «Согласовываем». Я еще не знал значения этого магического глагола, злился — не мог дольше ждать. Однажды, когда редакция позвонила на мою парижскую квартиру, чтобы проверить, почему я не посылаю больше телеграмм, Люба ответила: «Вы разве не знаете?.. Он в Испании».

Пикассо писал «Гернику» весной 1937 года. А за полгода до этого, в августе — сентябре 1936 года, Испания напоминала полотна Делакруа: за Пиренеями тлела и на короткий срок вспыхнула романтика прошлого века.

«Герника» Пикассо. 1937 г.



Барселона — большой промышленный город, но ее рабочие издавна находились под влиянием синдикалистских профсоюзов СНТ и анархистов ФАИ (Федерация анархистов Иберии). Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев. Средние буржуа, владельцы ресторанов или магазинов, мне говорили, что они предпочитают даже анархистов генералу Франко. Слово «свобода», давно обесцененное во многих странах Европы, здесь еще вдохновляло всех.

По главной улице Рамбле неслись грузовики, наспех обшитые листами железа; их почтительно называли «броневиками». Гарцевали кавалеристы в красно-черных рубашках, с охотничьими ружьями. На кузовах такси красовались надписи: «Мы едем в Уэску!» или «Возьмем Сарагосу!» Анархисты уезжали на фронт с ящиками ручных гранат, с гитарами, с боевыми подругами. Модницы на невероятно высоких каблуках волочили тяжелые винтовки. Повсюду виднелись следы недавних боев: неразобранные баррикады, осколки стекла, гильзы. На местах, где погибли герои, отстоявшие город от фашистских мятежников, пылали яркие розы юга. Барселонцы несли дружинникам, уезжавшим на фронт, бурдюки с вином, окорока, одеяла, даже древние сабли. В гостинице «Колумб», которую в июле обстреливали из орудий, среди пыльных плюшевых пуфов валялись винтовки, и бойцы спали на пышных кроватях, напоминавших катафалки.

«Се-не-те — фай» — эти слова можно было услышать повсюду: на Рамбле, на сотнях митингов, в реквизированных домах, где разместились различные комитеты, лиги, союзы — от «Сторонников мировой анархии» до «Воинствующих эсперантистов». На стенах пестрели плакаты: «Да здравствует организация борьбы с дисциплиной!» Пели «Интернационал», пели также гимн СНТ «Сыны народа». Больше всего было красно-черных флагов. Я спросил одного дружинника, почему анархисты выбрали эти два цвета; он ответил: «Красный — борьба, а черный — потому что человеческая мысль темна...»

Повсюду стреляли, трудно было понять, кто стреляет и в кого; но все относились к этому спокойно; кафе и рестораны были переполнены. Город жил в веселой лихорадке.

Колонны и центурии, отправлявшиеся брать штурмом Уэску или Сарагосу, назывались «Чапаев», «Панчо Вилья», «Негусы», «Эфиопы», «Смелые черти», «Безбожники», «Бакунин». На собраниях говорили о перевоспитании человечества. Один оратор предлагал поставить памятники великим мыслителям мира — Сократу, Спартаку, Сервантесу, Реклю, Кропоткину, Ленину. Другой требовал сожжения денег, уничтожения тюрем и обязательности труда. Третий говорил, что необходимо послать десять наиболее благородных людей на крейсер «Уругвай», где находились арестованные руководители военного мятежа, и убедить фашистов войти в трудовую коммуну.

Главные казармы города были переименованы в «Казармы имени Бакунина». Взобравшись на крышу автобуса, агитаторы вопили: «Долой милитаризм! Все на фронт! Свобода всем! Смерть фашистам!»

Никто не знал, где республиканцы, где фашисты. Мы ехали по

каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето. Мой попутчик, каталонец Миравильес, спрашивал крестьян, можно ли проехать дальше. Одни говорили, что фашисты в соседней деревне, другие уверяли, будто наши освободили Уэску. Сразу свалилась южная ночь. По небу текли зарницы. Вдалеке громыхали орудия. Вдруг машина остановилась: перед нами была баррикада. Кто-то закричал: «Пароль?» Мы не знали пароля. Миравильес вытащил из кобуры револьвер. Я спросил его, что случилось. Вместо ответа он дал мне другой револьвер. Мне стало страшно: вот мы и угодили в западню!.. Я вглядеся в мглу и увидел на скале людей с винтовками, они целились в нас. Я уже хотел было выстрелить, когда кто-то в темноте выругался: «Да ведь это наши!» Крестьяне обступили нас, рассказали, что караулят уже шестую ночь — им передали из Бухаралоса, что фашисты наступают. Мы спросили: «Где фронт?» Они развели руками: до Бухаралоса двенадцать километров, это точно, а кто там, один черт знает. Для них фронт был повсюду.

Не только крестьяне не знали, что происходит в соседней деревне,— в Барселоне никто не мог ответить на вопрос, в чьих руках Кордова, Малага, Бадахос, Толедо. Командир каждой колонны строил фантастические планы. Кто-то пустил утку — фашистов прогнали из Севильи. Каталонцы решили высадить десант на Майорке. Несколько дней спустя поползли слухи, будто фашисты заняли Валенсию и продвигаются к Барселоне.

На одном из участков переднего края я увидел надпись: «Дальше не ходить — там фашисты». Бойцы преспокойно купались в речушке; один сторожил одежду и винтовки. Я спросил: «А если фашисты начнут атаку?» Они рассмеялись: «Днем мы не воюем — слишком жарко. У них, у подлецов, пруд, они сейчас там купаются. А вот погоди, через три часа такая трескотня начнется, что у тебя уши лопнут...»

Командир сказал мне, что скоро возьмут Уэску, ну, через неделю, самое большее. Я смотрел на город, он был рядом. «Что это за большое здание впереди?» — спросил я. «Сумасшедший дом. Там сидят отборные солдаты. Нужно прежде всего взять этот дом». (Я был возле Уэски год спустя и снова услышал, что нужно взять сумасшедший дом. Сколько людей погибло в боях за это здание!)

Один мой знакомый ехал в Мадрид, чтобы договориться о расширении прав правительства автономной Каталонии. Он предложил мне поехать с ним. Ехали мы долго: крестьяне повсюду перерезали дороги баррикадами, боясь нападения фашистов, и старательно изучали пропуска (у меня их было пять или шесть — от всевозможных организаций, включая, разумеется, СНТ). Баррикады выглядели живописно: бочки, мебель, вынесенная из богатых домов, опрокинутые подводы, деревянные статуи, украшавшие прежде церкви. У меня сохранилась фотография — три крестьянина с ружьями, а над ними ангел барокко с огромной виолончелью.

Повсюду я видел обугленные каркасы сожженных церквей. Узнав о фашистском мятеже, крестьяне первым делом поджигали церковь или

монастырь. Один мне объяснил: «Знаешь, кто главный враг? Курас (священники) и монахи. Потом генералы, офицеры. Ну и, конечно, богачи... Помещика мы не тронули, только землю отобрали, пускай, сволочь, живет, как другие. Он и расписался, что не возражает. А вот кура залез на колокольню, хотел оттуда стрелять. Ну, мы его отправили прямо в рай...»

Мой попутчик жаловался на анархистов: «Да разве с ними можно договориться? Это честные парни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, требует: «Отмените все правила уличного движения. Почему я должен поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа свободы!»

Увидав одну несожженную церковь, мой попутчик спросил крестьян: «Почему не сожгли?..» Когда мы отъехали от деревни, я ему сказал: «Не понимаю — зачем жечь? У них ни одного приличного дома нет. Можно устроить школу, клуб». Он рассердился: «А вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет, уж лучше без клуба, только не видеть этого перед глазами!..»

В Мадриде анархистов было мало, но и Мадрид еще жил романтическими иллюзиями. Фашисты захватили Талаверу и находились в семидесяти — восьмидесяти километрах от столицы. А люди сидели на террасах кафе и до полуночи спорили: идти ли на Сарагосу, чтобы соединиться с каталонцами, или отбить у фашистов порты Андалузии.

Меня повезли в имение убежавшего фашиста. «Здесь мы устроили опытно-показательную детскую колонию». Одна энтузиастка долго доказывала, что педагоги пренебрегают воспитательным значением музыки. Мальчик лет семи-восьми рассказывал: «Папу связали, положили на дорогу, а потом по нему проехал грузовик...» Энтузиастка упорствовала: «А откуда взялись такие звери? Детей не воспитывали гармонично...» Я невольно усмехнулся: вспомнил Киев 1919 года и мою работу в секции эстетического воспитания мофективных детей: все, кажется, другое, и вдруг видишь — все повторяется...

В Мадриде писателям отдали особняк убежавшего аристократа; там была прекрасная библиотека — инкунабулы, редчайшие издания, рукописи испанских классиков. В особняке поэты Альберти, Маноло Альтолагире, Петере, Серрано Плаха, Эрнандес читали свои стихи. Там я познакомился с писателем Хосе Бергамином, левым католиком, человеком чистой души, печальным и спокойным. Мы с ним разговаривали о Сервантесе и о воздушной обороне, о коммунизме, о поэзии Кеведо. Там же я встретил Пабло Неруду — чилийского консула и поэта; он был молодым, шутил, проказничал. Помню озабоченного библиофила, который во время воздушной тревоги устанавливал в библиотеке сосуды с водой, чтобы чрезмерная сухость не повредила древних рукописей. Кто-то вполголоса говорил: «Они заняли Талаверу...»

В «Атенео» состоялся вечер памяти Максима Горького. Рафаэль Альберти сказал мне со слезами в голосе: «Подтвердилось... Они убили в Гренаде Гарсия Лорку...»

Была ночь первой воздушной тревоги. Потом другая ночь — я услышал взрывы, выбежал на улицу. Старая женщина прижимала

к себе девочку. Когда рассвело, я пошел в квартал, который фашисты бомбили, и увидел то, что мне потом приводилось слишком часто видеть: разбитый дом, лестницу и где-то наверху повисшую детскую кровать.

Пабло Неруда писал: «И по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей...»

Я поехал в Мальпику; там я был до войны, в апреле, и крестьяне меня узнали. Испанцы с трудом выговаривали мою фамилию, часто путали, и алькальде, подняв кулак, торжественно сказал: «Здравствуй, Гинденбург! Теперь мы можем показать тебе замок». В Мальпике находилась усадьба герцога Ориона, которую забрали крестьяне. Я прошел по большому старому дому. Алькальде нес медный подсвечник с огарком. Из темноты выплывали головы кабанов; статуи Богоматери в расшитых золотых платьицах, медные кастрюли, пижамы, патефоны. Самой пышной была ванная комната, в ней почему-то стояли три кресла. Алькальде говорил: «Это, наверно, очень ценные вещи. Мы решили отдать замок писателям, пусть они здесь живут и пишут...» На околице стояли крестьяне с охотничьими ружьями. Фронт был близко. Вокруг дымили костры беженцев из Эстремадуры.

Два дня спустя я был снова в Мальпике с Альберти и Марией Тересой Леон — они везли на фронт газеты, листовки. Немецкие бомбардировщики бомбили позиции, дорогу. Дружинники не выдержали и побежали. На околице деревушки Доминго Перес толпились взволнованные крестьяне: «Видишь — удирают!..» Старый крестьянин сказал: «Вот все, что у нас есть» — и показал три охотничьих ружья. Мы увидали четырех бойцов, которые шагали в сторону Мадрида. Мария Тереса побежала за ними вдогонку; она быстро бежала на очень высоких каблуках; в руке у нее был крохотный револьвер. Дезертиры ей отдали винтовки; они были пристыжены. Старый крестьянин говорил: «Дай мне! Молодым жить хочется, а я не убегу...» Часа два спустя тридцать дружинников повернули в сторону неприятеля и окопались; у них был один пулемет, но фашистов оказалось немного, и наутро они отошли к Талавере.

Толедо был в руках республиканцев, но фашисты засели в древней крепости Алькасар. Сидели они там уже полтора месяца, и в городе установился своеобразный быт. На некоторых улицах висели надписи: «Опасно! Ходить без оружия запрещается!» Молока было мало, и, чтобы не стоять под огнем в очереди, женщины с вечера ставили у дверей молочных лавок кувшины, банки или просто клали камешек; ни разу я не слышал пререканий. Фашисты время от времени открывали огонь по городу; а перед Алькасаром в соломенных креслах, в качалках, заслонившись зонтиками от палящего солнца, сидели дружинники и то лениво, то запальчиво стреляли из винтовок в толстенные крепостные стены. Порой батарея выпускала несколько снарядов. По улицам прогуливались жители города и гадали, куда попал снаряд — в фашистов или мимо.

Во время одной из первых вылазок фашисты взяли «заложников» — женщин, детей. В казарме дружинников я увидел на щите тридцать

восемь фотографий: женщина с ребенком, старуха, два мальчика на деревянных осликах... Фашисты знали, что делают: не раз приходил из Мадрида приказ сделать подкоп и взорвать крепость, но дружинники думали о женщинах, о детях и отвечали: «Мы не фашисты...» Они наивно мечтали взять Алькасар измором. Когда сообщили, что правительственная авиация будет бомбить крепость и что дружинники должны отойти на сто метров, многие отказывались: «Нельзя — они убегут»; четырнадцать бойцов погибли от осколков бомб.

В древней столице Испании, в городе, облюбованном туристами, шел поединок между благородством народа и бесчеловечными законами войны. Жена фашистского коменданта Алькасара полковника Москардо жила в городе. Кольцов изумился: «И вы ее не арестовали?..» Авторитет советских людей был велик, но испанцы не дрогнули: «Женщину? Мы не фашисты...»

Я ходил по Толедо с моим приятелем, художником Фернандо Херасси. Он жил в Париже, писал пейзажи или натюрморты, вечером приходил в кафе «Дом». У него была жена, украинка из-под Львова, смешливая Стефа, пятилетний сын Тито. Фернандо говорил, что анархисты — безумцы, что нужно единое командование, дисциплина, порядок. Он издевался над «войной в кружевах», и вместе с тем я чувствовал, что он не может осудить великодушие дружинников, которые безбожно ругались, встречаясь, говорили вместо «здравствуйте» «привет и динамит» и которые на разговоры о том, что Алькасар скоро взорвут, возмущенно отвечали: «Да что ты несешь? Ведь там женщины, дети...»

Мадридское правительство хотело показать миру свое отличие от Франко, и, когда фашисты, засевшие в Алькасаре, попросили прислать к ним священника, было объявлено короткое перемирие.

Несколько фашистов вышли из крепости. Дружинники стояли

«Очередь» за молоком. Мадрид, 1937 г.
И. Эренбург в Барселоне. 1936 г.
Фашистский иностранный легион. Марокканцы
Франкисты наводят порядок



близко, началась перебранка. Вот моя запись: «Бандиты! Мы за бога и за народ!» — «Бога можешь оставить себе, а за народ мы».— «Врешь! Мы за народ! Подлецы курят, а мы вторую неделю без табака». (Дружинник молча вынимает пачку сигарет. Лейтенант закуривает.) «Выписали священника? Видно, вам крышка...» — «Скоро придут наши, тогда мы вам покажем».— «Жди второго пришествия».— «Ждать уж недолго — ваши удирают как зайцы».— «Враки! А ты почему бороду отпустил? В рай захотелось?» — «Чем прикажешь бриться? Саблей?» (Другой дружинник достает из кармана пакетик с ножиками для бритвы и дает фашисту.)

В начале октября части генерала Варелы подошли к Толедо. Гарнизон Алькасара (там было свыше тысячи гвардейцев и кадет) вышел им навстречу. Мало кому из республиканцев удалось выбраться. Фашисты много писали о «героях Алькасара». Бесспорно, солдаты полковника Москардо проявили выдержку, смелость. Любая история любой войны изобилует примерами воинской добродетели. Бесспорно и другое: гражданская война не скупится на зверства. Однако если есть что-либо поучительное в истории Алькасара, то это битва двух миров: народа разгневанного, но глубоко человечного, и военщины с ее безупречной дисциплиной и столь же безупречной бесчеловечностью. Победило не великодушие...

В Гвадарраме я видел пленных; среди них были солдаты, перепуганные и довольные тем, что вышли из опасной игры; были головорезы из Иностранного легиона. Больше других дружинники боялись марокканцев, которые были хорошими солдатами и ничего не понимали в происходящем.

На Арагонском фронте я побывал вместе с нашими кинооператорами Карменом и Макасеевым в авиачасти «Красные крылья», командовал ею Альфонсо Рейес, человек грустный, молчаливый и решительный. Страшно было глядеть на аппараты — старые почтовые самолеты, которые гордо называли бомбардировщиками, каждый день они бомбили позиции фашистов. Когда мы были в части, приземлился самолет, обстрелянный немецкими истребителями. Механик (его звали «Красным чертом») был тяжело ранен, едва сдерживался, чтобы не





кричать от боли, но, увидав, что Кармен его снимает, весело заулыбался. На следующий день ему пришлось отнять ногу.

Фашисты продолжали продвигаться к Мадриду. Люди, однако, не помрачнели и по-прежнему верили в победу; все говорили, что если фашисты не захватили всю Испанию в июле, то их дело проиграно — народ против них.

Только в Наварре, в этой испанской Вандее, крестьяне поддержали мятежников; там были сильны церковь и карлисты (сторонники одного из претендентов на испанский престол, потомка дона Карлоса). Но в Наварре было четыреста тысяч жителей, а в Испании без малого тридцать миллионов. Во всех областях, где мне привелось побывать в годы войны — в Каталонии, Новой Кастилии, Валенсии, Ламанче, Мурсии, Андалузии, Арагоне,— подавляющее большинство населения ненавидело фашистов.

Но рабочие умели работать у станков, крестьяне — пахать землю, врачи — лечить, учителя — учить, а на стороне Франко были кадровые военные, которые, хорошо или плохо, умели воевать. У фашистов оказались также крепкие части наемников — Иностранный легион, марокканцы.

Уже в середине сентября Франко стал диктатором на всей территории, захваченной мятежниками, а 1 октября был провозглашен «вождем», «генералиссимусом» и главой государства. Он требовал безоговорочного подчинения. А республику отстаивали люди самых различных убеждений: коммунисты, каталонские автономисты, социалисты — левые и правые, буржуазные республиканцы, анархисты,' баскские католики, «поумовцы», объединяла их только ненависть к фашизму. В 1936 году свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная кампания. Каталонцы и баски обличали «великодержавные навыки Мадрида», «поумовцы» требовали «углубления революции», правые социалисты во главе с Прието критиковали главу правительства левого социалиста Кабальеро, республиканцы косились на коммунистов, анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство.

Однако не только в отсутствии военных кадров, да и не в разладе между различными антифашистскими партиями таилась угроза. 25 июля Гитлер обещал представителю Франко военную помощь. 30 июля — за сто дней до того, как первые советские истребители показались в небе Мадрида,— итальянские бомбардировщики уже бомбили испанские города.

Во главе французского правительства стоял Леон Блюм, товарищ Ларго Кабальеро по Второму Интернационалу; но напрасно испанское правительство просило Францию пропустить через границу закупленное им вооружение. Леон Блюм провозгласил принцип невмешательства; его поддержала Англия. В Лондоне начал заседать Комитет по невмешательству. Италия и Германия продолжали отправлять в Испанию вооружение и людей. Франция установила на границе контроль. Вероятно, я повторяю общеизвестные истины. В Комитет по невмешательству входил И. М. Майский; он мне недавно говорил, что в своих мемуарах пишет об этом подробно — он ведь многое видел. Но я пишу

историю моей жизни. Как же мне промолчать про лицемерие? Давнее имело, имеет продолжение: сколько раз мы читали благородные слова о невмешательстве, будь то в Греции, в Корее, в Конго или в Лаосе! После 1936 года я уже не удивлялся ни благородным речам заведомых убийц, ни крокодиловым слезам, ни человеческой трусости. Право же, Леон Блюм был куда приличнее покровителей Чомбе, но и он, насмерть перепуганный, привыкший жить не грозами века, а сложными запахами парламентской кухни, говорил одно, делал другое.

В Валенсии я встретил Мальро; он рассказал, что ему, видимо, удастся получить десяток военных самолетов: их приобрело испанское правительство, но французы наложили эмбарго. Он сказал, что хочет создать французскую эскадрилью — она будет бомбить фашистов,— познакомил меня с летчиками Гидесом и Понсом.

На земле шли бои. А в небе фашисты хозяйничали: «юнкерсы», «хейнкели», «савойи», «капрони», «фоккеры» — авиация двух сильных государств — Германии и Италии.

Я выступал на митингах, собирал материалы о фашистских зверствах для западной печати, писал анонимные брошюры и совсем забыл о моих обязанностях корреспондента «Известий». Да и трудно было их выполнять: телефонной связи с Москвой еще не было, а редакция, видимо, продолжала «согласовывать» и денег на телеграммы не переводила.

Пятого сентября, после двухнедельного перерыва, в «Известиях» было напечатано коротенькое сообщение: «Барбастро. 4 сентября. Сегодня ваш корреспондент присутствовал при обстреле населения Монт-Флорид семью трехмоторными самолетами «юнкерс», предоставленными мятежникам Германией». Телеграмму я послал короткую — на длинную не хватило денег. Я впервые увидел обстрел людей с бреющего полета; крестьяне были на гумне, молотили; потом старая женщина громко плакала: убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили: «Напиши! Может быть, русские нам помогут...» Конечно, в тот день происходили события более значительные: корреспондент «Известий» сообщал из Лондона, что Сен-Себастьян отрезан (это было правдой), что республиканцы взяли Уэску (это было уткой); я же находился в деревне Монт-Флорид, и мне казалось, что необходимо срочно написать о том, как фашисты с помощью немецких самолетов убивают безоружных крестьян. Для военного корреспондента это, может быть, было наивно, но я думал не о газете — об Испании.

Я брился в парикмахерской. Узнав, что я русский, парикмахер начал кричать: «Им помогают Гитлер, Муссолини. А у нас нет оружия!..» Его глаза сверкали, и, помахивая бритвой, он повторял: «Самолеты! Танки!» Я про себя посмеялся: чего доброго, он меня зарежет... А в общем было не смешно. Я помнил слова крестьян Монт-Флорид; да и повсюду люди повторяли: «Расскажи русским...» Я начал писать короткие корреспонденции и посылал их в «Известия» почтой — через Париж.

Месяц спустя, получив пачку газет, я расстроился: мои статьи были

исковерканы. 26 сентября я писал в редакцию: «Я не буду спорить, правильно или неправильно мое освещение испанских событий, но я решительно протестую против купюр, совершенно искажающих смысл». С редакцией мне, разумеется, ничего не удалось поделать — все мои статьи лакировались и розовели. Я все же продолжал писать, писал я наспех — не в рабочем кабинете, а на фронтах; занимал меня не литературный стиль, а самолеты и танки, без которых испанцам не выстоять.

Альварес дель Вайо просил меня собирать документальные данные о зверствах фашистов — для прессы Запада. В Валенсии мне сказали, что с Майорки выбрался корреспондент правой газеты «Дейли мейл» Гаррат и что он ругает фашистов. Я разыскал его в английском консульстве. Он написал показания, рассказывал мне, что фашисты бомбили полевой госпиталь республиканцев: «Их летчики, приехав на Майорку, кричали: «Да здравствует Испания!» — но я много лет здесь прожил, я сразу расслышал иностранный выговор — они были итальянцами. Аппараты «капрони» были переброшены с Сардинии...» Гаррат несколько раз повторил, возмущенный: «Они убили мою лошадь...» Это был немолодой плотный англичанин с детскими глазами; корреспондент газеты, которая прославляла генерала Франко, он не мог понять, почему редакция не опубликовывает его корреспонденций.

Прошло уже почти два месяца с начала мятежа. Хотя сообщения были по-прежнему противоречивыми, я видел, что фашисты сильнее: они заняли Севилью, Кордову, потом Эстремадуру, Талаверу, теперь рвутся к Мадриду. Однако я твердо верил в победу. Были и утешительные известия: фашистов выгнали из Малаги, из Альбасете. Сопротивление усиливалось, появлялись новые центурии, отряды, батальоны, колонны. Начали приезжать добровольцы из Франции — французы, итальянцы, немцы, поляки.

И. Эренбург среди каталонских бойцов
Центурия имени Эренбурга
Дос Пассос и Р. Кармен. Испания, 1937 г.
Республиканские бойцы





В Барселоне меня позвали в казармы имени Карла Маркса; там формировалась «Колонна 19 июля». На большом дворе выстроили бойцов. Одна центурия, или, говоря проще, рота, была названа «Центурия Ильи Эренбурга». Мне сказали, что я должен вручить дружинникам знамя и произнести речь. Я совершенно растерялся, чувствовал всю глупость положения, говорил, что я не политический деятель, не умею делать такие вещи. Пришлось все же держать знамя перед фотографами, что-то говорить. Помню, во мне были два чувства: умиление и стыд. Здесь же сновали продавцы лимонада, фруктов, конфет; один сунул мне в руку пригоршню леденцов: «Ешь, русский! Мы их расколотим...»

Чуть ли не на каждом крестьянском доме в Каталонии, в Арагоне было написано: «Мы идем за головой Кабанельяса!» (Во главе фашистского правительства стоял генерал Кабанельяс, Франко месяц спустя его убрал.)

Я видел старых крестьянок, которые приводили своих сыновей в казармы; когда им отвечали, что людей и так много, не хватает ружей, они повторяли: «Но он испанец, он не может сидеть дома...»

Приехала из Парижа жена Херасси, Стефа, рассказала, что отдала Тито в детскую колонию. Расставаясь с сыном, Стефа не выдержала, заплакала. Мальчик сказал: «Мама, иди! Я отвернусь — вот так. А ты тоже не гляди. Хорошо?..» Стефа, улыбаясь, повторяла: «Он у меня испанец...»

Я сейчас подумал, почему, начав описывать годы испанской войны, я волнуюсь, часто откладываю листы рукописи и перед моими глазами проносятся рыжие скалы Арагона, обугленные дома Мадрида, петлистые горные дороги, люди, близкие, дорогие мне люди — я не знал даже имен многих из них, и все это как будто живое, сегодняшнее. А ведь прошло четверть века, и я пережил потом войну пострашнее. Многое я вспоминаю спокойно, а об Испании думаю с суеверной нежностью, с тоской. Пабло Неруда назвал свою книгу, написанную в первые месяцы гражданской войны, «Испания в сердце»; я люблю эти стихи, многие из них перевел на русский язык, но больше всего люблю название — лучше, кажется, не скажешь.





В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки... И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании. Она стала воздухом, ею дышали.

Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах! Одни приезжали на короткий срок, другие надолго; кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовывал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали («майор Карлос») и Паччарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Мате Залка («генерал Лукач»), Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Ренн, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсен-Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зегерс, Жан Ришар Блок и Спендер, Андре Виоллис и Гильен, Сикейрос и Дос-Пассос, Ральф Фокс и Толлер, Бодо Узэ и Бредель, Изабелла Блюм и абиссинский рас Имру... Наверно, я многих не упомянул, мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испанией.

В 1943 году на КП возле Гомеля я увидел командующего армией генерала Батова. Мы говорили о предстоящем наступлении. Вдруг кто-то крикнул: «Фриц!» — показались вражеские самолеты. А генерал и я смеялись: в Испании наши военные советники носили различные имена — Валуа, Лоти, Молино, Гришин, Григорович, Дуглас, Николас, Вольтер, Ксанти, Петрович. Павлу Ивановичу Батову почему-то досталась фамилия Фриц. И мы начали вспоминать Двенадцатую бригаду, друзей, Арагон, смерть Лукача (Павел Иванович был тогда ранен в ногу).

Я сижу на сессии Всемирного Совета Мира; очередной оратор с пылом доказывает, что мир лучше войны; а я вижу милого итальянца Скоти и вспоминаю дни Мадрида. В Кремлевском дворце оператор кинохроники снимает депутатов Верховного Совета; это Боря Макасеев, с ним мы ползли по камням возле Уэски. Я знаю, что на аэродроме Вильнюса увижу знакомое лицо — переводчика, бывшего в Испании (он потом занимался испанской литературой, но в годы «борьбы против космополитов» лишился работы и, как он говорит, «совершил вынужденную посадку» на аэродроме Вильнюса — переводит интуристам вопросы служащих таможни). Недавно во Флоренции ко мне пришел фоторепортер с немолодым итальянцем, который вместо визитной карточки вынул билет «Союза бывших добровольцев в Испании», и сразу мы забыли про фотографа, сели в кафе, начали припоминать далекие дни. Все мы, бывшие в Испании, с нею связаны, связаны и друг с другом. Видимо, не одними победами горд человек...

18

В первые месяцы испанской войны я уделял мало времени моим обязанностям корреспондента «Известий». Правда, в газете с августа по декабрь напечатано полсотни моих очерков, но писал я их быстро, говоря откровенно — мимоходом. Меня отталкивала роль наблюдателя, хотелось чем-то помочь испанцам.

Когда я приезжал в Испанию до войны, я чаще всего встречался с писателями или журналистами, они понимали по-французски. Теперь все время я был с рабочими, с бойцами и начал говорить по-испански, говорил плохо, но меня понимали.

В Мадрид приехал первый советский посол М. И. Розенберг. Я его знал по Парижу — он работал советником посольства. Это был человек маленького роста, с любезной и вместе с тем иронической улыбкой. С ним приехали советник посольства Л. Я. Гайкис, военный атташе Горев и его помощники Ратнер и Львович (Лоти). В Мадриде был и Кольцов, он занимался не только газетной работой, о характере его деятельности свидетельствуют очевидцы — Луи Фишер, Хемингуэй, да и книга «Испанский дневник».

Я часто бывал в Барселоне, на Арагонском фронте; там тогда не было ни одного советского человека (я говорю об августе — сентябре 1936 года). Когда я говорил с Розенбергом или с Кольцовым о Каталонии, они усмехались: что тут поделаешь — анархисты!.. Я, пожалуй, лучше их знал, как трудно договориться с анархистами, но для меня было ясно, что без Каталонии войны не выиграть. Баскония была отрезана, и единственным крупным промышленным центром оставалась Барселона с ее полуторамиллионным населением.

А в Барселоне шла борьба между рабочими организациями. Все ненавидели фашизм, и все рвались в бой, но Арагонский фронт можно было назвать фронтом только условно: различные колонны, не связанные одна с другой, время от времени пытались штурмовать Сарагосу, Уэску или Теруэль; у них не было ни опытных командиров, ни вооружения, и вплоть до лета 1937 года генерал Франко не отправил в Арагон ни одной из своих резервных частей.

Во главе автономного каталонского правительства (Женералите) стоял Компанис, человек по природе мягкий и вместе с тем горячий, интеллигент, влюбленный в каталонскую культуру. Ему тогда было за пятьдесят; он знал тюрьмы, фашистский террор. Судьба его трагична: после поражения республики он уехал во Францию, там в 1940 году был обнаружен гестаповцами, выдан генералу Франко и расстрелян. Я его вспоминаю как человека чистого, удрученного политическими интригами и не только не жаждавшего власти, но принимавшего ее с тем же чувством, с каким солдат тащит на себе винтовки, брошенные другими во время отступления.

Компаниса поддерживала эскерра (левая) — партия, за которой шла мелкая буржуазия, интеллигенция и значительная часть крестьянства. Поддерживала правительство и ПСУК — Объединенная социалистическая партия Каталонии (главную роль в ней играли коммуни-

сты). Анархисты и близкая к ним профсоюзная организация СНТ не признавали власти Мадрида, требовали свержения каталонского правительства и замены его «Советами».

Еще в 1931 году я познакомился с одним из вождей ФАИ — Дуррути; знал и других анархистов — Гарсия Оливера, Лопеса, Васкеса, Эрреру. С Компанисом у меня установились добрые отношения. Нужно было что-то сделать, а что — в точности я не знал. В Мадриде я спрашивал Хосе Диаса, в Барселоне разговаривал с руководителями ПСУК Коморера и другими; все отвечали, что с анархистами беда, что Каталония не помогает Мадриду, что сепаратисты подняли голову. А что делать, этого не знал никто. Был сентябрь 1936 года.

Я несколько раз беседовал о положении в Каталонии с М. И. Розенбергом и по его просьбе написал длинную телеграмму в Москву.

Марселя Израилевича давно нет в живых: он стал одной из жертв произвола. Людей повырубали, но некоторые документы сохранились, и недавно мне дали в архиве копии моих двух писем М. И. Розенбергу. Я приведу выдержки — они покажут не только мою тогдашнюю оценку событий, но и то, чем я занимался — по охоте, которая, как известно, пуще неволи.

Из письма от 17 сентября 1936 г.: «В дополнение к сегодняшнему телефонному разговору. Компанис был в очень нервном состоянии. Я проговорил с ним больше двух часов, причем все время он жаловался на Мадрид. Его доводы: новое правительство ничего не изменило, Каталонию третируют как провинцию, отказались передать духовные школы в ведение Женералите, требуют солдат, а оружия не дают, не дали ни одного самолета. Говорил, что получил от офицеров, командующих частями на фронте у Талаверы, письмо с просьбой отозвать их назад в Каталонию. Очень хотел бы, чтобы в Барселоне было советское консульство... Сказал, что советник по экономическим делам, которого

П. И. Батов и И. Эренбург. Под Гомелем. 1943 г.

Х. Бергамин и И. Эренбург. Каталония

В. А. Антонов-Овсеенко. 20-е годы

Агитфургон, оборудованный И. Эренбургом. Барселона



они послали в Мадрид, должен изложить их претензии. Пока что ни Кабальеро, ни Прието не удосужились его принять. Указал, что если он не получит хлопка, то через три недели у них будет 100 тысяч безработных... Считает важным любой знак внимания Советского Союза к Каталонии... Министр просвещения Гассоль тоже упрекал Мадрид в пренебрежении Каталонией... Говорил с Гарсия Оливером. Он был в неистовом состоянии. Непримирим. В то время как вождь мадридских синдикалистов Лопес говорил мне, что они не допускали и не допустят нападок на Советский Союз в газете «СНТ», Оливер заявил, что они «критикуют» и что Россия не союзник, так как подписала соглашение о невмешательстве. Дуррути на фронте многому научился, а Оливер — в Барселоне, и девять десятых бредовых анархистских идей в нем осталось. Он, например, против единого командования на Арагонском фронте: единое командование понадобится, лишь когда начнется общее наступление. При этой части разговора присутствовал Сандино, он высказался за единое командование. Мы коснулись вопроса о мобилизации и превращении милиции в армию. Дуррути носится с планом мобилизации (непонятно зачем — добровольцы есть, нет ружей). Оливер сказал, что согласен с Дуррути, так как «в тылу укрываются коммунисты и социалисты, они выживают из городов и деревень ФАИ». Здесь он был определенно в бредовом состоянии, мог меня застрелить.

Говорил с политкомиссаром ПСУК Труэбой (коммунистом). Он жаловался на ФАИ: не дают амуниции нашим. У коммунистов осталось по тридцать шесть патронов на человека. У анархистов большие запасы — полтора миллиона. У солдат полковника Вильяльбы тоже всего по сто патронов... В СНТ жаловались, что один из руководителей ПСУК Франсоса на митинге в Сан-Бой сказал, что каталонцам не следует давать ни одного ружья, так как ружья все равно попадут к анархистам.

За десять дней, которые я провел в Каталонии, отношения между Мадридом и Женералите с одной стороны, между коммунистами и анархистами с другой сильно обострились. Компанис колеблется: опереться ему на анархистов, которые согласны поддержать национальные, даже националистические требования эскерры, или на ПСУК для борьбы против ФАИ. Его окружение разделено, есть сторонники





первого и второго решений. Если дела на Талаверском фронте ухудшатся, можно ждать выступления в ту или иную сторону. Необходимо улучшить отношения между ПСУК и СНТ и постараться сблизиться с Компанисом...

Сегодня — собрание каталонских писателей, встреча с Бергамином, который приехал со мной. Надеюсь, на интеллигентском фронте удастся объединить испанцев и каталонцев. Завтра состоится митинг — десять тысяч человек, я выступлю от секретариата Международной ассоциации писателей. Так как это письмо вносит некоторые существенные исправления в то, что я передал для Москвы, пожалуйста, перешлите и это...»

Из письма от 18 сентября: «Сегодня я снова долго разговаривал с Компанисом. Он был в более спокойном состоянии... Он предлагает создать автономное правительство так: половина эскерры, половина СНТ и УХТ... Оливера назвал «фанатиком»... Он знал, что я иду от него в СНТ, и очень интересовался, как ФАИ будет со мной разговаривать, просил сообщить ему результаты. Жаловался, что ФАИ настроена против русских, ведет антисоветскую пропаганду. Он — наш друг. Пароход, хотя бы с сахаром, может смягчить сердца.

В СНТ я говорил с Эррерой. Он много скромнее Оливера. Насчет прекращения антисоветских выпадов сразу согласился. Насчет «Советов» стоит на своем: мадридское правительство — партийное, марксистское. Надо создать действительно рабочее правительство и т. д. Все же в конце беседы, когда я указал ему на дипломатические последствия разрыва конституционной преемственности, он несколько отступил. Но здесь нагрянули всякие интернациональные анархисты, и я ушел. Интересно, что, нападая на мадридское правительство, Эррера привел те же факты, что вчера Компанис,— задержку двух вагонов, отказ снабжать Каталонию оружием и пр.

Сегодня в «Солидарида обрера» напечатано воззвание СНТ с призывом охранять мелких собственников, крестьян, лавочников. Факт положительный...

Миравильес сказал мне, что среди ФАИ уже раздаются разговоры об «отчаянной обороне Барселоны» и пр. Эррера среди прочего упрекал Мадрид за ликвидацию десанта на Майорке — теперь фашисты начнут бомбить Барселону...

Митинг прошел с подъемом. Большинство было из СНТ... Сейчас происходит заседание совета антифашистской милиции. Мне обещали провести примирительную линию в вопросе о реорганизации правительства Каталонии...

P. S. В дополнение к телефонному разговору и письму. Хотя Оливер был непримирим, я узнал, что вечером он сказал в «Солидарида обрера» прекратить атаки против СССР. Действительно, сегодня в «С. о.» напечатаны две телеграммы из Москвы с благожелательными заголовками».

Вскоре после этого я поехал в Париж. Там-то меня и разыскал В. А. Антонов-Овсеенко. Он сразу мне сказал: «Вашу телеграмму обсуждали, согласились с вами. Я назначен консулом в Барселону.

В Москве считают, что в интересах Испании сближение Каталонии с Мадридом. Мне говорили, что я должен попытаться урезонить анархистов, привлечь их к обороне, у них, черт побери, огромное влияние... Да вы это знаете лучше меня. Но вот инстанция согласилась, это замечательно! Теперь можно говорить по-другому...»

Владимира Александровича я знал с дореволюционных лет. Он бродил по Парижу, искал работу, жил впроголодь, но никогда не унывал, был задорным и в то же время мечтательным, в дырявых ботинках, в крылатке; помню его и в «Ротонде», где он играл в шахматы, и в типографии над полосами «Нашего слова», и на митингах, когда он призывал следовать за Лениным. В дни Октябрьской революции он показал, что то были не только слова. В 1926 году я приходил к нему в Праге, где он был полпредом. А потом потерял из виду.

Он постарел, главное — помрачнел; только глаза, когда он снимал очки, сохраняли детскую доверчивость. Я сразу подумал: хорошо, что для Барселоны выбрали именно его! Такой сможет повлиять на Дуррути, у него ведь ничего нет от дипломата или от сановника, скромный, простой, да и дышит еще бурями Октября, не забыл дореволюционного подполья.

Я оказался прав: Владимир Александрович быстро научился говорить по-каталонски, подружился и с Компанисом и с Дуррути, пользовался общей любовью. Несмотря на звание консула, он был настоящим советским послом в Каталонии. Он знал фронт, часто беседовал с командирами, хорошо разбирался в обстановке. Находил время, чтобы посылать телеграммы в «Известия», подписывал их «Зет». Каталонцам нравился его демократизм, он стоял на митингах в толпе, а возвращаясь в консульство, неизменно подвозил на своей машине старика или инвалида. Когда я приезжал в Барселону и мы оставались вдвоем, я чувствовал, что ему тяжело. Незадолго до своего отъезда в Испанию он напечатал в «Известиях» покаянную статью: говорил о своих колебаниях в двадцатые годы как о тяготейшем преступлении, клялся, что с 1927 года преклоняется перед Сталиным, что писал тогда же Кагановичу о своей готовности выполнить любое его поручение, требовал расправы с ослушниками. Может быть, именно это письмо легло камнем на его сердце. А может быть, он предчувствовал, что дойдет черед и до него, не знаю. Он пробыл в Барселоне около года, а вернувшись в Москву, сразу исчез; исчезло и его имя из всех рассказов о штурме Зимнего дворца. Был он человеком чистой души, смелым, верным и погиб только потому, что лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму.

Я хотел вернуться в Барселону с Антоновым-Овсеенко, чтобы сразу его познакомить с различными людьми, но пришлось задержаться в Париже на неделю, было важное дело — я покупал грузовик.

Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и типографией; просил мне помочь, прислать фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». В Париже меня вызвали в банк — Союз писателей перевел сумму на покупку грузовика (не знаю, почему деньги отправили через эту организацию;

добавлю шутя — может быть, хотели показать, что Союз действительно помогает писателям в осуществлении их творческих замыслов). С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам. Не помню, кто мне помог раздобыть аппарат для проекции фильмов, а печатную машину, как я об этом говорил, преподнес мне Эжен Мерль. Еще я нашел чудесный мультипликационный фильм: Микки-маус боролся с котом, побеждал и подымал над мышеловкой красное знамя — я уже знал, что без улыбки в Испании не проживешь.

Стефа согласилась со мною работать. Она говорила по-испански, как будто родилась не на Львовщине, а в Старой Кастилии. Она должна была переводить диалог фильмов и помогать в издании армейских газет. Официально грузовик находился в ведении Комиссариата по пропаганде Женералите — так было написано на кузове. Общее внимание привлекали слова: «Печатня и кино». В Барселоне мы подыскали шофера, механика и двух типографов, один из которых знал четыре языка.

В начале октября в Мадриде состоялось заседание секретариата Международной ассоциации писателей. Мы обратились к интеллигенции всего мира, протестовали .против иностранной интервенции и против комедии «невмешательства». Под обращением стояли подписи многих испанских писателей: Антонио Мачадо, Альберти, Бергамина, других, а из иностранных — Кольцова, Мальро, Луи Фишера, Андре Виоллис и моя.

На дороге я встретил композитора Дурана, моего старого знакомого. Полгода назад мы с ним беседовали о Прокофьеве, Шостаковиче; смеясь, он говорил, что если «Леди Макбет» — «сумбур», то, значит, он любит именно «сумбур». Теперь ему было не до музыки. Он командовал отрядом в двести бойцов и возле Баргаса приостановил наступление фашистской колонны, которая двигалась на Мадрид с юга.

В Мадриде выли сирены. Я с трудом прошел по одной из улиц квартала Куатро Каминос — рухнувший дом завалил проход. Другой дом бомба разрезала, и комнаты казались театральными декорациями. Старуха вытащила из груды мусора большую фотографию молодоженов в раме, бережно прикрыла платком и куда-то унесла. Шел дождь. Было нестерпимо тоскливо, как всегда бывает, когда видишь мелкие безделки, окружавшие только что умершего человека.

Рима Кармен ходил с аппаратом и снимал бомбежки. В Париже мы решили смонтировать из его хроники фильм, я написал текст. «Они ищут... находят...» На экране матери находили среди развалин убитых детей. В зале многие плакали. А Мадриду были нужны не слезы — истребители...

В Барселоне по-прежнему шли споры; но анархисты стали сдержаннее. Забегу несколько вперед — в конце октября было подписано соглашение между ПСУК и УХТ с одной стороны и СНТ и ФАИ — с другой. Представители СНТ вошли в правительство, которое возглавлял Кабальеро. В жизни мне привелось повидать много неожиданного, порой парадоксального; но, прочитав, что Гарсия Оливер,

который мне доказывал, что государство надо разрушить, как здание тюрьмы, назначен министром юстиции, я не выдержал и рассмеялся. А соглашение с анархистами мне казалось большой победой.

В Барселону пришел «Зырянин», привез продовольствие. Начали приходить суда с самолетами, танками, но всего было мало, наша помощь не могла сравняться с той, которую оказывали Франко итальянцы и немцы: дело решала география.

Я любовно поглядывал на грузовик, наконец-то прибывший из Франции, фотографировал его, как любимую женщину. Одна фотография сейчас передо мной — ее напечатали в альбоме. Обыкновенный грузовик, но тогда он мне казался удивительно красивым.

Коммунисты, да и Антонов-Овсеенко говорили: «Поезжайте обязательно на Арагонский фронт. Вы умеете разговаривать с анархистами. Там нет никого из наших — они всех выживают. А с вами они разговаривают. Вы можете их урезонить...»

Я сильно сомневался в своих возможностях; к тому же я знал испанских анархистов. Но на войне маршрутов не выбирают, это не туризм. Мы со Стефой сели в разболтанную машину и медленно, вслед за грузовиком поехали в Барбастро.

19

«У вас в России настоящее государство, а мы за свободу,— сказал мне часовой в красно-черной рубашке, проверяя мой пропуск,— мы хотим установить свободный коммунизм».

«Коммунизмо либертарио» — эти слова до сих пор стоят в моих ушах: столько раз я их слышал как вызов, как присягу.

Желая объяснить порой необъяснимое поведение анархистов, некоторые говорили, что в их колоннах полным-полно бандитов. Слов нет, в ряды анархистов просачивались обыкновенные налетчики, завсегдатаи воровских притонов — партия, обладающая властью, всегда притягивает к себе не только честных, но и проходимцев; а объявить себя анархистом в те времена мог каждый. В сентябре 1936 года, когда я был в Валенсии, туда прикатила сотня дружинников из анархистской «Железной колонны», стоявшей под Теруэлем. Анархисты заявили, что потеряли в бою командира и не знают, что им делать. В Валенсии они нашли себе дело — сожгли судебные архивы и пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить уголовников, среди которых, наверно, имелись их приятели.

Дело было, однако, не в уголовниках. Осенью 1936 года СНТ объединяла три четверти рабочих Каталонии. Руководители СНТ и ФАИ были рабочими и в огромном большинстве — честными людьми. Беда была в том, что, обличая догматизм, они сами были настоящими догматиками, пытались подогнать жизнь под свои теории.

Наиболее умные из них видели разрыв между увлекательными брошюрами и действительностью; приходилось на ходу, под бомбами и снарядами перестраивать то, что вчера им казалось бесспорным.

С Дуррути я познакомился в 1931 году, и он мне сразу понравился. Описать его не решился бы ни один писатель — уж слишком его жизнь напоминала приключенческий роман. Рабочий-металлист, он с ранней молодости отдал себя революционной борьбе, дрался на баррикадах, швырял бомбы, совершал налеты на банки, похищал судей, трижды был приговорен к смертной казни — в Испании, в Чили и в Аргентине, узнал десятки тюрем; восемь стран его высылали одна за другой. Когда в июле мятежники попытались захватить Барселону, Дуррути повел против них рабочих СНТ.

Еще в начале сентября, а может быть в конце августа, я поехал с Карменом и Макасеевым на КП Дуррути. Он тогда мечтал взять Сарагосу. КП находился на берегу Эбро. Я рассказал моим попутчикам, что знаком с Дуррути, и они рассчитывали на радушный прием. А Дуррути вынул из кармана револьвер и сказал, что, так как в статье об астурийском восстании я оклеветал анархистов, он меня сейчас пристрелит. Словами он не швырялся. «Твоя воля,— ответил я,— но странно ты понимаешь законы гостеприимства...» Конечно, Дуррути был анархистом, притом вспыльчивым, но он также был испанцем и смутился: «Хорошо, сейчас ты мой гость, но за статью ты свое получишь. Не здесь. В Барселоне...»

Поскольку в силу законов гостеприимства он не мог меня убить, он стал отчаянно ругаться, кричал, что Советский Союз не свободная коммуна, а самое что ни на есть настоящее государство, там уйма бюрократов, и его не случайно выслали из Москвы.

Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе, тем паче что неожиданное появление револьвера не нуждалось в переводе. А час спустя я им сказал: «Все в порядке, он нас приглашает поужинать».

За столиками сидели дружинники, некоторые в красно-черных рубашках, другие в синих комбинезонах, все с большущими револьверами, ели, пили вино, смеялись; никто не обращал внимания ни на нас, ни на Дуррути. Один из дружинников разносил еду, кувшины с вином, рядом с тарелкой Дуррути он поставил бутылку минеральной воды. Я пошутил: «Вот ты говорил, что у тебя полное равенство, а все пьют вино, только тебе принесли минеральную воду». Я не мог себе представить, какое впечатление это произведет на Дуррути. Он вскочил, закричал: «Уберите! Дайте мне воды из колодца!» Он долго оправдывался: «Я их не просил. Они знают, что я не могу пить вино, и где-то раздобыли ящик с минеральной водой. Конечно, это безобразие, ты прав...» Мы молча ели, потом он неожиданно сказал: «Трудно все изменить сразу. Одно дело — принципы, другое — жизнь...»

Ночью мы с ним пошли осмотреть позиции. Стоял отчаянный шум — проходила колонна грузовиков. «Почему ты меня не спрашиваешь, зачем эти грузовики?» — сказал он. Я ответил, что не хочу расспрашивать о военных тайнах. Он засмеялся: «Какая же это тайна, если это знают все — завтра утром мы перейдем Эбро, вот как!..» Несколько минут спустя он снова начал: «А ты не спрашиваешь, почему я решил форсировать реку?» — «Очевидно, так нужно,— сказал я,— тебе вид-

нее, ты ведь командуешь колонной». Дуррути рассмеялся: «Дело не в стратегии. Вчера прибежал с фашистской территории мальчишка лет десяти, спрашивает: «Что же вы не наступаете? У нас в деревне все удивляются: неужели и Дуррути струсил?» Понимаешь, когда ребенок такое говорит — это весь народ спрашивает. Значит, нужно наступать. А стратегия приложится...» Я посмотрел на его веселое лицо и подумал: да ведь ты сам ребенок.



Бенито Дуррути за несколько часов до гибели

Потом я несколько раз бывал у Дуррути. В его колонне числилось десять тысяч бойцов. Дуррути продолжал твердо верить в свои идеи, но догматиком он не был, и ему приходилось что ни день идти на уступки действительности. Он первым из анархистов понял, что без дисциплины воевать нельзя; с горечью говорил: «Война — свинство, она разрушает не только дома, но и самые высокие принципы». Своим дружинникам он в этом не признавался.

Как-то несколько бойцов ушли с наблюдательного пункта. Их нашли в ближайшей деревне, где они мирно попивали вино. Дуррути бушевал: «Вы понимаете, что вы позорите честь колонны? Давайте ваши билеты СНТ». Провинившиеся спокойно достали из карманов профсоюзные билеты; это еще больше рассердило Дуррути. «Вы не анархисты, вы дерьмо! Я вас выгоню из колонны, отошлю домой». Вероятно, парни хотели именно этого и, вместо того чтобы запротестовать, ответили: «Ладно».— «А вы знаете, что на вас народная одежда? Снимайте портки!..» Дружинники спокойно разделись, Дуррути приказал отвести их в Барселону в одних трусах: «Пусть все видят, что это не анархисты, а самое что ни на есть дерьмо...»

Он понимал, что перед лицом фашистов нельзя спорить о принципах, высказался за соглашение с коммунистами, с партией эскерры, написал приветствие советским рабочим. Когда фашисты подошли к Мадриду, он решил, что его место на самом опасном участке: «Мы покажем, что анархисты умеют воевать...»

Я с ним разговаривал накануне его отъезда в Мадрид. Он был, как всегда, весел, бодр, верил в близкую победу, говорил: «Видишь, мы с тобой друзья. Значит, можно объединиться. Нужно объединиться. Когда победим, посмотрим... У каждого народа свой характер, свои традиции. Испанцы не похожи ни на французов, ни на русских. Что-нибудь придумаем... А пока что нужно уничтожить фашистов...» В конце разговора он неожиданно расчувствовался: «Скажи, ты пережил разлад в себе — думаешь одно, а делаешь другое не от трусости,

а от необходимости?..» Я ответил, что хорошо понимаю его; он меня на прощание похлопал по спине, как полагается в Испании, и я запомнил его глаза с их необычайным смешением железной воли и детской растерянности.

Дуррути недолго пробыл на Мадридском фронте, его убили 19 ноября 1936 года, убили из-за угла. Его смерть была большим ударом по всем силам республиканцев.

Не один Дуррути понял необходимость отказаться во имя победы от чистоты анархистских догм; многие руководители СНТ — ФАИ были вынуждены поступиться принципами. Уж на что был неистов Гарсия Оливер, говорил, что нужно немедленно уничтожить государство, а сделавшись министром, проводил реформы, вполне приемлемые для его либеральных коллег,— боролся против спекулянтов, расширил юридические права женщин, организовал трудовые колонии для фашистов. Анархист Лопес был министром торговли, Пейро — министром промышленности, и, разумеется, им пришлось отложить в сторону старые проекты организации независимых коммун. Министр здравоохранения анархистка Фредерика Монсени, выступая на митинге, доказывала, что не только правительство не может обойтись без анархистов, но и анархисты не могут обойтись без правительства. Однако у руководителей СНТ — ФАИ не было ни энергии, ни авторитета, ни редкостной душевной чистоты Дуррути. Не знаю, все ли из них искренне хотели урезонить своих приверженцев, некоторые бесспорно хотели, но это им редко удавалось. Десятки тысяч храбрых, испытанных в уличных боях рабочих были воспитаны на идеях анархистов и жаждали воплотить эти идеи в жизнь. Мы с нашим грузовиком ехали не к министрам в гости, а в прифронтовую полосу Арагона, где порядки наводили анархисты, оставшиеся верными старым принципам. Не раз вспоминал я выражение, родившееся у нас в годы гражданской войны, «власть на местах». С этой властью я хорошо познакомился.

О военном положении расскажу коротко; вот что я писал В. А. Антонову-Овсеенко 17 ноября 1936 года (это письмо тоже сохранилось в архиве): «Воинские части на Арагонском фронте несколько подтянулись. Заметен больший порядок. Неудача недавнего наступления на Уэску мало отразилась на настроении дружинников. Кое-где имеются окопы, довольно примитивные. Единое командование до сих пор существует только на бумаге. В последние дни улучшилась связь; почти повсюду телефон связывает передовые позиции со штабом... Поскольку Дуррути теперь в Мадриде, его колонна потеряла половину боеспособности. В других анархистских колоннах дело обстоит много хуже; в особенности в колоннах «Красно-черная» и «Ортиса». Дивизия «Карл Маркс» по сравнению с другими частями остается образцовой... Со снаряжением дело обстоит плохо. У батальона, который стоит на юго-восток от Уэски, в Помпенилио, всего два пулемета, оба, после того как пропускают две ленты, становятся негодными, приходится их везти в тыл — 50 км от позиций. Мало снарядов. Ручные гранаты скверные. При всем этом настроение скорее бодрое...»

За месяц до этого картина была еще мрачнее. Как-то я попал на

совещание командиров анархистской колонны. Мне сказали, что обсуждать будут важный вопрос: как взять Уэску. На столе лежала большая карта; однако никто на нее не глядел. Добрый час все обсуждали важную новость: в Барселоне со здания суда снят красно-черный флаг. «Это вызов,— кричал один из командиров,— нужно сейчас же послать сотню дружинников в Барселону! Мы на фронте, а буржуазия этим пользуется, и марксисты ей помогают!..» Мое внимание привлек высокий немолодой человек с военной выправкой. Пока спор шел о походе на Барселону, он молчал и заговорил, только когда один из анархистов вдруг сказал: «Хорошо, а как быть с Уэской?..» Молчаливый военный, которого звали Хименесом, начал объяснять план операции. Он водил пальцем по карте; другие не смотрели. Кто-то попытался поспорить: «Может быть, пойти напролом?..» Его осадили: «Хименес лучше тебя понимает...»

Когда совещание кончилось, Хименес подошел ко мне и представился: «Полковник Глиноедский». Имя я помнил: еще в Париже меня просили передать в испанское посольство, что полковник Глиноедский — русский эмигрант, член Французской коммунистической партии, хороший артиллерист — хочет сражаться на стороне республиканцев.

Рассказывали, будто в годы гражданской войны полковник В. К. Глиноедский под Уфой воевал против Чапаева. Не знаю, правда ли это,— он со мною никогда не заговаривал о своем прошлом; знаю только, что он был в белой армии и в Париже стал рабочим. В Барселону он приехал одним из первых, еще не было интербригад. Он попал в батальон «Чапаева», поразил немногочисленных испанских офицеров, оставшихся верными правительству, своими военными знаниями: его перевели в штаб колонны.

Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без которой невозможно было удержать занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за «восстановление порядков прошлого», но не расстреляли — привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глиноедский говорил мне: «Безобразие! Даже рассказать трудно... Но что с ними поделаешь? Дети! Вот хлебнут горя, тогда опомнятся...»

Анархисты были уверены, что Хименес приехал из Москвы и отрицает это по дипломатическим соображениям. Узнай они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли. В ноябре в Каталонию приехали военные действительно из Москвы, и все они говорили испанцам, что полковник Хименес — советский командир. Его авторитет рос, он стал советником Арагонского фронта. Советских военных испанцы, обожая конспирацию, называли «мексиканцами» или «гальегос» (жители Галисии); я помню, с какой гордостью анархисты говорили: «Наш гальего хоть и марксист, но молодчина...»

Член Военного совета Арагонского фронта полковник Хименес както сидел со мной и расспрашивал про Россию, вспоминал детство.

Я сказал ему: «Ну вот, после войны сможете вернуться домой...» Он покачал головой: «Нет, стар я. Это, знаете, хуже всего — оказаться у себя дома чужим человеком...» Он помолчал и начал говорить о положении на фронте.

При последней встрече он мне показался очень усталым. Я не раз видел на войне, как люди от усталости становятся неосторожными, кажется, что их притягивает смерть. Член Военного совета, командующий артиллерией фронта пошел с десятком бойцов в разведку. Он был смертельно ранен. Сестра рассказывала, что в полевом госпитале он что-то говорил по-русски, никто его не мог понять.

Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли Компанис, Антонов-Овсеенко, представители правительства, армии, всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-черной лентой: «Дорогому товарищу Хименесу».

Глиноедский был прав: разговаривая с анархистами, будь то их руководители — Дуррути, Васкес, Гарсия Оливер, будь то дружинники под Уэской, я и умилялся и злился: дети, точнее не скажешь, хотя некоторые были с проседью и все, разумеется, с оружием.

Анархистов я узнал по-настоящему на Арагонском фронте, когда мы в деревнях показывали фильмы, печатали однодневные газеты, ели в коммунальных столовых, ночевали то на командных пунктах, то в растерзанных домах священников, где размещались местные комитеты, то в крестьянских хижинах.

Много раз мне приходилось ехать по той же дороге из Барселоны на фронт мимо каталонских городов Игуалады, Тарреги, Лериды. В Тарреге было кафе с вывеской «Бар Кропоткина»; там завсегдатаи обсуждали политику Компаниса, организацию любительского спектакля, семейные скандалы. Каталония казалась изумрудной — с виноградниками, садами, огородами,— каждый клочок земли был любовно возделан. Деревни напоминали города: повсюду были кафе, клубы, по улицам прогуливались нарядные девушки. И вдруг все менялось: перед глазами вставала рыжая каменная пустыня Арагона. Здесь редко можно было увидеть три или четыре пыльные маслины. Летом было нестерпимо жарко, зимой дули ледяные ветры. По пустой извилистой дороге порой ехал крестьянин верхом на крохотном ослике. Голодные козы искали травинку, спрятавшуюся среди камней от палящего солнца. Деревни лепились на склонах голых гор; дома были того же цвета, что и горы, и повернуты к дороге глухими стенами, так что казались брошенными.

В Каталонии анархисты были несколько стеснены — не законами Женералите, не сопротивлением эскерры или ПСУК, а уровнем жизни населения: каталонцы жили хорошо, и анархисты не всегда решались посягнуть на крепко налаженный быт. Нищий, отсталый Арагон открывал перед вдохновителями СНТ — ФАИ неограниченные возможности. Они приехали сюда, чтобы освободить от фашистов Сарагосу, Уэску, Теруэль. Но война затягивалась, фронт оставался почти неподвижным, несмотря на неоднократные попытки продвинуться вперед. Нашлись

горячие головы, которые решили превратить ближайший тыл, городки и села Арагона, в рай «свободного коммунизма».

Арагонские крестьяне жили плохо, терять им было нечего, и вначале они спокойно отнеслись к организации сельских «коммун». Анархисты обобществляли все, вплоть до кур. Во многих деревнях у крестьян отбирали деньги, иногда даже сжигали их. Крестьянам выдавали пайки. Я видел сельские комитеты, которые, не заглядывая далеко вперед, обменяли несколько вагонов пшеницы на кофе, сахар, обувь. В одном селе я спросил комитетчика, что они будут делать в январе, когда иссякнут запасы хлеба. Он рассмеялся: «Да мы до этого расколотим фашистов...»

В некоторых селах анархисты выдавали доктору, учителю сахар, орехи, миндаль — прочитали в газете, что эти продукты необходимы для умственного труда. Были и такие деревни, где сельскую интеллигенцию вовсе лишили пайков, как тунеядцев. В селе Сеса у врача отобрали осла, и он не мог больше лечить больных в соседних деревушках; в аптеке не было лекарств; в комитете говорили, что «природа лечит лучше врача...».

Был я в городке Фрага; там десять тысяч жителей. Анархисты отобрали деньги и выдали жителям книжки с правом покупать в неделю товаров на столько-то песет. Кафе были открыты, но в них ничего не отпускали, просто можно было посидеть и уйти. Доктор мне рассказал, что хотел выписать из Барселоны медицинскую книгу; председатель комитета ему ответил: «Если ты докажешь, что книга нужна, мы ее напечатаем, у нас своя типография. А с Барселоной у нас нет торговых отношений...» В городе Пина деньги тоже отменили, установили сложнейшую систему карточек; имелись карточки на право стричься и бриться. Многие члены комитетов были искренними энтузиастами, но в экономике разбирались плохо. В большом селе Мембрилья (Ламанча) анархисты, отменив деньги, объявили, что каждая семья состоит в среднем из четырех с половиной человек и, следовательно, для упрощения делопроизводства будет получать продовольствие на четыре с половиной души.

В одном из городков Арагона комитет решил разобрать железную дорогу, утверждая, что жители ею мало пользуются и что дым паровозов отравляет воздух. Анархисты-фронтовики, узнав об этом решении, всполошились — они должны были получать из тыла боеприпасы и продовольствие; пути не были разобраны.

Мы устраивали киносеансы и на площадях — белая стена служила экраном, и в чудом уцелевшей церкви, и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма: молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева, говорили: «Зачем же воевать, если лучшие погибают?..» Стефа переводила текст; иногда ее перебивали возгласы: «Да здравствует Чапаев!» Помню, раз какой-то анархист крикнул: «Долой комиссара!» — и все зааплодировали. Лишний раз я понял, что искусство прежде всего апеллирует к сердцу: в картине Чапаев — герой, а Фурманов — резонер.

Все же фильм иногда приносил практические результаты: в одной

части после сеанса решили быть впредь осторожнее и выставлять на ночь дозоры.

Крестьяне смотрели «Чапаева» другими глазами. Часто после сеанса они подходили ко мне, благодарили русского комиссара за то, что он запрещает отбирать свиней, просили написать ему о непорядках в их селе — для них фильм был хроникой, они были убеждены, что и Чапаев и Фурманов еще живут в Москве.

Фильм «Мы из Кронштадта» дружинники воспринимали своеобразно. Когда матрос с камнем на шее швырял в воду гитару, раздавался смех — зрители не могли поверить, что моряков кинут в воду. Когда из воды показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись: знали заранее, что он спасется, и ожидали, когда же выплывут остальные. Сказывалась беспечность, которая еще жила в каталонцах осенью 1936 года. (Я написал об этом в одной из газетных статей и получил отповедь от тогдашнего руководителя Союза писателей Ставского: «Если мелкий буржуа смеется, то об этом и надо сказать. А разве пролетарии будут над этой картиной смеяться?»)

В газетах, которые мы печатали для анархистских колонн, мы старались, не вступая в полемику с принципами СНТ — ФАИ, объяснить на живых примерах, как важно согласовать действие колонны с другими частями, выполнять приказы своих командиров, не уходить с позиций, надеясь на бездействие противника, и так далее.

Тюрем анархисты не признавали, говорили, что нельзя лишать человека свободы; нужно его убедить; но они не были ни толстовцами, ни пацифистами и, видя, что человек не поддается убеждению, порой его расстреливали. В одном селе расстреляли крестьянина, который менял талоны для парикмахерской на кофе или сахар. Я возмутился, но один анархист мне серьезно ответил: «Ты что думаешь? Мы его пытались переубедить, три месяца с ним разговаривали, а он продолжал свои махинации. Это не человек, а торгаш!..»

Мне рассказывали, как в городе Барбастро анархисты закрыли публичный дом, произнесли несколько речей — говорили, что женщины отныне свободны и должны заняться полезным трудом: шить для бойцов рубашки. Пожилая проститутка вцепилась в одного из анархистов: «Я здесь пятнадцать лет работаю, а ты меня на улицу гонишь!..» Анархисты долго обсуждали, можно ли ее переубедить; наконец нашелся один, который за это взялся. Возможно, что эту историю придумали, но она звучала правдоподобно.

Описав В. А. Антонову-Овсеенко, как анархисты насаждают в Арагоне «свободный коммунизм», я добавлял: «Во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК мало людей, которые понимают, как надо с ними разговаривать; сплошь да рядом работники ПСУК говорят: «Лучше фашисты, чем анархисты».

Я, видимо, заразился от анархистов — поверил, что людей легко переубедить. А это совсем не просто — переубеждает жизнь. Слова, даже самые разумные, слишком часто остаются словами. Дуррути быстро шагал; другие не хотели или не могли расстаться с иллюзиями,

да и с традициями; требовалось время, а его не было: каждый день Франко получал от своих покровителей людей и вооружение.

На войне люди легко сходятся, и я дружил с анархистами. Хотя они должны были бы ругать Советский Союз, они понимали, что если кто-нибудь им помогает, то это наша страна. Спорить приходилось часто; но только раз в прифронтовой деревне один исступленный паренек начал грозить мне револьвером: «Раз тебя нельзя убедить...» Его вовремя уняли.

Многие из анархистов менялись на глазах; были и такие, что упорствовали; но даже их можно было образумить дружеским словом, порой улыбкой. Они кричали, грозились — и быстро отходили. Многое из того, что они понаделали, следует объяснить незнанием. Я почти не встречал среди них кадровых военных, экономистов, агрономов, инженеров, это были барселонские рабочие; на интеллигенцию они поглядывали с опаской, хотя и преклонялись перед философией, наукой, искусством. Они могли поддаться панике, побежать от одной бомбы, могли и пойти в атаку, несмотря на сильный пулеметный огонь,— все зависело от настроения, от сотни случайностей. Во время фашистского террора тысячи из тех, кого я встречал в Арагоне, мужественно пошли на смерть, не отреклись. Как в любой партии, среди анархистов были добрые и злые, умные и дураки; но то, что меня в них привлекало,— это непосредственность и редкостная в наш век наивность.

Никогда в жизни меня не соблазняли теории анархистов: видимо, не хватало наивности; но после «Хулио Хуренито» некоторые критики окрестили меня «анархистом». Может быть, поэтому, а может быть, потому, что в статьях об Испании я настаивал на необходимости единого фронта, один наш писатель, приехавший в Мадрид на конгресс, сказал: «Поскребите хорошенько Эренбурга, и вы увидите анархиста». Было это в пригородном доме, куда коммунисты вечером пригласили советскую делегацию. Долорес Ибаррури рассмеялась: «Бывают и такие: поскребешь — окажется фашист...»

Почему я посвятил длинную главу испанским анархистам? Работа с агитмашиной заняла у меня всего три или четыре месяца. Да и не только к анархистам мы ездили — показывали фильмы и бойцам частей, которыми командовали коммунисты, побывали в интернациональных отрядах, печатали газеты на испанском, каталонском, немецком, французском языках. В декабре я поехал в Мадрид. Если я остановился на осени 1936 года в Арагоне, то только потому, что в длинной истории человеческих заблуждений это достаточно патетическая страница.

«Коммунизмо либертарио» — «свободный коммунизм», все анархисты о нем говорили и почти все в него верили, доказывали, и хорошо доказывали, что без свободы не может быть настоящего коммунизма. А те коммуны, которые они устроили в Арагоне, напоминали поселки перепуганных индейцев Парагвая, руководимых иезуитами, с одинаковой одеждой, одинаковой едой, одинаковыми молитвами. (Правда, иезуиты господствовали свыше ста лет и достигли совершенства: отец Муратори рассказывает, что, когда провинившегося парагвайца секли, он целовал руку своего мучителя и благодарил за удары.)

В старой записной книжке я нашел переписанные мною слова одного французского автора (не помню, кого именно): «Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет».

20

Трудно себе представить первый год испанской войны без М. Е. Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действий, нежели советский журналист.

Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями. Познакомился я с ним еще в 1918 году в киевском «Хламе», потом встречал его в Москве, работал с ним над подготовкой парижского конгресса писателей, но по-настоящему разглядел и понял его позднее — в Испании.

Михаил Ефимович остался в моей памяти не только блистательным журналистом, умницей, шутником, но и концентратом различных добродетелей и душевного ущерба тридцатых годов.

«...Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»,— писал Пушкин. Сто лет спустя эти слова казались нам злободневными. Кольцов в беседах со мной часто высказывал оценки вдоволь еретичные: ему, например, нравился Таиров, он хорошо отзывался о книгах многих западных писателей, высмеивал наших критиков: «любят порядок и почитают Домострой, хотя толком не знают, что это». Вместе с тем он пуще врагов боялся инакомыслящих друзей. В нем был постоянный разлад между общественным сознанием и собственной совестью.

К попыткам некоторых левых писателей Запада покритиковать хотя бы робко порядки сталинского времени Кольцов относился пренебрежительно, говорил: «X что-то топорщится, я ему сказал, что у нас переводят его роман, наверно, успокоится» или «Y меня спрашивал, почему Буденный ополчился на Бабеля, я не стал спорить, просто сказал, чтобы он приехал к нам отдохнуть в Крым. Поживет месяц хорошо — и забудет про «бабизм Бабеля». Однажды он с усмешкой добавил: «Z получил гонорар во франках. Вы увидите, он теперь поймет даже то, чего мы с вами не понимаем».

Он никого не старался погубить и плохо говорил только о погибших: такое было время. Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глазу на глаз поговорить по душам, пооткровенничать, но, когда шла речь о порядке дня двух конгрессов, не приглашал меня на совещания. Однажды он мне признался: «Вы редчайшая разновидность нашей фауны — нестреляный воробей». (В общем, он был прав — стреляным я стал позднее.)

Когда Второй конгресс кончился, я написал заявление: «Тов.

Кольцову — Председателю советской делегации. Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу Вас вычеркнуть мое имя из списка и освободить меня от данной работы... Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с одной стороны, воздерживаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегациям, с другой — показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления делегатов советских по рангам. Я не мог высказать мое мнение, так как никто меня о нем не спрашивал, и мои функции сводились к функциям переводчика... Как вы знаете, я очень занят испанской работой; помимо этого, хочу сейчас писать книгу, полагаю, что с бо́льшим успехом смогу приложить свои силы для победы общего дела, чем пребывая декоративным персонажем в секретариате...» Михаил Ефимович, прочитав заявление, хмыкнул: «Люди не выходят, людей выводят»,— но обещал не обременять меня излишней работой.

История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк — искусство, он сам в это не верил. Не раз он говорил мне насмешливо и печально: «Другие напишут романы. А что от меня останется? Газетные статьи — однодневки. Даже историку они не очень-то понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что происходит в Испании, а то, что в Испании должно было бы произойти...» Он завидовал не только Хемингуэю, но и Реглеру: «Напишет роман в тридцать печатных листов...» Я понимаю горечь этих слов — я сам немало времени и сил отдал работе журналиста. Кольцов был прав — историку трудно положиться на его статьи (как и на мои статьи того времени) или даже на книгу «Испанский дневник»: она слишком окрашена временем, а рядового читателя куда больше растрогают воспоминания о Кольцове, чем его фельетоны,— он ищет всех тонов, расположенных между белым и черным,— а Михаил Ефимович был куда сложнее, чем его памфлеты или корреспонденции.

Он любил одесский анекдот о старом балигуле (извозчике), который ехидно спрашивает новичка, что тот будет делать, если в степи отвалится колесо и не окажется под рукой ни гвоздей, ни веревки. «А что же вы будете делать?» — спрашивает наконец пристыженный ученик; и старик отвечает: «Таки плохо». Михаил Ефимович часто хмыкал: «Таки плохо». А час спустя он приводил в чувство какого-либо испанского политика, убедительно доказывая ему, что победа обеспечена и, следовательно, незачем отчаиваться. К людям он относился недоверчиво; это звучало бы упреком, если бы я не добавил, что он относился недоверчиво и к себе — к своим чувствам, к своему таланту, да и к тому, что его ожидает.

Он пробыл в Испании немногим больше года, но что-то в нем изменилось, он стал человечнее, исчезло легкомыслие, он больше не носился с проектами опасных интервью или занятных журналов, да и глаза глядели мягче. Однако до конца он был не унылым, а веселым скептиком, и после беседы с ним неизменно оставалось двойное чувство:

горько, но занятно — стоит жить, может быть, удастся увидеть, чем это все кончится...

Перемена, происшедшая с Кольцовым в Испании, объяснялась многим: ответственностью, которая лежала не столько на журналисте «Мих. Кольцове», сколько на «Мигеле Мартинесе», сознанием трудности, а с лета 1937 года невозможности победы разъединенной, плохо снабжаемой оружием республики, повседневным зрелищем бомбежек, голода, смерти. Однако не только это изменило Михаила Ефимовича, но и месяц, проведенный в Москве, вести, доходившие с родины. Михаил Ефимович помрачнел.

Недавно появился сборник воспоминаний «Михаил Кольцов, каким он был». Бесспорно, самые интересные страницы в сборнике написаны братом Кольцова карикатуристом Борисом Ефимовичем Ефимовым. В них рассказано, как железный круг сжимался вокруг смелого, веселого и еще влиятельного человека. За полтора года до развязки Кольцов, приехавший на короткий срок из Мадрида, докладывал Сталину и его ближайшим помощникам о положении в Испании. Когда Кольцов наконец-то замолк, Сталин неожиданно спросил, как его следует «величать» по-испански, «Мигуэль, что ли?». Еще больше изумил Кольцова вопрос Сталина, когда Михаил Ефимович уже шел к двери: «У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?» Кольцов ответил, что револьвер у него имеется. «Но вы не собираетесь из него застрелиться?» — спросил Сталин. Рассказывая об этом брату, Михаил Ефимович добавил, что он прочитал в глазах «хозяина»: «слишком прыток».

По словам Ефимова, лучше всех знавшего Кольцова, Михаил Ефимович до последней минуты «фанатически верил в мудрость Сталина».

Два месяца спустя после странного разговора о револьвере я шел с Михаилом Ефимовичем по пустой уличке Мадрида. Кругом были развалины домов, ни одного живого человека. Я спросил Кольцова, что произошло в действительности с Тухачевским. Он ответил: «Мне Сталин все объяснил — захотел стать Наполеончиком». Не знаю, подумал ли он в ту минуту, что он, Михаил Кольцов, беззаветно веривший в Сталина, тоже не защищен от обвинений,— «слишком прыток».

Когда в декабре 1937 года я приехал из Испании в Москву, я сразу пошел в «Правду». Михаил Ефимович сидел в роскошном кабинете недавно построенного здания. Увидев меня, он удивленно хмыкнул: «Зачем вы приехали?» Я сказал, что захотел отдохнуть, приехал на писательский пленум с Любой. Кольцов почти вскрикнул: «И Люба притащилась?..» Я рассказал ему про Теруэль, сказал, что видел перед отъездом его жену Лизу и Марию Остен. Зачем-то он повел меня в большую ванную комнату, примыкавшую к кабинету, и там не выдержал: «Вот вам свеженький анекдот. Двое москвичей встречаются. Один делится новостью: «Взяли Теруэль». Другой спрашивает: «А жену?» Михаил Ефимович улыбнулся: «Смешно?» Я еще ничего не мог понять и мрачно ответил: «Нет».

В апрельский вечер я встретил его возле «Правды», сказал, что получил паспорт и скоро вернусь в Испанию. Он сказал: «Кланяйтесь

моим, да и всем,— потом добавил: — А о том, что у нас, не болтайте — вам будет лучше. Да и всем — оттуда ничего нельзя понять...» Пожал руку, улыбнулся: «Впрочем, отсюда тоже трудно понять».

Я ответил Кольцову искренне: все было совсем не смешно. Конечно, никто не причислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стреляным соколом. Мы расстались весной 1938 года, а в декабре стреляного сокола не стало. Было ему тогда всего сорок лет.

21

Люди привыкают ко всему: к чуме, к террору, к войне; и мадридцы быстро привыкли к бомбежкам, к голоду и холоду, к тому, что фашисты — в Каса-дель-Кампо, то есть в двух-трех километрах от густозаселенных кварталов, и что все это, видимо, надолго.

«Известия» тогда выходили в самое различное время: иногда в семь часов утра, иногда, если среди ночи поступали сообщения ТАСС, список награжденных или обвинительное заключение, в десять, а то и в полдень. Мадридские газеты продолжали выходить в шесть часов утра, как они выходили прежде, когда нужно было поспеть к утренним поездам. Поездов давно не было, а привычка осталась.

Из семи шоссейных дорог, соединявших столицу со страной, шесть были захвачены фашистами. То вспыхивали, то затихали бои за седьмую дорогу, соединявшую Мадрид с Валенсией. Несколько километров этой дороги фашисты простреливали. Однажды мне пришлось выскочить из машины и пролежать в поле полчаса. Вблизи разорвалось несколько снарядов. На войне то хорошо, что редко бываешь один. Я не мог показать шоферу-испанцу, который лежал рядом, что мне не очень-то уютно, я ведь был «мексиканцем», а шофер старался мне показать, что он чувствует себя как дома, потому что он испанец.

М. Кольцов. Перебежка под обстрелом

Миаха, Михе, В. Горев





На двадцать первом километре от Мадрида, возле Мората-де-Тахунья, фашисты укрепились. Я там бывал несколько раз; проходя по глубоким окопам, можно было услышать, как фашистские солдаты где-то рядом переругиваются или поют. В течение многих месяцев шли бои за развалины дома, и я вспоминал знаменитый «дом паромщика», который в годы мировой войны несколько месяцев подряд значился в союзных и немецких сводках.

А в Мадриде продолжалась фантастическая и вместе с тем будничная жизнь. Тротуаров никто не подметал, валялся щебень, обрывки старых афиш, осколки бомб, битая посуда. Утром разводили костры, возле них грелись женщины и солдаты. Зимой в Мадриде холодно, и андалузцы или каталонцы зябли. Многие магазины были открыты; оставались товары, мало кому нужные в то время: хрустальные люстры, духи, старые романы, галстуки. Как-то раз я увидел в мебельном магазине молодого бойца и женщину, они приценивались к зеркальному шкафу и нежно глядели друг на друга; вероятно, они были молодоженами. В другой раз я встретил маляра с ведром краски и лесенкой — он шел белить стены.

А на улицах продавали самодельные зажигалки, карманные фонари. В некогда фешенебельных ресторанах бойцы восторженно ели горох — он был пшенной кашей Испании. Возле булочных стояли длинные очереди, и не раз люди, ожидавшие двести граммов хлеба, умирали от осколка бомбы или от снаряда. Трамвай ходил почти до окопов. Однажды я пошел рано утром на улицу Рафаэля Салилья. Пожарные выносили трупы; мне запомнилась девочка, похожая на разбитую куклу, и швейная машина с голубенькой материей, повисшая на балке.

Правительство уехало в Валенсию. В мадридских комитетах политических партий шли нескончаемые споры. Анархисты и троцкисты («поумовцы») настаивали на «углублении революции». Прието хотел, чтобы навели порядок, и обвинял своего товарища по партии Кабальеро в демагогии. Жизнь продолжалась...

Продолжалась она повсюду. Поэты издали сборник стихов, посвященных войне, собирались, обсуждали возрождение старой формы романсеро. Я познакомился с пожилой учительницей музыки, она рассказывала, что к ней приходят две ученицы, играют гаммы.

Театры были открыты, но спектакли начинались не в десять часов вечера, как прежде, а в шесть; играли все те же пьесы «Ты цыган, я цыганка» или «Ночь в Альгамбре». В кино показывали фильмы Чаплина; Морис Шевалье в картине «Соблазнитель» пел знакомые песенки. Девушки утирали глаза от скорби обманутой американки, а дружинники неистово аплодировали Лолите Гранатос.

Ко мне в холодный номер гостиницы приходили с фронта испанцы и бойцы интербригад; иногда у меня оказывались селедки, присланные из Одессы, или курица, завезенная из Валенсии. Мы молча ели, а потом начинали разговаривать о вещах, мало относившихся к положению на фронте. Студент-боец с жаром доказывал, что, хотя во всем мире читают «Дон Кихота», никто, кроме испанцев, его не понимает, да и не

может понять. Один серб принес мне толстую рукопись: он записал свои наблюдения о том, как реагируют различные животные на бомбежки. По его словам, кошки вели себя коварно, но разумно: услышав гул самолетов, они тотчас выпрыгивали в окно и неслись в поле, подальше от жилья. Собаки, наоборот, слепо верили во всемогущество человека, просились в дом, залезали под стол или под кровать. Свои записки серб писал в окопах, во время бомбежек, об этом он упомянул вскользь; его интересовала зоопсихология, и он расспрашивал об опытах Дурова. Француз из батальона «Парижская коммуна» читал мне свои стихи:

Небо огнями реклам расцвечено —
Распродажа разодранных тел и Вечности...

Штаб помещался в центре Мадрида, в глубоком подвале министерства финансов. Подвал разделили на крохотные комнатушки; там работали, ели и спали. Стучали пишущие машинки. То и дело приходили и уходили военные. В одной из комнатушек, сгорбившись, сидел старый, больной и подавленный событиями человек — генерал Миаха. О нем тогда писали все газеты мира, а он печально глядел на меня и отвечал: «Да... да...» Вошел комбриг Горев с переводчицей Эммой Лазаревной Вольф, принес карту, долго говорил о положении в Университетском городке. Миаха внимательно слушал, тусклыми грустными глазами глядя на карту, и повторял: «Да... да...»

Владимир Ефимович Горев редко заглядывал в подвалы министерства — все время был на позициях. Ему не было и сорока лет, но он обладал большим военным опытом. Умный, сдержанный и вместе с тем чрезвычайно страстный, осмелюсь сказать — поэтичный, он покорял всех, мало сказать, что ему верили,— верили в его звезду. Полгода спустя испанцы научились воевать, у них были одаренные командиры — Модесто, Листер, да и другие, менее известные. А осенью 1936 года, пожалуй, кроме начальника генштаба полковника Рохо, среди командного состава республиканской армии было мало людей энергичных и в то же время обладавших военными знаниями. В ноябрьские дни Горев сыграл огромную роль, помог испанцам остановить фашистов в предместьях Мадрида.

Когда Франко начал операции на севере, Горев отправился с переводчицей Эммой в Басконию. Франко сосредоточил на севере крупные силы; немецкая авиация наносила массированные удары. Республиканцы четыре месяца защищались, отрезанные от основных сил, взятые в кольцо. Настала развязка. В Хихоне, который должен был со дня на день пасть, было двадцать шесть советских военных во главе с Горевым, среди них раненые, больные и Эмма.

В эскадрилье, созданной Мальро, в первые месяцы войны сражался веселый француз, прекрасный летчик Абель Гидес. Летом 1937 года он вернулся в Париж. Узнав, что советские товарищи не могут выбраться из окружения, Гидес раздобыл крохотный туристический самолет и полетел в Хихон. Горев хотел улететь последним. Гидес совершил три рейса, среди других спас Эмму, а когда он полетел в четвертый раз, его

обстреляли фашистские истребители. Милый смелый Гидес погиб. А он только перед этим женился... Горев и несколько оставшихся с ним товарищей ушли с партизанами в горы. Их вывез советский самолет. Все это было чудом. Мы радовались — спасся Горев! А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и тут уже не могло быть никаких чудес. Горев погиб в Москве.

В подвале, кроме Горева, жили Ратнер и Львович, которого в Испании звали Лоти. Ратнер был разумным и скромным стратегом. Мне говорили, что потом он преподавал в одной из военных академий. Лоти пробыл в Испании долго, подружился с испанцами; был он печальным весельчаком, любил поэзию. Однажды в горячий мадридский вечер мы сидели на камне перед разбитым домом, обливались пóтом, и он вспоминал разрозненные строки стихов — Лермонтова, Блока, Маяковского; вдруг встал и сказал:

«Красивое имя,
Высокая честь —
Мадридская волость
В Испании есть.

Значит, мне надо идти на КП. А вы знаете, что вы должны делать? Не болтаться под снарядами, а писать. У каждого свое ремесло... Писатель, а не пишет...»

Я встречал Лоти и в Двенадцатой бригаде у генерала Лукача и в «Гайлорде», потом в Валенсии. Был он на редкость храбрым, а других осаживал, говорил: «Испанцы не знают, что такое осторожность. Для любви это хорошо, а для войны не годится...» В 1946 году я встретил в Америке художника Фернандо Херасси, командира батальона Двенадцатой бригады, и его жену Стефу. Первое, о чем они меня спросили: «Что с Лоти?..» Я отвернулся и еле выговорил: «Погиб»...

В Испании я думал об одном: о победе. Но, понятно, я встречался с нашими, и хотя мы еще не знали, что означает 1937-й, порой на душе становилось смутно.

Корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, человек очень больной, писал длинные телеграммы и острил. Он сочинил смешную пьесу, читал ее избранным; героями были Кольцов, Кармен, Макасеев, Эренбург и он сам. Приходя в его номер, мы всегда смеялись. Один раз я увидал его грустным, он сидел над «Правдой». Никого в комнате не было. Вдруг он мне сказал: «А вы знаете, нам повезло... Собрание писателей, сидят и выявляют врагов народа... Давайте поедем в Карабанчель, там собираются взорвать дом. А о нашем разговоре забудьте...» Я выпросил у него несколько номеров относительно свежих газет. В Карабанчеле дом не взорвали, сказали, что саперы подвели. Зато мы попали под хорошую бомбежку. Ночью я прочитал газеты и подумал: действительно повезло — под бомбами куда легче, здесь, по крайней мере, знаешь, кто враг и кто свой...

Как-то Кольцов сообщил мне: «Наградили большую группу. В газете этого не будет... Поздравляю вас с боевым орденом Красной Звезды». Я его тоже поздравил; поздравил сейчас же Кармена и Мака-

сеева. Михаил Ефимович, помню, добавил: «Будете получать, кажется, десять рублей в месяц. От голода это вас не спасет. От проработки тоже...»

Я впервые в жизни получил орден, да еще такой, о котором не будет в газете. Не скрою — я обрадовался.

Я уезжал из Мадрида, снова возвращался и увидел первую победу республиканцев возле Гвадалахары. Фашисты рассчитывали с помощью танков прорваться в Мадрид. В районе Сигуэнсы они сосредоточили несколько итальянских дивизий, танки, авиацию. Битва кончилась для фашистов неожиданно: продвинувшись на несколько десятков километров, они были отброшены на исходные позиции, потеряв много людей и техники. Итальянцы сражались плохо, да и рассчитали неосторожно: были убеждены, что большие танковые соединения быстро выйдут на равнину, где смогут окружить противника; а после контратаки республиканцев итальянские танки очутились в узкой долине, где их нещадно бомбили наши летчики.

Я много раз ездил на Гвадалахарский фронт — с Кольцовым, с Хемингуэем, с Савичем; побывал в Паласио Ибарра — в развалинах старого помещичьего дома, из которого «гарибальдийцы» выкинули итальянских фашистов, в расщепленной бомбардировками Бриуэге. Было необычайно радостно идти по земле, освобожденной от фашистов, видеть итальянские надписи на стенах, брошенные пушки, ящики с гранатами, ладанки, письма. Я разговаривал с победителями — с солдатами частей, которыми командовали Листер, Кампесино, с бойцами Двенадцатой бригады, с генералом Лукачем, с Фернандо, с болгарами Петровым и Беловым. Разговаривал я и с пленными итальянцами. На дворе была короткая кастильская весна. Бойцы грелись на солнце. Небо порой покрывалось металлическими тучами, звенели ливни, и час спустя густая южная лазурь говорила о близком лете.

Для нас, переживавших в течение полугода одни лишь поражения, Гвадалахара была нечаянной радостью. Я думал, что позади не только зима, но холод отступлений.

Среди пленных итальянцев было много горемык, которые охотно бросали оружие. Я увидел знакомых мне итальянских крестьян, добрых и миролюбивых; они проклинали офицеров, дуче, войну. Сапожник из Палермо рассказал мне, что помнит двадцатый год,— он тогда был мальчишкой, на улице стреляли, а в комнате отца висел портрет Ленина. Он был неграмотным, но сразу понял, где свои, и, воспользовавшись суматохой, перебежал к «гарибальдийцам».

Попадались и настоящие фашисты, не столь жестокие, как их немецкие единоверцы, но чванливые, верившие в громкие фразы Муссолини. Я прочитал дневник одного итальянского офицера; незадолго до Гвадалахары он писал: «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам фалангистам, они знают одно — есть и пить за здравие Испании. Всерьез воюем только мы...»

В итальянской армии было много опереточного. Помню знамя батальона «Черные перья» с надписью: «Не блистаем, но жжем». В таком же стиле были выдержаны названия других батальонов: «Львы»,

«Волки», «Орлы», «Неукротимые», «Стрела», «Буря», «Ураган». Однако эти батальоны входили в бригады, дивизии. Из итальянского порта Гаэта непрерывно шли транспортные суда в Кадикс; подбрасывали людей, артиллерию, танки. Республиканцы нашли документы генерального штаба, телеграмму Муссолини, который писал генералу Манчини: «На борту «Пола», направляясь в Ливию, я получил донесение о большой битве, развернувшейся возле Гвадалахары. Я с бодростью слежу за эпизодами боя, глубоко убежденный, что храбрость и воинственный дух легионеров положат конец вражескому сопротивлению». Хотя настроение у меня было хорошее, я не разделял оптимизма некоторых, уже видевших республиканцев под Сарагосой. Меня тревожила не мнимая храбрость итальянских легионеров, а трусость англичан и французов в Комитете по невмешательству. В статье о битве под Гвадалахарой я писал: «Не следует преуменьшать опасность — Италия только вступает в войну».

Продвижение республиканцев длилось недолго. В холодную ночь комбриг М. П. Петров, командовавший танковым соединением, поил меня горячим чаем. Это был коренастый и добродушный танкист. Он сокрушался: «Техники мало! Даже грузовиков не нашли, чтобы подбросить пехоту. Вот и завязли... Ну ничего, в конце концов мы их расколотим». (Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года под Брянском. Он весело закричал: «Помнишь Бриуэгу?..» А время было невеселое. Его убили в бою вскоре после нашей встречи, так он и не увидел разгрома фашистов.)

В начале апреля республиканцы решили атаковать фашистов, укрепившихся в Каса-дель-Кампо. Я пошел в пять часов утра на наблюдательный пункт, который находился в здании дворца. Окна комнаты выходили на запад. Мы видели, как бойцы выбегали из окопов и падали, как двинулись танки. Артиллерийская подготовка была сильной, но

Комбриг В. Горев

А. Эйснер, П. И. Батов, М. Петров, Белов. Испания

И. Эренбург с орденом Красной Звезды

«...Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела...» Мадрид. Фото И. Эренбурга





пулеметы не умолкали, и почти нигде республиканцам не удалось выбить фашистов из окопов.

Вечером нужно было передать в газету отчет о результатах операции. Я не знал, что сообщить, и решил описать час за часом все, что видел, не говоря вовсе о наступлении и статью озаглавив «День в Каса-дель-Кампо». В комнате, где мы находились, висела клетка с канарейкой. Фашисты выпустили несколько снарядов по дворцу. Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела: очевидно, грохот ее возбуждал. Я упомянул и про канарейку, хотя понимал, что такого рода наблюдения уместнее в романе, нежели в газетной корреспонденции. Редактор про канарейку выпустил, даже обиделся. Люба тогда была в Москве и пришла в редакцию, чтобы поговорить со мной по телефону. «В чем дело с канарейкой?» — спросила она. А я не мог ей объяснить, что в моей статье канарейка запела только потому, что наступление не удалось.

Как-то я слушал радиопередачу из Севильи. Фашисты говорили: «Вокруг Мадрида сосредоточены крупные советские силы, их численность доходит до восьмидесяти тысяч». Слушал и горько усмехался. Советских военных было мало; цифр я не знаю, но я бывал и в Алкала, где стояли наши танкисты, и на двух аэродромах — очень, очень мало! В различных частях было еще несколько десятков военных советников. Людей было немного, но воевали они хорошо и в критические дни приподняли дух испанцев. Когда в ноябре мадридцы впервые увидели над собой советские истребители (их окрестили «курносыми»), несмотря на воздушную тревогу, они стояли на улицах и аплодировали — им казалось, что теперь они ограждены от бомб.

Из командиров я встречал комдива Г. М. Штерна (его называли в Испании Григоровичем), Яна Берзина (Гришина), комкора авиации Я. В. Смушкевича (Дугласа), танкиста Д. Г. Павлова, П. И. Батова, Х. Д. Мамсурова (Ксанти), Г. Л. Туманяна и других. Это были разные люди, но все они по-настоящему любили Испанию. Многие из них погибли в годы произвола, а те, что уцелели, до сих пор с нежностью вспоминают испанских товарищей. Не видел я со стороны людей, которых назвал, ни высокомерия, ни даже раздражительности, а она легко могла бы родиться: кадровые военные столкнулись с неразберихой,



с анархистами, с наивными командирами, считавшими, что немецкие самолеты можно прогнать с помощью винтовок.

Познакомился я с советскими летчиками, танкистами; с некоторыми подружился; лучше понял и войну, и наших людей. Если четыре года спустя я смог работать в «Красной звезде», находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании.

В апреле в Мадрид приехала герцогиня Атолльская, член английского парламента от консервативной партии. Ее поместили в той же гостинице, где жили Кармен, Савич, я. Пока она осматривала город, осколок немецкого снаряда угодил прямо в ее комнату. Журналисты спросили ее, не думает ли она поставить в парламенте вопрос о «невмешательстве». Она ответила, что обещала не делать никаких политических заявлений, но восхищается мужеством Мадрида и оплакивает невинные жертвы. Она не была одинокой: многие восхищались и оплакивали. А Гитлер и Муссолини делали свое дело.

Мою веру в победу поддерживал испанский характер. Во время одной из бомбежек Петров и я загоняли старую женщину в убежище; она не хотела идти, говорила: «Пусть они, негодяи, видят, что мы их не боимся!..»

22

Январь 1937 года я пробыл в Париже, а в начале февраля вернулся в Испанию. Я увез с собою О. Г. Савича.

Я не собираюсь посвятить эту главу портрету Савича,— я уже говорил, что мало рассказываю о живых. Говоря о себе, я то подымаю, то опускаю занавеску исповедальни — я волен выбирать; но, говоря о других, я связан: бог его знает, что можно рассказать, а о чем лучше промолчать? Савич мой добрый и старый друг. Черновики многих моих книг испещрены пометками Савича — он замечал немало погрешностей. Хотя в ранней молодости он был актером, он для меня неотделим от литературы. Он не только пишет или переводит, он страстный читатель, и, кажется, нет ни одного автора и в XIX веке, и в советское время, которого он не прочитал бы. Я ему многим обязан. Но теперь я ограничиваю себя одним: хочу показать, какую роль могла сыграть Испания в жизни одного человека.

Познакомились мы давно — кажется, в 1922 году. Он моложе меня всего на пять лет, но тогда он казался мне подростком. В 1930 году он с молодой женой Алей поселился в Париже, и мы встречались почти каждый вечер. Раз в год перепуганный Савич отправлялся в советское консульство, чтобы продлить паспорта. Мы ездили с Савичами в Бретань, в Словакию, в Скандинавию. Савич показывал Париж Всеволоду Иванову, нашим поэтам, актерам Театра Мейерхольда; он человек мягкий, благожелательный, спорить не любит, и всем он нравился. В конце двадцатых годов после нескольких сборников рассказов в Москве вышел его роман «Воображаемый собеседник», роман хороший, который понравился столь различным писателям, как Форш,

Тынянов, Пастернак. В газетах его разругали, одно заглавие сердило критиков: хотя еще никто не говорил о новом толковании реализма, но воображать не полагалось. Савич продолжал писать, но второй роман не получался. Он помрачнел. Иногда он посылал очерки в «Комсомольскую правду», и они никак не напоминали объяснений с воображаемым собеседником, писал он про то и это, про футбол и про Барбюса, про мировой кризис и про рабочие танцульки. Мне казалось, что он не может найти ни своей темы, ни места в жизни. В 1935 году его Аля уехала в Москву. Савич должен был вскоре последовать за нею, но в январе 1937 года я застал его в Париже и легко уговорил посмотреть хотя бы одним глазом Испанию: «Сможешь написать для «Комсомолки» десять очерков...»

Хотя я хорошо знал Савича, я никогда не видел его перед опасностью смерти. В первый же вечер в Барселоне мы пошли поужинать в хороший ресторан «Остелерия дель соль». Мы мирно беседовали о старой испанской поэзии, когда раздался необычный грохот. Свет погас. На бомбежку это не походило, и я не сразу понял, что происходит. Оказалось, фашистский крейсер обстреливает город. На Параллели один анархист стрелял из револьвера в сторону моря — хотел потопить вражеский корабль. Савич был спокоен, шутил. Потом я видел его во время жестоких бомбежек, он поражал меня своей невозмутимостью,— и я понял, что он боится не смерти, а житейских неприятностей: полицейских, таможенников, консулов.

Я повел Савича к В. А. Антонову-Овсеенко, и он сразу пришелся по душе Владимиру Александровичу. Я сказал, что должен съездить на Арагонский фронт, вернусь через неделю и тогда мы поедем в Валенсию и Мадрид. Владимир Александрович сказал Савичу: «А вы приходите к нам запросто...»

Вернувшись дней десять спустя, я не нашел Савича. Антонов-Овсеенко мне рассказал, что Савич ездил под Уэску, а потом с новым послом Л. Я. Гайкисом уехал в Валенсию. Я подумал: «Ну и Сава!» (так я всегда звал Савича).

Я остановился, как всегда, в гостинице «Виктория», где жили иностранные журналисты. Вечером позвонил Савич: «Приходи ко мне — я в «Метрополе». Я даже растерялся от изумления, но попросил Саву выписать мне пропуск: в «Метрополе» жили наши военные, там помещалось посольство, и проникнуть туда было нелегко.

Савича я нашел растерянным: «Я попал в дурацкое положение... Я обедал у Антонова-Овсеенко, когда приехал посол — он возвращался из Москвы в Валенсию. Я набрался храбрости: может быть, в его машине окажется местечко для меня. Он усадил меня рядом. А когда мы вошли в «Метрополь», он распорядился: «Номер для товарища...» Советские люди в Испании свято соблюдали конспирацию и никогда не спрашивали человека, кто он, откуда. Так бедный Савич оказался загадочным товарищем, которого посол встретил у Антонова-Овсеенко.

В «Метрополе» жила корреспондентка ТАССа Мирова, высокая, полная и энергичная женщина. Савич ее удивил своей начитанностью, эрудицией. Она предложила ему помогать ей в работе для ТАССа.

Савич был запуган ситуацией, но согласился. Мирова относилась к нему покровительственно и вместе с тем с уважением, говорила: «Он похож на гравюру». Я поехал с Савичем в машине Мировой в Альбасете, где формировались интербригады. Потом в Валенсию приехал корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, и Мирова решила, воспользовавшись этим, побывать в Мадриде. Мы поехали втроем: Мирова, Савич и я. Это было в марте. Гельфанд остался в Валенсии: там находилось правительство.

Я упоминал, что бывал с Савичем на Гвадалахаре. В апреле я уехал к Теруэлю, а потом в Андалузию — шли бои вокруг Пособланко. Гельфанд заболел и вернулся в Москву. Мирова его заменила. А Савич оставался в мадридском «Паласе», часто бывал на фронте, подружился с нашими военными — с Лоти, с Хаджи, встречался с испанцами, описывал бои и бомбежки. Он наслаждался жизнью: то место, о котором он тщетно мечтал в мирном Париже, оказалось в полуразрушенном голодном Мадриде.

Однако его ждали новые испытания. В мае Мирова вызвала его в Валенсию. Она была чем-то очень взволнована, сказала, что уезжает на несколько дней в Москву. Савич будет жить в ее комнате и выполнять обязанности корреспондента ТАССа.

Я был в Париже, когда мне позвонил Савич: «Мирова почему-то не возвращается. Может быть, ты попросишь Ирину выяснить, что с ней, когда она рассчитывает приехать». Я разговаривал с Ириной по телефону, спросил, что с Мировой. Ирина ответила, что в Москве чудесная погода. «Но что с Мировой?..» Ирина не ответила.

Вскоре я приехал в Валенсию, пошел к Савичу. Он сидел расстроенный среди дамских платьев, духов, кремов. «Что с Мировой?..» Я знал, что Мирова — жена ответственного работника, который занимался отправкой в Испанию военных советников, знал, что она серьезная женщина, знал также, что Ирина не станет говорить о погоде, когда я ее спрашиваю, что с Мировой. У меня были мрачные догадки, но что такое 1937-й, я тогда еще не знал.

Потом были наступление на Уэску, конгресс писателей, бои за Брюнете. Мы с Савичем видались редко. В ноябре я его нашел в Барселоне, куда переехало правительство. Он писал телеграммы или сидел у телефона — ждал, когда вызовет Москва. В декабре мы простились — я уехал в Москву.

Быть корреспондентом ТАССа очень легко и очень трудно. Полгода спустя я сосватал Савича с «Известиями», и появился новый корреспондент с испанским именем Хосе Гарсия. Савич мог описывать людей, говорить о том, что его волновало, немного фантазировать, немного вспоминать милую его сердцу литературу — так писал Хосе Гарсия. А корреспондент ТАССа должен был описывать политическую и военную обстановку, борьбу внутри антифашистской коалиции, действия анархистов и поумовцев (испанских троцкистов),— словом, быть информатором. До Испании Савич куда больше увлекался поэзией, чем политикой, и за свои обязанности он взялся с девственной чистотой мыслей. После отъезда Кольцова, Кармена, моего он остался един-

ственным советским корреспондентом в Испании. К нему приходили испанские коммунисты — побеседовать по душам, посоветоваться. Он говорил прекрасно по-испански, и посол Марченко поручал ему: «Побеседуйте с новым министром внутренних дел, это социалист, прощупайте, как он настроен, вам это удобней, чем мне, вы — журналист...» Не удивительно, что Савич видел многое глазами испанских коммунистов или работников посольства.

Однако, кроме политики, есть душа народа, его горе, его мужество и то подлинное презрение к смерти, которым всегда отличались испанцы. Кроме политических деятелей, у Савича были и другие собеседники — солдаты и поэты, крестьяне и шоферы. Он увидел то, что когда-то искал в воображаемом собеседнике. Мало сказать, что он полюбил Испанию,— полюбили ее все советские люди, в ней побывавшие,— Испания оказалась ему сродни.

Я не хочу тасовать годы и события, в последующих главах я упомяну о встречах с Савичем в 1938—1939 годы. А сейчас мне хочется рассказать о том, как сложилась судьба О. Г. Савича после Испании. Он начал переводить испанских поэтов, от старого Хорхе Манрике до Мачадо, Хименеса и Рафаэля Альберти, переводил и поэтов Латинской Америки — Габриэлу Мистраль, Пабло Неруду, Гильена. То место в жизни, которое он нашел весною 1937 года в Мадриде, осталось под ногами — испанская речь и поэтическая настроенность, укрепившаяся в нем за годы Испании.

23

Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

И. Эренбург, Стефа Херраси, О. Савич, Ф. Херраси. Мадрид

Г. Реглер, И. Эренбург, Э. Хемингуэй, Й. Ивенс. Паласио Ибарра. Мадрид, 1937 г.





Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй...» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя.

В 1931 году в Испании Толлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце»: «Здесь, кажется, про Испанию, про бой быков, может быть, это вам поможет разобраться...» Я прочитал, раздобыл «Прощай, оружие!». Хемингуэй помог мне разобраться — не в бое быков, в жизни.

Вот почему я смутился, увидав рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех.

Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я — по-французски. «Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?» — спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!..» «Информация» по-французски «nouvelles», а по-испански «novelas» — романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился: критики его ругают за «телеграфный стиль» романов. Я рассмеялся: «Меня тоже — «рубленые фразы»...» Он добавил: «Одно плохо, что ты не любишь виски. Вино — для удовольствия, а виски — горючее...»

Многие тогда удивлялись: а что действительно делает Хемингуэй в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до испанской войны, когда итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступил против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом; посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гран-Вия в гостинице «Флорида», недалеко от здания телефонной станции, по которому все время била фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом — ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать спокойно свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку; он сердито откладывал телеграммы: «Мне и здесь хорошо...» Он не мог расстаться с воздухом Мадрида. Писателя привлекали опасность, смерть, подвиги.

А человек говорил прямо: «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались, и ожил, помолодел.

В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. (Хорошо, что хоть Хаджи выжил! Я его как-то встретил и обрадовался.)

Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии — красные, похожие на крупную клубнику,— и усмехался: «Побросали все... Узнаю́...»

В первую мировую войну Хемингуэй сражался добровольцем на итало-австрийском фронте; он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай, оружие!» Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война: машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он (не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри) полюбил англичанку Кэтрин; любовь эта, как и в других романах Хемингуэя,— изумительный сплав чувственности и целомудрия. Фред распрощался с оружием: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».

А у Гвадалахары, на Хараме, в Университетском городке Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Хемингуэй часто ездил на КП Двенадцатой бригады, которой командовал генерал Лукач — венгерский писатель Мате Залка. В годы первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война — пакость»,— вздыхая, признавался веселый обычно Мате Залка. «И еще какая! — отвечал Хемингуэй, а минуту спустя продолжал: — Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов...» Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами.

(У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио Ибарра: Хемингуэй, Ивенс, Реглер и я. Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается.)

Как-то Хемингуэй сказал мне: «Формы, конечно, меняются. А вот темы... Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно. Даже море...»

В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрта-дель-Соль. Это кафе чудом уцелело между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй вытащил из заднего кармана флягу,

налил виски. «Мне кажется,— говорил он,— никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально». Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог — не понимаю, как он сделан. Хемингуэй усмехнулся: «Один американский критик уверяет, и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский...»

Диалог Хемингуэя так и остался для меня загадкой. Конечно, когда я читаю роман или рассказ, которые меня увлекают, я не думаю над тем, как они сделаны. Читает читатель, но потом писатель невольно начинает задумываться над тем, что связано с его ремеслом. Когда мне понятен прием, я могу сказать, что книга написана плохо, средне или хорошо, очень хорошо, она может мне понравиться, но она меня не потрясает. А диалог в книгах Хемингуэя остается для меня загадкой. В искусстве, может быть, самое большое, когда не понимаешь, откуда сила. Почему я полвека повторяю про себя строки Блока:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла...

Нет здесь ни новой мысли, над которой задумаешься, ни непривычных слов. Так и с диалогом Хемингуэя: он прост и загадочен.

Л. Ю. Брик, когда к ней однажды пришли гости, сказала, что поставит магнитофон; потом мы услышали наш разговор, и стало неприятно — мы говорили длинными «литературными» фразами. Герои Хемингуэя говорят иначе: коротко, как бы незначительно, и вместе с тем каждое слово раскрывает душевное состояние человека. Когда мы читаем его романы или рассказы, нам кажется, что именно так говорят люди. А на самом деле это не подслушанные фразы, не стенографическая запись — это эссенция разговора, созданная художником. Можно понять американского критика, решившего, что по-хемингуэевски говорят испанцы. Но Хемингуэй не переводил диалога с одного языка на другой — он его переводил с языка действительности на язык искусства.

Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он — представитель романтической богемы или образцовый дилетант: пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости боя быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой; уж на что развалины «Флориды» были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал; говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться: если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать, в пятый раз, в десятый.

Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали порой блистательно. А Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях — он их показывает.

В этом, может быть, объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран; не все, конечно, его любили, но почти все у него учились.

Он был моложе меня на восемь лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале двадцатых годов — точь-в-точь как я на восемь лет раньше; сидел за чашкой кофе в «Селекте» — рядом с «Ротондой» — и мечтал о лишнем рогалике. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в «Селекте» сидят богатые американские туристы. А там сидел голодный Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом.

Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья: поэт Блез Сандрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя; может быть, чрезмерно бурной жизнью, может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти.

Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бое быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: «А все-таки в жизни есть свой смысл... Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера возле Университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне. Студент... Мы говорили бог знает о чем — о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень хорошо сказал: «Большего дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я родился,— нужно отогнать их от Мадрида. Это — как дважды два...» — И, помолчав, Хемингуэй добавил: — Видишь, как получается,— хотел распрощаться с оружием, а не вышло...»

Он тогда писал: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит один из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор.

Запомнился еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками: «Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем, они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он — здоровый парень, вот в чем дело...»

В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барселону продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьмут Теруэль? — спросил он.— Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: «Не знаю. Началось хорошо... Но говорят, что фашисты подтягивают резервы». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя — он был одет по-летнему. «Ты сошел с ума — там собачий холод!» Он засмеялся: «Топливо со

мной»,— и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: «Конечно, трудно... Но их все-таки расколотят...» Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: «Он тебе поможет». Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография: я в постели, а он надо мной, и этот снимок был помещен в американской книге о его жизни.

Когда в июне 1938 года я вернулся в Испанию, Хемингуэя там уже не было. Запомнился он мне молодым и худым; я его не узнал, увидев десять лет спустя фотографию толстого дедушки с большой белой бородой.

Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться, и с Б. М. Лапиным мы решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыхали зенитки, а мы все читали, читали. Роман был об Испании, о войне; и когда мы кончили, мы молча улыбнулись.

Это очень печальная книга, но в ней — вера в человека, любовь обреченная и высокая, героизм группы партизан во вражеском тылу, с которыми находится американский доброволец Роберт Джордан. В последних страницах книги — утверждение жизни, мужества, подвига. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой: он отослал своих товарищей. Он один. У него ручной пулемет. Он может застрелиться, но хочет, умирая, убить несколько фашистов. Хемингуэй прибег к внутреннему диалогу; вот короткий отрывок: «...Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд,— подумал он.— Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это

Э. Хемингуэй и И. Эренбург. Мадрид

Генерал Э. Листер и Э. Хемингуэй под Мора де Эбро. Ноябрь 1938 г.





у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики — вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо бы иметь запасную ногу... Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо... Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дела. До тех пор, пока ты еще знаешь, что это ты должен делать дело. До тех пор, пока ты еще помнишь, что это ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Ты думай о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо... Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание... Но если дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить...» Внутренний диалог кончается: «Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу...»

Название романа Хемингуэй взял из стихов английского поэта XVII века Джона Донна и поставил эпиграфом: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».

Эти стихи могут стоять эпиграфом ко всему, что написал Хемингуэй. Менялись времена, менялся и он, но неизменно в нем оставалось то ощущение связи одного человека со всеми, которое мы часто называем по-книжному «гуманизмом».

После смерти Хемингуэя я прочитал статью в одной американской газете: критик уверял, что гражданская война в Испании была для писателя случайным эпизодом — между боем быков и охотой на носорогов. А это неправда. Хемингуэй не случайно оставался в осажденном Мадриде, не случайно во время второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, вместо того чтобы сидеть в штабах, отправился к французским партизанам, не случайно приветствовал победу сторонников Фиделя Кастро. В его жизни была своя линия.

В августе 1942 года, в очень скверное время, я писал: «Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы должны защитить жизнь — в этом призвание нашего злосчастного поколения. А если не удастся мне, многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце!»

Роман «По ком звонит колокол» многие поносили. Одно дело старик и море, другое — молодость и война за человеческое достоинство. Ругали роман разные люди и по-разному: одних возмутило, что Хемингуэй оправдывает войну и что, увлекшись временным, он забыл про искусство, другим не нравились описания отдельных эпизодов гражданской войны, третьим — страницы, посвященные Андре Марти. (Стоит писателю сказать нечто за пятьдесят лет или хотя бы за день до того, как это становится общеизвестной истиной, на него все обрушиваются. Но если бы писатели старательно переписывали аксиомы, то они были бы заправскими дармоедами.)

Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил письмо от Хемингуэя; он звал меня к себе на Кубу; с нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет: надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся...

И вот короткая газетная телеграмма... Сколько раз сообщали о смерти Хемингуэя — и в 1944 году, и десять лет спустя, когда над Угандой разбился самолет, в котором он летел. Потом следовали опровержения. Теперь опровержения не было... Хемингуэй никогда не говорил мне о том, что его отец, врач, кончил жизнь самоубийством; об этом я узнал от общих друзей. Герой романа «По ком звонит колокол» в последнюю минуту думает: «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думать об этом». Хемингуэй решил вопрос иначе, нежели Роберт Джордан. Смерть как-то сразу вошла в его жизнь, и о нем можно сказать без натяжки: умер, как жил.

А я, оглядываясь на свой путь, вижу, что два писателя из числа тех, кого мне посчастливилось встретить, помогли мне не только освободиться от сентиментальности, от длинных рассуждений и куцых перспектив, но и попросту дышать, работать, выстоять,— Бабель и Хемингуэй. Человеку моих лет можно в этом признаться...

24

Обязанности военного корреспондента, а может быть, и моя непоседливость заставляли меня все время кочевать. Один из шоферов, молодой Аугусто, ночью боялся заснуть у руля и просил: «Расскажи, какие дороги в Китае». Я ему говорил, что никогда в Китае не был; он скептически усмехался: «Удивительно! Я гляжу на тебя — не можешь две ночи подряд переночевать в одной комнате...»

Я просмотрел подшивку «Известий» за апрель 1937 года. 7-го я был возле Мората-де-Тахунья, где шли бои за «седьмую дорогу»; 9-го описывал атаку в Каса-дель-Кампо; 11-го писал про бомбежку Сагунто; 17-го сообщал из Валенсии о документах, найденных на немецком летчике; 21-го передавал из-под Теруэля об очередном наступлении; 26-го бродил по городу Пособланко на Южном фронте.

Да и разные у меня были занятия, кроме газетной работы. В секре-

тариате по пропаганде мне рассказали, что Франко мобилизовал молодых крестьян; нужно им объяснить, почему республиканцы воюют против фашистов; а листовок солдаты не подбирают — боятся.

Испанцы редко курят изготовленные на фабрике сигареты, предпочитают самокрутки. В республиканской Испании не было табака. У фашистов был табак, но не было папиросной бумаги, которая выделывалась в Леванте; она поступала в продажу в виде маленьких книжиц. Я предложил на каждом десятом листочке напечатать то, что нужно, а книжки с маркой старой солидной фирмы бросать в окопы противника. Дело оказалось сложным: пришлось самому ездить на фабрику, уговаривать выполнить заказ.

Потом я видал перебежчиков с «пропуском» — листиком папиросной бумаги. Курить хотелось всем, и, хотя фашистские офицеры уверяли, будто бумага отравленная, «книжки» охотно подбирали.

Как-то в Валенсии, в гостинице «Виктория», где я обычно останавливался, ко мне подошел швейцарец, представитель Красного Креста. Он сказал, что в фашистской тюрьме находятся советские летчики, взятые в плен. Франкисты согласны их обменять на пленных немецких офицеров. Он дал мне список. Я сразу понял, что ни один из летчиков не назвал себя — фамилии были прозвищами, придуманными для Испании (почему-то часто выбирали отчества — Иванович, Михайлович, Петрович, и фамилии звучали, как сербские). Я тотчас передал список Г. М. Штерну.

Год спустя с сотрудником советского посольства я стоял возле моста, соединяющего французский пограничный город Андай (в наших газетах писали «Хендай») с испанским Ируном, захваченным в начале войны фашистами. Обмен произошел на мосту. Наши летчики выглядели ужасающе — измученные, изголодавшиеся, в лохмотьях. Мы их прежде всего накормили. Было это вечером, магазины давно позакрывались, а летчиков необходимо было одеть. Товарищи повели меня к владельцу магазина готового платья, который слыл «сочувствую-

Андре Мальро — рядом с оператором. Валенсия

Походная академия





щим», объяснили ему, в чем дело; час спустя летчики могли сойти за иностранцев, возвращающихся с курорта. Они сдержанно, спокойно рассказывали о пережитом; только когда их провели в спальный вагон и они увидели постеленные койки, сверкающие простыни, один не выдержал — я увидел в его глазах слезы. Генерал Захаров, с которым я встречался в Испании, а потом на Белорусском фронте (он командовал авиационным соединением, куда входил французский полк «Нормандия — Неман»), недавно рассказал мне, что некоторые из этих летчиков живы, он знает, где они находятся. Я обрадовался: случайно я затесался в их судьбу.

Я не соблюдаю хронологической последовательности: в памяти клубок городов и дат; да я и не пытаюсь дать историю испанской войны; мне хочется рассказать о том, чем я жил и какой видел Испанию весной 1937 года.

Разные города жили по-разному. Мадрид был фронтом. Валенсия неожиданно стала столицей, искусственной и неправдоподобной, а Барселона оставалась Барселоной — большим городом, с буржуазией, с анархистами, с традициями баррикад и предательств, с сотнями баров на людной Параллели, с беспечностью и вместе с тем трагичностью. Появились карточки, очереди; но душа города не изменилась.

Я думал, что после февральского обстрела крейсером барселонцы насторожатся, одумаются. Но похоронили убитых, расчистили улицы — и жизнь потекла по-прежнему. Устроили Неделю войны: театры должны были ставить военные пьесы, по радио передавали антифашистские речи, на улицах пестрели плакаты «Все на фронт!». Пожалуй, это убедительнее всего говорило о легкомыслии Барселоны: тридцать пятую неделю ожесточенных боев и бомбежек объявили Неделей войны. Кончилась Неделя — и в театрах возобновили легкие комедии, а в витринах книжных магазинов вместо брошюр, изданных секретариатом пропаганды, снова появились романы, анархистские теоретические книги и сочинения, посвященные сексуальной проблеме.

Однако куда опаснее беззаботности были внутренние распри. Я был далеко от Каталонии, на Южном фронте, когда в Барселоне шли уличные бои между анархистами и штурмовой гвардией. Выдавать происшедшее только за провокацию так же наивно, как увлечение дореволюционных эсеров террором объяснять заданиями Азефа. Для анархистов государство было злом, и хотя в правительство Кабальеро входили представители СНТ, барселонская и арагонская вольница продолжала «углублять революцию». Когда в начале июня я снова увидел Барселону, я понял, что нет ни подлинного единства, ни доверия. Франко был далеко, и различные партии с опаской, порой с неприязнью поглядывали одна на другую. Каталонская буржуазия, вначале поддерживавшая Компаниса, была напугана и анархистами, и усилением власти центрального правительства. Рабочие, находившиеся под влиянием СНТ — ФАИ, считали, что коммунисты, объединившись с Прието, «предали революцию».

Правда, кое-где на Арагонском фронте колонны, став дивизиями, несколько подтянулись. Были в Барселоне рабочие, понимавшие, что

прежде всего нужно разбить Франко. Помню собрание на заводе «Дженерал моторс»: решили работать по десяти часов в день, чтобы дать армии больше грузовиков; один старый синдикалист кричал: «Мало десять, нужно шестнадцать!..» Но куда чаще приходилось слышать ожесточенные споры. Порой убивали из-за угла. Барселона, на вид веселая и беспечная, металась в лихорадке.

В Валенсии разместилось правительство, и город заполнили чиновники, беженцы из Мадрида, из городов, захваченных фашистами, дипломаты, журналисты. На площади Кастеляр висело давно вылинявшее полотнище: «Отсюда всего 150 километров до фронта!»

От Мадрида до фронта не было и пяти километров, но даже в Мадриде молодежь танцевала, суды разбирали дела о разводах, профсоюз официантов обсуждал новые ставки, и мальчишки выпрашивали у интербригадовцев заграничные почтовые марки. А Валенсия, по испанским понятиям, была глубоким тылом. Не будь частых ночных тревог, а порой бомбежек да наплыва беженцев, можно было позабыть, что война в самом деле недалеко.

Бульвары были обсажены апельсиновыми деревьями, плоды валялись на земле. Стояли очереди за мясом, за молоком; апельсинов было слишком много, они гнили в порту, куда редко заглядывали иностранные суда. Кафе были переполнены; посетители гадали, где начнется наступление — под Мадридом, у Кордовы или на Арагонском фронте. Толковали и о других битвах — политические бури не притихали. Кабальеро вышел в отставку и обличал Прието. Помню, как все в Валенсии передавали последнюю новость: Кабальеро хотел выступить на митинге в Аликанте, но его задержали на дороге мотоциклисты. Председатель Арагонского комитета, непримиримый анархист Аскасо, отказался признать правительство Негрина. Асанья огорчался и молчал. Компанис говорил, но тоже огорчался. Каждый день в Валенсию приезжали командиры с различных фронтов, требовали оружия.

В одном из посольств Латинской Америки, куда пригласили журналистов, я увидел фашистов, вывезенных из Мадрида; какая-то дама повторяла: «Это такой ужас, такой ужас!..»

В гостинице «Виктория», где я жил, иностранные журналисты пили коктейли, по вечерам играли в покер, жаловались на скуку.

Иногда устраивали митинги на площади. Иногда обнаруживали шпиона в «Виктории». Жара стояла несносная; с окрестных рисовых полей шла горячая сырость.

Зимой я часто встречался в Валенсии с Андре Мальро: его эскадрилья стояла неподалеку от города. Это человек, который всегда живет одной страстью; я знал его в период увлечения Азией, потом Достоевским и Фолкнером, потом братством рабочих и революцией. В Валенсии он думал и говорил только о бомбежках фашистских позиций, а когда я заговаривал о литературе, дергался и замолкал. У французских добровольцев были старенькие, плохие самолеты, но, пока республиканцы не получили советской техники, эскадрилья, созданная Мальро, сильно им помогала. Однажды он рассказал мне эпизод, который потом описал в романе «Надежда» и сделал стержнем снятого им в Испании

фильма. Из фашистской зоны пришел крестьянин, сказал, что покажет, где находится фашистский аэродром. Крестьянина французы взяли с собой; но он не мог с высоты распознать местность. Летчику пришлось лететь на малой высоте. На аэродром сбросили бомбы, но самолет обстреляли, механик был тяжело ранен. В Валенсии для Мальро это было не литературным сюжетом, а боевыми буднями: он воевал.

В «Метрополе» жили некоторые наши военные. Во всех соседних домах жители разводили кур. Ксанти (майор Хаджи) ложился спать поздно, и на заре его неизменно будили петухи. Он жаловался: «Черт знает что! Да не будь я советским, я бы перестрелял всех петухов...»

Я поехал снова в Альбасете. До войны это был захолустный город, торговавший шафраном и ножами; достопримечательностей в нем не было, и туристы здесь не останавливались. В Альбасете формировались интернациональные бригады. Город подвергся сильным налетам фашистской авиации и напоминал разбомбленные предместья Мадрида. Мне запомнились в музее Христос на кресте со свежей раной от осколка бомбы и среди развалин большого кафе клочок старой афиши «Сегодня бал в Капитолии».

Пока я ходил по городу, в гостиницу пришли два человека из штаба Марти, обыскали мою комнату и нашли несколько номеров французской газеты «Тан». Они меня ждали и повели в штаб. Там выяснилось, что я — корреспондент «Известий», и кто-то, гаркнув, что произошло «недоразумение», пошел докладывать начальнику.

Часа два я проговорил с Андре Марти; это был человек честный, но легко подозревавший других в предательстве, вспыльчивый и не раздумывавший над своими решениями. После этого разговора у меня осталась горечь: он говорил, а порой и поступал, как человек, больной манией преследования.

Я утешился вечером с интербригадовцами. Здесь были испанцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, сербы, англичане, негры, русские эмигранты. Пели и «Молодую гвардию», как в предместьях Парижа, и традиционное «Красное знамя» итальянцев, и печальную песенку Мадрида о Французском мосте и четырех генералах, и нашу про волочаевские дни, и болгарские с понятными словами, с незнакомой восточной мелодией, похожие на водоворот звуков, вспоминали далекие города, шутили, подбадривали друг друга.

Много лет спустя на первых конгрессах сторонников мира, когда молоденькие делегаты пели, подымали вверх пестрые платочки, неистово аплодировали, я вспоминал Испанию: их отцов или старших братьев я видел в Альбасете, многие из них погибли под Мадридом, под Уэской, на Хараме. Не верится даже, что в тридцатые годы нашего века могла подняться из народных глубин большая и одинокая волна братства, самопожертвования. Верность заверяли тогда не подписями, не речами, а своей кровью. О каждом из этих людей можно было бы написать необыкновенную книгу. А книг не написали: пришла вторая мировая война, и потоки крови смыли кровавые капли на камнях Кастилии или Арагона.

В конце апреля я поехал в Андалузию, где шли бои за кусок земли,

который называли «Эстремадурским клином». От Мотриля до Дон-Бенито — сотни километров. Можно с равным правом сказать, что никакого фронта там не было и что фронт был повсюду.

В окрестностях Гренады верхушки гор были заняты республиканцами или фашистами, а между ними в долинах крестьяне, привыкшие к выстрелам, как к грозам, пасли отары овец. Порой даже дороги не охранялись. Я видел бойца-анархиста, который взял в плен двух фашистских офицеров — они прикатили в машине, не зная, где находится противник (а это было у Адамуса возле Кордовы, то есть на самом оживленном секторе Южного фронта).

Фашисты старались прорваться к Альмадену: их соблазняла ртутная руда. Несмотря на бомбежки, на голод, горняки продолжали работать. Фашистам подбросили итальянскую дивизию «Голубые стрелы», и они подошли вплотную к Пособланко. Этот городок отчаянно бомбили; его крошила артиллерия. Силы были слишком неравными. Но республиканцы удержали Пособланко. Ими командовал кадровый полковник Перес Салес, по-старомодному учтивый, с седой щетиной. Трудно разгадать людей по виду; я глядел на него и думал: вот ехал бы я в поезде, а напротив сидел бы такой человек, да разве я понял бы, на что он способен?.. Перес Салес говорил мне: «Я не коммунист, не анархист, я, знаете ли, самый обыкновенный испанец. Ну что я мог сделать? Застрелиться нечестно. Вот в том окопе мы отстреливались. Два пулемета... У них было девять батарей. Только не подумайте, что это хвастовство. Я вам говорю: другого выхода у нас не было. Я мало разбираюсь в политике, но я испанец, я люблю свободу...»

На выручку защитников Пособланко пришел батальон, который назывался «Батальоном имени Сталина»; он состоял из андалузцев, главным образом горняков Линареса, где добывают свинец. Командовал батальоном толстый веселый южанин Габриель Годой. Он рассказал мне, что с детства работал на рудниках; походил он на добродушного медведя и признался, что пишет стихи.

В Андалузии было мало порядка, но еще много нерастраченного жара. В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать.

А бомбили Хаэн сильно; там я увидел сцену, которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, на что мы нагляделись. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело дочки, ползала по земле, искала голову, кричала: «Неправда! Она живая...»

На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалины домов, а он спокойно мял глину.

В Пособланко бомба снесла крышу суконной фабрики. Станки уцелели, и в полупустом городе, разбитом снарядами, без крова, без хлеба, рабочие возобновили работы; изготовляли солдатские одеяла. Я постоял и подумал: все-таки они должны победить! Это против логики, против здравого смысла — армия Франко становится все сильнее,

но нет, мысль не мирится с тем, что останутся напрасными такое мужество, такая душевная щедрость.

Я возвращался из Пособланко в Валенсию; путь был долгим, можно было о многом подумать. Шофер, веселый андалузец, пел печальные фламенко. А я почему-то вспомнил село Буньоль в Леванте; там было семь тысяч душ. Это село приютило три тысячи беженцев — из Мадрида, Малаги, Эстремадуры. В каждом доме я видел чужих детей. В одном доме меня заставили остаться, поставили на стол миску с супом. «Сколько вас?» — спросил я хозяйку. «Шестеро, а теперь еще трое — из Мадрида».— «Справляетесь?» Она улыбнулась: «Справляемся. А не хватит, потерпим, гостей не обидим...»

Вот об этом я тоже думал — о благородстве. Нигде я не сталкивался со скаредностью, с желанием сохранить свое добро или, хуже того, разбогатеть на чужой беде. Кормили меня хорошо — я был русским. Кормили Аугусто — он из Мадрида. Но кормили еще и Пепе, и Кончиту, и Фернандо, не спрашивая, откуда они, говорили: «Время такое...»

Полковник Перес Салес сказал, что воюет за свободу; я так и не добился от него, о какой свободе он думал, вероятно о главной — достойно прожить, достойно умереть. Анархист Пепе, тот, что дополз до окопов фашистов и раскидал курительную бумагу с призывами, говорил мне, что воюет за новый мир. Все будут трудиться. «Твой земляк Бакунин правильно рассуждал — к черту ангелов, министров, генералов, полицейских! Без них будет лучше...» Шофер был коммунистом; он сказал мне, что умнее всех Хосе Диас; когда расколотят фашистов, люди пойдут учиться; а ему хочется научиться писать такие пьесы, чтобы все плакали и смеялись, даже старый Перес Салес...

Была короткая южная весна, и в долинах зеленела трава, краснели маки. Иногда горы наползали на дорогу, иногда раскрывалась даль: домик, несколько зеленых дубов, речушка. Мы пересекали Ламанчу. Вот, наверно, на этом постоялом дворе заночевал Рыцарь Печального Образа...

В деревне Арагона. Фото И. Эренбурга

Э. Листер и Мате Залка (генерал Лукач) под Гвадалахарой





Я думал о книге, которую люблю с детства. Конечно, «Дон Кихот» переведен на все языки, он волнует людей за тысячи верст от Ламанчи; но написать эту книгу мог только испанец. Есть в ней чудесный сплав пафоса и сатиры, благородства и унижения, жестокой морали басен и самой высокой поэзии; и напрасно придумали, что толстяк Санчо Панса противопоставлен Дон Кихоту, их не разделить никакими испытаниями. Я думал об этом, потому что видел не раз, как шли рядом навстречу смерти Дон Кихот и Санчо.

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском... и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Я вспомнил и эти слова. Зря я спрашивал старого полковника, о какой свободе он думает; он ведь сказал, что он испанец, Дон Кихот из Пособланко, Дон Кихот в 1937 году...

25

В Сариньене я часто бывал еще в те времена, когда ездил с кинопередвижкой. Теперь здесь помещалась группа наших советников. За столом сидел низкий плотный человек, очень мрачный; перед ним лежала карта и номер «Правды». Я сказал, что должен передавать в «Известия» о ходе боев за Уэску. Он налил мне из кувшина холодного чая. «Такой жары, кажется, еще не было...» Показал на карте деревню Чемильяс. «Задача — перерезать дорогу на Хаку. Ясно?» Он помолчал и вдруг скороговоркой спросил: «Новости знаете? Тухачевский, Якир, Уборевич — к расстрелу. Враги народа...» Он бросил на пол недокуренную папиросу, тотчас закурил другую и, наклонившись низко к карте, стал насвистывать что-то залихватское. Лицо у него еще сильнее помрачнело. Он долго рассматривал карту и, кажется, забыл о моем присутствии; полчаса спустя, взглянув на меня, угрюмо сказал: «Так вы говорите, в «Известия»?.. А Кольцов где?.. Дорога на Хаку, вот здесь домбровцы — командует Херасси, здесь гарибальдийцы — Паччарди... Лукач вам все расскажет. Он, кажется, еще в Каспе. Пейте — в машине будет хуже...»

День был действительно на редкость знойным. Кругом пылали скалы: ни дерева, ни травинки — рыжая каменная пустыня. Я сидел рядом с водителем и по глупости высунул в оконце голую руку — машина шла быстро, казалось, что хоть руку обдувает ветерок. В Каспе Лукача не оказалось, сказали, что он далеко — в Игриесе. Рука распухла, и меня лихорадило. Игриес, с глиняными домиками на склоне голой горы, напоминал раскаленный аул. Там я в последний раз увидел генерала Лукача, или, говоря точнее, Мате Залку. Обидно, что я плохо запомнил ту встречу: мне было не по себе, может быть от ожога, может быть и от разговора в Сариньене. Залка был усталым, признался, что у него мигрень; ругал меня: «Руку вы должны беречь: как-никак писа-

тель...» Только прощаясь, он вдруг улыбнулся: «Скажите, вам не хочется на дачу? Ну на денек?..»

На следующий день я поехал из Барбастро в Игриес; там мне сказали, что КП Лукача в деревне Апиес. Мы ехали по дороге, которая петляла, несколько раз я спрашивал, туда ли мы едем; вдруг один боец, сам не свой, выкрикнул: «На нижней дороге... Снаряд... Генерала...» Я повернул назад; мы ехали долго. Каменный дом: здесь госпиталь. Сначала меня не пускали; потом пришел врач. «Лукач в безнадежном состоянии. Реглеру сделали переливание крови, его жизнь вне опасности, но ранение тяжелое. Шофер ранен в голову, он сидел рядом с генералом. Ваш соотечественник отделался легко — рана в ногу; его только что увезли...»

Я передал в «Известия», что Залка убит, Реглер ранен. На следующий день, разговаривая с редакцией, я спросил, напечатано ли мое сообщение о Реглере,— я знал, что его жена в Москве, и боялся, что до нее может дойти телеграмма, напечатанная в одной из мадридских газет, о смерти Реглера. Мне ответили: в «Правде» напечатано, что Реглер убит. «Мы не можем опровергать «Правду»...» Я связался по телефону с Кольцовым, который был в Валенсии. Михаил Ефимович хмыкнул: «Ну и дураки!.. Хорошо, сейчас передам. Кланяйтесь Реглеру... Мате жалко...»

На следующий день началось наступление. Я звонил по два раза в день: Чемильяс, Сан-Рамон, «хейнкели», «фиаты», воздушные бои, атаки, контратаки...

Наступление не удалось. Части, стоявшие вокруг Уэски, бездействовали. Бои шли только за дорогу на Хаку. Танки опоздали. У интербригадовцев потери были большие. Пять или шесть дней спустя все кончилось.

Я сейчас думаю не об Уэске — о генерале Лукаче. Рассказывая о людях, которых я знал, я начинаю рассказ с того дня, когда я их впервые увидел или когда случайное знакомство превратилось в нечто другое, когда они вошли в мою жизнь; а рассказ о Мате Залке я начал с его смерти; она меня потрясла.

Да и узнал я его незадолго до конца; все мои воспоминания относятся к марту — апрелю 1937 года: Бриуэга, различные КП, потом две деревни, где Двенадцатая бригада отдыхала (под бомбежками),— Фуэнтес и Меко, снова КП возле Мората-де-Тахунья, Мадрид и выжженная деревня Игриес.

В Советском Союзе я раза два или три видел Мате Залку; но мы здоровались, и всё, а общих друзей у нас не было. Мате Залку я не знал — встретил и полюбил генерала Лукача, венгра, защищавшего испанский народ, писателя, променявшего письменный стол на поле боя.

Конечно, когда я беседовал с Лукачем, я видел Мате Залку; хотя он много в жизни провоевал, он не стал военным; его подход к людям был продиктован участливостью, пониманием писателя, который знает куда лучше клубки страстей, нежели квадраты карты.

Я перечитал его роман «Добердо»; видно, что у Залки был настоя-

щий дар, но его жизнь сложилась так, что в литературе он до конца чувствовал себя неуверенным дебютантом. Ему не было и восемнадцати лет, когда он выпустил книжицу рассказов. А отец готовил его для другой карьеры: до срока отдал в армию. Молодой Мате попал в военную школу, потом на фронт. В 1916 году он оказался в плену, послали его в лагерь, в далекий Хабаровск. После Октябрьской революции он составил отряд из бывших военнопленных и сражался на Дальнем Востоке за Советскую власть, воевал на Урале, на Украине, принял участие в освобождении Киева, в 1920 году участвовал в штурме Перекопа. Кончилась война, но Залка продолжал жить бурно, служил в продотрядах, писал агитационные рассказы; сблизился и подружился с Фурмановым; ходил на собрания рапповцев. Только в тридцатые годы он всерьез задумался над своей писательской работой и роман «Добердо» кончил за несколько недель до отъезда в Испанию. Залка родился писателем. Войны навязывала эпоха, а место в строю подсказывала совесть.

После победы у Гвадалахары и до операции у Мората-де-Тахунья (ее называли «разведкой боем», и она стоила многих жертв) в деревне Фуэнтес Мате Залка мне говорил: «Если меня не убьют, напишу лет через пять... «Добердо» — это все еще доказательства. А теперь и доказывать ни к чему — каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика...»

Когда Залка погиб, ему был сорок один год. Незадолго до смерти, в день своего рождения, он писал: «Думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано. Мало успехов. Мало достигнуто». Снисходительный к другим, он был строг к себе. А на его писательском пути то и дело оказывались «превратности жизни».

Валенсия торжественно хоронила прославленного генерала Лукача, только несколько боевых друзей знали, что прощаются с Мате Залкой, с писателем, не написавшим той большой книги, о которой он мечтал.

Веселый, общительный, он любил тишину; чуть ли не всю жизнь слышал пальбу, спал, как он говорил, «держа ухо на земле», а умел услышать биение человеческого сердца; он громко жил, но говорил тихо.

Может быть, писательский дар помогал ему понять солдата? Его все любили, а командовал он людьми, у которых не было не только общего языка, но порой и общих идей; в частях, находившихся под его командованием, были польские шахтеры, итальянские эмигранты — коммунисты, социалисты, республиканцы, рабочие из красных предместий Парижа и французские антифашисты всех оттенков, виленские евреи, испанцы, ветераны первой мировой войны, зеленые подростки.

Я ездил в штаб Двенадцатой бригады и с Хемингуэем, и с Савичем, и один. Почему-то все мы любили бывать у Лукача, у его боевых друзей. Советником бригады был умный и душевный Фриц (я о нем упоминал). Непосредственными помощниками Лукача были двое болгар — порывистый, неуемный Петров (Козовский) и начальник штаба, тихий,

скромный Белов (Луканов). Помню, в Фуэнтес они раздобыли козленка, и Петров жарил его на сухой лозе; вышел настоящий пир. Испанский художник, мой давний друг Фернадо Херасси работал сначала в штабе Залки, потом командовал батальоном. Был я в Меко со Стефой, которая приезжала повидать мужа. Адъютанта Залки Алешу Эйснера я тоже знал по Парижу. Его увезли из России, когда он был мальчиком; в Париже он писал стихи и произносил страстные коммунистические речи на любом перекрестке. В Испании он ездил на коне, обожал генерала Лукача, заводил литературные разговоры и с восхищением поглядывал на Хемингуэя. В Москву он приехал в скверное время и узнал на себе, что такое «культ личности». Отрезанный от мира, он душевно сохранился лучше многих, и в 1955 году я увидел того же энтузиаста. Комиссаром бригады был Реглер; он тоже любил поговорить о литературе и все время что-то записывал в тетрадку. Залка смеялся: «Смотри, он уж обязательно роман напишет, и толстый...» Среди командиров батальонов помню Янека, французского социалиста Бернара, храброго и обаятельного Паччарди. Венгр Нибург всегда ходил чуть опираясь на палку. Так он пошел в атаку на следующий день после смерти Лукача и погиб.

Раненый Реглер, придя в сознание, сказал: «Идите к Лукачу, нужно спасти Лукача...» (От него скрыли, что генерал убит.) А два дня спустя среди бойцов я встретил тщедушного еврея, сына галицийского хасида, путавшего все языки Европы, четыре раза раненного под Мадридом; он всхлипывал: «Это был человек...»

В Мората-де-Тахунья Лукач был мрачен, говорил: «Это испанское Добердо». Нужно было прощупать противника, занять сильно укрепленные позиции и назавтра их оставить. Лукач волновался перед наступлением на Уэску: понимал, что вся тяжесть удара ляжет на интербригадовцев. Людей он берег, а себя нет и погиб оттого, что, торопясь на КП, поехал по обстреливаемой дороге, по которой запрещал ездить другим.

Хемингуэй, когда мы возвращались в Мадрид из Фуэнтес, сказал мне: «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!..»

Лукач был веселым, всех умел развеселить — бойцов, крестьян, журналистов. Был у него свой номер: на зубах он выщелкивал различные арии; пел, и каких только песен он не знал! Однажды он при мне пошел танцевать с испанскими крестьянками, танцевал лихо и, вернувшись к нам, сказал: «Не забыл. Все-таки венгерский гусар...»

Он любил Венгрию; как-то сказал мне: «Жалко, что вы не видели пусты *. Я здесь часто вспоминаю... Венгрия очень, очень зеленая...»

Его называли Матвеем Михайловичем; он долго прожил в Советском Союзе; там оставил жену, дочку, называл их «моим тылом»; любил нашу страну, рассказывал, как хорошо летом на Полтавщине, любил русский характер и все же оставался венгром — сказывалось

* Puszta — степь *(венгр.)*.

это и в певучем выговоре слов, и в поэтичности, и в душевной порывистости, которую он старался тщательно скрыть.

«Война — ужасная пакость» — это он не раз говорил; не было в нем никакого удальства, никакой воинственной позы. Вернувшись в Москву, я прочитал его письма жене, дочери. Он писал прямо, как на духу: «Теперь ночь, темно и сыро. На душе слегка неуютно. Но на войне бывают неуютные минуты...» «Твое и Талино письмо получил сегодня. Хожу праздничный, счастливый. Все спрашивают: «Что с вами вдруг? Как будто вы навеселе?» — «Ничего»,— говорю я. Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой стал эгоист...» «В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым...» Не знаю, чего больше в таких признаниях — честности или мудрости.

Я писал, что испанская эпопея была последней волной; какая-то эпоха на ней кончилась. Я вижу комнату Лоти в «Гайлорде». Я зашел на минуту по делу. Лоти меня оставил поужинать. Было много народу: наши военные — Гришин (Я. Берзин, один из тех латышей, которые в первые месяцы революции охраняли Ленина), Григорович — Штерн, командир танковой части — высокий, крепкий Павлов, Мате Залка, привлекательный умный югослав Чопич, Янек. Мы были веселы, смеялись, а почему, не помню. (Из этих людей только я остался в живых. Залку убил вражеский снаряд. А других ни за что ни про что загубили свои.)

В Меко, пока Фернандо разговаривал со Стефой, мы с Залкой сидели на земле. Было уже тепло, все кругом зеленело. Залка говорил: «Вот у Фернандо маленький сын Тито, а мою дочку зовут Талочка, кончает школу. В общем, это глупо звучит, как в Художественном театре, но это же правда — небо все-таки будет в алмазах! Если в это не верить, трудно прожить день...» Мате Залка многого тогда не знал, как все мы. А теперь я думаю с печалью: он был прав, и «алмазы» — не

Похороны генерала Лукача. Валенсия, 1937 г.

Э. Листер. Мадрид





глупая выдумка, алмазы будут, только все много дольше и много труднее...

По библейскому преданию, грешные Содом и Гоморра могли бы спастись, если бы там нашелся десяток праведников. Это верно по отношению ко всем городам и ко всем эпохам. Одним из таких праведников был Мате Залка, генерал Лукач, милый Матвей Михайлович.

26

Я знал, что наступление, которое должно было начаться в районе Брунете,— военная тайна, и никому об этом не рассказал. За неделю до начала боев шофер Аугусто сказал мне: «Что же ты едешь в Барселону? Прозеваешь представление. Свояк мне вчера сказал, что наши ударят на Брунете. Только смотри — это военная тайна...» Так бывало в Испании всегда: журналисты, телефонистки, интенданты, шоферы передавали «по секрету» приятелям о готовящейся операции. Вдруг кого-то судили за шпионаж. Болтать, однако, продолжали.

Казалось, я должен был радоваться: Ассоциация писателей, над созданием которой я потрудился, собирает конгресс в Мадриде, как было решено еще перед началом войны. Это приподымет испанцев. Да и на всех произведет впечатление — впервые писатели соберутся, чтобы договориться о защите культуры в трех километрах от фашистских окопов. А я, признаюсь, в душе злился: предстоящие военные операции занимали меня куда больше, чем конгресс.

Несмотря на неудачу боев под Уэской, я снова предавался мечтаниям. Арагонский фронт далеко, там много нестойких частей. Что ни говори, колонны анархистов, даже если их называют теперь дивизиями, мало пригодны для современной войны. Так говорили военные, и я им верил. (Людвиг Ренн еще в 1955 году писал в своей книге воспоминаний, что наступление на Уэску сорвалось из-за смерти генерала Лукача, которого будто бы погубили анархисты и «поумовцы». Я знал, конечно, и тогда, что Мате Залка погиб не по вине анархистов, но провал наступления частично объяснял небоеспособностью многих воинских частей.) Другое дело Мадрид: здесь порядок, 11-я дивизия Листера, интербригадовцы, наши танки...

(Оглядываясь теперь на прошлое, я вижу, что первая половина 1937 года была решающей. После мартовской победы у Гвадалахары не только мы, в Испании, но и военные специалисты, писавшие в английских или французских газетах, считали, что армия Франко в опасности. Наше лобовое наступление в Каса-дель-Кампо не удалось. Италия и Германия продолжали подбрасывать людей и технику. Разыгралась междоусобная война в Каталонии. Кабальеро носился с планом наступления на Южном фронте. Бои за Пеньяррою вначале всех обнадежили; но вскоре фашистам удалось восстановить положение. Военные говорили, что напрасно было рассчитывать на Южный фронт,— там мало сил, плохие коммуникации. Сменилось правительство, был принят план наступления на Уэску. Месяц спустя командование решило про-

рвать вражеский фронт в районе Брунете. Всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам; но Франко быстро подтягивал резервы; немецкая авиация, куда более многочисленная, чем наша, бомбила дороги, и очередное наступление выдыхалось.)

Я ехал в Барселону, чтобы встретить делегацию советских писателей, и думал о предстоящих боях за Брунете. Кольцов мне сказал: «Вы должны теперь думать только о конгрессе, вы — в секретариате; в общем, все это затеяли вы. А с меня хватит советской делегации...» Я ответил: «Хорошо»,— и все-таки мало думал о конгрессе.

До Барселоны мне не пришлось доехать. Неподалеку от Валенсии, в курортном местечке Беникарло на берегу моря, я увидел в ресторане многих делегатов; они ели уху. В. П. Ставский вытирал салфеткой лицо и жаловался: «Жарища — умереть можно!.. А уха, знаете, у нас лучше...»

Судя по газетам того времени, конгресс удался. Конечно, крупных имен было меньше, чем на конгрессе 1935 года,— не всех соблазняли бомбы и снаряды. Многие писатели, получив приглашение, ответили, что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке — ребячество, никому не нужная романтика. Мешала и полиция разных стран: Франс Элленс, например, хотел приехать, но бельгийцы ему не дали паспорта. Все же в Испании были писатели с именем: Антонио Мачадо, Андерсен-Нексе, А. Толстой, Жюльен Бенда, Мальро, Людвиг Ренн, Шамсон, Анна Зегерс, Спендер, Гильен, Фадеев, Бергамин и многие другие.

Кто-то шутя назвал конгресс «бродячим цирком». Мы начали в Валенсии 4 июля, выступали в Мадриде, снова в Валенсии, в Барселоне, а кончили в Париже две недели спустя. Состав участников менялся — в Валенсии выступал Альварес дель Вайо (он был и на конгрессе в Париже в 1935 году как эмигрант), но, будучи министром, не смог поехать с нами дальше. Людвиг Ренн появился только в Мадриде: он командовал частью и остался на фронте. В Париже выступали Генрих Манн, Арагон, Хьюз, Пабло Неруда. Кажется, имелся порядок дня, но никто о нем не думал. Характер выступлений менялся в зависимости от обстановки.

В Мадриде, под обстрелом, конгресс напоминал митинг, а пестрые его участники на улицах города, храбрившиеся, но необстрелянные, производили впечатление знатных гостей, делегации английских парламентариев или американских квакеров.

В Валенсии, где находилось правительство, все было торжественно; нас приветствовал писатель Мануэль Асанья, он же президент Испанской республики; устроили банкет с тостами; минутами казалось, что никакой войны нет, а собрался очередной съезд пен-клубов.

В Барселоне на эстраде сидел Компанис, а Микитенко рассказывал о расцвете национальной культуры в социалистическом обществе.

В Париже сняли театр Сен-Мартен; народу пришло очень много, кричали: «Долой невмешательство!» Но того подъема, который мы видели на конгрессе в 1935 году, больше не было. Народный фронт трещал. Многие из левых интеллигентов, хотя они и кричали с другими:

«Долой невмешательство!» — слушая рассказы о Мадриде, о Гернике, про себя думали: «Все-таки хорошо, что у нас мир!» До Мюнхена было уже недалеко...

Речей было много. Мне запомнилось выступление Хосе Бергамина, очень худого, носатого, с темными печальными глазами. Я теперь взял газету, где цитировал его речь: «Слово хрупко, испанский народ называет одуванчик, цветок, жизнь которого зависит от вздоха, «человеческим словом». Хрупкость человеческих слов бесспорна... Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей отъединенности... Лопе де Вега сказал: «Кровь кричит о правде в немых книгах». Кровь кричит в нашем бессмертном Дон Кихоте. Это вечное утверждение жизни против смерти. Вот почему испанский народ, верный гуманистическим традициям, принял этот бой...» Теперь я понимаю, почему меня взволновали слова Бергамина: он выразил то, о чем я смутно думал, пересекая Ламанчу.

Было много и других хороших речей; если они мне не запомнились, то виноваты в этом не ораторы. В жизни я часто выступал против сентенции древних римлян: «Среди оружия музы молчат». Мне не нравилась и не нравится мораль этого изречения так, как ее обычно толкуют: когда на дворе буря, поэту лучше помолчать, выждать. Но сейчас я спрашиваю себя: не понимали ли древние римляне этих слов иначе? У них был богатый опыт, то и дело они воевали; может быть, они просто подметили, что голос поэта не покрывает шума войны, хотя в те времена не было не только атомных бомб, но и мушкетов?.. Летом 1937 года в Мадриде речи писателей как-то не звучали. Восхищались мы другим. Пришли бойцы, принесли трофеи — знамя фашистского полка, только что захваченное в боях у Брунете. Привезли из госпиталя Реглера, он

Г. Реглер

Конгресс писателей в Испании. В первом ряду: Альтогере, Нельке, Анна Зегерс, Эгон Эрвин Киш, Рафаэль Альберти, Мария-Тереса Леон. Мадрид, 1937 г.

Конгресс переехал в Барселону. Председательствует Х. Негрин. 1937 г.

Э. Прадос, О. Савич, И. Эренбург, Х. Э. Петере. Барселона, 1937 г.







шел, опираясь на палку, не мог говорить стоя, попросил разрешения сесть, и зал встал из уважения к ране солдата. Реглер говорил: «Нет других проблем композиции, кроме проблемы единства в борьбе против фашистов». Это чувствовали в ту минуту все — и писатели, и бойцы, пришедшие нас приветствовать. Горячо встречали писателей, которые воевали: Мальро, Людвига Ренна, молоденького испанского поэта Апарисио и других.

Выступления многих советских писателей удивили и встревожили испанцев, которые мне говорили: «Мы думали, что у вас на двадцатом году революции генералы с народом. А оказывается, у вас то же самое, что у нас...» Я старался успокоить испанцев, хотя сам ничего не понимал. Кажется, только А. Л. Барто, говоря о советских детях, не вспомнила про Тухачевского и Якира; другие, повышая голос, повторяли, что одни «враги народа» уничтожены, другие будут уничтожены. Я попытался спросить наших делегатов, почему они говорят об этом на конгрессе писателей, да еще в Мадриде; никто мне не ответил; а Михаил Ефимович хмыкнул: «Так нужно. А вы лучше не спрашивайте...»

Фашисты по радио издевались над конгрессом. Ночью, однако, они проявили к нему некоторый интерес: начали палить из орудий по центру Мадрида. Почти все делегаты отнеслись к этому спокойно; нашлись и такие, приехавшие из спокойных стран, которые перепугались; о них потом рассказывали смешные истории, но в общем обстрел был сильным, а на войне порой бывает страшно, особенно с непривычки.

Грохот стоял отчаянный, заснуть было невозможно. Я долго беседовал с Жюльеном Бенда. Ему тогда было семьдесят лет, но держался он бодро, весь день ходил, осматривал город, позиции, а когда ночью начался обстрел, сказал мне, что он вообще спит мало, и не обращал никакого внимания на разрывы. Он говорил о конгрессе, считал, что мы правильно сделали, созвав его в Мадриде: «Сейчас главное — показать, что люди, которым дорога культура, на линии огня». Некоторые выступления он критиковал с легкой усмешкой: «Ваши друзья придают чересчур много значения Андре Жиду. Он никогда не скрывал своего презрения к рационализму, он последовательно непоследователен. Вы поверили в его общественную ценность, сделали из него апостола, а теперь предаете его анафеме. Это смешно, особенно здесь — в Мадри-





де. Андре Жид — птичка, которая свила гнездо на «ничьей земле»; стрелять нужно, как стреляют фашисты,— по батареям противника...»

Наступление на Брунете началось 6 июля утром. Вечером В. В. Вишневский отвел меня в сторону. «Давайте поедем в Брунете! Возьмем Ставского, он просится. Мы — старые солдаты. А я для этого и приехал...»

Всеволод Витальевич был человеком чрезвычайно эмоциональным; чем-то он напоминал хорошего испанского анархиста. Когда он начинал говорить, он сам не знал, куда его занесет и чем он кончит. Он был прекрасным оратором, говорил лучше, чем писал; многие ленинградцы мне рассказывали, что в годы блокады его выступления по радио помогали людям. Иногда он приводил в ужас нашу аудиторию тех лет: люди боялись не только сказать, но и услышать что-нибудь идущее дальше положенного, а Вишневский, войдя в жар, не помнил об установках. Как-то у А. Я. Таирова, рассердившись на меня, он выхватил револьвер, точь-в-точь как Дуррути. Он ругал Запад, говорил, что он — матрос, простецкий, народный, и одновременно восхищался Джойсом, Пикассо. Фашистов он ненавидел и помог мне во время германо-советского пакта напечатать в «Знамени» первые части романа «Падение Парижа».

Я пошел к испанцам; они мне рассказали, что первый день прошел хорошо, заняли Брунете, сейчас идут бои за Вильянуэва-де-Каньяда. Положение, однако, неустойчивое, Брунете почти в мешке, фашисты могут перерезать дорогу; во всяком случае, делегатов, приехавших на конгресс, везти туда не стоит, пускай лучше поедут на Хараму или посмотрят Карабанчель.

Вернувшись, я сказал Вишневскому: «Ничего не выйдет — не советуют». Он совершенно потерял голову, кричал: «А я думал, что вы смелый человек...» Я рассердился и ответил, что лично я поеду в Брунете, мне нужно передать в газету, что там происходит; у меня есть машина; испанцы меня просили не брать с собой писателей, приехавших на конгресс, но если он настаивает, то пожалуйста: завтра в пять утра поедем.

Жара в те дни стояла невыносимая. Я с ужасом вспоминаю ночи в комнате с закрытым черными шторами окном. Приходилось простаивать час, а то и два в душной кабинке и передавать в газету по телефону («не слышно — по буквам»), какие ораторы выступали на заседании и какие деревушки заняты республиканской армией.

На солнце тела убитых быстро загорали, темнели, и Ставский принимал всех мертвых за противников — у франкистов на этом секторе были батальоны марокканцев.

Я взял с собой фляжку. Ставский и Вишневский сразу выпили воду. Я уже знал, что лучше до захода солнца не пить — замучает жажда. Они действительно страдали и выпрашивали у бойцов глоток воды.

Когда мы шли в Брунете, я встретил знакомых командиров из батальона «Эдгар Андре»; они сказали, что дорогу сильно простреливают, лучше дальше не идти. Я ответил, что нам нужно обязательно в Брунете. «Только не задерживайтесь,— сказали они,— фашисты готовятся контратаковать».

Из Брунете фашистов выбили сразу, и в домах мы увидели накрытые столы, недоконченный обед. В помещении фаланги валялись листовки, плакаты, речи Геббельса, переведенные на испанский язык. Вишневский собирал «трофеи» — фашистские значки, флаги, раскиданные документы с печатями; просил меня переводить надписи на стенах; словом, мы замешкались. Когда мы шли в Вильянуэва, Ставский нашел фашистский шлем, надел на голову и обязательно захотел, чтобы я сфотографировал его и Вишневского.

Мы возвращались назад. Возле Вильянуэва-де-Каньяда дорогу сильно обстреливали. В. П. Ставский крикнул: «Ложитесь! Я говорю вам как старый солдат!..»

Вишневский полз и в восторге вскрикивал: «Ух! Ну, этот совсем близко! Черти, пристрелялись!..»

Когда мы вернулись в Мадрид, они стали рассказывать Фадееву, как мы замечательно съездили. А я пошел передавать отчет в газету.

За эту экскурсию мне влетело. Один из наших военных (кажется, это был Максимов) кричал: «Кто вам дал право подвергать наших писателей опасности? Безобразие!..» Я смущенно заметил, что я тоже писатель. Это его не обезоружило. «Вы другое дело. Вы, Кольцов ездите по службе. А у нас есть указания делегатов ограждать...» Он вдруг переменил тон: «Ну что вы скажете? Здорово? Заняли кладбище Кихорны. Там Кампесино... Я там до шести часов был, посплю часа три и снова поеду — мне здесь с Григоровичем нужно поговорить. Сволочи, сейчас звонили — бомбят...»

Я написал накануне речь для конгресса, но решил не выступать и дал листок редактору «Мундо обреро»; в моей речи не было ничего ни об Андре Жиде, ни о том, как мы истребляем «врагов народа». Недавно мне прислали номер «Мундо обреро» от 8 июля. В нем напечатана статья, которую я дал газете под заглавием «Непроизнесенная речь». Над нею сводка: «Поселок Кихорна окружен нашими войсками. Дух наших бойцов превосходен. Некоторые перебежчики указывают, что противник подтягивает новые части, чтобы сдержать наше продвижение». В моей речи есть одна мысль, которая мне кажется и теперь правильной: «Мы вступили в эпоху действий. Кто знает, будут ли написаны задуманные многими из нас книги. На годы, если не на десятилетия, культура станет военно-полевой. Она может прятаться в убежища, где рано или поздно ее настигнет смерть. Она может перейти в наступление».

«Годы» — мало, «десятилетия», может быть, преувеличено: нам предстояло с того дня, как я написал эти строки, прожить на поле боя еще восемь лет. Да и потом настоящего мира не было.

А от «хрупких слов», как говорил Бергамин, писателю трудно отказаться: литература засасывает. Мальро уже весной кончил воевать: не было больше самолетов. Он начал писать роман об испанской войне — «Надежда». В Испании на фронтах стояло затишье. Людвига Ренна послали в Соединенные Штаты, в Канаду, на Кубу — он выступал с докладами об испанской войне. Реглер делал то же самое в Южной Америке. Мальро собирал в Америке деньги для испанцев. Кольцов

осенью вернулся в Москву и взялся за книгу «Испанский дневник».

Конгресс кончился, я уехал из Парижа на юг Франции в маленькую деревушку. Там было тихо, порой даже слишком тихо. Зеленели поля табака, и медленно сочилась река Лот. Я написал повесть об испанской войне; вернее назвать эту книгу записями о событиях и людях.

Один из героев повести, немецкий эмигрант Вальтер, едет в Испанию, чтобы сражаться против фашистов. В окно вагона видно море. «Хорошо здесь,— думает он,— камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Вздор! Много надо, очень много. Еще туннель. Вот и война!..» Повесть я назвал «Что человеку надо» — это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной.

Я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента. Но уйти от войны я больше не мог; есть полевые бинокли, полевая почта, полевые госпитали; мое поколение получило в подарок долгие полевые годы.

27

Бомба упала близко, из окон посыпались осколки, и я услышал отчаянный женский крик; кажется, кричали многие, но один высокий голос покрывал все. Я растерянно оглянулся, стряхнул с себя пыль и пошел в сторону крика. Бомба упала на большое кафе, наполненное посетителями. Потом мне сказали, что было пятьдесят восемь жертв. Женщина продолжала кричать: не знаю, ударила ли ее воздушная волна или убили кого-либо из близких,— она не отвечала. Четверть часа спустя приехали пожарные, санитары. Увезли раненых. Пожарные долго откапывали трупы. Я пошел в гостиницу; хотел было сообщить в газету, потом раздумал: редакция меня предупреждала, что почти все полосы посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет; да и отрадного тут мало... Дня три спустя я передал очерк «Барселона перед боями», о бомбежках упомянул бегло; писал, что город готовится дать отпор фашистскому наступлению. Статью напечатали через день после выборов.

Из моих старых друзей и знакомых мало кто остался. Многие советники вернулись на родину. Не было больше и Антонова-Овсеенко. В домике на холме Тибидабо сидел Савич над кипами газет; к нему приходили испанцы; когда у него бывал кофе, маленькая, хрупкая, как будто вырезанная из слоновой кости Габриэлла угощала гостей. Почти напротив дома, где жил Савич, помещалось наше посольство. Л. Я. Гайкиса давно отозвали в Москву. Его заменил поверенный в делах С. Г. Марченко (Т. Г. Мандалян).

Я остановился все в той же гостинице «Мажестик»; там жили некоторые наши советники, немецкий журналист Киш, Марта Гюисманс, Изабелла Блюм. Иногда среди ночи стучался коридорный: «Тревога! Идите в убежище!» Я знал, что он не отстанет, одевался и шел вниз в вестибюль, стоял там или выходил на улицу. Мы делали

все, что делают люди при таких обстоятельствах: зябли, позевывали, старались убить время разговорами. Марта любила поязвить, поспорить, все равно о чем — о живописи, о стратегии или о ПСУК. Киш шепотом спрашивал меня, правда ли, что Пильняк оказался японским шпионом, жаловался, что Третьяков не отвечает на письма. Изабелла угощала шоколадом, я его жадно проглатывал — еды было мало.

Мало было и работы: «Известия» отводили испанским делам все меньше и меньше места: разворачивались большие события в Китае; полосы были заняты конституцией, предстоящими или прошедшими выборами.

Меня пригласили на пленум писателей, посвященный Руставели, который должен был состояться в Тбилиси. Предложение было соблазнительным: увижу старых друзей — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили; будут тамада, тосты, шашлыки. Да и давно я не был в Москве — два года, нужно посмотреть, что у нас делается. В буржуазных газетах пишут, будто много арестов, но это писали и раньше; наверное, как всегда, раздувают... «Мундо обреро» описывает праздник по случаю новой конституции, ее называют «Сталинской». Увижу Ирину, Лапина, Бабеля, Мейерхольда, всех друзей. Мне захотелось передохнуть, отвлечься, и я позвонил Любе в Париж, что двадцатого декабря заеду за ней — поедем в Москву на две недели.

Тут-то Марченко мне сказал: «Готовится серьезная операция под Теруэлем». (На этот раз о намеченном наступлении мало кто знал, и фашистов оно застало врасплох.)

Что делать? Я решил, что пробуду под Теруэлем до восемнадцатого — увижу первые дни боев. Я поехал в Валенсию. Там было необычайно тихо: правительство месяц назад переехало в Барселону, и город зажил мирной провинциальной жизнью, только что впроголодь. Я повидал кое-кого из испанских друзей. Было тепло, цвели в садах розы. На побережье изнемогали деревья, обвешанные золотом апельсинов.

Путь шел в гору. Вот уже исчезли сады. Подул свирепый ветер. Мы поднялись на тысячу метров. Стоял туман, лицо хлестала поземка.

Под Теруэлем было холодно, нестерпимо холодно для испанцев; кажется, мороз доходил до двенадцати градусов при сильном ветре. Камни покрывались слоем льда, люди падали и ползли вверх на четвереньках.

Ровно год назад — в декабре 1936 года — я побывал у Теруэля; тогда тоже было холодно; пытались взять город, который клином входил в территорию, занятую республиканцами, и ничего из этого не вышло.

Я сразу увидел, что на этот раз куда больше порядка. Дивизии выглядели лучше; даже в дивизии СНТ, которой командовал анархист Виванкос, не было живописной бестолочи забытых всеми «центурий».

Накануне наступления сорок республиканских бомбардировщиков бомбили вокзал, позиции фашистов, дорогу на Сарагоссу. Это приподняло всех, и наступление началось удачно, в первый же день республиканцы продвинулись кое-где на восемь — десять километров.

Я был на КП испанской бригады. Никогда не забуду того дня. Даже

в трагичной и щедрой на фантастику Испании я не видел подобной картины. Кругом были рыжие горы, и Теруэль с его башнями походил на средневековую крепость; а над ним висели свинцовые и фиолетовые тучи, раздираемые ветром. Туман прошел, свет был очень ярким, тени глубокими. Снова залет бомбардировщиков. Все вместе это было сочетанием доисторической природы с современной военной техникой. Солдаты ползли по скалам, падали под пулеметным огнем, ползли другие. Ветер все крепчал; у Брунете все мечтали о тени, а здесь хотелось хоть на минуту залезть в дом, отогреться. Взяли деревню Сан-Блас. Подошли к шоссе; неприятель оказался окруженным: дорогу наши держали под пулеметным огнем.

Я передал по телефону очерк о боях за Теруэль, говорил об успехах, но, помня Бриуэгу, Брунете, осторожно предупреждал: «При иной ситуации мы могли бы сейчас заняться догадками о судьбе Теруэля... Однако сейчас вопрос идет не об овладении тем или иным политически значительным центром, а о стратегических заданиях. Если бои, которые сегодня начались, потревожат противника, подготовлявшего удар, то можно будет сказать, что достигнут крупный успех». Мне хотелось верить, что Теруэль возьмут, но я боялся ввести в заблуждение читателей.

На второй день вечером я нашел Григоровича. Он только вернулся с наблюдательного пункта, продрог. Мы ели горячий суп, налитый в глиняные крестьянские миски. Григорович сказал, что завтра должны занять городское кладбище. А мне завтра нужно двигаться. Вот обида, не увижу развязки!..

«Григорий Михайлович, как, по-вашему,— возьмут Теруэль?» Он сказал, что южная группа отстала, все же дела идут неплохо; город должен пасть через несколько дней. Воздушная разведка, однако,

Барселона. «Бомба упала близко...» Фото И. Эренбурга

Барселона. После бомбардировки. Фото И. Эренбурга

Григорович (Г. Штерн) и Г. К. Жуков. Монголия, 1939 г.

Л. Леонов, И. Эренбург, Г. Леонидзе, К. Каладзе, Ф. Панферов в группе писателей. Тбилиси, 1938 г.





установила, что Франко перебрасывает в Арагон дивизии, освободившиеся после ликвидации сопротивления в Астурии. «Видимо, Теруэль возьмем. А сможем ли удержать, не знаю. Мы подбрасываем горсточку, а немцы с итальянцами — охапку... Какой народ хороший! — И лицо Григоровича изменилось от ласковой улыбки.— Я человек военный, и военному здесь трудно, хлебнул горя, но народ замечательный!.. Наверно, скоро уеду. А вот Испании никогда не забуду. Мне Кольцов говорил, что они честные, а не в том дело, что жуликов мало, хотя это тоже правда. Честь, кажется, понятие устаревшее, то есть слово, правда? А здесь зайдешь в хату — он и грамоты не знает, но обязательно «честь», прямо рыцарь какой-то... Больно за них, очень больно!.. Вот вы напишите про все, не теперь, так через десять лет, вы и про наших скажите, вы ведь знаете — мы старались. Все наши Испанию полюбили, это многое объясняет...»

Зазвонил телефон. Григорович выругался; потом сказал мне: «Вот чего не люблю... Связь, кажется, обеспечили. А вот артиллеристы не знали, что пехота за Конкудом, начали бить по своим. К счастью, плохо стреляли, но впечатление отвратительное...»

Я сказал, что завтра уезжаю в Москву; вернусь через две недели; надеюсь его встретить в Теруэле. «Это хорошо, что едете. Увидите, как там, дома... До скорого!..»

Ночью в Барселоне я простился с Хемингуэем. «Да мы скоро увидимся,— сказал я,— ты ведь в январе будешь здесь?..» Больше я его не увидел.

На столе у Марченко лежала «Правда», я узнал, что Григорович выбран в Верховный Совет: «Чечено-Ингушская АССР — Штерн Григорий Михайлович». Марченко говорил: «Завидую — Новый год встретите дома... Ну, возвращайтесь поскорее, а то у нас один Савич остается...» Я весело сказал: «До свиданья!» Мы и потом повторяли эти слова, хотя наступали годы, когда никто из нас при любом расставании не знал, что впереди. Честнее было бы говорить «прощай».

Я больше не увидел ни Григоровича, ни многих других «мексиканцев» или «гальегос»...

Мы ехали, минуя Германию, через Австрию. В Вене нужно было переехать с одного вокзала на другой. Город мне показался беспечным.





Я не знал, что через три месяца в него войдут германские дивизии.

Где-то на вокзале я купил газету. «Республиканская армия взяла Теруэль». Я сидел в темном купе, и перед моими глазами вставали рыжий Арагон, Аугусто с его присказкой «опять тебя куда-то несет», молодые бойцы с поднятыми кулаками, кровь на мостовой Барселоны, смутная улыбка Григоровича — несвязные видения оставленного мною мира.

Вот и арка Негорелого. В вагон вошел молодой красивый пограничник. Я ему улыбнулся — с такими я дружил в Алкала-де-Энарес. Не вытерпел и сказал: «А Теруэль-то взяли...» Он тоже улыбнулся: «Вчера было в газете... Можете пройти в таможенный зал».

28

Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..»

Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово — «взяли».

«Микитенко? Но он ведь только что был в Испании, выступал на конгрессе...» — «Ну и что,— ответила Ирина,— бывает, накануне выступает или его статья в «Правде»...»

Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?..» Борис Матвеевич пытался строить догадки: Пильняк был в Японии, Третьяков часто встречался с иностранными писателями, Павел Васильев пил и болтал, Бруно Ясенский — поляк, польских коммунистов всех забрали, Артем Веселый был когда-то «перевальцем», жена художника Шухаева была знакома с племянником Гогоберидзе, Чаренца слишком любили в Армении, Наташа Столярова приехала недавно из Парижа. А Ирина на все отвечала: «Откуда я знаю? Никто этого не знает...» Борис Матвеевич, смущенно улыбаясь, посоветовал: «Не спрашивайте никого. А если начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора...»

Ирина возмущалась: «Почему ты меня спрашивал по телефону про Мирову? Неужели ты не понял? Взяли ее мужа, она приехала, и ее тоже забрали...» Лапин добавил: «Теперь часто берут и жен, а детей отвозят в детдом...»

(Вскоре я узнал, что из «испанцев» пострадала не только Мирова, узнал о судьбе Антонова-Овсеенко, его жены, Розенберга, Горева, Гришина, да и многих других.)

Когда я сказал, что в Тбилиси мы увидим Паоло и Тициана, Борис

Матвеевич изумился: «Вы и этого не знаете? Табидзе взяли, а Яшвили застрелился из ружья».

На следующее утро я пошел в «Известия». Встретили меня хорошо, но я не увидел ни одного знакомого лица. Вопреки совету Лапина, я спрашивал, где такой-то. Кто отвечал «загремел», кто просто махал рукой; были и такие, что поспешно отходили.

В тот же вечер мы уехали в Тбилиси. Я захватил с собой декабрьские газеты. Мирные статьи о труде, о достигнутых успехах иногда перебивались восхвалениями «сталинского наркома» Ежова. Я увидел его фотографию — обыкновенное лицо, скорее симпатичное. Я не мог уснуть, все думал, думал, хотел понять то, что, по словам Ирины, никто понять не мог.

На пленуме говорили о поэзии Руставели. Выступил испанский писатель Пла-и-Бельтран, которого я знал по Валенсии; его горячо встретили.

На торжественном заседании в президиуме сидел Берия. Некоторые выступавшие его прославляли, и тогда все стоя аплодировали. Берия хлопал в ладоши и самодовольно улыбался. Я уже понимал, что при имени Сталина все аплодируют, а если это в конце речи, встают; но удивился — кто такой Берия? Я тихо спросил соседа-грузина, тот коротко ответил: «Большой человек».

Ночью Люба мне рассказала, что Нина — жена Табидзе — передала, чтобы мы ее не искали — не хочет нас подвести.

Я встретил много писателей, которых хорошо знал,— Федина, Тихонова, Леонова, Антокольского, Леонидзе, Вишневского. Был Исаакян, мне хотелось с ним поговорить, но не получилось, только после войны, когда он приезжал в Москву, я с ним однажды побеседовал по душам. Был исландский писатель Лакснесс, я тогда еще не читал его книг и не знал, что полюблю их. Были, как я и думал, банкеты, тосты, но незачем говорить о моем настроении: я все еще не мог опомниться. Новый год мы встретили у Леонидзе. Мы хотели развлечь милых, приветливых хозяев, а они старались развлечь или, точнее, отвлечь нас. Но не получалось: чокались, молча пили.

В Москву я возвращался с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как сорок лет назад на свадьбе бая он победил всех акынов. Принесли кипяток, заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик (Джамбул его называл «молодым», но ему было лет шестьдесят) объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перевести, оказалось, что акын просто радовался предстоящему чаепитию. Потом он подошел к окну и снова запел; на этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули:

Вот рельсы, они прямо летят в чужие края,
Так летит и моя песня.

Кожа на лице Джамбула напоминала древний пергамент, а глаза были живыми — то лукавыми, то печальными. Ему тогда было девяносто два года.

Потом пришел А. А. Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что, кажется, их удастся напечатать в «Новом мире»; вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались.

Мы приехали в Москву. В редакции мне сказали, что собираются поставить вопрос о моем возвращении в Испанию, но теперь все требует времени — большие люди очень заняты, придется месяц-другой подождать.

Я прожил в Москве пять месяцев; и теперь я благодарен судьбе. Хорошо, что мне захотелось поехать в Москву, чтобы развлечься и отдохнуть: есть в истории народа такие дни, которые нельзя понять даже по рассказам друзей, их нужно пережить.

Прежде всего расскажу, как я жил в то время. Я часто выступал в различных вузах, на заводах, в военных академиях: рассказывал про Испанию. Мне прислали стенограмму одного из таких вечеров в клубе автомобильного завода, там есть статистика — я сказал, что выступал с докладом об Испании уже в пятидесяти местах. Я видел, что слушавшие тяжело переживают трагедию испанского народа, и это меня ободряло. Передо мною были честные и смелые люди, преданные коммунизму; они напоминали наших летчиков, с которыми я встречался в Алкала-де-Энарес.

Писать я не мог; я написал только две статьи об Испании для «Известий» — одну в марте, после фашистских побед, другую в первомайский номер. Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о «сталинском наркоме», сравнить «пятую колонну» в Испании с теми, кого тогда называли «врагами народа». Я отвечал, что не могу,— пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки.

Я и теперь могу писать только о том, что видел: о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми тогда встречался; постараюсь показать быт да и душевное состояние мое, моих приятелей, главным образом писателей, художников.

Наша жизнь в то время была диковинной; о ней можно написать книги, и вряд ли я смогу обрисовать ее на нескольких страницах. Все тут было: надежда и отчаяние, легкомыслие и мужество, страх и достоинство, фатализм и верность идее. В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам. Пришел както Бабель и с юмором, которого он никогда не терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты: «Они садятся на самый краешек кресла...» В «Известиях» на дверях различных кабинетов висели дощечки, прежде проставляли фамилии заведующих отделами, теперь под стеклом ничего не было; курьерша объяснила мне, что не стоит печатать: «Сегодня назначили, а завтра заберут...»

Мне хочется здесь вспомнить чудесного человека — Павла Людви-

говича Лапинского. Я писал, что познакомился с ним в годы первой мировой войны. Мы жили в гостинице «Ницца». Тогда я был чересчур молод, чтобы разобраться в сложном характере Лапинского, но слушал с интересом его рассказы о Польше, об Америке. Когда он обличал «оборонцев», я не спорил: не знал, прав он или нет, но человек мне был мил. Порой судьба тасует карты, посылает человека на место мало соответствующее его душевному строю. Диего Ривера мог бы стать не художником, а героем революционной Мексики. Душевная структура П. Л. Лапинского была на редкость мягкой. Он сделался подпольщиком, публицистом, а, вероятно, ему было бы легче прожить жизнь с искусством. Я часто встречался с ним в тридцатые годы, и меня поражали его тонкость, отзывчивость. У него не было семьи, и прожил он жизнь одиноким холостяком. Когда я приходил в маленькую квартиру, заставленную книгами, мне становилось страшно: до чего он одинок! Вдова друга Лапинского Станислава Раевского недавно мне напомнила, как Павел Людвигович испугался, когда я сказал, что ему нужно завести собаку: животное может нарушить положенный распорядок. Маленькую таксу мраморного цвета он окрестил «Дездемоной» и страстно к ней привязался. Наверно, «Дездемона» неутешно выла, когда ее хозяина увезли незнакомые люди. В те нерадостные годы погибли многие мои друзья, товарищи по работе, и когда я шел по коридорам «Известий», мне казалось, что я иду по кладбищу.

А жизнь как будто продолжалась по-прежнему. Постановили организовать Клуб писателей и устраивать клубные дни. С. И. Кирсанов захотел и в этом показать себя новатором; он устроил в клубе выставку картин Кончаловского, Тышлера, Дейнеки, революционизировал даже кухню. Помню обед в честь приехавшего из Ленинграда М. М. Зощенко. Подали суп из консервированных крабов, и Кирсанов объяснял: «Суп биск из омаров». В зале зажгли камин, возле него подогревались бутылки кварели. Кто-то предложил выпить за Красную Звезду, которую мне накануне вручили в канцелярии Верховного Совета.

Когда все встали из-за стола, один достаточно известный, мало приятный мне литератор отвел меня в сторону и зашептал: «Слыхали последнюю новость? Арестовали Стецкого... Ужасные времена! Не знаешь, кому кадить, на кого капать...» Были и такие...

Однажды в клубе я встретил С. С. Прокофьева — он исполнял на рояле свои вещи. Он был печален, даже суров, сказал мне: «Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасение...»

Многие писатели продолжали писать; Тынянов закончил первую часть «Пушкина», вышла новая книга стихов Заболоцкого. Другие признавались, что «не пишется».

В. Г. Лидин нас развлекал как всегда смешными историями. Раз он позвал нас ужинать, пришел молодой восторженный человек, показывал куклы — Кармен была сухой ведьмой, а два шара объяснялись друг другу в любви,— это был С. В. Образцов. В другой раз мы встретили у Лидина одного из четырех участников экспедиции на полюс — Э. Т. Кренкеля, молодого, скромного; он с юмором рассказывал про

жизнь на льдине, про лайку, которая помогла им прогнать медведей, собиравшихся похитить продовольственные запасы. Все это было радостным и отдохновенным.

Бывали мы и у Таировых, у Евгения Петрова, у Леонова. К нам часто приходили Бабель, Тихонов, Фальк (он незадолго до этого вернулся из Парижа), Вишневский, Луговской, Тышлер, Федин, Кирсанов. У Лапина сидели его друзья — Хацревин, Славин, и мы ужинали все вместе. Иногда мы заводили литературные споры, говорили о новой театральной постановке, а то и сплетничали — люди ведь продолжали влюбляться, сходиться, разводиться; иногда я рассказывал об Испании — она мне казалась бесконечно далекой и близкой; а иногда как-то незаметно начинался разговор о том, о чем мы не хотели ни говорить, ни даже думать.

У Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая и, как сказал бы Дуров, с прекрасными условными рефлексами. Борис Матвеевич научил ее многим номерам: она приносила папиросы, спички, закрывала дверь столовой. Бывало, гость начнет говорить за ужином о том, кого посадили, а черная косматая Чука, мечтая о кружке колбасы, поспешно закрывает дверь. Это всех смешило — мы ведь и в то время любили посмеяться.

Некоторые из людей, которых я знал, старались жить замкнуто, встречались только с близкими; подозрительность, опаска подтачивали человеческие отношения. Бабель говорил: «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв головы одеялом...» Меня, напротив, тянуло к людям. Чуть ли не каждый вечер к нам приходили друзья или мы ходили в гости.

Часто мы бывали у Мейерхольдов. В январе было опубликовано постановление о закрытии театра как «чуждого». Зинаида Николаевна переболела острым нервным расстройством. Всеволод Эмильевич держался мужественно, говорил о живописи, о поэзии, вспоминал Париж. Он продолжал работать: обдумывал постановку «Гамлета», хотя и не верил, что ему дадут ее осуществить. У Мейерхольдов я встречал П. П. Кончаловского — он тогда писал портрет Всеволода Эмильевича, пианиста Л. Н. Оборина, молодых энтузиастов, для которых Мейерхольд оставался учителем.

Попал я как-то на писательское собрание. Различные литераторы обвиняли В. П. Ставского в том, что он «недоглядел»: повсюду — в журналах, в Жургазе, в издательстве — сидят «враги народа». Владимир Петрович потел, вытирал все время лоб. Я вспомнил, как он стоял во вражеской каске возле Брунете, и подумал: здесь пожарче...

И. К. Луппол позвал нас пообедать — он жил, как мы, в Лаврушинском. Его жена говорила, что они недавно переехали, купили мебель, вот только лампы нет; она добавила: «Как-то не то настроение, чтобы покупать...» (Луппол продержался еще полтора года, потом его постигла участь многих.)

В. В. Вишневский кричал, что все писатели должны учиться военному делу, даже старики. Говорил он о перебежке, о рокадных дорогах, о прощупывании противника.

Я встречался, даже дружил с людьми мне далекими: у нас было чувство локтя, как у солдат на войне. Войны еще не было, но мы знали, что она неизбежна. Мы сидели в окопе, и артиллерия, как то случилось у Теруэля, стреляла по своим.

Григорович мне сказал, что батарея республиканцев, открывшая огонь по деревушке, занятой своими, не успела, к счастью, пристреляться. Ежов стрелял по площадям и снарядов не жалел. Говорю «Ежов», потому что тогда мне казалось, что все дело в нем.

В последней части этой книги я попытаюсь поделиться мыслями о И. В. Сталине, о всем том, что лежит камнем на сердце каждого человека моего поколения. А сейчас ограничусь тем, что расскажу о моем понимании (вернее, непонимании) происходившего в то время, которое описываю. Я понимал, что людям приписывают злодеяния, которых они не совершали, да и не могли совершить, спрашивал и других и себя: зачем, почему? Никто мне не мог ответить. Мы ничего не понимали.

Я был на открытии сессии Верховного Совета — в редакции мне дали гостевой билет. Старейший депутат, восьмидесятилетний академик А. Н. Бах, в далеком прошлом народоволец, прочитал по бумажке речь и кончил ее, разумеется, именем Сталина. Раздался грохот рукоплесканий. Мне показалось, что старый ученый зашатался, как от воздушной волны. Я сидел высоко, вокруг меня были обыкновенные москвичи — рабочие, служащие, и они неистовствовали.

Да что говорить о москвичах; в далекой Андалузии я видел дружинников, которые шли на смерть с криками «Эсталин!» (так испанцы произносили имя Сталина). У нас много говорят о культе личности. К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном, религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога; все с трепетом повторяли его имя, верили, что он один может спасти Советское государство от нашествия и распада.

Мы думали (вероятно, потому, что нам хотелось так думать), что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами, с советской интеллигенцией.

Всеволод Эмильевич говорил: «От Сталина скрывают...»

Ночью, гуляя с Чукой, я встретил в Лаврушинском переулке Пастернака; он размахивал руками среди сугробов: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!..»

Да, не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали «сталинским наркомом». Мы ведь видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев Сталина или честных беспартийных специалистов. Народ окрестил те годы «ежовщиной».

Кажется, умнее меня, да и многих других, был Бабель. Исаак Эммануилович знал жену Ежова еще до того времени, когда она вышла замуж. Он иногда ходил к ней в гости, понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку». Однажды, покачав головой, он сказал мне: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем...» Ежова постигла судьба Ягоды. На его место пришел

Берия, при нем погибли и Бабель, и Мейерхольд, и Кольцов, и многие другие неповинные люди.

Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что, кроме Мейерхольдов, в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной коллегии Верховного Суда. «Они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место...» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел закрыв глаза и походил на подстреленную птицу. (Белова вскоре после этого арестовали.)

Не забуду и другой день, когда по радио передали, что будут судить убийц Горького и что в его убийстве принимали участие врачи. Прибежал Бабель, который при жизни Алексея Максимовича часто у него бывал, сел на кровать и показал рукой на лоб: сошли с ума! Мне дали билет на процесс; к этим дням я еще вернусь когда-нибудь.

В 1942 году я писал в одной из статей: «Фашизм задолго до того, как напасть на нашу страну, вмешался в нашу жизнь, искалечил судьбу многих...» Да и в то время, о котором рассказываю, я не мог отделить нашей беды от недобрых вестей, приходивших с Запада.

В конце февраля фашисты снова заняли Теруэль. Италия и Германия усилили свою помощь Франко. Иден попробовал поднять голос против открытого вмешательства Италии в испанскую войну; ему пришлось уйти в отставку, пришел Чемберлен, сторонник сближения с Гитлером и Муссолини. Начались массированные бомбежки Барселоны; в течение нескольких мартовских дней было убито четыре тысячи жителей. Накопив силы, фашисты прорвали фронт республиканцев в Арагоне. В той единственной статье, которую я написал за несколько месяцев, есть такие строки: «Ночью у себя в комнате я слушаю радиопередачу Барселоны. За окном — девятый этаж — огни большого города. Глухо доносится голос: «В районе Фраги мы отбили атаку...» Может быть, сейчас бомбят Барселону? Может быть, чернорубашечники снова атакуют «в районе Фраги»... Для меня Фрага была не абстрактным именем, а городом, где я часто бывал. Я видел перед собой улицы Барселоны и понимал, что война между нами и фашизмом началась. Сейчас она не на собраниях писателей, где обсуждают, кто дружил с Бруно Ясенским, а там — в Испании.

Я долго думал, что мне делать, и решил написать Сталину. Борис Матвеевич не решался меня отговаривать и все же сказал: «Стоит ли привлекать к себе внимание?..» Я написал, что был в Испании свыше года, мое место там, там я могу бороться.

Прошла неделя, две — ответа не было. Самое неприятное в таком положении — ждать, но ничего другого не оставалось. Наконец меня вызвал редактор «Известий» Я. Г. Селих; он сказал несколько торже-

ственно: «Вы писали товарищу Сталину. Мне поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении вам лучше остаться в Советском Союзе. У вас, наверно, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла...»

Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный Селихом (если можно было назвать это советом), мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Тынянов пишет о Пушкине, Толстой — о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает попасть в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен: я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском...

Пролежав день, я встал и сказал: «Напишу снова Сталину...» Здесь даже Ирина дрогнула: «Ты сошел с ума! Что ж ты, хочешь Сталину жаловаться на Сталина?» Я угрюмо ответил: «Да». Я понимал, конечно, что поступаю глупо, что, скорее всего, после такого письма меня арестуют, и все же письмо отправил.

Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать, слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции: «Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта». Почему так случилось? Этого я не знаю.

Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне: «Можно вам задать вопрос? Скажите, как случилось, что вы уцелели?» Что я мог ему ответить? То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверно, сказал бы, что пути господа бога неисповедимы. Я говорил в самом начале этой книги, что жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею.

Первого мая я был в комнате радиокомитета, выходившей на Красную площадь; поэты читали стихи и комментировали демонстрацию; я говорил про Испанию. Я знал, что война будет шириться, охватит мир.

Настал день отъезда. На вокзал пришло много друзей; нам трудно было с ними расставаться. В Ленинграде, где мы задержались на несколько дней, были снова длинные беседы о происходящем и снова жар рук, неуверенное «До свиданья!..».

В Хельсинки была еще одна пересадка. Мы сидели с Любой на скамейке в сквере и молчали: не могли разговаривать даже друг с другом...

Мне было сорок семь лет, это возраст душевной зрелости. Я знал, что случилась беда, знал также, что ни я, ни мои друзья, ни весь наш народ никогда не отступятся от Октября, что ни преступления отдельных людей, ни многое, изуродовавшее нашу жизнь, не смогут заставить нас свернуть с трудного и большого пути. Были дни, когда мне не хотелось дольше жить, но и в такие дни я знал, что выбрал правильную дорогу.

После XX съезда партии я встречал за границей знакомых, друзей;

некоторые из них спрашивали меня, да и самих себя, не нанесен ли роковой удар самой идее коммунизма. Чего-то они не понимают. Я — старый беспартийный писатель — знаю: идея оказалась настолько сильной, что нашлись коммунисты, которые сказали и нашему народу, и всему миру о прошлых преступлениях, об искажении и философии коммунизма и его принципов справедливости, солидарности, гуманизма. Наш народ наперекор всему продолжал строить, а несколько лет спустя отбил фашистское нашествие, достроил тот дом, в котором теперь живут, учатся, шумят, спорят юноши и девушки, не знавшие жестоких заблуждений прошлого.

А мы с Любой молча сидели на скамейке чахлого сквера. Я подумал, что молчать мне придется долго: в Испании люди борются, я не смогу ни с кем поделиться пережитым.

Нет, идее не был нанесен роковой удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.

29

Рапорт начальника Московского охранного отделения подполковника фон Котена, о котором я говорил в первой части этой книги, датирован 14 января 1908 года — накануне моего ареста.

Охранники были недостаточно осведомлены. Говоря об ученической организации РСДРП, начальник охранки приводит имена товарищей, которые в 1908 году уже не были гимназистами, а если иногда приходили на наши собрания, то скорее как усердные партийные работники; к таким гостям относятся Г. Я. Брильянт, арестованный еще до рапорта, и Н. И. Бухарин, ошибочно названный Владимиром. Имена Бухарина и Брильянта (Сокольникова) теряются в длинном списке: филера в отличие от некоторых историков заняты не толкованием будущего, а скромными донесениями.

У отца Григория Яковлевича Брильянта, или Гриши, как мы его называли, была аптека на Трубной площади, туда я порой забегал. Гриша был бледным молчаливым юношей, который записывал в общую тетрадь конспекты прочитанных книг. Он никогда не уклонялся от ответа, говорил сдержанно и, как мне казалось, веско. Минутами я думал, что он чересчур сухой, и тотчас я говорил себе, что я — плохой марксист, что мне нравятся болтуны, что нужно не просто жить, а готовить революцию — мне ведь было тогда шестнадцать лет.

Когда меня вели на очередной допрос, в коридоре Бутырской тюрьмы я увидел Гришу. Мы понимали, что такое конспирация, и поздоровались только глазами. Потом товарищи мне рассказывали, что Брильянта приговорили к ссылке в далекое место Сибири. Оттуда он удрал за границу, и весной 1909 года я его увидел в библиотеке товарища Мирона. Он стал взрослым, но не изменился: такой же бледный и молчаливый. Он рассказал мне, что переводит социальный роман молодого французского писателя Шарля Луи Филиппа, пересказал

содержание. Мне стало скучно — я уже строчил стихи и зачитывался произведениями «декадентов». Несколько лет спустя я понял, что Шарль Луи Филипп — хороший писатель. (Он умер в возрасте тридцати пяти лет в тот самый год, когда Григорий Яковлевич мне о нем рассказывал.)

Прошло много времени, и летом 1930 года, оказавшись в Лондоне по приглашению Пен-клуба, я увидел Г. Я. Сокольникова — он был нашим послом. Он приехал в Лондон незадолго до этого: после разрыва дипломатических отношений консерваторами к власти пришли лейбористы и отношения возобновили. Григорий Яковлевич говорил о положении в Англии, о растущем кризисе, о трусости Макдональда. Несколько дней спустя я пришел к Сокольникову с Любой, увидел его молодую жену; почему-то мы заговорили о собаках. Люба уверяла, что лучше всего скотч-терьеры, и Григорий Яковлевич приветливо улыбался.

Прошло еще семь лет, и вдруг, развернув «Известия», я прочитал о судебном процессе, судили Сокольникова, Радека. Все мне показалось неправдоподобным. Сокольников уверял, что к нему в Лондоне пришел немецкий посол, сказал, что он знаком с позицией Сокольникова, но за помощь Гитлер требует всю Украину. Я ничего не понял. Не понимаю и теперь, что делали с арестованными Ягода, Ежов или Берия. Больше Сокольникова я не видел.

Конечно, молоденький Гриша когда-то помог мне разобраться в том, что, перефразируя стих Мандельштама, я назову «странностями политики», но я недостаточно знал его, и в моей памяти он остался скорее образцовым большевиком, чем живым человеком. Героем моего отрочества был Николай Иванович Бухарин. Он был на два с половиной года старше меня; в зрелом возрасте я об этом не думал, но в гимназические годы, хотя мы часто встречались, заняты были одним делом, я все время сомневался: не скучно ли ему водиться с мальчишкой?

Сокольников был создан для политики — я говорю не только о манере держаться, но о человеческом материале. А Николай Иванович был мне куда ближе и понятнее: веселый, порывистый, с любовью к живописи и поэзии, с юмором, не покидавшим его в самое трудное время, он был человеком той стихии, в которой я жил, хотя жили мы разным и по-разному. О нем я вспоминаю с волнением, с нежностью, с благодарностью — он помог мне не в понимании того или иного труднейшего вопроса, он мне помог стать самим собой.

Познакомились мы в гимназии — перейдя в пятый класс, осенью 1906 года, я оказался на втором этаже, где помещались старшие классы. Я тянулся к Бухарину и его одноклассникам: Ярхо, Циресу, Астафьеву. Вскоре Бухарин позвал меня на собрание кружка: он рассказывал о марксизме. Потом я взялся за школьную организацию, за партийную работу, ходил на собрания в Сокольнической роще или на Воробьевых горах: мы встречались и на работе, и в свободное время.

Иногда Николай приходил ко мне. Мой песик Бобка не выносил ни сапог, ни громкого смеха, и однажды он повис на ноге Бухарина.

Иногда я заходил к Николаю. Отец его был педагогом, жили они на Малой Никитской возле Кудринской площади. Но чаще всего мы бро-

дили по бульварам, то по Пречистенскому, то по Новинскому. Николай любил беседовать шагая и при этом жестикулировал. О чем только мы не говорили — о кознях меньшевиков и о романах Гамсуна, о Смидовиче и о спектаклях Художественного театра, о том, что Потемкин прочитал хорошую лекцию, посвященную Коммуне, и о том, что Лидия Николаевна — милая девушка!

Мы иногда вместе ходили в гости к двум подругам-большевичкам. Они жили на Козихах. Одна, которую звали Таней, потом вышла замуж за Макара — за В. П. Ногина. Другая нравилась Николаю, и я над ним подтрунивал. Ольга Петровна Ногина рассказывала мне о судьбе Лидии Николаевны Недокуневой. Она отошла от партийной работы, а после революции Бухарин устроил ее в одном из журналов. Когда Бухарина арестовали, от Лидии Николаевны потребовали, чтобы она выступила на собрании, заклеймив «врага народа»,— это было в нравах времени. Недокунева в своей речи, забывшись, начала прославлять Николая Ивановича, а в конце спохватилась: «Товарищу Сталину было трудно пожертвовать таким человеком, но он это сделал для партии...» С собрания она пришла к О. П. Ногиной и сказала: «Ночью за мной придут». Ольга Павловна пробовала ее успокоить, но в ту же ночь Лидию Николаевну забрали. Она выжила и вернулась в Москву после XX съезда.

Все это очень давние и очень смутные воспоминания: с тех пор прошло почти шестьдесят лет. Я помню только озорные глаза Николая и слышу его задорный смех. Он часто говорил нецензурные слова, им придуманные,— в словотворчестве ему мог бы позавидовать Хлебников.

Мы расстались надолго. В 1910 году Бухарина арестовали и отправили в Архангельскую губернию. Год спустя он удрал за границу, жил в Швеции, в Америке, в Швейцарии, в Кракове. Встретились мы в конце 1920 года. Он жил в Первом доме Советов — так звалась тогда гостиница «Метрополь». Мне показалось, что не прошло двенадцати лет — передо мной сидел не один из руководителей правящей партии, а смешливый и неутомимый Николай Иванович. Это он написал записку «лорд-мэру Москвы» (председателю Моссовета Л. Б. Каменеву), всполошился, когда узнал от Любы, что меня забрала Чека, а потом помог получить заграничный паспорт: «Посмотрите, что там теперь делается, а потом опишите, только позлее...»

Бухарин написал предисловие к первому советскому изданию «Хулио Хуренито».

В 1922 году он приезжал в Берлин, и мы с ним просидели часа три в маленькой пустой кондитерской. Помню, я сказал, что многое происходит не так, как нам мерещилось на Новинском бульваре. Он ответил: «Вы — известный путаник», потом рассмеялся и добавил: «Меня тоже называют путаником. Но вам легче — вы путаете в романах или в частных разговорах, а я, как-никак, член Политбюро...» С подлинным обожанием он говорил о Ленине: «Теперь ясно — выберемся или, если хотите, выпутаемся — с Ильичем мы не пропадем...»

После сообщения о кончине В. И. Ленина я сразу пошел в «Метро-

поль». Бухарин сидел на кровати, обняв руками колени, и плакал. Я не сразу решился поздороваться.

Я продолжал «путать». А Бухарин был редактором «Правды», одним из руководителей Коминтерна. Он старался отстоять писателей от рапповцев, напостовцев, выступал против «критиков с дубиной».

Первый том Литературной энциклопедии включает статью о Бухарине как об «одном из видных теоретиков марксизма». Однако начинался «культ личности», и Бухарин вместо «Правды» стал редактором «Известий».

Весной 1932 года С. Раевский сказал мне, что Николай Иванович хочет, чтобы я стал постоянным парижским корреспондентом газеты. Я проработал с Николаем Ивановичем четыре года. Он старался сделать газету живее. Напечатал мою статью «Откровенный разговор» о подлинном низкопоклонстве Интуриста перед иностранцами. Напечатал также статьи, в которых я отстаивал поэзию Пастернака, театр Мейерхольда, живопись Штеренберга и Тышлера. Однажды Сталин позвонил Бухарину: «Ты что же, решил устроить в газете любовную почту?..» Было это по поводу моего «Письма к Дусе Виноградовой», знатной ткачихе: я попытался рассказать о живой молодой женщине. Гнев Сталина обрушился на Бухарина.



Н. И. Бухарин. 1906-й или 1907 г.

Во время Первого съезда советских писателей я каждый день встречался с Николаем Ивановичем. Он сделал доклад, посвященный поэзии. Его встретили восторженно: когда он назвал имя Маяковского, все встали. Доклад Бухарина был защитой поэзии от риторов, стихотворцев на случай, вульгаризаторов. Некоторые поэты обиделись и напали на Бухарина (будучи близкими к партийному руководству, они знали, что можно безнаказанно ругать Николая Ивановича). Особенно резок был Демьян Бедный, говорил, что «Бухарин выделил некий поэтический торгсин для сладкоежек», что он «старчески щурит глаза» и так далее. Между тем Бухарин отозвался о поэзии Демьяна Бедного мягче, чем некогда Ленин, в воспоминаниях Горького есть такие слова Владимира Ильича: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». Бухарин в заключительном слове высмеял «фракцию обиженных». На последнем заседании съезда А. А. Фадеев неожи-

данно огласил: «Я действительно допустил слишком резкие заявления и выпады по адресу некоторых товарищей поэтов...»

Помню вечер, когда сообщили об убийстве Кирова. Я пошел в редакцию. На Бухарине лица не было, он всем кричал: «Идите и пишите о Кирове...» Я знал, что Киров и Орджоникидзе были друзьями, защитниками Николая Ивановича. Он и меня втолкнул в пустую комнату: «Пишите! Второго такого не будет...» Я еще не успел ничего написать, когда вошел Николай Иванович и шепнул: «Не нужно вам писать. Это очень темное дело...»

В апреле 1936 года Бухарин приехал в Париж. Он остановился в гостинице «Лютеция», рассказал мне, что Сталин послал его для того, чтобы через меньшевиков купить архив Маркса, вывезенный в Париж немецкими социал-демократами. Он вдруг добавил: «Может быть, это — ловушка, не знаю...» Он был встревожен, минутами растерян, но был у него чудесный характер: он умел забывать все страшное, прельстившись выставкой, книгами или «кассуле тулузен» — южным блюдом, гусятиной и колбасой с белыми бобами. Он любил живопись, был сам самодеятельным художником — писал пейзажи. Люба водила его на выставки. Французы устроили его доклад в зале Мютюалитэ, помню, как восхищался Ланжевен мыслями Бухарина. А из посольства пришел третий секретарь — там если не знали, то предчувствовали близкую развязку. Мы как-то бродили по набережной Сены, по узеньким улицам Латинского квартала, когда Николай Иванович всполошился: «Нужно в «Лютецию» — я должен написать Кобе». Я спросил, о чем он хочет писать — ясно, что не о красоте старого Парижа и не о холстах Боннара, которые ему понравились. Он растерянно засмеялся: «В том-то и беда — не знаю о чем. А написать нужно — Коба любит получать письма».

От секретаря Бухарина С. А. Ляндреса и от его жены А. М. Лариной (она выжила, провела почти двадцать лет в концлагере) я знаю, что произошло в 1937 году. Бухарин был в Узбекистане, когда появилось сообщение о том, что на втором процессе (Радек — Пятаков — Сокольников) было указано на участие Бухарина в «правотроцкистском центре». Нельзя было найти никого, чтобы получить билеты на Москву: вокруг «врага народа» образовалась пустота. В Москве Бухарина очень долго не арестовывали, допрашивали его не в ГБ, а в ЦК. Ему, например, показывали утверждение Радека о том, что однажды к Радеку на дачу приехали Бухарин и Эренбург, ели яичницу и Бухарин с Радеком вели деловой разговор о захвате власти. Я однажды был с Николаем Ивановичем на Сходне у Радека, и нас действительно накормили глазуньей, но разговор шел не о заговоре, а об охоте — оба были страстными охотниками. Бухарина вызвали на заседание Центрального Комитета, он пробовал защитить правду, но люди кричали: «Расстрелять предателя!» Николай Иванович написал письмо будущим руководителям партии и заставил жену заучить его наизусть: она запомнила и выполнила последнее желание мужа.

В начале марта 1938 года один крупный журналист, вскоре погибший по приказу Сталина, в присутствии десятка коллег сказал

редактору «Известий» Я. Г. Селиху: «Устройте Эренбургу пропуск на процесс — пусть он посмотрит на своего дружка».

Я был в Октябрьском зале и увидел на скамье подсудимых кроме Бухарина нескольких людей, которых знал,— Крестинского, Раковского. Они рассказывали чудовищные вещи, их жесты, интонации были непривычными. Это были они, но я их не узнавал. Не знаю, как Ежов добился такого поведения. Ни один западный автор халтурных полицейских романов не мог бы напечатать подобную фантастику.

Я был на заседании, когда Крестинский неожиданно отказался от показаний на предварительном следствии. Председатель трибунала Ульрих сказал, что сейчас допрашивают свидетелей, Крестинский сможет все объяснить, когда до него дойдет черед. Вскоре после этого генеральный прокурор Вышинский сказал, что все устали — нужен перерыв. После перерыва Крестинский попросил слова и объяснил, что отказ от показаний на предварительном следствии был с его стороны малодушием.

Вместе со старыми большевиками судили врачей, рядовых бюрократов и таинственных филеров. Врачам приписывали отравление Максима Горького и некоторых видных политических деятелей — врачи якобы выполняли поручения «правотроцкистского центра». Вышинский блистал знаниями древней истории и уверял, что за две тысячи лет до Бухарина древние римляне загадочно отравляли неугодных им сограждан. Тот же Вышинский, добившись от Николая Ивановича «признания», что он будто бы еще в 1918 году намеревался арестовать Ленина, восклицал: «Проклятая помесь лисицы со свиньей» или «Василий Шуйский, он же Иуда Искариот».

Все мне казалось нестерпимо тяжелым сном, и я не мог толком рассказать о процессе даже Любе и Ирине. Я теперь также ничего не понимаю, и «Процесс» Кафки мне кажется реалистическим, вполне трезвым произведением.

Я. Г. Селих спросил меня: «Напишите о процессе?» Я вскрикнул:

Н. И. Бухарин. 30-е годы

Н. Н. Крестинский. 1924 г.





«Нет!» — и, видно, голос у меня был такой, что после этого никто мне не предлагал написать о процессе.

Я вспоминаю сейчас веселого Николая. Ленин называл его «Бухарчиком», говорил о нем «любимец партии». Сталин хотел не только очернить и убить Бухарина, он хотел уничтожить память о нем. Правда всегда побеждает — рано или поздно. Порой слишком поздно... Я не мог не написать о друге далекой молодости.

30

Во Франции официально еще существовал Народный фронт, но теперь это была облупившаяся вывеска. Новое правительство возглавил Даладье, министерство иностранных дел он доверил Боннэ, который громко говорил, что жаждет мира, и, понижая голос, добавлял, что необходимо договориться с Берлином и Римом.

Трагедия Франции началась давно, еще в 1936 году, когда Леон Блюм, испугавшись правых, отказался продать испанскому правительству вооружение. Это шло вразрез и с существовавшими договорами, и с интересами Франции, и с политическими убеждениями Блюма. Социалистический премьер любил Стендаля: в романах ему нравились характеры с сильными страстями; а у него самого характера не было. Он воскликнул: «Моя душа разрывается»,— и заговорил о «невмешательстве». Разорвалась не только его душа, но и Франция.

В июне 1938 года многие французские политики понимали, что Муссолини не удовлетворится взятием Аддис-Абебы и Малаги, что для Гитлера Австрия только закуска, а Испания — рабочая репетиция. Но страна была разъединена. Противники Народного фронта, обозленные забастовками, поглядывали на фашистов с надеждой, как на опытных хирургов. А рядовые французы, многие их тех, что голосовали за Народный фронт, радовались, что они не в Вене и не в Барселоне, никто не бомбит, не заставляет по команде подымать вверх руки, они могут на террасах больших кафе и маленьких рабочих баров пить зеленые, золотистые или малиновые аперитивы. Франция уже репетировала предстоящее отречение.

Я купил в вокзальном киоске кипу газет и книгу неизвестного мне автора Леона де Понсэна с соблазнительным заглавием «Секретная история испанской революции». Фашистская газета «Гренгуар» объявила конкурс: читатель, который угадает дату, когда генерал Франко возьмет Барселону, получит пятьдесят тысяч франков. Из книги Леона де Понсэна я узнал, что коммунисты, социалисты и франкмасоны устроили заговор с целью отдать Испанию в руки евреев; Коминтерн для этого направил в Барселону Бела Куна, Вронского, Антонова-Овсеенко, Эренбурга, Кольцова, Миравильеса, Горева, Туполева, Примакова и других «преступников еврейского происхождения». Я подумал, что сумасшедшие есть повсюду, и задремал.

В пограничный испанский город Порт-Бу я приехал рано утром

и попал сразу под бомбежку. Испания меня встретила кровью: на мостовой лежал убитый ребенок.

Я уехал из Испании в дни боев за Теруэль, когда еще все верили в победу. Вернувшись полгода спустя, я увидел другую картину. Конечно, я знал и в Москве, что фашисты одержали крупные победы, но одно дело читать о беде в газетах, другое — ее увидеть. Страшно, расставшись с любимым человеком, который работает, сердится, мечтает, ревнует, найти его подточенным жестокой, может быть смертельной, болезнью. Когда я уезжал, положение республиканцев было трудным, но даже нейтральные обозреватели гадали об исходе войны. Теперь я мучительно старался убедить себя, что еще не все предрешено и что чудо может спасти республику.

Возле Эбро пятидесятилетний испанец, живший долго в Париже (его звали Анхель Сапика), который пошел добровольцем в 1938 году, когда уже не оставалось места для иллюзий, говорил мне: «Смерть — это феномен, случай. Родиться, умереть — это не от нас зависит. Главное — прожить достойно, не презирая себя». Может быть, говоря это, он думал о другом — о том, что человеку хочется достойно умереть, сделать все, чтобы смерть не выглядела «случаем»?..

Я приехал в Барселону. Савич по-прежнему писал телеграммы, говорил, что его измотала работа — не может даже выбраться на фронт. Он спросил меня про свою жену, про Мирову, про некоторых военных советников. Я ответил, что Аля здорова, старается быть спокойной, а с Мировой плохо, да и со многими другими: «Трудно понять, почему каждый день забирают людей, ни в чем не повинных...» Савич удивленно на меня посмотрел: «Ты что — троцкистом стал?..» Он не был в Москве и многого не понимал.

Савич жил на горе. Я спустился в город. На площади Каталония по-прежнему старушка брала десять сантимов у прохожего, который садился на стул в сквере, и выдавала билетик. Десять сантимов стали микроскопической суммой; да и мало было в сквере людей — кругом чернели развалины домов. Но жизнь продолжалась... На той же площади старики сыпали крошки хлеба голубям. Все это могло показаться удивительным: паек был полтораста граммов хлеба, порой сто — где уж тут кормить голубей. Да и голуби могли бы улететь — редко выпадала ночь без бомбежки. Но я не удивлялся: уже задолго до этого я понял, что можно разворотить, изувечить, истоптать жизнь, и все-таки влюбленные будут целоваться, обмениваться клятвами, а старушки прибирать — комнату, тюремную камеру, больничную койку, кажется, даже свой собственный гроб.

На Рамбле по-прежнему продавали цветы. В театре шла премьера «Укрощение строптивой». Возле богатых особняков развели огородики: картошка, салат. В ресторане подавали вареные бобы без масла, но скатерти были чистые. А мыла не было.

Чистильщики ботинок хорошо зарабатывали — вакса была, и, верные своим привычкам, барселонцы радовались, глядя на сверкающую обувь.

Вышел очередной номер журнала «Филателист Барселоны». Я под-

считал в газете: работают двенадцать театров и пятьдесят четыре кинотеатра. В том же номере сообщалось, что вчера была сотая, следовательно юбилейная, бомбежка Барселоны.

Квартал рыбаков, веселая Барселонета, был снесен бомбами. Газеты каждый день помещали объявления в черных рамках: такой-то погиб при бомбежке. Как-то бомба упала на кладбище и разворотила могилы, другой раз на родильный дом — было много жертв, на собор XIII века, на рынок. «Известия» попросили меня присылать фотографии; я ходил и снимал развалины, солдат, которые вытаскивали из-под груды камней покалеченные тела. Привыкнуть можно ко всему, и я думал, какую диафрагму лучше поставить... Вероятно, я напоминал старушку, собиравшую деньги за стулья.

Республиканская Испания была разрезана на две части: фашистам удалось прорваться к побережью. Немцы прислали крупных специалистов: Испанию они рассматривали как превосходные маневры перед предстоящим завоеванием Европы. А в боях за выход к Левантскому побережью, помимо войск Франко, участвовали четыре итальянские дивизии.

Я поехал на фронт, который в газетах по привычке называли Арагонским, хотя фашисты успели захватить все города и деревни Арагона — Барбастро, Фрагу, Сариньену, Пину, Каспе,— там, где я спорил, дружил и ссорился с неугомонными анархистами... Я добрался до пригорода Лериды. Город был в руках у фашистов, но республиканцам удалось удержаться в квартале, расположенном на другом берегу речки Сегре. Бог ты мой, сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта! Тогда этот город казался глубоким тылом. Я шел в гостиницу «Палас», принимал ванну, гулял по городу, улицы были с аркадами, и вечером старинные фонари казались театральными. В кафе подавали вермут. За соседними столиками люди спорили, кто

В Барселоне. 1938 г. Фото И. Эренбурга
Барселона. 1938 г. Фото И. Эренбурга
Неделя книги в Барселоне. 1938 г. Фото И. Эренбурга
Артиллеристы. 1938 г. Фото И. Эренбурга



прав — ФАИ или ПСУК? А девушки, прогуливаясь мимо кафе, смеялись, их сопровождали восторженные взгляды как анархистов, так и социалистов. Теперь на том месте, где было кафе,— мешки с песком; дробь пулемета. Передо мною были узкие горбатые улицы, полуразрушенные дома набережной.

Почему-то я вспомнил старого кривого парикмахера: я у него стригся и брился, возвращаясь с фронта. Он балагурил, высмеивал генералов, анархистов, министров и гордо объявлял каждому: «Я умеренный анархист и непримиримый антифашист». Успел ли он уйти из города или погиб?..

Житель Лериды, переплывший речку, рассказывал, что в городе осталось четыреста человек (было сорок тысяч): «Все ушли. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с «Паласом»? На нем написано красной краской: «Мы не хотим жить с убийцами». Это не солдаты написали, а кто-то из жильцов, когда уходили...»

Трудно объяснить, как удалось остановить фашистов на правом берегу узкой неглубокой реки. Осенью 1936 года их задержали на окраине Мадрида. Военные тогда объясняли, что город легко оборонять. Но здесь фашисты заняли город и вдруг натолкнулись на яростное сопротивление. Это бывало в Испании не раз и, видимо, связано не с особенностями рельефа, а с особенностями характера: люди сдавали почти без боя сто, двести километров, и вдруг подымались ярость, гнев, воля — враг не мог продвинуться на сто метров.

Я сидел с бойцами, когда осколок снаряда убил красивого смуглого бойца; его звали Куррито, он был андалузцем из Сьерра-Морены. Другой боец, портной, барселонец, который прежде все время шутил, долго стоял над убитым товарищем, шевелил губами, видно было, что он сдерживает слезы; наконец он сказал: «А я ему рубашку обещал зашить...»

Осколок обломал ветку персикового дерева. Мы молча ели душистые плоды — в Лериде они поспевают рано. Барселонский портной сказал: «Куррито любил персики...»

В батальоне было довольно много добровольцев, записавшихся недавно,— пожилых людей, подростков. Политики говорили, что война подходит к концу; а вот эти пришли воевать... Вряд ли они рассчиты-



вали на победу, но не хотели или не могли стоять в стороне. Я знал Испанию, и все же всякий день она меня удивляла.

Когда я возвращался в Барселону, бомбили дорогу. Мы пролежали полчаса в траве. Потом я увидел искромсанное поле пшеницы. Отчего-то это было нестерпимо больно, хотя я видел вещи пострашнее. Может быть, оттого, что, когда я был ребенком и ронял кусок хлеба, няня Вера Платоновна сердито говорила: «Поцелуй»,— и я целовал ломоть.

В Барселоне я разговаривал с пленным немецким летчиком Куртом Кетнером, сыном бранденбургского архитектора. Он приехал в Испанию рано, в октябре 1936 года; он сразу сказал мне, что он лейтенант рейхсвера, летал на «хейнкеле-111». Когда я спросил его, почему он бомбил испанские города, он громко засмеялся: «Опять эти истории с «мухерес и ниньос»? (Он говорил по-немецки, но слова «женщины и дети» сказал по-испански.) Вздор! Недавно я видел после бомбежки облако дыма. Это, наверно, дымились мухерес и ниньос».

Его нельзя было назвать невежественным; он прочитал немало книг, говорил о «философии истории», но мне он казался дикарем, смелым и злобным. Такие встречи помогли мне познакомиться с духовным миром, несложным, но своеобразным, офицеров и солдат, которых два года спустя я увидел марширующими по улицам Парижа, а в 1941-м у нас, в Белоруссии.

Трагический фарс «невмешательства» продолжался. Я видел, как в Сербере задержали несколько сот лопат, купленных для крестьян Каталонии. Я поехал в Андай — хотел посмотреть, что происходит на границе между Францией и фашистской Испанией.

В Андае у меня были друзья, я об этом упоминал в рассказе об обмене летчиков. Эти друзья свели меня с ответственным служащим таможни, который ненавидел фашизм. Он мне показал документы о грузах, направлявшихся в фашистскую Испанию. Конечно, Италия и Германия самолеты, танки, артиллерию, боеприпасы отправляли морем в порты Португалии, в Бильбао, в Кадикс; но для более невинных вещей они пользовались транзитом через Францию; так направлялись грузовики, мотоциклы, каучук, моторы, химические продукты для военной промышленности. Никакого контроля на границе между Францией и фашистской Испанией не было, несмотря на все заверения французского правительства.

«Известия» напечатали мою статью, и французская полиция возмутилась; оказалось, что я нарушаю принципы невмешательства. (Я все-таки был наивным: хотел кого-то пристыдить, раскрыть кому-то глаза — думал, что дело идет к Вердену, а дело шло к Мюнхену.)

Я должен рассказать об одной довольно глупой истории. Мне захотелось хотя бы на несколько часов очутиться в фашистской Испании, поглядеть, что там делается. Нечего было мечтать о фальшивых документах: в Ируне имелся советник-гестаповец. В Андае мне рассказали, что контрабандисты часто проносят в испанские пограничные деревушки различные товары. Я напал на одного из них; он был французским баском. Он сказал мне: «Ладно. Только имей в виду, что я политикой не занимаюсь. Я знаю, что фашисты — сволочь, но мне

нужно кормить семью. Я тебя не выдам, но, если, не дай бог, нарвемся на пограничников, я прямо скажу, что ты чужой, пристал в дороге».

Мы перешли речку, потом начали подыматься. Я, признаться, волновался и раза два или три пережил страх; я даже не помню, что мой проводник — я звал его Жаком — тащил на себе. Наконец мы оказались в обыкновенной испанской деревушке, зашли в темный дом, где пахло оливковым маслом и чесноком. Жак привел туда Антонио. Антонио провел меня в другой дом. Сразу после того, как мы вернулись в Андай, я записал несложный разговор: «Хозяйка была старой и глухой. Антонио сказал мне: «Рекете убили ее сына. Вместе с Агирре. Там, где ты шел с Жаком,— возле Каса Роха. Он лежал и ругался. Она не знала. А когда она пришла, он был мертвый. Они ее оставили здесь, потому что она очень старая». Старуха глядела то на Антонио, то на меня. Антонио крикнул ей в ухо: «Они тебя здесь оставили, потому что ты очень старая». Она радостно закивала головой: «Да, да, очень старая»; потом она сжала острыми пальцами черный платок: «Он не был старым, он еще был молодым»,— и громко заплакала. Антонио поднес палец ко рту: гвардеец! Я поглядел в щель ставен. Никого... Антонио рассказывал: «Здесь все его боятся... Я был в Элисандо на ярмарке. Там тоже никто не раскроет рта. Боятся... Мне один прямо сказал: «Я только с женой говорю. И то боязно...» Я сам из Вильмедианы, маленькая деревушка, сто шестьдесят душ, но у нас голосовали за социалистов; рекете расстреляли двадцать девять человек».

Антонио привел еще четверых, сказал им: «Можете с ним разговаривать — это француз из наших...» Крестьяне осторожно рассказывали о реквизициях, о штрафах. Вскоре за мною пришел Жак и сказал, что пора идти.

Вернулись мы под утро; зашли в бар на вокзале; пили коньяк.

В общем, я ничего не увидел и мог бы написать о старухе без того, чтобы зря рисковать. Это было затеей двадцатилетнего юноши; я это понимал и скорее стыдился, нежели гордился. Ко всему, я побаивался, что меня отзовут: скажут, корреспонденту «Известий» не полагается идти на такие авантюры. Но все обошлось, и я вернулся в Барселону.

Наивным был не только я; многие политические деятели еще верили в изменение позиции Англии и Франции. Нужно вспомнить события лета 1938 года, тогда многое станет понятным. Гитлер что ни день угрожал Чехословакии. Фюрер судетских немцев Генлейн отправился в Лондон, но вернулся недовольный. Хотя Чемберлен был готов к уступкам, ему приходилось считаться с оппозицией не только лейбористов, но и многих влиятельных консерваторов. Во Франции картина была такой пестрой, что нелегко было разобраться: почти в каждой партии имелись сторонники отпора и сторонники капитуляции. Правый журналист Кериллис, еще недавно проклинавший испанских республиканцев, писал, что Гитлер покушается на Францию. Левая газета «Эвр», прежде выступавшая против Франко, стала рупором кругов, которые называли себя «сторонниками мира» и стояли за любые уступки Гитлеру. Все нервничали. Владельцы гостиниц на побережье или в Альпах жаловались: люди забывают, что на дворе летние каникулы!

Альварес дель Вайо всегда был (да и остался) оптимистом. Помню, в то лето он доказывал мне, что война между Германией и Францией с ее союзниками неминуема. «Французы найдут в Испании не только врагов, готовых их атаковать с тыла, но и союзников». Он считал, что конец лета многое изменит в мире, повторял: «Наше дело — продержаться...»

Много писали, пишут и теперь о «чуде Мадрида», об осени 1936 года, когда испанский народ с помощью интербригад и советской техники остановил фашистскую армию. О последнем периоде написано куда меньше: разгром никогда не казался увлекательной темой. А я признаюсь: сопротивление во вторую половину 1938 года мне кажется еще большим чудом, чем оборона Мадрида в первую осень войны.

Пятнадцатого апреля 1938 года, когда войска Франко вышли к побережью и разрезали республиканскую Испанию на две части, исход войны был предрешен. Конечно, были и ошибки, и растерянность, и многое другое, но я пишу не историю войны, а книгу воспоминаний. Я думаю о том, что Каталония продержалась еще десять месяцев, Мадрид и того больше, и не могу побороть в себе волнение. Народы похожи на отдельных людей: их лучше понимаешь в дни глубокого несчастья.

В июне меня принял президент республики Асанья. Некоторые его называют «дезертиром», потому что он уехал во Францию в феврале 1939 года вместе с правительством. Конечно, президент республики должен был бы отправиться в Мадрид; но судьи не только слишком строги, они как бы не хотят понять, что Асанья был президентом воюющей Испании поневоле. Когда республика приняла вызов Франко и вступила в бой, переменили правительство. Его много раз меняли. А президента нельзя было переменить, он был символом преемственности, вывеской для буржуазных демократий Запада, флагом.

Х. Альварес дель Вайо
Х. Негрин и М. Асанья
Хосе Диас
Знамена Интернациональных бригад



Мануэль Асанья стал политиком скорее по недоразумению; он писал романы, эссе, вместе со всей передовой интеллигенцией ненавидел монархию, диктатуру Примо де Риверы. Он был прежде всего дилетантом — и в литературе и в политике; чувствовал он себя хорошо не в резиденции президента, не на посту премьера, даже не в парламенте, а в литературном клубе «Атенеум», где затевал диалоги эрудитов, где происходили ночные нескончаемые беседы, которые испанцы называют «тертульями». Он мог бы блистательно поспорить с Эдуаром Эррио о барокко, о госпоже Рекамье, о всечеловечности Кальдерона.

Никто не упрекнет его в трусости. Я был в Мадриде, когда 14 апреля 1936 года народ праздновал годовщину провозглашения республики. Асанья тогда занимал пост премьер-министра. Один фашист в него выстрелил. Началась паника. Асанья спокойно улыбался.

Все дальнейшее было для него непосильным испытанием: он был либеральным интеллигентом, и когда Кабальеро принес ему на подпись список нового правительства, куда входили четыре анархиста, он заупрямился, пытался спорить, доказывал, что люди, отрицающие государство, не могут стать министрами. Он спорил, а с ним не спорили — он оставался флагом.

Он принял меня как корреспондента советской газеты и сделал заявление; в нем были такие строки: «Вооруженное нападение на республику, которое было организовано и которое поддерживается тремя европейскими государствами, принуждает нас вести войну за независимость не только в политическом значении данного слова, но и в том, что является самым высоким, самым основным, более длительным, нежели структура, режим государства: борьба идет за свободу развития испанского духа. Речь идет не о том, будет ли в Европе одной республикой больше или меньше, не о том, сможет ли та или иная политическая партия отстаивать свою программу. Речь идет о том, сможет ли великий народ, прославленный в стольких областях, принимать самостоятельное участие в создании современной культуры, или он будет удушен. В этом мировое значение испанской трагедии, в этом причина и сила самообороны Испании».

Передав мне заявление, Асанья вдруг печально улыбнулся: «Теперь мы можем поговорить как два писателя...» Я думал, что он начнет





беседу о литературе, но он сказал: «Я поставил в моем заявлении слово «трагедия»; может быть, для главы государства это неуместно, но другого слова я не нашел. Негрин, кажется, верит, что Испанию спасет мировая война. Наверно, война начнется. Но ее не начнут, пока не задушат Испанию... Вы знаете нашу литературу. Мы всегда стремились к общечеловеческим идеалам. Испанец создал «Дон Кихота», его все оценили, и для всех он стал посмешищем. Нас жалеют и, жалея, посмеиваются... Испанию надолго посадят за решетку...»

Я встретился с барселонскими анархистами. Они ругали правительство, коммунистов, говорили, что Прието — прожженный политикан, что все происходящее каждый день подтверждает правоту анархистов, и вместе с тем с гордостью повторяли, что в советских газетах восторженно писали о командире Сиприано Мера, а он — анархист. Они клялись, что СНТ — ФАИ будут сражаться до конца, жалели, что правительство мало делает для организации партизанской войны: «Каждый испанец создан для герильи...» Один из них проводил меня до гостиницы. По дороге началась тревога, завыли сирены, и мы застряли в подворотне какого-то склада. Анархист говорил: «Хорошо, сознательным я стал в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, мне тогда было двацать три года. Я был на фронте, ранен в грудь. Сегодня я попросил, чтобы меня послали на Эбро. Во-первых, я — анархист, это обязывает...» Он замолк, я спросил: «А во-вторых?» Он ответил не сразу, и голос у него был смущенный: «Во-вторых?.. Но что ты хочешь? Испанцем я был еще до того, как стал анархистом. Может быть, ты думаешь, что я не испанец? Я из Севильи — как твой Хосе, только он был булочником, а я парикмахером. Я больше испанец, чем подлец Франко! Ну, а как по-твоему, может настоящий анархист жить без Испании? По-моему, нет».

Испанским коммунистам было нелегко; все время они должны были что-то кому-то объяснять: анархистам — что такое дисциплина, без которой нельзя разбить фашистов, республиканцам — что такое революция, социалистам — что такое единство, а советским товарищам — что такое Испания.

Я встречался с Хосе Диасом, Долорес Ибаррури, Урибе, другими руководителями партии. Они помогали мне разобраться в положении. Но сейчас я хочу припомнить один разговор, не имеющий отношения к событиям.

Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем. Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное — обман: бык не знает правил игры — бежит прямо на врага, а тореро вовремя чуть отклоняется в сторону; все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публика освищет, да и не слишком поздно — зверь может прободать живот не клячи, а любимца Испании. У Хосе Диаса выпал свободный час. Как настоящий андалузец, он любил бой быков и сказал мне: «Ты думаешь, что мы всегда с тореро? Вот уж нет, часто мы на стороне быка. Ничего ты в этом не понимаешь...»

Не знаю, почему я сейчас вспомнил этот разговор; наверно, поэт оттеснил летописца. Вернусь к событиям 1938 года. В конце июля началось наступление на Эбро — последняя попытка республиканцев восстановить положение. Ночью солдаты в лодках переправились на правый берег, который был хорошо укреплен. Эбро — широкая река с быстрым течением. Наступающим удалось создать плацдарм, навести мосты, захватить городок Мора-да-Эбро, ряд деревень, создать угрозу для левого фланга фашистов. Началось долгое и кровопролитное сражение.

Я дважды был на правом берегу Эбро, видел различные бои. Фашистская авиация бомбила мосты почти непрерывно, и непрерывно понтонеры их снова наводили; у них была песенка:

Живут в пещере,
Черны, как негры,
И злы, как звери,
Понтонеры Эбро.

Они действительно жили в скалах, рассеченных бомбами. Когда я снимал мост, чтобы послать фотографию в «Известия», один понтонер сказал мне: «Только без выдержки, а то упадет бомба, и пропала твоя фотография...»

Здесь война выглядела иначе, чем у Гвадалахары или даже у Теруэля. На стороне Франко сражались одиннадцать дивизий. На трехкилометровом секторе фашисты сосредоточили сто семьдесят орудий. Долго бои шли за различные высоты Сьерра-Панолос, и я увидел, как может измениться абрис горы от длительного артиллерийского обстрела.

Я познакомился с командиром Мигелем Тагуэнья. Ему было двадцать пять лет, его называли комсомольцем. Он успел до войны кончить университет, занимался оптикой, готовил диссертацию, а вместо этого пришлось взять ружье. Он стал командиром корпуса. У него было еще по-детски припухлое лицо, но кадровые военные говорили о нем с ува-

Хуан Модесто

Прощание с интербригадовцами. Ноябрь 1938 г.





жением. Он сказал: «Дойдем до Гандесы...» И вопреки всему я начинал верить в возможность победы. На фронте было как-то спокойнее, чем в Барселоне. Я не думал о том, что делается в Европе, не думал даже о судьбе Валенсии — мои мысли были заняты высотой 544, как будто от того, в чьих руках окажется эта лысая, развороченная огнем макушка невысокой горы, зависел исход всей войны.

Армией командовал Хуан Модесто. Мы вспомнили начало войны; тогда Модесто набрал батальон имени Тельмана; я с ним познакомился в тот самый день, когда они взяли в плен первого фашиста; Модесто радовался, как ребенок: «Ты понимаешь — взяли пленного! Конечно, лучше бы двух — можно было сказать «взяты трофеи и пленные». Он и на Эбро мне сказал, что вспоминает тот далекий день как самый счастливый. Он рассказал мне свою жизнь: он андалузец, работал на лесопилке, любил футбол, политикой не интересовался. Как-то доктор дал ему крохотную газету «Голос пролетария». Модесто прочитал и задумался. Вскоре он стал коммунистом. На Эбро его палатка была набита книгами: учился военной науке. Веселый человек, он всех заражал весельем. Мне рассказывали, что в марте, когда люди пали духом, он пел песни, шутил, рассказывал андалузские анекдоты, и все невольно улыбались. Мы заговорили о перспективах. Модесто не унывал: «Посмотри, какая у нас теперь армия!» Потом он вздохнул: «Вот авиации мало... Да ты не объясняй, я все понимаю... Но очень мало...»

(Недавно я встретил Модесто в Риме после долгой разлуки. Я обрадовался, как будто ступил на землю Испании. Он все тот же и таким же голосом, как на Эбро, сказал: «Посмотри, какая теперь в Испании молодежь!..»)

Я не терял надежды, хотя понимал, что надеяться не на что. Сердце часто в размолвке с рассудком: это супружеская пара, которая не может ни мирно сосуществовать, ни развестись. Что меня приподымало? Да все то же — мелкие приметы. Не было табака, и одинокий солдат на посту сказал мне: «У меня две сигареты, отдай одну первому товарищу, которого встретишь...» В Барселоне на площади Каталунья я как-то дал двум девочкам плитку шоколада, которую привез из Франции. Девочки позвали подруг и аккуратно разломали плитку на десять крохотных кусочков. В прифронтовой каталонской деревне Пуидж Верд я зашел в крестьянский дом и сразу увидел городских детей. Старик хозяин сказал мне: «В Испании теперь мало земли. Видишь, они из Фраги. Была у них земля, и отобрали...»

Это не сентиментальные истории, а быт Испании накануне развязки.

Летом, особенно осенью я часто уезжал во Францию: разворачивались события, от которых зависела судьба Европы на долгие годы. Я предложил Савичу писать для «Известий», когда меня нет в Барселоне; он согласился, и газета обзавелась новым корреспондентом с красивым испанским именем Хосе Гарсия. Каждый раз, уезжая, я с тревогой оглядывался на испанского пограничника — стал суеверным. А вместе с тем я не только писал, но и чувствовал: есть еще надежда! Наперекор всему...

31

В четвертой части этой книги почти все главы связаны с политическими событиями, происходившими в Европе в 1934—1938 годы. Это естественно: события были значительными, и я не чувствовал себя зрителем. Я не могу оторвать свою биографию от приступов озноба, в которые эпоха бросала сотни миллионов людей. Рассказать про свою жизнь иначе — было бы неправдой.

Когда мне было двадцать лет, я думал о Кате, о картинах Мемлинга, о стихах Блока. Дни пахли туберозами, которые я покупал вместо того, чтобы пообедать. Я даже не знал, кто стоит во главе французского правительства, хотя жил в Париже, не интересовался тем, что происходило в Агадире, хотя агадирский кризис грозил мировой войной, не раздумывал над аграрной реформой Столыпина, хотя продолжал считать себя революционером.

Четверть века спустя я не только писал в газетах, я чувствовал свою зависимость от того, что в этих газетах сообщалось. Обоняние диктует памяти навязчивые детали, и многие дни того времени связаны в моих воспоминаниях не с ароматом цветов, а с запахом печатной краски.

Я говорю об этом без радости и без сожаления: жить по-другому я не мог. Двадцатилетнему юноше казалось, что он свободно выбирает такую жизнь, какая ему по душе. К концу тридцатых годов я давно распрощался со многими иллюзиями, знал, что если и дана человеку возможность выбрать дорогу, то петли этой дороги зависят не от него.

Назвался груздем — полезай в кузов. Да, конечно. Но ведь и грузди в кузове не похожи один на другой. Я писал в предшествующих главах о борьбе Испании, о малодушии Блюма или Даладье, о крестьянах Каталонии, о немецких летчиках. Теперь мне хочется рассказать немного о себе.

Я говорил, что часто ездил во Францию, где назревали большие события; газета об этом просила, да и мне самому хотелось знать — будет война или нет.

Люба сняла домик в Баньюльсе, возле испанской границы. Там я отдыхал от бомбежек; приезжали Савич, друзья из Барселоны. В Баньюльс приехала из Парижа моя давняя приятельница — розовая смешливая Дуся. Приехал Мальро — он кончал съемки фильма об испанской войне.

В Париже было тревожно, и после испанской эпопеи нелегко было мириться с малодушием, скаредностью, привязанностью к тысячам бытовых услад. Мало кто приходил на Монпарнас из моих старых друзей. Художники говорили уже не о фактуре холстов, а о судетских немцах и Чемберлене. Ирина писала редко, письма были пустыми,— впрочем, других я и не ждал. Новый посол Я. З. Суриц был человеком сердечным, но подружился я с ним по-настоящему много позднее — в послевоенные годы. Человеку, занимающему ответственный пост, трудно разговаривать: он должен уговаривать или отговаривать.

В 1938 году неожиданно для себя, после перерыва в пятнадцать лет, я начал писать стихи. Почему это приключилось? Прежде всего, от

горя и одиночества. В часы радости человек общителен, он делит свою радость, будь то с толпой на улице, будь то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого, полного счастья человек молчит, как будто боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов, у него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей — мы ведь все были участниками великого заговора молчания.

Я глубоко привязан к своей основной работе — к прозе; знаю ее радости и трудности. Это — путь в гору, с петлями, с обвалами, с одышкой, порой и с инфарктами. Это — слова, обращенные к людям, о людях; комната прозаика всегда переполнена невидимыми для посетителя героями, милыми или несносными, друзьями или недругами, прошеными и непрошеными, навязанными жизнью. Прозаик ищет для своей работы уединения, ему нужны рабочий стол, тишина, но, по правде говоря, он живет и пишет на шумном, беспокойном перекрестке.

Поэт может сочинять стихи на улице, в автобусе, на скучном заседании, но в эти минуты он одинок. Никогда не вздумалось бы никакому прозаику, даже в давние времена, когда люди обожали мифологию, беседовать с музой. А поэты, включая и тех, которым никто не говорил в школе, что муза Эрато олицетворяет лирику и сжимает в руке лиру, вдруг да вспомнят про музу. Лирика напоминает дневник, и часто люди начинают рифмовать от одиночества. Тютчев писал:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

В стихах Тютчева затаенная мысль не была ложью. Есть у поэзии великая сила: рождаясь от одиночества, она разрушает преграды, существующие между людьми. Поэт беседует с воображаемой музой, ей исповедуется, часто не думая о судьбе зазвучавших в голове строк; а его признания становятся живой водой для множества людей. Стихи Тютчева были изданы его друзьями, и Иван Аксаков потом писал: «Тютчев при этом издании был, очевидно, сам в стороне; за него распоряжались, судили и рядили другие. Мы убеждены, что он даже и не заглянул в эту книжечку». А Л. Н. Толстой до смерти бормотал тютчевские строки, которые я привел.

До чего одинок, несчастен был Лермонтов! Свои лучшие стихи Верлен написал в тюрьме. Дневник Блока потрясает тоской одиночества. Можно было бы заполнить десятки страниц таким перечнем. Я отнюдь не хочу прославлять одиночество, но скажу, как Бергамин: одиночество — это не отъединение, не программа, не опостылевшая всем «башня из слоновой кости». Какая уж тут кость — тут беда! А беды на свете много...

Я снова взялся за стихи еще по одной причине. Повесть «Что человеку надо» я написал летом 1937 года — между Брунете и Теруэлем; за роман «Падение Парижа» сел осенью 1940 года. В течение трех лет я писал статьи, очерки, короткие сообщения о военных операциях или о политических событиях. Я писал и повторял написанное в телефонную трубку или выстукивал русские слова латинским шрифтом на телеграфных бланках. Я невольно переставал думать о слове; мой язык беднел, становился стандартным, почти условным.

Хочу признаться в моей страсти. Думаю, никто меня не заподозрит в национализме; я много жил за границей, научился ценить гений других народов. Я не полиглот, но несколько языков понимаю, и вот я с ранней юности по сей день влюблен в русский язык. Мне кажется, что он как будто создан для поэзии. Каждый человек любит язык, на котором он говорит с младенчества, но я не только люблю русский язык, я перед ним преклоняюсь. Он обладает свободой, не существующей в других известных мне языках; от перестановки слов в фразе меняется смысл. Есть языки с музыкальным ударением на различных слогах, я осмелюсь сказать, что русский язык обладает лирическим ударением на том или ином слове. Свобода, отсутствие обязательного уточнения, рождающегося в западноевропейских языках от жесткости синтаксиса, отсутствие артиклей — все это предоставляет писателю безграничные возможности: перед ним не истощенные почвы былых веков, а постоянная целина.

Поэзия стала для меня трудным разреженным воздухом, очищением. Ощущая важность отдельного слова, я чувствовал и связь с прошлым, и реальность будущего, осязал детали жизни, и это помогало бороться с отчаянием.

Я сочинял стихи в машине или в поезде, в часы отдыха или на шумливом собрании, на улице, во фронтовых землянках. Записывал я их позднее; стихотворения были короткими, и я их знал на память.

Пятнадцатилетняя Анна Франк, прячась от фашистов, вела дневник и обращалась в нем к воображаемой подруге Китти (так она назвала подаренную ей тетрадку). Не знаю, кому я исповедовался; может быть, все той же музе — неприкаянной, покрытой грязью фронтовых дорог, оглохшей от бомбежек, не обнаруженной на писательских собраниях и воистину «беспачпортной».

Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге; писал, конечно, по-другому. Возле Мората-де-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв. Стихотворение «Разведка боем» я кончал словами:

А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

В отчете о попытке наступления в Каса-дель-Кампо я писал о кана-

рейке, и редакция на меня рассердилась, в общем, справедливо. В стихах я вернулся к птичке:

Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко поет...
Но не скрою — волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра,—
Сколько чувств доконала, затерла
Слов и звуков пустая игра!

Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне:

Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?

Писал я и о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать, о том, что увидел и пережил в Москве. Приведу одно стихотворение 1938 года не потому, конечно, что придаю большое значение моим стихам, а потому, что в стихах легче выразить многое, нежели в прозе:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,
Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя:

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

Может быть, это слабые стихи, не знаю; мне они до сих пор дороги как признания, и я не мог не уделить им места в книге о моей жизни. Мне кажется, что эта глава поможет читателю лучше понять автора. Французская пословица уверяет, будто дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Нет, занавеска исповедальни может быть одновременно и опущена и приподнята.

32

Известия из Парижа и Лондона волновали всех; испанские газеты уделяли полосы Чехословакии. На фронте Эбро бои затихли. Все ждали, чем кончится трагедия, которая разыгрывалась не на театре военных действий, а в закрытых для посторонних глаз министерских кабинетах.

Я приехал в Париж 23 сентября. День был душный,— казалось, разразится гроза. Я пошел в чехословацкое посольство к советнику Шафранеку, с которым иногда встречался. Он был мрачен, сказал мне: «Лично я ни на что больше не надеюсь...» Это был высокий, плотный, обычно невозмутимый человек; в тот день он не мог совладать с собой, его голос срывался, он повторял: «Сегодня очень жарко, правда?», налил воду в стакан, и руки его дрожали. Под окнами стояли толпы: приходили делегации рабочих, профессора, писатели; все возмущались намечающимся предательством, выражали сочувствие Чехословакии.

Я пропустил телефонный звонок редакции: ходил по улицам рабочих кварталов. Повсюду слышались те же слова: «Чемберлен», «капитуляция», «Даладье», «фашизм». Люди были возбуждены. Один рабочий говорил: «Сволочи, неужели они не понимают, что, если отдать немцам чехов, они через месяц пойдут на нас? Вот уж кто предатели!..»

В богатых районах я увидел картину, памятную мне по 1914 году: прислуга грузила на машины элегантные чемоданы. Здесь было тихо, только какая-то дама кричала, видимо тугому на ухо, пожилому спутнику: «Ты опять не понимаешь?.. Этот сброд из Народного фронта хочет, чтобы Париж уничтожили, как Мадрид!..»

Я пошел в редакцию газеты «Ордр» к Эмилю Бюре, тучному, умному, несколько циничному в своих отзывах. Это был блистательный журналист, представитель старой Франции; он придерживался правых убеждений, считал, что Народный фронт — опасная затея, но, будучи патриотом, обличал капитулянтов. «Вы знаете, чего они боятся? Победы. Ведь воевать против немцев придется вместе с вами. Один депутат вчера мне сказал: «Военные сошли с ума — настаивают на сопротивлении, они не понимают, что это окрылит коммунистов». Я ему ответил: «Речь идет не о составе кабинета, а о судьбе Франции». Что вы хотите — мы выродились. Нужен Клемансо, а у нас Даладье, это Тартарен, только без фантазии. Я помню, как два года назад он подымал кулак и обнимал Тореза. Вы увидите — завтра он подымет руку и обнимет Гитлера...»

Я прочитал в «Эвр» статью Жионо, он писал, что «живой трус лучше мертвого храбреца».

Мне хотелось скорее вернуться в Барселону. А выйдя из дому на следующее утро, я увидал людей, которые читали расклеенное объявление о частичной мобилизации. Даладье заявил, что Франция выполнит свои обязательства и будет защищать Чехословакию.

(Блюм, когда Франко поднял мятеж, тоже сказал, что Франция поможет Испанской республике. Талейран говорил, что никогда не нужно следовать первому чувству — оно бывает благородным и, следовательно, глупым. Я не хочу, конечно, сравнивать Талейрана, циничного и крупного политика, с людьми вроде Даладье, случайно оказавшимися у государственного руля, растерянными и недальновидными провинциалами.)

Мобилизованные шли на вокзалы; некоторые подымали кулаки, пели «Интернационал». На углах улиц прохожие останавливались, начинались споры. Один кричал: «Какое нам дело до чехов! Пускай большевики защищают Бенеша!..» Другой назвал его «фашистом». Полицейские вяло повторяли: «Расходитесь, пожалуйста, расходитесь!» У них был растерянный вид: они не знали, кого бить.

В Париже бастовали строительные рабочие. 25 сентября они прекратили забастовку, объявив, что не хотят мешать обороне Франции. Развозили песок — против зажигалок. Дороги на юг были заполнены машинами: буржуазия отбывала. Повсюду я слышал одно слово: «война»... Реквизировали автобусы. Женщины записывались на краткосрочные санитарные курсы. Некоторые магазины закрылись. Вечером Париж погрузился во тьму, и на минуту мне показалось, что я иду по улицам Барселоны.

Тридцатого сентября объявили о Мюнхенском соглашении. Зажглись фонари, и средние французы потеряли голову: им казалось, что они одержали победу. На Больших Бульварах в туманный вечер толпа ликовала; противно было смотреть. Люди поздравляли друг друга. Муниципалитет постановил назвать одну из парижских улиц «Улицей 30 сентября».

Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе «Куполь» на Монпарнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник «Лю»; он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное — горячее, страстное. Мы сидели подавленные происшедшим. За соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем, и спросил: «Мы вас, кажется, беспокоим?» Путерман ответил: «Да, сударь. Я — чехословак». Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть.

Я видел, как Даладье проехал по Елисейским полям. В его машину швыряли розы. Даладье улыбался. В парламенте социалисты, накануне осудившие Мюнхенское соглашение, проголосовали за правительство. Блюм писал: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения...» На бульваре Капюсин я увидел над кинотеатром четыре

флага, среди них немецкий со свастикой. Газеты объявили подписку на подарок «миротворцу Чемберлену». В эльзасском городе Кольмар четыре улицы были переименованы, одна получила название «Улица Адольфа Гитлера».

Я. З. Суриц сказал мне, что Даладье — тряпка, Боннэ представлял сторонников капитуляции, Мандель резко возражал, но в последнюю минуту взял назад отставку.

Я заканчивал очередную корреспонденцию словами: «На Елисейских полях капитулянты приветствовали г. Даладье. Как бы им не пришлось вскоре увидеть дивизии Гитлера, шагающие к Триумфальной арке». Редакция эту фразу выпустила; мне объяснили, что нужно повременить,— может быть, наступит похмелье; просили часто, подробно сообщать о событиях.

Одиннадцатого октября «Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом — Полем Жосленом. Псевдоним я выбрал случайно, не думая, конечно, о герое Ламартина. Эренбург продолжал посылать длинные статьи, а Поль Жослен ежедневно передавал две-три заметки.

В октябре я поехал в Эльзас. Эльзасские фашисты, ободренные Мюнхеном, начали поговаривать о присоединении к рейху. Едва я приехал в Страсбург, как за мною пришел чиновник префектуры. Префект сразу меня спросил, не собираюсь ли я защищать отделение Эльзаса от Франции, как это сделал корреспондент «Дейли экспресс». Я рассмеялся, объяснил, что позиция Советского Союза никак не похожа на позицию лорда Бивербрука. Он обрадовался и сказал мне, что один крупный полицейский поможет мне собрать информацию о деятельности «автономистов» (так называла себя прогитлеровская партия).

Полицейский оказался находкой: во-первых, он не любил немцев, во-вторых, автономисты обидели его лично — назвали в своей газете «рогоносцем». Он показал мне интересные документы, найденные при обыске, список членов тайной организации, даже нарукавные повязки,

Гитлеровцы убирают пограничный столб между Германией и Чехословакией

Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини (на первом плане). Мюнхен, 1938 г.





чтобы в час действий заговорщики могли бы узнать друг друга. Он сказал мне, что все это известно правительству, но министр Шотан решил замолчать дело, боится обидеть Гитлера. Я повидал различных политических деятелей в Страсбурге, в рабочем городе Мюлузе.

Мои статьи не прошли бесследно; их цитировали газеты, выступавшие против капитулянтов; ими заинтересовалось и правительство. Как я потом узнал, Шотан предложил выслать меня из Франции, Мандель возражал, и меня не выслали.

Я нашел среди бумаг телефонограмму иностранному отделу «Известий»: «Прошу меня вызвать по телефону 25 октября в 12 часов по московскому времени для сверки. Пришлю отдельно телеграфом короткие интервью с различными политическими деятелями Эльзаса. 25 вечером уеду в Марсель».

В Марселе состоялся съезд радикальной партии, к ней принадлежали Даладье и большинство министров. Я помнил радикальную партию в прошлом, когда она представляла мелкую буржуазию, крестьянство южных областей, свободомыслящую интеллигенцию и когда она твердила о чистоте якобинских традиций. В Марселе о якобинцах не вспоминали, зато много и с жаром говорили о «коммунистической опасности», хотя официально еще существовал Народный фронт. Ораторы во всем обвиняли рабочих, называли их «лодырями», прославляли миролюбца Даладье. Правда, были и другие радикалы — Пьер Кот, Боссутру, им не нравилась политика Даладье, но я понимал, что таких скоро исключат из партии, если они сами из нее не уйдут.

Я говорил с Эдуардом Эррио. Он был подавлен, не решался порвать с Даладье, в своей речи он сказал, что Советский Союз готов был выполнить свои обязательства, что Франция потеряла союзников, что угроза войны возросла, а мне жаловался: «Французы потеряли голову. Мы забываем, что мы — великая держава. Не знаю, чем это кончится...»

Во время съезда произошел большой пожар; загорелась и гостиница, в которой жили делегаты. Оказалось, что у пожарных мало лестниц. Эррио, вспылив, кричал: «Может быть, мне выписать пожарников из Лиона?..» Зрелище было почти нарочитым, каким-то предварительным показом надвигающейся катастрофы.

Вскоре в Нанте состоялся другой съезд — Всеобщей конфедерации труда; туда тоже поехали неразлучные друзья — Эренбург и Поль Жослен. Коммунисты призывали к борьбе; но и в Нанте нашлись сторонники капитуляции; один из них сказал: «Спасение Франции в том, чтобы перейти на положение второстепенной державы».

Все путалось. Стоял густой туман и над городами и в сознании. Газета «Эвр» уверяла, что она всегда отстаивала мир, начиная с того времени, когда печатала «Огонь» Барбюса; она и не изменила своей позиции — нужно пойти на новые уступки Гитлеру и Муссолини, чтобы избежать войны. Были и такие «левые», которые, протестуя против роспуска ПОУМ в Испании, требовали запрещения коммунистической партии во Франции. Писатель Селин предлагал объединиться с Гитлером в священной войне «против евреев и калмыков» («калмыками» он, видимо, называл русских).

Меня пригласили в Сюртэ (французская охранка). Один из крупных чиновников вежливо спросил меня, не заметил ли я, что за мною следят. Я ответил, что, кажется, шпики иногда ходят за мной, но я привык, не обращаю внимания. Чиновник сказал, что за мной следят крайне правые террористы, вытащил полсотни фотографий и попросил опознать людей, которые меня преследуют. Я улыбнулся: узнать никого не могу, а за себя не боюсь. «Напрасно. Мы знаем, что организация, которая убила братьев Россели, решила вас ликвидировать». Я поблагодарил за участие и ушел. Мне почему-то казалось, что никто в меня стрелять не собирался, а Сюртэ понадеялась, что я испугаюсь и уеду из Франции. Моя газетная работа, встречи с политическими деятелями, памфлеты, да и обильная информация, которую посылал Поль Жослен, не могли нравиться тогдашним правителям Франции. Однако недавно я нашел среди старых газетных вырезок отчет о судебном процессе, происходившем в Париже в 1947 году. Судили террористическую кучку «кагуляров», которые убили итальянских антифашистов братьев Россели. Один из подсудимых рассказал на суде, что ему поручили следить за мною. Приходится признаться, что я зря подозревал Сюртэ: хоть это бывает редко, охранники действительно пытались меня охранить.

Все шло как по расписанию. Правительство опубликовало чрезвычайные декреты, направленные против рабочих. На 30 ноября была назначена всеобщая забастовка. Правительство решило заменить забастовщиков солдатами. Водителей автобусов, которые не хотели работать, отвозили прямо в тюрьму. Забастовка провалилась. Даладье мог выпить еще за одну победу — над рабочими. Слова «Народный фронт» отовсюду исчезли.

В Германии происходили грандиозные еврейские погромы. Несчастные люди пытались перейти границу, спастись во Франции. Пограничники их ловили, некоторых по приказу Парижа выдавали немцам.

В начале декабря вернулись из Испании французы-интербригадовцы; их встречали рабочие; встреча была трогательной и бесконечно печальной: пока интербригадовцы сражались у Гвадалахары, на Хараме, фашизм с черного хода прокрался в их дом.

Гражданская война во Франции началась в 1934 году; это была скрытая война, без пушек, но с атаками и контратаками, с жертвами, со взаимной ненавистью. Мюнхен не был случайностью: буржуазия шла на любые жертвы, лишь бы справиться с рабочими. А рабочие, озлобленные изменой, угрюмо молчали.

Я хорошо запомнил осень 1938 года. Жизнь внешне казалась прежней: люди работали, пили аперитивы, играли в карты, танцевали; но за всем этим были горечь, тревога, смятение. Я не мог смотреть вчуже — знал Францию, любил ее и видел, что она идет к гибели, как лунатик, с раскрытыми невидящими глазами, с сентиментальными песенками, с хризантемами, с паштетами, со сплетнями... Статью, написанную в конце ноября, я назвал «Грусть Франции» и в ней писал: «Я говорю не о нужде, даже не о горе — о той огромной грусти, которая опустилась на эту землю,— Мюнхен надломил Францию».

А Поль Жослен аккуратно сообщал, как Жюль Ромен, позавтракав с Риббентропом, уверовал в будущее франко-немецкого союза или как владельцы военных заводов субсидируют пацифистскую пропаганду профсоюза школьных работников.

Пятого декабря я писал в Москву: «Хочу несколько освободиться от Жослена, который вытесняет Эренбурга из жизни, устал, нет свободной минуты. Надеюсь, редакция это поймет...»

Начиналась зима; улицы пахли жареными каштанами; продрогшие влюбленные крепче прижимались друг к другу.

Несколько дней спустя мне удалось выбраться в Барселону. Не успев оглянуться, я уже кричал в телефонную трубку: «Наступление противника началось на всем фронте от Тремпа до Эбро...» Здесь люди еще боролись.

33

Вскоре после приезда в Барселону,— кажется, это было под Новый год,— я пошел к поэту Антонио Мачадо — привез ему из Франции кофе, сигареты. Он жил на окраине города в маленьком холодном доме со старой матерью; я там довольно часто бывал летом. Мачадо плохо выглядел, горбился; он редко брился, и это еще больше его старило; ему было шестьдесят три года, а он с трудом ходил; только глаза были яркими, живыми. У меня сохранилась запись об этой последней встрече: «Мачадо читал отрывки из элегии Хорхе Манрике:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это море,
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек.

Потом он сказал о смерти: «Все дело в том, «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить и хорошо умереть». Он вдруг по-детски улыбнулся и добавил: «Если актер вошел в роль, то ему легко и уйти со сцены...»

Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным изо всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собою мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничной полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели; скончался он в местечке Кольюрс; оттуда видны горы Испании. Мать пережила его на два дня. Мачадо не мог больше жить.

Теперь он признан всеми как самый большой поэт Испании нашего века. Его память чествуют академики франкистской Испании; ему посвящают стихи молодые испанские поэты. Он уже вне споров, да и вне событий; а рассказываю я о нем здесь потому, что для меня его образ неотделим от тех трагических дней, когда Испания покидала Испанию.


Антонио Мачадо. Фото И. Эренбурга

Познакомился я с ним в Мадриде в апреле 1936 года. Помню, с каким восхищением слушали его стихи Рафаэль Альберти, Неруда, десяток молодых писателей. Я сказал, что он был удивительно скромным, но этого мало. Чехов застеснялся, когда Бунин назвал его поэтом, протестовал, доказывал, что он грубо пишет о грубой жизни. По-человечески Мачадо чем-то напоминал Антона Павловича; как-то он мне сказал: «Может быть, я и не поэт. Кеведо был поэтом, Ронсар, Верлен, Рубен Дарио. Я люблю поэзию, это правда...» Это не было кокетством, позой; в шестьдесят лет он конфузился, слыша восторженные признания. И добрым он был, как Чехов, снисходительным к чужим слабостям, старался оправдать желчных, обиженных судьбою критиков или злосчастных графоманов. Во всем он видел крупицу добра или красоты. Его поэзия прежде всего человечна.

Он читал мне строфы Хорхе Манрике. Трудно найти испанского поэта, который не писал бы о смерти. Летом 1938 года в Барселоне мы разговаривали о положении на фронте, о поведении Франции, и Мачадо сказал: «Неправильно за границей думают, что испанцы — фаталисты, что они встречают смерть с резиньяцией. Нет, они умеют бороться против смерти».

Я видел, как последние годы он боролся против смерти. Его не смущали ни бомбежки, ни жизнь на привалах. Он не хотел уехать из Мадрида; его вывезли в Валенсию, как картины музея Прадо. Он писал в Мадриде, в Валенсии, в Барселоне, писал изумительные сонеты и чуть ли не каждый день писал статьи для фронтовой печати.

Однако к мыслям о смерти он возвращался неустанно, в этом, как во многом другом, он оставался испанцем. Он писал сонеты, элегии, белые стихи и стихи с рифмами, любил гномическую поэзию — короткие философские четверостишия; по большей части он их не рифмовал; согласно традиции романсеро, последние слова второй и четвертой строк имеют одну и ту же ударяемую гласную; это звучит еще тоньше, неуловимей, чем наши самые далекие ассонансы.

Ты говоришь — ничего не пропадает,
Но если ты разобьешь стакан,
Никто из него не напьется,
Больше никто, никогда.

Ты говоришь, что все остается.
Может быть, ты и прав.

Но только мы все теряем,
И все теряет нас.

Все проходит, и все остается.
А наше дело идти
По дороге шаг за шагом,
Дойти до моря, пройти.

Я часто вспоминаю и другие его четверостишия.

Разглядывая мой череп,
Новый Гамлет скажет:
«Красивая окаменелость
Маски карнавала».

Человеку в море
Четыре вещи совсем не нужны —
Весла, руль, якорь
И страх по морю плыть.

Два боя ведет человек,
И каждый непокорен —
С богом воюет во сне,
Проснувшись, воюет с морем.

Наши часы — минуты,
Когда мы жаждем узнать,
И столетья, когда мы узнали
То, что можно узнать.

Хорошо, что мы знаем,—
Стакан для того, чтобы пить из стакана,
Плохо, что мы не знаем,
Для чего существует жажда.

Рубен Дарио писал о Мачадо: «Он пасет тысячу львов и тысячу козлят». В поэзии Мачадо необычное сочетание степной полыни и сладости лета, мудрости и простоты. Это — видения нищих сел возле Сории, камней Кастилии, человеческой беды, мужества, надежды, и всегда у него дорога «шаг за шагом», дорога в гору или под гору, трудная дорога Испании, человека.

Жизнь он прошел «шаг за шагом» с людьми и в одиночестве; никогда не был на сцене (хотя и написал со своим братом несколько пьес) — прожил на галерке жизни. Он был преподавателем сначала французского языка, потом испанской литературы. Жил в провинциальных городах в Сории, в Баэсе, в Сеговии, в различных испанских Царевококшайсках. Весной 1937 года, когда я вернулся из поездки на Южный фронт, я решил проведать Мачадо — он жил тогда неподалеку от Валенсии. Он расспрашивал меня о фашистах, которые сидели в Вирхен-де-ля-Кабеса, потом спросил, как мне понравилась Ламанча. Я записал некоторые его фразы: «Французский пейзаж легок, Господь Бог писал его в годы зрелости, может быть даже в старости, все обдумано, во всем чувство меры; немножко больше, немножко меньше — и все разлетится. А Испанию Бог писал молодым, не обдумывал мазков, не

знал даже, сколько камней нагромоздит один на другой. Я люблю «Степь» Чехова. Мне почему-то кажется, что русские могут понять испанский пейзаж... Ламанча — все знают это слово — «Дон Кихот». Но почему многие не понимают, что Альдонса — это Дульцинея? Каждый испанец видит в здоровой, крепкой домовитой девке мечту, и каждый испанец твердо знает, что Дульцинея умеет вести хозяйство, сплетничать и ставить метки на рубашках. Тургенев, когда он писал о Гамлете и Дон Кихоте, не понял, что Альдонса и Дульцинея слиты. Может быть, потому, что все его героини или чистые, небесные создания, или хищницы? Дон Кихот и Санчо Панса не противопоставление, а два выражения одного лица. Разрыва у нас нет, но единство дается труднее любого противопоставления. Это и есть Ламанча, да и вся Испания...»

Я привел в дословном переводе поэтические сентенции Дон Кихота — Санчо Пансы. Я не решаюсь перевести те сладкие и насмешливые строки, которые слагал Антонио Мачадо для Альдонсы — Дульцинеи: они настолько связаны с музыкой, что одно иначе звучащее слово — и пропадет очарование. Это роднит Мачадо с Блоком «Ночных часов». Да и был он для Испании тем, чем Блок для России.

«Шаг за шагом»... Его поведение в годы войны было предопределено всей его жизнью, здесь не было ни чуда, ни внезапного прозрения, ни перелома, только верность себе, Испании, веку. Многие люди, даже изучавшие иностранные языки, не понимают языка искусства. В Литературной энциклопедии один критик писал: «Мачадо — типичный представитель той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая перед лицом наступающего капитализма стремится уйти в мир самоанализа и в мелкобуржуазном гуманизме пытается найти разрешение противоречий современности». Это было написано в 1934 году. А в 1954 году другой критик писал в Большой советской энциклопедии: «Сборник стихов «Поля Кастилии» (1912) проникнут любовью к родной земле и горестным раздумьем о судьбах испанского народа... В сборнике «Новые песни» (1924) поэт выступает против реакционного буржуазного искусства». Может быть, изменился Мачадо? Нет, оба критика пишут о его книгах, вышедших в 1912 и 1924 годах. Может быть, изменились критические навыки? Ничуть. Просто годы войны помогли людям, понимающим газетные сообщения и не понимающим поэзии, установить, какой ярлычок подходит для Мачадо.

Печально, что нужны обязательно бомбежки или концлагеря, чтобы поэты получали право на жительство...

Я многое в жизни растерял, а книги Мачадо с его надписями сберег, вывез их из Испании, потом из оккупированного немцами Парижа. Я иногда смотрю на почерк, на фотографию (я его снял в Барселоне), и человек сливается со строками стихов:

Ты на моем пути — вода иль жажда?
Скажи мне, нелюдимая подруга...

Он воевал вместе с народом. Помню, как на Эбро командир дивизии Тагуэнья читал бойцам приветствие Мачадо, и голос его дрожал от

волнения: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей...» Когда мы расставались, Мачадо сказал: «Может быть, мы так и не научились воевать. Да и техники у нас мало... Но не нужно судить слишком строго испанцев. Вот и конец — не сегодня завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно: войну мы проиграли. А по-человечески, не знаю... Может быть, выиграли...»

Он проводил меня до калитки; я оглянулся и увидел его, печального, сутулого, старого, как Испания, мудрого человека, нежного поэта, и глаза его увидел — очень глубокие, не отвечающие, но спрашивающие, бог весть кого,— увидел в последний раз... Завыла сирена. Началась очередная бомбежка.

34

Двадцать восьмого января — 5 февраля 1939 года, последняя неделя в Каталонии, развязка... Как об этом рассказать? Мы ведь столько перевидали с тех пор, столько пережили... Но в моей памяти живы те дни — рана не закрылась.

Двадцать восьмого января я приехал в Херону. Это был прежде небольшой старинный городок с живописными уличками, с аркадами, садами, древними камнями крепостных стен; и город кричал — не один человек, не сотня — весь город. В Хероне было прежде тридцать тысяч жителей. Теперь в ней находилось четыреста тысяч. Люди сидели, лежали, спали на площадях, на улицах, с мешками, корзинами, и почти непрерывно фашистские самолеты бомбили, расстреливали людей. Не было больше ни республиканских истребителей, ни зенитной артилле-

Возвращение интербригадовцев в Париж. Декабрь 1938 г.

Замок в Фигерасе, где 1 февраля 1939 г. состоялось заседание кортесов

Прощание с детьми

Последняя неделя в Каталонии. 8 января — 5 февраля 1939 г.





рии. В тот день мне казалось, что ничего больше нет, кроме крика, крови и лопат на кладбище,— рыли братские могилы.

Тридцатого января командир дивизии, рослый костлявый испанец, говорил: «У нас нет лопат. Мы должны окопаться, но у нас нет лопат...» Дороги были забиты лавиной беженцев; шли городские жители; кто-то тащил кресло; бородатый почтенный человек, похожий на профессора, волочил перевязанные толстой веревкой огромные фолианты; крестьяне гнали овец, коз; девочки шли с куклами. Уходил народ. Теперь уж никто не писал на стенах о том, что люди не хотят жить с фашистами,— не до слов было, да и не знаю, думали ли уходившие о жизни, они шли вперед без лозунгов, без надежды, может быть, без мыслей.

Некоторые части продолжали сражаться, задерживая противника. Маленький городок Фигерас, расположенный в двадцати километрах от французской границы, на короткий срок стал столицей Испанской республики. В старой кузнице я увидел знакомого журналиста: там помещались редакция и типография барселонской газеты. Готовили номер. Человек с забинтованной головой в полутьме диктовал: «...успешно отражают атаки численно превосходящего противника...»

Я искал Савича и не мог его найти. Когда я был на главной площади, заваленной людьми, началась очередная бомбежка. Потом итальянские самолеты с бреющего полета расстреливали беженцев. Начальник штаба сказал мне: «Я должен дать сводку, а нет даже пишущей машинки». Ходили зловещие слухи: в пограничном Порт-Бу высадились итальянцы и отрезали Фигерас от Франции, французы не пропускают через границу даже женщин. В кафе перевязывали раненых.

«Кажется, вот где русские»,— сказал мне один командир, показав на здание школы. Но я увидел Негрина, Альвареса дель Вайо, других министров. Они сидели вокруг длинного стола на табуретках; лежали карты, папки с бумагами. Негрин сказал мне: «Мы должны выиграть время, чтобы обеспечить эвакуацию во Францию населения. Потом мы сможем перелететь в Мадрид...» Один из министров доказывал, что самое главное — вывести армию и технику: через Марсель можно будет переправить людей и вооружение в Валенсию, а там вместе с частями Центрального фронта перейти в наступление. Не все иллюзии были еще потеряны...





Мне сказали, что советские товарищи остановились в деревушке в восьми километрах от города. Пришлось потратить три часа, чтобы добраться до этой деревни. Ночи были холодными, и, чтобы согреться, беженцы разводили костры — жгли барахло, которое зачем-то волочили по дорогам. А бомбежки не стихали.

Я вошел в крестьянский дом и обомлел от счастья — пылал огромный камин; перед ним сидели Савич и Котов. Савич объяснил, что на грузовике зачем-то вывезли посольскую библиотеку, приходится жечь — не оставлять же фашистам русские книги. Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался — он не был ни дипломатом, ни военным. Он бросал книги в огонь с явным удовольствием, приговаривал: «Кто тут? Каверин? Пожалуйста! Ольга Форш? Не знаю. А впрочем, там теплее...» Поразил меня Савич. Он настоящий книгопоклонник. Когда он приходит в гости, то вдруг, забывая всю свою учтивость, начинает листать книги на столе, не слушает даже разговора. А тут заразился и с азартом швырял в камин томики. Котов сказал: «Гмм... «День второй»... Придется уступить автору право на кремацию». Я кинул книжку в камин.

Пришли сотрудники посольства, рассказали мне, что при эвакуации Барселоны забыли снять со здания герб и флаг; спохватились, кто-то сказал Савичу: «Может быть, вы снимете?..» Савич вернулся в Барселону, где шла стрельба на улицах, вместе со своим шофером, бравым Пепе, влез на крышу, снял герб и флаг. (Все-таки Савич странный человек: преспокойно вернулся в Барселону, когда в город входили фашисты, писал отчеты для ТАССа под бомбежками, сидел с Котовым, жег книги, шутил, а неделю спустя в Париже умирал от страха: у него не было разрешения полиции, ночью он прятался у Дуси, и даже веселенькая Дуся не смогла заставить его улыбнуться. Он показал мне телеграмму из пограничного французского городка: «Машина и я в вашем распоряжении Пепе» — и горько усмехнулся. Впрочем, может быть, ничего тут нет удивительного — все люди таковы.)

Нам сказали, что 1 февраля в Фигерасе состоится заседание кортесов. Мы с Савичем в темноте долго разыскивали, где вход в подвалы старинного замка. Итальянцы без устали бомбили город. У входа стоял часовой в белых перчатках. Старичок неизвестно где достал потертый половик, постлал им лестницу, которая вела в подвал: «Неудобно, все-таки это кортесы...» Отвели скамьи для дипкорпуса, для журналистов. По просьбе распорядителя я сел на дипломатическую скамью, чтобы она не пустовала; потом подошел кто-то из нашего посольства. Негрин был небритый, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. Он говорил, что Англия и Франция предали республику, подвергли Каталонию блокаде. Французы не хотели принять тяжелораненых. Была в его речи такая фраза: «Франция пожалеет о том, что сделала...» Приняли обращение к народу: борьба продолжается; голосовали поименно, депутаты подымались один за другим и торжественно отвечали «да». У одного из них была наспех перевязана рука, кровь проступала сквозь марлю.

Я поехал ночью во французский город Перпиньян, чтобы передать о заседании кортесов в «Известия», и наутро вернулся.

Беженцы не могли идти по дорогам, они разлились, как река весной, заполнили скалистые уступы. Возле Пуигсерды лежал глубокий снег, дети в нем тонули. Близ перевала Арес я видел старух, которые ползли по обледеневшим скалам. Крестьяне резали овец, здесь же жарили, кормили солдат. Одна женщина родила в поле; мы кричали — звали врача. Пришел старик, специалист по болезням горла и носа, принял младенца и потом, отогреваясь у костра, вдруг сказал: «Мальчику повезло — он успел родиться на испанской земле...» Этот врач никак не походил на героя, роняющего исторические фразы, он был в зеленой женской кофте и протягивал к огню распухшие пальцы ревматика.

В пастушеском шалаше я увидел Альвареса дель Вайо; кто-то принес ему в миске теплый рыжеватый кофе. Глаза у него были такие печальные, что я отвернулся, а он, не теряя присутствия духа, говорил о грузовике с хлебом для солдат, о заградительном огне, об эвакуации раненых. (Это человек большой веры; раз в два-три года я его встречаю то в Париже, то в Москве, то в Женеве и всякий раз вспоминаю февральский день, министра иностранных дел в шалаше, с трагическими глазами и спокойным, ровным голосом.)

Где-то возле границы три дня спустя я стоял с Савичем на камне. Проходили нескончаемые толпы беженцев. Кричали ослики. Плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсть земли и завязал ее в большой красный платок.

Потом я написал стихи; в них были различные детали, о которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план, то волнение, что можно выразить только в стихах:

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни,
И шли деревни, будто корабли.

На пограничных пунктах французы выставили не только жандармов, но и воинские части — сначала сенегальцев, потом французские батальоны. Испанские солдаты складывали оружие, их обыскивали; обыскивали и многих беженцев. В Пертюсе я видел, как по ошибке женщин отделили от их детей, они кричали, не хотели идти, а их гнали.

У меня была «куп филь» — карточка журналиста, выданная парижской префектурой. В Париже она не производила особого впечатления, но здесь оказалась чудотворной: меня свободно пропускали в Испанию и назад. Нужно было спасти от интернирования в лагерях многих товарищей — журналиста, уборщиц посольства, шофера, начинающего поэта, интербригадовцев. В течение нескольких дней я занимался только этим, даже не всегда успевал написать телеграмму в газету; предпочитал позвонить в Париж, где якобы находился Поль Жослен.

Я нашел чудесных людей. Учитель из пограничного городка Пратс-дель-Молло почти круглые сутки дежурил на горном перевале: кормил беженцев горячим супом, давал хлеб. Сотни людей приносили ему продукты. Механик из Арль-сюр-Теш, владелец маленького гаража, на старой, разбитой машине все время ездил к перевалу Арес, подбирал измученных замерзших беженцев, отвозил их в городок. На этом перевале жандармы были сговорчивыми, и механик помог мне переправить через границу многих товарищей; обидно, что я не запомнил его имени.

Шестого февраля я в последний раз шел по испанской земле. Это было у горной деревни Компродон. Вокруг еще шли бои.

Французское правительство отдавало бесчеловечные приказы. А на местах люди действовали по-разному. Каждый день я видел и солидарность, доброту, участие, и откровенную низость. В городке Булю я разыскивал крестьянку с детьми — у меня были для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный, с тупым, равнодушным лицом, ответил мне: «Их здесь чересчур много...» А полицейский кричал: «Это не ваше дело! Уезжайте поскорее!..» Я ему напомнил о человеческих чувствах, он ответил, что чувства его не касаются. В городках Сен-Лоранде-Сердан, Пратс-дель-Молло, Арль-сюр-Теш жители кормили беженцев, прятали их от полиции. Некоторые эшелоны направили в Лион, и мэр этого города Эдуар Эррио дежурил на вокзале, помогал накормить испанцев, разместить их в казармах, в школах. А во многих французских газетах каждый день писали, что надо оградить Францию от испанских «анархистов, коммунистов, убийц и насильников».

В Перпиньяне я еще летом подружился с хозяином старой, невзрачной гостиницы; там я останавливался, туда теперь привозил товарищей; все комнаты были заняты, приходилось спать в столовой, в конторе, где придется, но хозяин не объявлял полиции о приезжих, и никого там не забирали. А в городе шла охота. Испанки, никогда в жизни не носившие шляп, покупали маленькие модные шляпки, пудрились, румянились, чтобы не видно было горя и чтобы их приняли за француженок. В Баньюльсе рыбаки избили репортера правой газеты, который издевался над побежденными. Да, разными были французы, я не хочу их скопом обвинять или оправдывать.

Испанцев французские власти разместили в концлагерях Аржелес и Сен-Сиприен. Давали одну буханку хлеба на шесть человек, протухшую воду, издевались. А Риббентропа в Париже чествовали... Впрочем, говоря о тех временах, лучше не вспоминать ни о справедливости, ни о Риббентропе — кто только его ни обнимал!..

Мне передали записочку от поэта Эррере Петере, которого посадили

в лагерь. Он писал, что за проволокой сидят многие из моих друзей. Я поехал в Париж. Арагон, Жан Ришар Блок, Кассу, другие участники нашей Ассоциации вступились за интернированных писателей; через две-три недели удалось их освободить.

Негрин и другие министры улетели в Мадрид. Территория, еще занятая республиканскими войсками, теперь была в кольце. Англия и Франция признали генерала Франко законным правителем Испании. Республику блокировали — в Марселе задерживали суда, которые должны были доставить в Валенсию хлеб или картошку. Шестого марта в Мадриде командующий армией Центрального фронта полковник Касадо, с благословения свадебного генерала Миаха, произвел переворот, поставил на место Негрина кучку людей, решивших капитулировать. Однако развязкой испанской трагедии были не судороги обреченного Мадрида, а те зимние дни, когда армия Эбро в полном порядке, с оружием перешла французскую границу, надеясь, что ее перебросят в Валенсию. (Спасенное бойцами оружие французы передали генералу Франко.)

Гитлер, приободренный успехами, занял Прагу. Марина Цветаева в последний раз встретилась со своим другом — рабочим столом, писала:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Мне трудно расстаться в этой книге с Испанией. Помню, как на перевале Арес испанский боец-автоматчик прощался с женой и двухлетним сыном, он попросил меня отвести их в надежное место, сказал: «Я не уйду — не верю, что французы нас отправят в Валенсию, они уже снюхались с Франко. А здесь можно уложить десяток-другой фашистов...» Я оглянулся; он лежал с автоматом, глядел не на нас — на юг, откуда могли показаться фашисты.

Возле дороги из Порт-Бу в Сербер лежала груда винтовок, ручных пулеметов, шлемов, револьверов, даже ножей. Я увидел вдруг копье и старинный шлем: видимо, вывозили экспонаты из небольшого каталонского музея, и сенегалец решил, что это оружие. Да, копье и шлем Дон Кихота были оружием, с ними Испания тысячу дней, тысячу ночей защищалась от двух фашистских держав — Италии и Германии.

Семь месяцев спустя началась вторая мировая война, было много героизма, и в итоге фашизм разбили; но в новой эпохе уже не было места для копья и старомодного шлема, с которыми Рыцарь Печального Образа пытался отстоять человеческое достоинство.

35

Весной 1939 года Савич уехал в Москву. Мы поехали в Гавр, чтобы его проводить. На том же теплоходе уезжали в Советский Союз многие испанцы. Мы стояли на набережной; дул сильный ветер; снова перед глазами встала потерянная Испания. Я попросил Савича написать мне из Москвы; но долго не знал, что с ним,— люди тогда не любили писать за границу.

Каждый день я передавал в газету информацию за подписью Поля Жослена — пеструю и в то же время монотонную хронику событий: фашистский террор в Испании, агония Чехословакии, захват итальянцами Албании, лисьи ходы Боннэ или Лаваля, трусливое блеяние Блюма, бездарная провинциальная политика Даладье.

В середине апреля мои корреспонденции перестали печатать. Я вначале подумал, что, может быть, стал плохо писать, пытался объясниться с редакцией. Наконец мне сообщили через посольство, что до поры до времени «Известия» не смогут печатать ни Эренбурга, ни Поля Жослена; я остаюсь, однако, постоянным корреспондентом и буду получать, как прежде, зарплату.

Я ничего не понял, пошел к Сурицу. Яков Захарович на меня накричал: «От вас ничего не требуют, а вы волнуетесь!..» Он задумался. «Сегодня передали, что Максима Максимовича сняли. Назначен Молотов... Но это — между прочим, к вам это не имеет никакого отношения... Что вы огорчаетесь? Отдыхайте. Пишите роман. Теперь много интересных выставок...» (Суриц обожал живопись.)

Все же мое вынужденное безделье объяснялось событиями. Много позднее я узнал, что Поль Жослен рассердил Сталина: я по-прежнему страстно обличал фашистов, а приближалась пора сложных дипломатических переговоров. Писателю трудно работать в газете: он думает, что он — игрок, а он только карта. «Вы еще понадобитесь»,— говорил мне Суриц. К сожалению, он оказался прав: 23 июня 1941 года мне позвонили из редакции: «Напишите и для нас, вы ведь старый «известинец»...»

Англия и Франция заявляли, что хотят остановить агрессоров, договориться с Советским Союзом, но после Мюнхена трудно было поверить в добрые намерения Даладье и Чемберлена. С омерзением я вспоминаю то время. Люди сидели у приемников и даже те, что не знали немецкого языка, слушали выступления Гитлера — старались догадаться по интонациям, что им сулит завтрашний день. Франция напоминала гладкого, упитанного кролика, завороженного взглядом удава.

В мае в Париже была Международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых — Ланжевена, Кашена, Жана Ришара Блока, Мальро, Арагона, Сесара Фалькона; познакомился с Фирлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного — веры больше не было.

Однажды Фернандо Херасси привел ко мне молодого застенчивого писателя, с которым дружил. Звали его Жаном Полем Сартром. Он

косил, и поэтому казалось, что он хитрит, но говорил он о своем отчаянии простодушно. Он подарил мне книгу «Стена»; рассказы были тоже об отчаянии. Много лет спустя я снова встретился с Сартром, узнал его и понял, что мои первые впечатления были верными: в нем редкое сочетание рассудочности, острого, даже едкого ума с детской наивностью, доверчивостью и чувствительностью.

Мне трудно связно говорить о том годе: воспоминания, как облака в горах, опускаются, давят, душат. В мае умер Йозеф Рот. Повесился Толлер. Приехал из Праги Роман Якобсон, рассказывал, что Незвал, когда они расставались, плакал, как ребенок. Многие немецкие писатели уехали в Америку. У Пабло Пикассо сидели ободранные, бездомные испанцы; Пабло впервые сказал мне: «Малыш, мне трудно работать — мы тонем в дерьме...» Внешне как будто ничего не изменилось. Начались летние каникулы; газеты сообщали, что в Довилле — «весь Париж», описывали приемы, купальные костюмы. Но все это казалось подделкой под прежнее.

Пока я был в Испании, меня увлекала, да и отвлекала от многих мыслей борьба. Теперь я остался один на один со своими раздумьями. Я часто думал, что в Москве легче: там все тебя понимают. В Париже меня угнетало одиночество.

О судьбе Кольцова я узнал еще в Барселоне — накануне развязки. В Париже ко мне приходила сначала Лиза, потом Мария Остен (Гросхенер). Обе ехали в Москву. Лиза плакала, говорила, что Михаил Ефимович, еще будучи в Испании, хворал: «Может быть, мне удастся передать ему лекарство...»

Дошли известия о судьбе Мейерхольда, Бабеля. Я терял самых близких друзей.

Приходя в посольство, я видел новые лица. Все те, кого я прежде знал — советник Гиршфельд, военный атташе Венцов, военно-воздушный атташе Васильченко, Семенов, да и многие другие,— исчезли. Никто не осмеливался даже вспоминать эти фамилии.

Как-то Суриц сказал мне: «Приходил Раскольников. Его вызвали в Москву, а он испугался, потерял голову. Спрашивал, что делать. Я сказал, что он должен сейчас же вернуться домой. Он произвел на меня тяжелое впечатление...» Два дня спустя Ф. Ф. Раскольников (он был тогда полпредом в Болгарии) пришел ко мне и тоже спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в двадцатые годы, когда он редактировал «Красную новь», он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни Октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка; рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой и грудным ребенком; в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не в Москву, а в Париж. Он повторял: «Я не за себя боюсь — за жену. А она говорит: «Без тебя не останусь...» Я знавал некоторых невозвращенцев: Беседовского, Дмитриевского, это были перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил; чувствовалось смятение, подлинное страдание. Он не послу-

шался советов Сурица, остался во Франции, опубликовал открытое письмо Сталину, а полгода спустя умер.

Шли переговоры о военном соглашении между Советским Союзом, Англией и Францией. Западные державы тянули дело. Лейбористы в парламенте обличали Чемберлена. В наших газетах о переговорах почти не писали. Повсюду продолжались приготовления к войне.

Я не сел за роман, как мне советовал Яков Захарович: для того чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем. Цель мне была ясна давно; но дороги стали такими запутанными, что порой трудно было понять, куда какая ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи. В 1940 году в Москве вышла маленькая книжица «Верность», в нее вошло много стихотворений, написанных мною летом 1939 года, среди них и то, по которому названа книга:

Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам.
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

У меня больше не было той «видимости точной и срочной работы», которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой:

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.

«...здесь можно уложить десяток-другой фашистов...»

Подписание соглашения между Советским Союзом и Германией: Молотов, Риббентроп, Сталин. Москва, 1939 г.





Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.

Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному, и, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний:

Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

Сказывалась усталость: Москва, Испания — словом, все, о чем я писал. В августе я уехал на две недели в Жюльена́, это деревня виноделов в округе Божоле. С утра я уходил, шагал по длинным дорогам, взбирался на холмы. Вокруг были виноградники и то здесь, то там одинокое старое дерево — вяз, клен или ясень. У деревьев я искал ответа на тысячи вопросов, которые меня преследовали. Критики порой называют такое поведение «бегством от жизни». Но ведь и Грамши в тюрьме жадно следил за бледными всходами фасоли; ведь и Залку незадолго до смерти утешало и терзало пение полевой птицы. Право же, человек не машина, и жизнь проходит не по железнодорожному расписанию.

В Жюльена я жил в маленькой гостинице. Хозяин был анархистом, образцово готовил петуха в вине, жарил бифштексы на сухой лозе, с утра напивался, бросал куски мяса моему псу Бузу, говорил: «Все так печально, что даже смешно...» Он рассказал обо мне своим клиентам, крестьянам-виноделам. Ко мне пришли двое — пожилой и молодой. Оказалось, что в Жюльена шесть виноделов-коммунистов. Меня водили по подвалам, угощали вином и, конечно, расспрашивали о Советском Союзе. Пожилой спросил: «Скажи, а ведь под Москвой вино лучше нашего?..» (Жюльена славилась винами.) Я нерешительно стал объяснять, что под Москвой нет виноградников, а вино у нас делают в Крыму, на Кавказе. Это его потрясло: он верил в Москву и любил свое дело. Подумав, он сказал: «Ну ничего, еще одна-две пятилетки — и под Москвой будут делать вино получше, чем наше...» Он послал ящик вина Сталину. (В 1946 году я заехал в Жюльена. Молодой винодел меня узнал. Он был теперь мэром. «А старик жив?» — спросил я. Он повел меня к пепелищу: «Старик всем говорил: «Ничего, через год-два сюда придет Красная Армия». Немцы его расстреляли, а дом сожгли... А я был в маки́ и, видишь,— выжил...»)

Меня приободряли не только деревья, но и люди — вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма:

...Я знаю все — годов проломы, бреши,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И все же я скажу про дождь, про ветви.

Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Все это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска...

В поезде я прочитал в «Пари суар», что какой-то француз сорока двух лет открыл на кухне газовый кран и оставил записку: «Газеты будут выходить, а люди жить теперь не могут».

Вскоре после того, как я вернулся в Париж, я услышал по радио, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и Германией. Конечно, я не знал подробностей переговоров между представителями западных держав и Молотовым, но я понимал, что англичане и французы играли в покер, вели притом нечестную игру. Умом я понимал, что случилось неизбежное. А сердцем не мог принять... Суриц показал мне последний номер «Правды». Я увидел фотографию: Сталин, Молотов, фон Риббентроп и какой-то Гаус; все удовлетворенно улыбались. (Риббентропа я увидел шесть лет спустя в Нюрнберге; но там он не улыбался, предвидел, что его повесят.)

Да, я все понимал, но от этого не было легче. Когда-то старый бородатый Шарль Раппопорт, хорошо знавший Ленина, Плеханова, Жореса, Геда, Либкнехта, говорил: «Капитализм это заслужил, но мы этого не заслужили...»

Шок был настолько сильным, что я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало. Женщина-врач, работавшая в посольстве, сердилась: «Вы не вправе распоряжаться собой»,— хотела, чтобы я пошел на рентген. Я не шел, знал, что со мною это произошло внезапно: прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба. (Болезнь прошла так же внезапно, как началась,— от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть. Врач глубокомысленно сказал: «Спазматические явления...»)

А события разворачивались быстро. Советско-германский договор был опубликован 24 августа. 1 сентября Молотов заявил, что этот договор служит интересам всеобщего мира. Два дня спустя началась вторая мировая война.

36

Мы видели не раз, как кровопролитные бои начинались без каких-либо деклараций. В 1939 году объявление Францией войны не сопровождалось военными действиями. Все ждали бомбежек, наступления или отступления, но на фронте ничего не происходило. Французы удивлялись: «дроль де герр» — «странная война».

Я хорошо помню первые недели этой «странной войны» — я тогда еще мог ходить по улицам. Проститутки поджидали клиентов, вооруженные противогазами. Оконные стекла оклеивали тонкими полосками бумаги, и некоторые домохозяйки щеголяли затейливыми узорами.

Мне пришлось пойти в участок на регистрацию иностранцев. Владелец винного погреба бушевал: «Никогда я не отдам моего склада! Люди могут укрываться в метро, там хватит места для всех. А у меня запасы старого бургундского, это вам не дурацкая политика, это капитал!» Одна дама требовала, чтобы арестовали ее соседа: «Все знают, что он был в Испании, он воевал против генерала Франко. Я вам говорю, что это не француз, а настоящий предатель, коммунист, шпион!..» Чуть ли не каждую ночь устраивали пробные тревоги. Женщины показывались в элегантных капотах, нарумяненные, напудренные, а бедная консьержка поливала пол убежища водой: так почему-то приказал районный инструктор.

Комедия вскоре всем надоела, и жизнь вошла в колею. Люди хорошо зарабатывали и охотно тратили деньги: мысль, что война может перестать быть «странной», делала расточительными даже заведомых скупердяев. Газеты писали, что солдаты на фронте умирают от скуки. Им посылали различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шелковые платочки с надписями «Где-то во Франции». «Странная война» играла в военную тайну: «Где ваш друг?» — «Не знаю. Я так боюсь за него! Он где-то во Франции...»

Морис Шевалье пел песенку «Париж остается Парижем», и это стало присказкой, программой, заклинанием. Газетные комментаторы писали о военных перспективах, как о предстоящих дивидендах огромного треста; подсчитывали резервы нефти, железа, алюминия; старались доказать, что союзники богаче, солиднее Германии и Италии. «Мы победим, потому что мы сильнее» — это можно было увидеть на любой стене рядом с рекламами электроприборов и аперитивов. Радио каждый день сообщало, сколько тонн вражеских товаров потоплено союзниками. О гибели Польши никто не вспоминал, хотя война была объявлена из-за угроз Гитлера полякам.

Немецкий летчик упал на французскую территорию. Его похоронили с воинскими почестями. Газеты в умилении описывали церемонию. Многие слушали радиопередачи из Штутгарта на французском языке. Штутгартский диктор уверял, что победит Германия, потому что она сильнее. «Странная война»,— улыбаясь, повторяли французы. Они не думали ни о потопленных судах, ни о резервах меди, ни о победе: жили, как жилось.

Все же шла война, и, следовательно, требовался противник. Его нашли в лице французских коммунистов. Закрыли «Юманите» и «Се суар». Запретили не только коммунистическую партию, но и сотни обществ, союзов, лиг, подозреваемых в сочувствии коммунизму. Шли массовые аресты. Парламент разрешил прокуратуре предать суду депутатов-коммунистов; их обвиняли в том, что они не желают предать анафеме Советский Союз. Это было предлогом; в действительности буржуазия мстила рабочим за страх, пережитый в 1936 году.

Еще недавно слово «фашизм» повторяли повсюду. Как по мановению жезла, оно исчезло из всех речей, из всех газет. Можно было подумать, что исчез и фашизм. Однако все понимали, что фашисты готовятся к решительному наступлению.

Утром к нам приходила на два часа Клеманс — убирала квартиру. Ее брат был коммунистом; он ей сказал: «Я не знаю, что думают русские. «Юманите» закрыли. Ответственные товарищи арестованы. Но я вижу, что Лаваль, Фланден и вся фашистская сволочь по-прежнему нападают на коммунистов. Значит, коммунисты правы...» Клеманс добавляла: «Мой брат говорит, что, если бы он раздобыл «Юма», он все понял бы...»

Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал. Я помнил, как Боннэ и Чемберлен мечтали, что Гитлер пойдет на Украину; германо-советский пакт был, видимо, продиктован необходимостью. «Странная война» и преследования коммунистов показывали, что Даладье не собирается воевать против Гитлера. Слова Молотова о «близоруких антифашистах» меня, однако, резанули. В ту зиму мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя «близоруким» я не мог: свежи были картины испанской войны; фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу, где говорилось о дружбе, скрепленной пролитой кровью. Раз десять я перечитал эту телеграмму, и, хотя верил в государственный гений Сталина, все во мне кипело. Это ли не кощунство! Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев? Да и как забыть о реках крови, пролитых фашистами в Испании, в Чехословакии, в Польше, в самой Германии?

Я не выдержал и, когда Я. З. Суриц пришел меня проведать, заговорил о злополучной телеграмме. Он вначале отвечал формально, это — дипломатия, не нужно придавать значение поздравительным телеграммам. Но вдруг его прорвало, он вскочил: «Вся беда в том, что мы с вами люди старого поколения. Нас иначе воспитывали... Вот вы взволновались из-за телеграммы. Есть вещи похуже. Когда-нибудь мы сможем обо всем поговорить. А сейчас вам нужно подумать о себе, теперь не время болеть...»

В марте 1940 года Суриц внезапно уехал. Перед этим он лежал больной: у него было воспаление легких. На очередном собрании сотрудников посольства приняли приветственную телеграмму Сталину, в которой, как тогда было принято, осуждали франко-английских империалистов, развязавших войну против Германии. Сурицу принесли текст на подпись. Молодой неопытный сотрудник отнес телеграмму не шифровальщику посольства, а в почтовое отделение. На следующий день телеграмма была напечатана в парижских газетах. Для политиков, считавших, что нужно воевать не с фашистской Германией, а с Советским Союзом, это было нечаянной находкой. Французское правительство объявило Сурица «персона нон грата». Когда я пришел в посольство, мне сказали, что Яков Захарович уже уехал,— «вышла, так сказать, промашка...».

Я ослаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе: Андре Мальро, Жан Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гильсумы,

Вожель, Рафаэль Альберти, Херасси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме.

С Путерманом тогда трудно было разговаривать; все его выводило из себя — Даладье, германо-советский пакт, англичане, Финляндия, у него обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина:

Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленье...

Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он лежал мертвый. Вытряхивали томики Пушкина... На похороны пришел Вожель. Я помнил его оживленным, снобом, представителем «всего Парижа». А он стоял на кладбище постаревший, печальный.

Зима была на редкость холодная: газеты сообщали, что снег выпал даже в Севилье. Шла советско-финская война, и газеты забыли, что есть на свете Германия. Многие политики требовали отправки экспедиционного корпуса в Финляндию. Марсель Деа, который еще недавно защищал Гитлера и пустил в ход хлесткую фразу о том, что не стоит «умирать за Данциг», теперь доказывал, что необходимо умереть за Хельсинки. В церкви Мадлен отслужили молебен за победу Маннергейма. Дамы вязали фуфайки для финских солдат. Даладье хотел показать, что он может воевать если не на Рейне, то у Выборга. Стояла предвоенная суматоха, когда неожиданно пришло сообщение о мирных переговорах между Финляндией и Москвой. Министры понегодовали и вернулись к прежним заботам.

Решили, что солдат слишком много, а фронт короткий; нужно отпустить молодых крестьян домой: да здравствует земледелие!

Продовольствия было достаточно, но министры хотели показать себя дальновидными и ввели невинные ограничения — были дни без пирожных, дни без говядины, дни без колбасных изделий.

Трудно сказать, на что надеялись французские генералы. Они свято верили в две линии — в линию Мажино и в линию Зигфрида. Даже я, человек глубоко штатский, знал, что в Испании исход сражений решали авиация и крупные танковые соединения; но французские генералы не любили новшеств; генерал де Голль был для них футуристом.

Я ждал выездной визы. В правой газете «Кандид» появилась противная заметка, посвященная мне. «Же сюи парту» спрашивала: «Почему Эренбург еще в Париже?..» Я сам поставил этот вопрос в префектуре, но там не отвечали, там допрашивали. Я лежал, томился, перечитывал Монтеня, Чехова, Библию.

В апреле Гитлер приступил к оккупации Норвегии и Дании. Новый премьер-министр решил послать немного солдат в Норвегию. В военных сводках появились названия далеких фьордов.

У меня сохранилась записная книжка с короткими записями за 1940 год. Приведу некоторые — они показывают и то, что происходило во Франции, и мое тогдашнее восприятие событий. «9 апреля. Война в Скандинавии. Осло. Арестованы семнадцать коммунистов». «11 апре-

ля. Улица Рояль. Витрины магазинов, клипсы-танки и клипсы-самолеты». «16 апреля. Нарвик. Арестованы пятьдесят четыре коммуниста». «17 апреля. Арестован некто Пейроль, глухонемой, за антинациональную агитацию». «23 апреля. Фернандо рассказал, что Реглера в концлагере избивали». «28 апреля. Отпускник на улице Арморик, пьяный, кричал: «Это не война, а надувательство!» «29 апреля. Эльза Юрьевна рассказала, как арестовали Муссинака». «30 апреля. «Эвр» сообщает, что арестовали рабочего за то, что он читал биографию Ленина». «1 мая. «Канар аншене» пишет: «Это первое спокойное Первое мая после 1918 года».

«Странная война»... Умирали люди — в Польше, в Финляндии, в Норвегии. Тонули суда, люди гибли среди рассерженного моря. Выли по ночам сирены. Но все это не походило ни на войну, ни на мир. Трагический фарс продолжался.

Франция репетировала капитуляцию. Миллионы людей в разных странах репетировали бомбежки, перебежки, пулеметный огонь, агонию. Но репетиции были тусклыми, вялыми; никто не знал своей роли, ораторы сбивались на чужой язык, стратеги сидели, как географы, над картами обоих полушарий, не решаясь произвести даже небольшую разведку. А может быть, так мне казалось, потому что я был обречен на полное бездействие болезнью, да и обстоятельствами? Не знаю. Когда человек счастлив, он может ничего не делать. А в беде необходима активность, какой бы иллюзорной она ни была.

37

Мы поздно засиделись у Жана Ришара Блока. Он рассказал об аресте Муссинака, которого держат в тюрьме Сантэ. Режим как для уголовников, а Муссинак болен... Блок рассказал также, как везли арестованных коммунистов; на одном вокзале эшелон задержался. Из закрытых наглухо вагонов вдруг раздалась «Марсельеза». Солдаты, отправлявшиеся на фронт, изумились: им сказали, что везут предателей, шпионов. Жена Блока, Маргарита, печально улыбнулась.

Потом мы шли по затемненному городу. Я оступился и выругался: черт бы их всех побрал — воевать не воюют, а ногу сломать очень легко!..

Когда мы вернулись домой, началась тревога; она длилась долго. Мы не сошли в убежище: надоело. Да и войны нет... А спать не дал кот — неизвестно откуда он пришел, отчаянно мяукал, требовал, чтобы его пустили в дом.

Рано утром мы услышали ошеломляющие новости: немцы вошли в Голландию и Бельгию. Это было 10 мая. Пришел толстяк Понс, сказал: «Теперь начинается...» В «Пари суар» я увидел фотографии, напомнившие Испанию,— убитые дети.

В моей маленькой записной книжке значится: «11 мая, суббота. Марке». Помню, еще перед началом драматических событий Люс Гильсум нам сказала, что 11 мая нас ждет Марке; узнав, что я собираюсь подарить ему старую икону, он хочет отдарить своим холстом.

Рассказ о войне, о потопленных транспортах, о десантах парашютистов, о разгроме Франции я перебиваю главой, посвященной художнику Альберу Марке. Трудно передать, что происходило со всеми в тот день. Париж напоминал растревоженный улей; вчера еще беспечные, люди вдруг поняли, что игра кончена, начинается расплата. Встреча с любым другим художником или писателем была бы естественной. Но при чем тут Марке с его легкими, прозрачными пейзажами? Он и на холсте ни разу в жизни не пытался повысить голос, писал предпочтительно воду и был, по старому русскому определению, тише воды. Он писал Сену — в Париже и в Нормандии, с баржами или без, писал море, заблудившееся среди скал Стокгольма, каналы Венеции и каналы Голландии, большой Нил и малую Марну и снова Сену — на рассвете, в полдень, вечером, с деревьями зелеными или голыми, в дождь, под снегом. На его холстах почти всегда — вода, много воды.

(В XVI веке французский поэт Иоахим Дю Белле увидел развалины древнего Рима. В последующие столетия их раскрали, разобрали, а тогда, по описаниям путешественников, они подавляли величьем. Дю Белле писал про Рим:

...Он побеждал чужие города,
Себя он победил — судьба солдата.
И лишь несется, как неслась когда-то,
Большого Тибра желтая вода.
Что вечным мнилось, рухнуло, распалось.
Струя поспешная одна осталась.

Окна мастерской Марке выходили на Сену: мост, набережная с закрытыми ящиками букинистов. С женой Марке, Марсель, мы, разумеется, начали говорить о событиях: куда пойдут немцы, будут ли бельгийцы сопротивляться, обсуждали, строили догадки. Марке стоял у окна и глядел на Сену. Потом он повернулся к нам. Глаза у него были умные, чуть насмешливые и вместе с тем добрые. Он сказал: «Ничего не кончено...» О чем он думал? Об исходе сражения? О судьбе людей? В тот день я понял силу искусства. Все говорили о Рейно́, о короле Леопольде, о Вейгане, о Кейтеле — я сейчас с трудом припомнил эти имена. Четверть века прошло, все, кажется, изменилось. А вода осталась — Сена, та, что пересекает Париж, и другая — на полотнах Марке.

Я говорил, что самым скромным поэтом, которого я встретил в жизни, был Антонио Мачадо. Я не видел художника скромнее, чем Альбер Марке. Слава ему претила. Когда его хотели сделать академиком, он чуть было не заболел, протестовал, умолял забыть о нем. Да и не пробовал он никого ниспровергать, не писал манифестов или деклараций. В молодости на несколько лет он примкнул к группе «диких», но не потому, что соблазнился их художественными канонами,— не хотел обидеть своего друга Матисса. Он не любил спорить, прятался от журналистов. При первом знакомстве сказал с виноватой улыбкой: «Вы меня простите... Я умею разговаривать только кистями...»

Он не заботился о судьбе своих картин, был равнодушен к различным

житейским благам. В молодости он знал нужду, редко ел досыта. Матисс мне рассказывал, как они вместе работали на выставке 1900 года; смеясь, пояснял: «В общем, как маляры...» И Матисс мне еще говорил: «Большего бессребреника, чем Марке, я не знаю. У него рисунок твердый, порой острый, как у старых японцев... А сердце у него девушки из старинного романса, не только никого не обидит, а расстроится, что не дал себя как следует обидеть...»

В 1934 году Марке поехал с группой туристов в Советский Союз. (Он много путешествовал.) Когда он вернулся в Париж, его спрашивали, правда ли, что в Советском Союзе ад. Он отвечал, что мало разбирается в политике, никогда в жизни не голосовал: «А в России мне понравилось. Подумайте — большое государство, где деньги не решают судьбу человека! Разве это не замечательно?.. Потом, там, кажется, нет Академии художеств, во всяком случае, никто мне о ней не говорил...» (Академия художеств была восстановлена незадолго до того, как Марке приехал в Ленинград; но он увидел Неву, рабочих, школьников — академиков не успел заметить.)

Среди рабочих-коммунистов Парижа были участники кружков самодеятельности, любившие живопись Марке и преданные Советскому Союзу. Они собрали деньги и, когда Марке вернулся из России, пришли к нему: «Мы заплатим за дорогу, оплатим ваше содержание, поезжайте на несколько месяцев в Ленинград и напишите Неву...»

В 1946 году я снова увидел Марке. Он позвал нас 14 июля вечером — полюбоваться фейерверком над Сеной. Он постарел за годы войны, но был весел, угощал хорошим бордоским вином (уроженец Бордо, он знал толк в винах). Звезды ракет падали в черную реку. Марке сказал: «Вот вы говорите — вода... Нет, я люблю и другое. Например, деревья, звезды...» Он любил людей, но, будучи на редкость стыдливым, никогда об этом не говорил. Он вспомнил о нашей встрече в начале разгрома Франции: «За годы войны я многое понял. Правы коммунисты... Ужасно, что многие ничего не поняли, хотят все повернуть назад...» Он помолчал и вдруг повторил те слова, которые я хорошо запомнил из нашей встречи в 1940 году: «Ничего еще не кончено...»

Он был маленького роста, сухой, очень простой в обращении, ни внешность, ни словарь не выдавали его сущности. Говорил он картинами. Его живописный язык сдержан, прост и убедителен. Отойдя от пестроты, разбросанности, свойственных многим импрессионистам, он никогда не искал в жизни геометрии: он обобщал по-человечески — без циркуля, без обязательной логики — так, как обобщает поэзия или любовь. Его холсты поражают скупостью изобразительных средств, трудны в своей простоте, искусны в сердечной безыскусности. Серое, синее, зеленое — и мир оживает. Он любил юг — Алжир, Марокко, Египет; но лучшие его пейзажи — северные; видимо, юг его самого поражал цветом, а в серой, стыдливой, сдержанной природе севера он находил цвета, которые поражают нас.

В 1940 году он попросил меня выбрать пейзаж, который мне особенно нравится. Я выбрал Сену, набережную, мост в серый денек. На

стене клок плаката «Левого блока» — 1924 год. В 1946 году Марке подарил мне другой пейзаж — Сена, пустая, почти голый холст.

Как я мог подумать, что больше его не увижу? Его жена написала про его последние дни. Марке оперировали в январе 1947 года. Операция не помогла; он слабел с каждым днем, знал, что умирает, и все же продолжал работать. Он написал еще восемь холстов — Сена... Он умер в июне.

Я пишу про годы, когда мало кто вспоминал об искусстве; люди умирали, не успев оглянуться. Но ведь умирали они за то, чтобы другие увидели реку, деревья, звезды, чтобы на ослепшую и оглохшую землю вернулось искусство. «Ничего еще не кончено...»

Марке любил поэзию, любил Бодлера, Лафорга, думаю, и Аполлинера. Глядя на его холсты, я порой про себя повторяю:

Проходят дни, за годом год.
Под мостом Мирабо Сена течет.
Бьют часы. Уходят года.
И то, что ушло, не придет никогда.
Уходит любовь. Проходят года.
А я остаюсь. Но течет вода...

Давно умер автор этих строк Аполлинер. Умер и Марке. «Течет вода...» Но вдруг мне чудятся в подслушанной на улице фразе старые стихи о мосте Мирабо, в зрачке прохожего мерещится серая Сена под окном мастерской Альбера Марке. Кто знает, может быть, что-нибудь остается от каждого из нас? Может быть, это и есть искусство?..

38

Двенадцатого мая — на следующий день после того, как я был у Марке,— рано утром за мною пришли полицейские и отвезли в префектуру. Сначала меня заперли в каталажке, где уже находилось человек тридцать: парижские рабочие, заподозренные в сочувствии к коммунистам, немецкие эмигранты, поляк, студент из Барселоны. Немецкий еврей мне сказал: «Знаете, за что меня арестовали? Мой брат сражался в Испании. Я не мог воевать — штурмовики мне переломили руку. Теперь они нашли у меня письмо брата, он был в батальоне Тельмана. Шпик кричал: «Вы — коммунист, шпион!..» Да разве они с Гитлером воюют?..» Пожилая француженка громко всхлипывала: «Откуда я знаю, с кем встречался Альфред? Это не мое дело. Я даже мужа не спрашиваю, с кем он встречается... Я, кажется, не консьержка...»

Потом меня повели на верхний этаж, в комнату, где занимались высылкой иностранцев. Народу было много, и чиновники торопились: «Эренбург Илья? В трехдневный срок». Я попытался объяснить чиновнику, что давно жду выездной визы, но он меня оборвал: «Это не наше дело. Пройдите на второй этаж...»

Со мной приключилась неприятная история, которую я никак не мог распутать: весной 1939 года на мое имя перевели из Москвы гонорар

испанским писателям — они собирались уехать, кто в Мексику, кто в Чили. Писателей было девять или десять, и это составило довольно крупную сумму. Когда я заявлял о моих доходах за истекший год, я, конечно, не проставил денег, переданных испанцам. В начале 1940 года полиция произвела налет на «Банк Северной Европы»; проверили переводы, конторские книги. Выяснилось, что я скрыл от налоговой инспекции гонорары испанским писателям и деньги на грузовик для Испании, приобретенный еще в 1936 году. С меня потребовали сумму, которой я никогда не держал в руках, заявили, что до ее выплаты меня не выпустят из Франции. На втором этаже чиновник сердито ответил: «Это меня не касается. Пройдите на третий этаж... А пока вы не принесете справки о выплате налогов и штрафа, мы вам не поставим выездной визы». Я пошел снова к чиновнику, занимавшемуся высылками, простоял часа три в хвосте: «Меня не выпускают».— «Я вам сказал, что это не мое дело. 14 мая вы обязаны покинуть Францию».

Я уже говорил, что после болезни ослаб; мне казалось, что у меня ноги из ваты. Я едва добрался домой. Палили зенитки.

На следующий день немцы прорвали французскую оборону близ Седана и проникли во Францию. В Париже появились бельгийские беженцы с корзинами, узлами, перепуганные, заплаканные.

События разворачивались быстро. Капитулировала Голландия. Немцы заняли Брюссель. Исчезли автобусы — говорили, что их реквизировали: перебрасывают войска с линии Мажино на север. В Венсенском лесу рыли окопы. Богатые кварталы опустели. Полицейским, которые регулировали уличное движение, выдали винтовки. Я увидел бельгийские автомобили, продырявленные пулями.

Вдруг все облегченно вздохнули: распространился слух, что немцы повернули к побережью и собираются идти на Лондон. Рейно отправился в Нотр-Дам: отслужил молебен о победе союзников. Все ценности на бирже неожиданно поднялись, маклеры восторженно вопили. Жизнь продолжалась; рестораны и кафе были переполнены. Газеты писали о новой моде: дамские шляпы, похожие на военные пилотки. Радио сообщало о боях в районе Нарвика — за Полярным кругом.

Двадцать первого мая меня снова вызвали в префектуру и спросили, почему я не покинул Францию. Снова я ходил безрезультатно с одного этажа на другой. Началась тревога. Полицейские загнали нас в убежище под Консьержери. Туда же примчались чиновники префектуры. Рядом со мною оказался тот, что меня высылал. Он все время монотонно повторял: «Дерьмо... дерьмо... дерьмо...» Не знаю, к кому это относилось: к противовоздушной обороне, к немцам или ко мне.

Премьер-министр произнес в парламенте речь, сказал, что была измена, виновники понесут наказание, Франция вместе с Англией остановит врага.

Вдруг мы узнали, что правительство решило послать в Москву Пьера Кота, чтобы «улучшить отношения с Советским Союзом». Наш поверенный в делах Н. Н. Иванов этому радовался. Он шепотом говорил мне, что Гитлер обязательно нападет на Советский Союз, хорошо бы на всякий случай договориться с союзниками. А я не верил, что

Рейно может обуздать профашистов. В самом правительстве шла борьба. Вице-премьер Петен считал Рейно английским ставленником. Министр иностранных дел Бодуэн стоял за сближение с Муссолини. Министр внутренних дел Мандель, в прошлом друг и помощник Клемансо, хотел воевать с немцами всерьез, но у него были связаны руки: когда он попробовал арестовать пять журналистов, открыто выступавших за мир с Гитлером, поднялась газетная буря и задержанных освободили. Зато ежедневно продолжали арестовывать коммунистов.

Я лежал в полутемной комнате на улице Котантен. В ящиках, похожих на огромные гробы, были упакованы книги. В углах высились горы старых испанских газет, листовок Народного фронта, гитлеровских брошюр — материал для давних газетных корреспонденций.

Двадцать четвертого мая мне позвонил министр общественных работ де Монзи, с которым я прежде встречался. Де Монзи был одним из первых французов, посетивших Советский Союз. Он написал о своей поездке книгу и не раз отстаивал идею развития культурных и экономических связей с Советским Союзом. Однажды он председательствовал на вечере, где я должен был рассказать о советской литературе. Увидев меня, он пришел в ярость: «Кто вас просил постричься?» Оказалось, он собирался во вступительном слове процитировать слова Ленина об Илье Лохматом, я ему сорвал эффектный рассказ. Политически де Монзи был фигурой неясной, блокировался то с левыми, то с правыми, скорее капризничал, чем рассчитывал и подсчитывал. Он мне сказал по телефону: «Илья, нехорошо забывать старых друзей. Говорят, вы собираетесь в Россию. Как же вы не зашли со мною проститься?» Наши отношения не были настолько близкими, чтобы объяснить эти слова чувствами, и я понял — дело идет о политике. Де Монзи добавил, что хочет меня срочно видеть,— не могу ли я сейчас же зайти к нему в министерство на бульваре Сен-Жермен?

Де Монзи курил, как всегда, трубку, как всегда, попытался побалагурить, но быстро перешел к делу: «Петен, Бодуэн, да и некоторые другие хотят капитулировать. Рейно против, я уж не говорю о Манделе. Картина невеселая — наши военные готовились к длительной позиционной войне. А линия Мажино была талисманом, и только. У нас мало танков, а главное — мало самолетов. Положение критическое...» Я спросил, почему правительство продолжает войну против коммунистов, почему восстанавливает против себя рабочих — на военных заводах шпиков чуть ли не больше, чем рабочих. Де Монзи не стал отмалчиваться, сказал, что тридцать тысяч коммунистов арестованы и что министр юстиции социалист Серроль отказывается перевести их на режим политических заключенных. Он добавил: «Я знаю Семара. Это коммунист, но он француз, патриот. Его арестовали. Я говорил о нем с Серролем, и безуспешно. Я вам прямо скажу: я куда больше доверяю Семару, чем Серролю...»

Мы помолчали. Де Монзи отложил трубку, встал и, не глядя на меня, сказал: «Если русские нам продадут самолеты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдет на вас... Мы просим об одном: продайте нам самолеты. Мы

решили послать в Москву Пьера Кота. Вы его знаете — это ваш друг. Не думайте, что все прошло легко, многие возражали... Но сейчас я говорю с вами не только от себя. Сообщите в Москву... Если нам не продадут самолетов, через месяц или два немцы займут всю Францию».

(Я невольно вспомнил лето 1936 года, когда представители испанского правительства повторяли в Париже: «Если Франция нам не продаст самолетов, мы погибнем».)

Прямо от де Монзи я пошел в посольство к Н. Н. Иванову, рассказал ему о беседе. Он посадил меня за стол: «Ваш долг сообщить. Пусть Москва решает. Но вы должны сейчас же написать...»

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это был хороший, честный человек; его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Я. З. Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски; много читал; просил меня рассказывать ему о писателях Франции, о театре; спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой,— словом, осваивал множество вещей, больших и малых.

Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июля в местечке Бурбуль возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале Сопротивления, о судьбе французских писателей. Вскоре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Н. Н. Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н. Н. Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта; поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства...

Николаю Николаевичу неизменно помогала его вера в торжество справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и, так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору; к изумлению лагерного начальства, он выиграл дело. При освобождении ему уплатили деньги за пропавшие вещи. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать, почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он напал на сердобольного человека, который сказал: «Уезжайте. Я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были...» Иванов сохранял оптимизм и веру; женился, работал, говорил, что счастлив. Он умер в 1965 году.

Возвращаюсь к майским дням в Париже. Через три дня после моей встречи с де Монзи рано утром позвонили. Пришли несколько полицейских; один показал мне ордер на арест, который исходил из кабинета вице-премьера маршала Петена.

Обыск продолжался несколько часов. Раскрыли ящики с книгами, рылись в брошенном хламе, даже вспороли подушку. Среди полицейских был один русский, другие его звали Николя. Он, видимо, собирал книги, потому что, увидев «Тысячу и одну ночь» в издании «Academia», обрадовался: «У меня как раз нет этого тома...» Старшего полицейского больше всего заинтересовали валявшиеся на полу испанские газеты и книжки с гитлеровскими песнями; он сказал удовлетворенно: «Улики налицо...»

Николя и один из французов остались в квартире, чтобы сторожить Любу. А меня повели по улице Котантен к машине. Соседи глядели изумленно; кто-то спросил, неужели я шпион. Полицейский ответил: «Заговор немцев и коммунистов». Он шел позади меня с револьвером, приговаривал: «Чуть что, выстрелю — попытка бегства...» В префектуре, куда доставили отобранные у меня пуды улик, вскоре начался допрос. «Вы сообщали по телефону, что все готово. Вы собирались выступить в пятницу, тридцать первого мая...» — «Я говорил нашему поверенному в делах, что у меня все готово к отъезду и что я жду его звонка. Он мне сказал, что надеется получить выездную визу в пятницу, тридцать первого мая».— «Вы пробуете упираться. Нам известно, что вы стояли во главе группы коммунистов, которая решила впустить немцев в Париж. Найденные у вас документы подтверждают, что вы были в тесной связи с агентами Германии».

Мне стало смешно, я сказал: «Это настолько нелепо, что годится только для «Канар аншене» (так назывался левый юмористический журнал). Полицейский вынул револьвер: «Мы не собираемся больше церемониться с агентами Москвы и Берлина. Вы напрасно смеетесь — через четверть часа вы будете икать».

Разговор о том, что именно я буду делать через четверть часа, происходил уже вечером. Раздался телефонный звонок. Полицейский нехотя взял трубку, процедил «алло» и вдруг вскочил: «Я вас слушаю, господин министр...» Одновременно он ловким ударом выбросил меня из комнаты и закрыл дверь.

Вот что я узнал потом от Любы и Н. Н. Иванова. Двое полицейских, как я сказал, остались в моей квартире. Они не позволяли Любе подойти к телефону. Пришла Клеманс; ее тоже задержали. Она кричала: «Нужно арестовать бельгийского короля, а не мосье Эренбурга. Вы, может быть, не слышали радио? Бельгийский король снюхался с фашистами и капитулировал. А мосье Эренбург был в Испании, он ненавидит фашистов...» Потом она перешла к предметам более низменным: «Я должна выйти с собаками. Кто будет вытирать пол, если они напачкают,— вы или я?» Несколько минут спустя позвонили — вошел шофер нашего посольства. Оказалось, Николай Николаевич приехал за мной — хотел меня повезти в Булонский лес; Клеманс ему рассказала о происшедшем.

Николай Николаевич понял, что дело серьезное. По правилам, он должен был обратиться в министерство иностранных дел, но он знал, что там не встретит никакого сочувствия. Поразмыслив, он решил пренебречь дипломатическими правилами и поехал к министру внутрен-

них дел Манделю, который, как я говорил, ненавидел немцев и стоял за сближение с Советским Союзом.

Мандель позвонил полицейскому следователю в ту самую минуту, когда допрос перешел с общих тем на игру с револьвером.

«Можете идти, вы свободны»,— злобно сказал мне полицейский. Я ответил, что пешком не пойду — темно, транспорта нет, до улицы Котантен далеко, притом мне должны вернуть отобранные у меня книги, бумаги. Полицейский вышел из себя: «Вы еще хотите, чтобы мы вас катали?» Но он быстро совладал с собой: как-никак Мандель был его прямым начальником.

Через час обитатели улицы Котантен увидели, как «заговорщик» прикатил домой и как полицейские выгружали его книги. Они не удивились только потому, что в те дни никто ничему больше не удивлялся.

На следующее утро я пошел в булочную, когда позвонили, и Люба, открыв дверь, снова увидела полицейского в штатском, показавшего ей опознавательный значок. Люба вышла из себя: «Каждый день? Вы посмотрите, что вы вчера понаделали...» Квартира напоминала книжную лавку после погрома. Полицейский пытался что-то сказать, но Люба ему не давала. Наконец, воспользовавшись секундой передышки, он выпалил: «Но я пришел по поручению господина префекта принести извинения...» Манделя боялись. (Немцы знали, что его не запугать и не подкупить, они его убили.)

Впоследствии я узнал, что мой арест был связан с просьбой, переданной мне де Монзи. Петен боялся улучшения отношений с Советским Союзом. Мандель мог добиться моего освобождения, поскольку полиция подчинялась ему. Но изменить внешнюю политику Франции он не мог; и в тот самый день, когда шпик принес мне извинения префекта, правительство сообщило, что поездка Пьера Кота в Москву «откладывается».

Николай Николаевич Иванов спас мне жизнь: второй мой арест был произведен незадолго до развязки. О соблюдении законности тогда не приходилось мечтать, не раз приключалось то, что в полицейских протоколах именуется «убийством при попытке к бегству».

Двадцать шестого мая я был у Эмиля Бюре. Он рассказал, что Париж могли легко взять еще 16 мая. Теперь немцы идут на Амьен: хотят окружить французскую армию. «У нас нет самолетов»,— повторял Бюре. Я встретил различных людей: Вожеля, Жана Ришара Блока, Эльзу Юрьевну Триоле, бельгийского художника Мазереля; все были подавлены.

Американский посол Буллит молился в Нотр-Даме, опустился на колени, поднес статуе Жанны д'Арк розу от имени президента. Бюре говорил: «Нам нужны не молитвы, а самолеты». Католическая газета «Об» писала о «моторизованной Жанне д'Арк, которая спасет Францию».

Третьего июня немцы сильно бомбили Париж. Было много жертв, и я увидел картины, знакомые мне по Мадриду, Барселоне. Но гнева не было, только отчаяние. В толпе кто-то говорил: «Эту войну мы проиграли до первого выстрела...»

Начался исход парижан. Длинные вереницы машин, покрытых тюфяками, тянулись к заставам Итали, Орлеан. По ночам палили зенитки. Сводки были туманными. Радио продолжало рассказывать о потопленных немецких транспортах. Все говорили, что немцы близко. Уехали Гильсумы, Фотинский, знакомые испанцы. Я не мог никуда уехать: в префектуре у меня отобрали все документы. Город пустел. Мы с Любой оставались одни в доме, из которого все уехали. На душе у меня было смутно. Уехал наконец Иванов, сказал, что в посольстве остаются некоторые сотрудники, он их попросил о нас позаботиться.

(Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — «невозвращенец». Дело было простое, житейское: моя дача в Переделкине кому-то приглянулась, нужен был предлог, чтоб ее забрать. Бог с ней, с дачей! Происходили события поважнее: немцы забирали страну за страной; фашизм грозил всему миру. Но вот Ирине пришлось пережить много тяжелого; Париж был отрезан, и повсюду ее спрашивали: «Правда ли, что ваш отец невозвращенец?» Я рассказываю об этом только чтобы восстановить время и нравы...)

Девятого июня на магазинах, ресторанах, кафе появились надписи: «Временно закрыто». Президент республики принял Лаваля. Кто-то прибежал, рассказывал: «Купили машину, а горючего нет. Вот если бы достать лошадь!..» Немцы сообщали по радио, что взяли Руан и что судьба Парижа решится в ближайшие дни. Я попытался послушать Москву; диктор долго говорил, что «Франкфуртер цейтунг» весьма высоко оценивает сельскохозяйственную выставку в Москве. Пришла Клеманс, прощалась, плакала: «Какой позор!..» Возле вокзалов стояли громадные толпы. Уезжали на велосипедах. Газеты сообщали, что начинается процесс тридцати трех коммунистов.

Десятого июня фашистская Италия объявила войну Франции. Я ходил по саду нашего посольства и вдруг услышал радостные крики, песни: рядом помещалось итальянское посольство. Фашистские дипло-

Мобилизация во Франции в 1914-м и 1939 гг.

Немцы в Париже. Июнь 1940 г.





маты решили не уезжать к себе — немцы близко; можно просидеть несколько дней в бесте. Они, не смущаясь, пели «джовинеццу».

Одиннадцатого июня распространился слух, будто Советский Союз объявил войну Германии. Все приободрились. Возле ворот нашего посольства собрались рабочие, кричали: «Да здравствует Советский Союз!» Несколько часов спустя последовало опровержение. Парижане уходили пешком. Старик с трудом толкал ручную тележку с подушками, девочкой и старой собачонкой, которая отчаянно выла. По бульвару Распай двигался нескончаемый поток беженцев. Напротив «Ротонды» незадолго до войны поставили памятник Бальзаку работы Родена; неистовый Бальзак как бы сходит с цоколя. Я долго стоял на этом перекрестке, здесь ведь прошла моя молодость, и вдруг мне показалось, что Бальзак тоже уходит со всеми.

Лавочник на углу улицы Котантен бросил лавочку, даже не закрыл двери, валялись бананы, жестянки с консервами. Люди уже не уезжали, не уходили, а убегали. 11 июня я долго искал какую-нибудь газету. Наконец вышла «Пари суар». На первой странице была фотография: старушка купает собаку в Сене, и крупным шрифтом подпись: «Париж остается Парижем». Но Париж напоминал брошенный впопыхах дом. Еще толпились десятки тысяч людей вокруг Лионского вокзала, хотя и говорили, что поезда больше не уходят — немцы перерезали дорогу. А по радио передавали молебны и противоречивые призывы: то говорилось, что эвакуация населения обеспечена, то парижан уговаривали остаться у себя и сохранять спокойствие.

Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека — не Париж — Помпея... Пошел черный дождь (жгли нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим...

Потом я написал об этом стихи:

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся»,—
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

Ночью раздался звонок. Я удивился: ведь власти уехали, а немцы еще не пришли. Оказалось, из посольства прислали машину: предлагают нам перебраться на улицу Гренель, там надежнее.

Нас поместили в маленькой комнате, где прежде ночевали дипкурьеры. Утром очень низко пролетели самолеты с черными крестами. Мы вышли из посольства. Французский солдат кинулся ко мне, спросил, как пройти к Орлеанской заставе. На улицах никого не было. Воняли

мусорные ящики. Выли брошенные собаки. Мы дошли до Авеню де Ман, и вдруг я увидел колонну немецких солдат. Они шли и на ходу что-то ели.

Я отвернулся, постоял молча у стенки. Нужно было пережить и это.

39

Время стирает много имен, забываются люди, выцветают годы, казавшиеся яркими, но некоторые картины остаются в памяти, как бы ни хотелось их забыть. Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город, и его красота доводила меня до отчаяния; ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше не заслоняли зданий — тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с суставами улиц. Строившийся в разные века, объединенный не замыслом зодчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа, Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители.

Редкие встречные были уродами, горбунами, безногими или безрукими инвалидами. В рабочих кварталах древние старухи на скамьях вязали; их острые пальцы переходили в длинные спицы.

Немцы дивились: не таким им представлялся «новый Вавилон». Они старательно ели в немногих открытых ресторанах и фотографировали друг друга на фоне собора Нотр-Дам или Эйфелевой башни.

Вскоре начали возвращаться беженцы: добравшись с великим трудом до Луары, они увидели на другом берегу немецкие войска. Париж оживал, но жизнь его была призрачной, неправдоподобной. Немцы покупали в мелких лавчонках сувениры, непристойные открытки, карманные словарики. В ресторанах появились надписи: «Здесь говорят по-немецки». Проститутки щебетали: «Майн зюссер...» * Из щелей вылезли мелкие предатели. Начали выходить газеты. «Матэн» сообщала, что в Париже остался знаменитый префект Кьяпп с его друзьями и что немцы «оценили прелести французской кухни». Гюстав Эрве, в далеком прошлом анархист, а потом шовинист, возобновил издание «Виктуар» («Победа»). Продавцы газет выкрикивали: «Виктуар»! — и редкие прохожие вздрагивали. «Пари суар» подрядила писателя Пьера Ампа. Та же газета предлагала давать объявления на немецком языке «для оживления торговли». Объявлений было мало: «Ариец, ищу работы, согласен на все»; «Кончил два факультета, ищу место официанта или приказчика, в совершенстве говорю по-немецки»; «Составляю генеалогическое дерево, разыскиваю соответствующие документы». Я зашел в булочную на бульваре Сен-Жермен. Почтенная дама громко рассуждала: «Немцы научат наших рабочих работать, а не устраивать дурацкие забастовки». У магазинов появились хвосты. Новая газета «Ля Франс о травай» учила читателей: «В каждом из нас

* Мой сладкий *(нем.)*.

есть крупицы еврейского духа, поэтому необходимо учинить внутренний душевный погром...» Часы переставили на час вперед; солнце еще не заходило, когда громкоговорители предупреждали: «Возвращайтесь домой!» Некоторые рестораны и кафе украсились объявлениями: «Арийская фирма. Вход евреям запрещен». В квартале, где жили евреи, выходцы из Восточной Европы,— на улице Розьер, метались в ужасе бородатые старики; немцы, забавляясь, их попугивали. Комендатура оберегала немецких солдат от возможного общения с «подозрительными элементами». При входе в кафе «Дом» на бульваре Монпарнас, куда до войны приходили художники, красовалось предупреждение: «Посещение этого кафе немецким военнослужащим воспрещается». Зато на дверях публичного дома «Сфинкс» я увидел другое объявление: «Открыто для отечественной и иностранной клиентуры». В большом мюзик-холле шло обозрение «Иммер Парис» — это было переводом на немецкий язык старой присказки «Париж остается Парижем».

Но Париж больше не был Парижем: происшедшее оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом.

После второй мировой войны смешно доказывать, что нельзя жить с фашистами на одной земле. А тогда мне приходилось ежечасно сдерживать себя. Я отводил душу в стихах:

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не для того, не для того!..

Я кончал стихотворение признанием:

Глаза закрой и промолчи —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

Это было криком, но я не только кричал, я пытался понять значение происшедшего:

Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А. А. Ахматова, расспрашивала про Париж. Она была в этом городе давно — до первой мировой войны, не знала подробностей его падения. В представлении некоторых критиков Анна Ахматова — «поэтесса интимных чувств

с крохотным мирком». Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ею после того, как она узнала о падении Парижа.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,—
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

В этих стихах поражает не только точность изображения того, чего Ахматова не видела, но и прозрение. Часто теперь я вижу ушедшую эпоху, «труп на весенней реке». Я ее знаю и не ошибусь; а для внуков она не то призрак, не то снесенный причал или перевернутая лодка.

Вернусь к моей жизни в те дни; под немцами я прожил сорок дней — все в той же комнатушке для дипкурьеров. Нами ведал один из сотрудников посольства. Он помог нам выбраться в Москву; я назову его вымышленным именем — Львов. Кроме него в посольстве оставалось еще человек пятнадцать. Когда немцы входили в Париж, некоторые из сотрудников стояли у ворот, махали руками. Их можно понять: наши газеты тогда называли французов «поджигателями войн», «империалистами», сообщали о преследовании коммунистов во Франции; а о том, чьи головы продолжали отсекать топором в фашистской Германии, газеты не писали. За обедом я услышал восхищенные отзывы о «союзниках» и решил больше в столовую не ходить; мы покупали в лавке колбасу или консервы, иногда обедали в ресторане, убедившись, что там нет немцев. Как-то раз я зашел в магазин, чтобы купить литр вина; хозяин мне сказал: «Возьмите старое бургундское, я его вам продам как разливное — лучше, чтобы вы его выпили, чем немцы». После нашего отъезда, наверно, обо мне говорили как о пьянице — в комнате дипкурьеров осталось полсотни пустых бутылок с патетическими этикетками.

Иногда вечером приходил Львов, рассказывал, как он послал Абетцу икру, как с ним приветливо разговаривали и Абетц, и комендант Парижа. Львов делал свое дело, но меня от его рассказов подташнивало.

Львов сказал мне, что должен проехать в «свободную зону», в город Брив, и предложил его сопровождать — он плохо говорил по-французски. Путь был таким: Жиен, Невер, Мулен, Клермон-Ферран, Руая, Бурбуль, Брив, Лимож, Орлеан. Я многое повидал: и развалины Жиена, и разбитый бомбами Орлеан, и кондитерскую в Руая, где «весь

Париж» поглощал пирожные, охал, ахал и благословлял маршала. На берегах Луары еще валялись расплющенные машины, солдатские шлемы, игрушки. Военнопленные хоронили убитых беженцев. Люди ночевали в парижских автобусах «Бастилия — Мадлен».

Правительство в тот самый день прибыло из Бордо в Клермон-Ферран. Я должен был узнать, где находится наше посольство. Мне сказали, что министры остановились в здании коллежа. Я увидел сторожа, старичка, похожего на Вольтера; он закричал: «Нет, слава богу, они не здесь. Кажется, в префектуре...» По коридорам префектуры носились ошалевшие сановники, нельзя было ничего добиться. Я заглянул в одну из комнат. Вдруг кто-то на меня кинулся: «Что вы здесь делаете?» Оказалось, это кабинет Лаваля.

Один из беженцев, ночевавший в поле, рассказал мне, что вместе с другими пытался убежать из Бордо в Испанию, но испанские пограничники их не пропустили. История не сродни классическому роману, она то пишет стихи на зауми, которых никто не может расшифровать, то переходит на древнейший жанр общедоступной притчи...

Я не раз в жизни пережил те чувства, которые вдохновляли Маяковского, когда он писал стихи о советском паспорте,— гордился, показывая мой паспорт злобным полицейским, гордился и когда меня арестовывали, высылали, отказывали в визах. Гордился тем, что я — советский, в 1936 году в Арагоне и десять лет спустя в расистских штатах Миссисипи, Алабаме. А вот в то (к счастью, недолгое) время, о котором я рассказываю, мне было очень трудно: не мог же я гордиться тем, что, будучи советским гражданином, огражден от произвола гитлеровцев!

Как-то возле нашего посольства остановились две женщины, судя по одежде — работницы, и салютовали гербу поднятыми кулаками: «Рот фронт». Полицейские их отогнали: подъехала машина со свастикой — гитлеровские офицеры решили нанести визит Львову. Я все это видел в окно, и мне было не по себе. Думаю, читатели меня поймут.

Я перетащил в посольство мой приемник и каждый вечер слушал Лондон. 18 июня — через четыре дня после вступления немцев в Париж — впервые выступил де Голль, сказал, что война продолжается, призывал французов не подчиняться изменникам. Я слушал и радовался. Окно комнаты было открыто, и двое полицейских, дежурившие у ворот посольства, тоже слушали: один стоял, вытянувшись по-военному,— не знаю, что он потом делал, может быть, рьяно служил немцам, но в ту минуту де Голль для него был начальником; второй скептически усмехался.

Тринадцатого июля в посольство пришла Анна Зегерс. За нею следили, ей грозила смерть. Она просила помочь ей пробраться в «свободную зону». Львов ей дал немного денег, помог с документами.

Вишняки застряли в Париже. Мы у них часто бывали. Мы старались шутить, вспоминали прошлое — Андрея Белого, Марину, Пастернака. Застряла и Дуся с больной матерью. Она больше не смеялась, говорила: «Так тихо, что страшно...» Я читал ей стихи Ронсара о

полдне и счастье. Лето было на редкость холодным. Часто шли дожди.

В кафе я разговаривал с немецкими офицерами — они искали собеседников, а меня принимали за француза. Некоторые говорили, что прежде всего нужно расколотить англичан, но большинство повторяло: «Скоро мы почистим Россию...» Откровенно, с вполне понятной злобой они говорили о коммунистах, о Советском Союзе. Один, помню, сказал: «Сначала мы выкачаем из России нефть, а потом кровь...»

На площади Опера играл военный оркестр. Победители сидели в кафе де ля Пэ, загорали на солнце, пили коньяк, обсуждали дальнейшие походы. Париж для них был прекрасным домом отдыха с бесплатными путевками.

Наконец настал день отъезда. Погрузили нас ночью. Вместе с нами ехали шофер посольства, повар, мелкий помощник Львова; всего было, кажется, семь или восемь советских граждан в поезде, набитом немецкими офицерами и солдатами. Один литератор, которому когда-то показали исправительно-трудовой лагерь, на вопрос, как он себя там чувствовал, ответил: «Как живая лисица, попавшая в магазин мехов». Так я чувствовал себя в том поезде.

Ехали мы долго — неделю. Я увидел развалины Дуэ, пустые города севера Франции, немецкие надписи. В Брюсселе пришлось задержаться. Мы переночевали в посольстве. Я поехал к Элленсу, мне сказали, что он успел выбраться. Брюссельцы угрюмо молчали.

Границу мы переехали ночью. Дважды была воздушная тревога. Поезд останавливался. Я мечтал: хоть бы англичане сбросили бомбу!.. Но полчаса спустя поезд шел дальше. На вокзале Мюнхен-Гладбах немки подавали победителям кофе и цветы. Потом был Берлин. Пришлось провести две ночи в гостинице. На ее двери значилось: «Евреям вход запрещен», но я ехал не как Эренбург, а как один из служащих посольства, моей фамилии в документах не было. А немцам нужны были советская нефть и многое другое, они не хотели пререкаться из-за мелочей.

У нас были припасены чай, сахар, галеты, сыр. Горничная, которая принесла кипяток, увидев сыр, спросила Любу, где мы достали такое лакомство. Люба ответила: «Привезли из Франции». Тогда немка воскликнула: «Счастливые французы!..» Это меня обрадовало: победители, только что захватившие Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, завидуют французам!

Я видел их еще в 1932 году в Берлине накануне первой победы, следил за всем, что они делали, помнил Испанию. Я их снова увидел в Париже. Я многому научился. По своему характеру, да и по воспитанию я человек XIX века, я был склонен скорее к спорам, чем к оружию. Ненависть мне далась нелегко. Это чувство не красит человека, и гордиться им не приходится. Но мы жили в эпоху, когда обыкновенные молодые люди, порой с симпатичными лицами, с сентиментальными признаниями, с фотографиями любимых девушек, уверовав, что они — избранные, начали уничтожать неизбранных, и только настоящая, глубокая ненависть могла положить предел торжеству фашизма. По-

вторяю, это было нелегко. Часто я испытывал жалость, и, может быть, сильнее всего я ненавижу фашизм именно за то, что он научил меня ненавидеть не только абсурдную, бесчеловечную идею, но и ее носителей.

40

Я вернулся в Москву 29 июля 1940 года. На свадьбе полагается не плакать, а плясать. Я был убежден, что вскоре немцы нападут на нас; перед моими глазами стояли ужасные картины исхода Барселоны и Парижа. А в Москве настроение было скорее свадебным. Газеты писали, что между Советским Союзом и Германией окрепли дружеские отношения, и упрекали Англию за то, что она отказалась начать мирные переговоры с Гитлером.

Я написал В. М. Молотову, что хочу рассказать ему о положении во Франции, о том, что говорят немецкие офицеры и солдаты. Меня принял заместитель Молотова С. А. Лозовский. Его я знал еще по дореволюционному времени, встречал, когда он в Париже выступал на социал-демократических собраниях. Он слушал меня рассеянно, печально глядел в сторону. Я не выдержал: «Разве то, что я рассказываю, лишено всякого интереса?» Соломон Абрамович грустно улыбнулся: «Мне лично это интересно... Но вы ведь знаете, что у нас другая политика...» (Я все же оставался наивным — думал, что правдивая информация помогает определить политику; оказалось наоборот — требовалась информация, подтверждающая правильность выбранной политики.)

(С Лозовским я работал в годы войны, когда он был начальником Совинформбюро. Он остался в моей памяти человеком мягким, глубоко порядочным; он хорошо знал рабочий класс Запада; но никакой власти у него не было — по любому вопросу ему приходилось запрашивать Молотова или Щербакова. Как начальник Совинформбюро, он должен был руководить различными комитетами, созданными в начале войны, среди них и Еврейским антифашистским комитетом. Лозовский был арестован вместе с руководством этого комитета в конце 1948 года, осужден и расстрелян в возрасте семидесяти четырех лет, а потом посмертно реабилитирован.)

Я, естественно, искал людей, хорошо знавших и продолжавших ненавидеть фашистов; пришел П. Г. Богатырев, выбравшийся из Чехословакии, рассказывал о судьбе чешских друзей; у Е. Ф. Усиевич я познакомился с В. Л. Василевской, она мне рассказала о поэте Броневском, приходили ко мне бывшие интербригадовцы — Белов, Петров, Баллер, испанцы — Ла Каса, Альберто, Санчес Аркас. Перелистывая записную книжку, я вижу, кто бывал у нас в зиму 1940—1941 года: Кончаловский, Фальк, Штеренберг, Суриц, Толстой, Игнатьевы, Лидин, Эфрос, Олеша, Славин, Ахматова, Пастернак, Вишневский, Мартынов, Луговской. С ними мне было легко говорить — они ненавидели фашизм.

Были и такие писатели, журналисты, которые считали, что я рас-

суждаю не как советский гражданин — слишком долго жил во Франции, привязался к ней, рисуя гитлеровцев, «сгущаю краски». Однажды я услышал даже такие слова (в то время диковинные): «Людям некоторой национальности не нравится наша внешняя политика. Это понятно. Но пускай они приберегут свои чувства для домашних...» Меня это поразило. Я еще не знал, что нам предстоит.

Помню разговор с академиком Л. С. Штерн. Мы говорили о зверствах гитлеровцев, об Испании, о Париже, о пакте. Лина Соломоновна сказала: «Один ответственный товарищ объяснил мне, что это — брак по расчету. Но я ему ответила, что от брака по расчету могут быть дети...» (Восемь лет спустя Л. С. Штерн на себе узнала правильность своего прогноза: ее арестовали вместе с другими деятелями Еврейского антифашистского комитета; к счастью, она не погибла.)

На премьере в Еврейском театре я вдруг увидел Дугласа — так звали в Испании командира наших воздушных сил Я. В. Смушкевича. Он хромал, опирался на палку. Я сразу заметил на его груди две Звезды Героя. Мы вспомнили Испанию. Я радовался: не все погибли!.. Савич говорит, что видел Хаджи, Николаса. О Григоровиче я читал в газете. А вот Дуглас командует военно-воздушными силами... Я думал, что опыт Испании поможет в надвигающейся войне. (Я. В. Смушкевича арестовали и расстреляли за две недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз.)

Нужно было работать — писать, да и найти место, где меня осмелились бы напечатать. Я упомянул о том, как меня заочно причислили к невозвращенцам. В течение долгого времени мое имя нигде не упоминалось; его вычеркнули даже из списка советских писателей, книги которых переведены на иностранные языки. Я хотел описать все, что видел во Франции, показать, что быстрый разгром французской армии, капитуляция Петена объясняются моральной слабостью, страхом крупной буржуазии перед своим народом, а вовсе не чудодейственной силой рейхсвера. Ведь дело теперь не в Петене, а в том, что скоро нам при-

Н. В. Смушкевич (Дуглас) в центре. Монголия, 1939 г.

И. Эренбург работает над романом «Падение Парижа». Москва, 1940 г.





дется столкнуться с немецкой армией... Я пошел в «Известия» — семь лет я работал для этой газеты. Меня принял заведующий иностранным отделом, спросил, нет ли у меня претензий к бухгалтерии, потом откровенно сказал, что печатать меня они не будут.

В Гослитиздате мне рассказали, что моя книга об Испании не смогла выйти: задержала типография, а тут подоспел пакт — и набор рассыпали. Мне дали на память верстку.

Не помню, где я познакомился с З. С. Шейнисом, работавшим в газете «Труд». Он объяснил, что «Труду», как газете профсоюзов, предоставлена некоторая свобода. Я не должен ничего писать о немцах, а ругать французских предателей могу. Редакция попытается протолкнуть мои очерки. Действительно, после длительных переговоров, правок, купюр мои очерки были напечатаны в «Труде». Я несколько приободрился: добился положения дебютанта, которого, хорошенько отредактировав, печатают.

(Потом мне прислали брошюру, напечатанную в Женеве,— мои статьи из «Труда»: коммунисты их нелегально распространяли во Франции.)

Меня позвали на собрание московских писателей; оно было драматичным — оказалось, что Сталин пригласил группу писателей, назвал Авдеенко «врагом» и нападал на пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко из Союза. Различные литераторы, соревнуясь друг с другом, поносили Леонова и Катаева. Я сидел и дивился: надвигается война, неужели Сталин так уверен в нашей мощи, что может отдавать свое время литературной критике? Все мне было непонятно; я терзался, и не было мудрого Бабеля, к которому я когда-то приходил за объяснениями...

Я писал стихи: о Париже, о войне, о верности, о смерти:

...Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена,—
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города.
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков...

Вишневский редактировал журнал «Знамя». Он взял мои стихи, отобрал те, где не было ничего о будущем, и хотел напечатать в ближайшем номере. Вскоре он сказал, что стихи задерживают в НКИДе; лучше всего мне самому пойти туда, поговорить.

Заведующего отделом печати НКИДа Н. Г. Пальгунова я знал по Парижу, где он работал корреспондентом ТАССа. Николай Григорьевич меня дружески принял и сразу сказал, что стихи, где речь идет о падении Парижа, можно печатать. Смущали его лирические стихотворения. Он долго перечитывал:

Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор...

Спрашивал: «Скажите откровенно, кого вы подразумеваете под явором?» Я клялся, что явор — дерево, разновидность клена, что у Пушкина тоже есть явор. Я видел, что Пальгунов мне не очень-то верит. Он сказал:«Вы понимаете, какая на мне ответственность?..» В итоге он согласился пропустить и лирику. Я осмелел и послал в издательство рукопись сборника стихов «Верность».

По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался, что судьба Лондона мне близка:

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, а он длиннее сплина,
Не трезубцем моря властелина,
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин...

Я дал стихотворение Вишневскому. Он сказал: «Про Лондон никому не читайте,— и тотчас добавил: — Сталин лучше нас понимает...»

Ко мне пришел поэт, прочитал свои стихи и сразу меня восхитил: это был Леонид Мартынов. Он расспрашивал про войну, про Париж, говорил «н-да» и что-то добавлял о погоде: «Зима была суровая...» Его стихи казались явлением природы — шумливым летним дождем или токованием птицы. Мы проговорили полночи о силлабическом стихосложении — Мартынов шевелил губами: искал новую музыку.

Шестнадцатого сентября я сел за роман «Падение Парижа». Пожалуй, из всего, что я написал, эта книга больше всего напоминает традиционный роман, хотя и в ней я не отказался от изобилия персонажей, быстрого монтажа. Писал я ее с увлечением. Теперь я перечитал роман; как будто мне удалось передать предвоенные годы Франции, то, что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной. Но одни персонажи мне кажутся живыми, объемными, другие — плакатными, поверхностными. В чем я сорвался? Да в том, в чем и до «Падения Парижа» и после него срывались многие мои сверстники: показывая людей, всецело поглощенных политической борьбой, будь то коммунисты Мишо и Дениз, будь то фашист Бретейль, я не нашел достаточного количества цветов, часто клал белые и черные мазки. Видимо, даже ненавидя плакатную литературу и высмеивая чересчур ретивых критиков, я все же поддался известному упрощению. Напротив, естественными выглядят другие герои повествования — актриса Жаннет, симпатичный, умный и делающий глупости капиталист Дессер, наивный

инженер Пьер, продажный политикан Тесса, художник Андре, наконец, один из предтеч многих героев послевоенной французской литературы, сентиментальный циник Люсьен.

(Двадцать первого июня 1941 года я кончал тридцать девятую главу последней части; оставалось написать семь коротких глав. Началась война; мне было не до романа. Во время эвакуации из Москвы исчезла рукопись третьей части. Вернуться к роману я не мог и решил, что он останется недоконченным. В декабре, однако, мне сообщили, что один из рабочих типографии, где печаталось «Знамя», подобрал разбросанные листы. В конце января, когда на фронте наступило затишье, я дописал последние главы, и роман был напечатан весной 1942 года. Тотчас вышел английский перевод, и, судя по случайно сохранившейся газетной статье, в метро Лондона, во время воздушных атак, можно было часто увидеть читателей и читательниц с моим романом.)

В. В. Вишневский, когда мы встречались, неизменно говорил о надвигающейся войне. Теперь опубликованы отрывки из его дневника. В декабре 1940 года он писал: «Ненависть к прусской казарме, к фашизму, к «новому порядку» — у нас в крови... Мы пишем в условиях военных ограничений, видимых и невидимых. Хотелось бы говорить о враге, подымать ярость против того, что творится в распятой Европе. Надо пока молчать...» Вишневский взял у меня рукопись первой части «Падения Парижа», сказал, что попытается ее «протащить». Два месяца спустя, как раз в тот день, когда мне исполнилось пятьдесят лет, он пришел с хорошей вестью: первую часть разрешили, но придется пойти на купюры. Хотя речь шла о Париже 1935—1937 годов и немцев там не было, надо было убрать слово «фашизм». В тексте описывалась парижская демонстрация, цензор хотел, чтобы вместо возгласа: «Долой фашистов!» —я поставил: «Долой реакционеров!» Я отказывался, торговался.

Денег у меня не было, и я начал выступать с чтением отрывков из романа. Слушали меня хорошо, но и здесь пришлось столкнуться с трудностями.

Однажды я читал главы романа в Доме кино. В перерыве мне сказали, что пришел советник германского посольства, который хочет меня послушать. Я запротестовал: «Не буду при нем читать...» Меня уговаривали. Девушка, сотрудница ВОКСа, изумлялась: «Ну как можно так?.. Понятно, что его заинтересовала тема... Он вообще очень культурный человек, любит литературу... Потом, что скажут там?» И она показала рукой на потолок. Я отвечал, что вечер закрытый и что, если в зал войдет фашист, я уйду. Германскому дипломату сказали, что вечер кончился, и я дочитал отрывки.

О моих чтениях пошли толки. Мой творческий вечер отменили. Я попытался попасть на прием к секретарю Союза писателей А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным. Я писал статьи, чтобы получить немного денег; писал для «30 дней», «Вокруг света», «Глобуса», «Ленинградской правды», «Московского комсомольца»; почти все мои статьи браковались, в любой строке редакторы видели намеки на фашистов, которых остряки называли «заклятыми друзьями».

Как я сказал, в ту зиму мне исполнилось пятьдесят лет. Нет худа без добра: мое шаткое положение избавило меня от лицемерных поздравлений и от адресов в дерматиновых папках. Пришли друзья. Лапин, смущенно улыбаясь, наливал в рюмки ликеры из Львова, которыми москвичи тогда увлекались. Пастернак прислал мне письмо: «...Нам было столько лет, когда мы встретились, сколько с тех пор прошло. Сбережем, что осталось из растраченных сил!..» Я часто в ту зиму хворал, но мне хотелось не беречь силы, а скорее их растратить: слишком тяжелой была передышка.

Известия становились все тревожнее. С начала марта Лондон говорил, что Гитлер готовится захватить Балканы. Наши газеты оставались невозмутимо спокойными. Я пошел на доклад о международном положении; лектор обстоятельно рассказывал о хищной природе английского империализма; я ждал, что он скажет о Германии; но он о ней вовсе не упомянул.

Как-то я зашел в кафе «Метрополь». За соседним столиком сидели немцы. Они пили и горланили. Я быстро ушел.

Иногда я ходил в театр, вздыхал, когда бедная Эмма Бовари металась среди шума карнавала,— Алиса Коонен умела потрясать зрителей. Пошел на выставку С. Д. Лебедевой, мне понравились бегун, голова калмычки. На другой выставке я обрадовался краскам Осмеркина.

Апрель был неспокойным. 6-го я услышал по радио о нападении немцев на Югославию и Грецию. 9-го немцы взяли Салоники, 13-го — Белград.

Четырнадцатого апреля я встретил Вишневского; он мрачно сказал: «О вашем романе разные суждения. Мы не сдаемся... Но насчет второй части ничего не могу сказать...» Вторая часть относилась к событиям 1937—1938 годов; немцы еще не появлялись. «Кто ругает? За что?» Всеволод Витальевич ничего не ответил.

Я знал, что в Москву должен приехать Жан Ришар Блок: его

Анна Ахматова

Б. Лавренев, Н. Тихонов, В. Каверин, И. Эренбург. Ленинград, 1941 г.





предполагали вывезти из Франции с группой советских служащих. Я просил иностранную комиссию Союза писателей предупредить меня: хотел встретить. В комиссии, однако, решили, что человеку в моем положении лучше с иностранцами не встречаться. Я все же случайно узнал, что Блоки приезжают 18 апреля. Мы пришли с Любой на вокзал. Жан Ришар и Маргарита плохо выглядели, постарели, но доверчиво улыбались друзьям, свободе, Москве. Полдня они мне рассказывали о жизни во Франции: среди писателей мало кто сотрудничает с немцами; «Нувель ревю франсез» — жалкая подделка; люди не верят газетам, в маленьких городах в часы, когда лондонское радио передает по-французски, улицы пустеют; Ланжевен держится замечательно; Арагон написал хорошие стихи...

Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверном настроении, но решил писать дальше.

Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».

Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.

Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным; хочет прислать мне рукопись — перевод книги Андре Симона,— это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона-Катца, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)

Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю,— война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части,— ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть...»

Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?..» Лицо у меня было мрачное: «Скоро война...» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе; Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду,— хотел предупредить.

(Видимо, в конце апреля Сталин был встревожен. Да и трудно было после захвата Югославии полагаться, что Гитлера остановит пакт. Однако прошло два месяца, и нападение все же застало нас врасплох. Вину взвалили на некоторых военных; среди них был танкист, которого я не раз встречал в Алкала и у Гвадалахары, генерал армии Д. Г. Павлов; его расстреляли.)

Я пошел в «Знамя», рассказал про телефонный звонок. Вишневский просиял, признался, что его сильно ругали в ЦК. При мне Вишневскому позвонил тот самый товарищ, который его ругал, сказал, что «произошло недоразумение».

Различные редакции звонили, просили отрывки из романа.

Фадеев передал, что хочет со мною поговорить. Александр Александрович был человеком крупным и сложным; я узнал его в послевоенные годы. А в 1941 году он был для меня начальством, и разговаривал он со мною не как писатель, а как секретарь Союза писателей, объяснил, что не знал, как может измениться международная обстановка (привожу записанную тогда его фразу: «С моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова»).

Вскоре после этого разговора в Клубе писателей был вечер армянской поэзии. Председательствовал Фадеев. Увидев меня, он сказал: «Просим Эренбурга в президиум».

Я познакомился с прекрасным поэтом Аветиком Исаакяном. Фадеев на вечере сказал о нем, что «солнечная Армения дала ему счастье» и что он «перестроил свою лиру». Исаакян расспрашивал меня о трагедии Франции (он долго прожил в этой стране, и говорили мы по-французски). Он спросил, читал ли я перевод его поэмы «Абул-Ал-Маари»; я сказал, что читал по-французски один отрывок. Он задумался: «нужно уметь уходить — это самое важное. Вот вы рассказали о том, как уходил Париж. Но и этого мало... Я недавно много думал о Толстом — он тоже ушел...» Нас прервали. Я глядел на его лицо и не мог наглядеться: вот уж не «солнечное» — старое, не старостью человека, а веками истории, горя, камней, крови... Да и нельзя перестроить лиру.

Для меня это было короткой вылазкой: рыбе разрешили на минуту нырнуть в воду.

В мае я ездил в Харьков, Киев, Ленинград. Встретился со многими старыми друзьями — с Лизой Полонской, Тыняновым, Кавериным, Ушаковым, О. Д. Форш. Познакомился в Харькове с молодым студентом, который писал стихи,— Борисом Слуцким. В киевской гостинице «Континенталь» танцевали. За нашим столиком сидел молодой поляк; он рассказывал о немцах в Варшаве. Софья Григорьевна Долматовская заплакала. В Ленинграде в «Европейской гостинице» пьяные немцы кричали «гох!». Я выступал в Выборгском Доме культуры; меня закидали вопросами: правда ли, что немцы собираются нарушить договор, или это английская провокация.

Немцы заняли Грецию. Сталин стал председателем Совнаркома. Гесс приземлился в Англии: предлагал мир. Черчилль заявил, что самые трудные испытания впереди.

Вот записи тех дней. «21 мая. Звонили из ПУРа: «Напишите о немцах, но так, чтобы это выглядело, как план вашего романа, для «военнослужащих». Шейнис звонил: статью в «Труде» задерживают. Все говорят о войне. 23 мая. Бои на Крите. Инструктор райкома: «Незачем паниковать. Немцы соображают...» 2 июня. Англичане оставили Крит. 3 июня. В «30 днях» сняли мою статью. Лондон сообщает, что из Москвы выслали греческое посольство. 5 июня. Вечером была Анна Андреевна: «Не нужно ничему удивляться». 11 июня. Ж. Р. Блок: «Заказали статьи, но не печатают». 7 июня. С Качаловым и Москвиным: «Что же стало с Францией? Мы ничего не знаем». 9 июня. Толстой сказал, что получил письмо от Бунина. «Немцы способны на все...»

10 июня. Суриц: «Самое опасное — это духовная демобилизация». 11 июня. Вечер в НКИДе. «Почему вы не обличаете в романе английский империализм?» 12 июня. Радио, выступление американского журналиста Дюранти: немцы сосредоточивают на востоке около сотни дивизий. 13 июня. Опровержение ТАССа. Вечером читал в Генеральном штабе. 14 июня. Лондонское радио настаивает: немцы сконцентрировали на советской границе огромные силы. Читал у пограничников. «Вот пели «Если завтра война», а что делали?.. Грохоту слишком много...» 17 июня. Кармен показывал фильм о Китае. Похоже всюду, только китайцы не убегали, а уплывали по реке. Читал политрукам, спрашивали, правда ли, что звонил Сталин. «Нужно сделать некоторые выводы...» 18 июня. У Пальгунова, долгие переговоры. Пакт Германии с Турцией. 19 июня. Лондон сообщает, что немцы усиливают подготовку в Финляндии. Выступал для летчиков гражданского флота. Один послал записку: «У нас часто встречается несложное, но оригинальное устроение ума». 20 июня. Жара. Из «Труда» звонили: «Слишком остро». 21 июня. Читал на заводе. Председатель сказал: «Мы не остров, мы гигантский материк мира». Записка: «Хочется материться, когда слышишь такое»...

Двадцать первого июня прошел сильный дождь. Люба собиралась в воскресенье поехать за город — снять дачу.

Двадцать второго июня рано утром нас разбудил звонок В. А. Мильман: немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин. Вместо него выступил Молотов, волновался. Меня удивили слова о вероломном нападении. Понятно, когда наивная девушка жалуется, что ее обманул любовник. Но что можно было ждать от фашистов?..

Мы долго сидели у приемника. Выступил Гитлер. Выступил Черчилль. А Москва передавала веселые, залихватские песни, которые меньше всего соответствовали настроению людей. Не приготовили ни речей, ни статей; играли песни...

Потом за мною приехали — повезли в «Труд», в «Красную звезду», на радио. Я написал первую военную статью. Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: «У вас есть воинское звание?» — я ответил, что звания нет, но есть призвание: поеду, куда пошлют, буду делать, что прикажут.

Поздно вечером на Ордынке я увидел парочку. Молодая женщина плакала. Мужчина ей говорил: «Да ты не убивайся! Слышишь, Леля, я тебе говорю: не убивайся!..»

Это был самый длинный день в году, и он длился очень долго — почти четыре года, день больших испытаний, большого мужества, большой беды, когда советский народ показал свою духовную силу.

КНИГА V

1

Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Берггольц, Бека, Бакланова (этот список, конечно, далеко не полный). Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу: нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими.

Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники.

Мне неохота повторять и себя, но боюсь — это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связано с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома, их окрестили «полковник» и «подполковник», на них часто глядела одна из героинь романа Рая, я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами, я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рос и, как доктор Крылов, в Щиграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами.

Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города метались, скрипели, рушились, как деревья. Все было внове и непонятно — призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурства на крышах, зловещие слухи, слово «окружение», страшное, как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке — даты и города: 27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 10 июля — Остров, 14 июля — Псков, 17 июля — Витебск, 20 июля — Смоленск, 14 августа — Кривой Рог, 20 августа — Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа — Днепропетровск, 1 сентября — Гатчина, Каховка, 13 сентября — Чернигов, Ромны, 20 сентября — Киев... (Я записывал то, что узнавал в «Красной звезде»; сводки по большей части говорили о «направлении».) За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страницы истории, а тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную сводку. Радиоприемники вскоре отобрали, остались «тарелки», и дважды в день «тарелка» с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой

армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию и что мы отходим, все отходим и отходим.

«Какие новости?» — спрашивал я в редакции Карпова. Он отвечал: «Направление Вяземское, но Вязьму уже оставили». Понять что-либо было невозможно, оставалось верить, и вместе с другими я верил — наперекор сводкам, беженцам и женщинам с узлами, заполнившим московские улицы.

Я встречал много людей — и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию «Красной звезды», бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен, но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали: «В чем дело?..» Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории, и вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова: «превосходящие силы противника» — они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного: почему же у немцев больше самолетов и танков?

Третьего июля рано утром мы слушали речь Сталина; он, видимо, волновался — слышно было, как он пил воду, да и начал он непривычно, назвал нас «братьями и сестрами», «друзьями». Сталин объяснял военные неудачи внезапностью нападения, говорил о «вероломстве» Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На Пушкинской площади в витрине «Известий» висела большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам.

Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги! Но нам было не до исторических оценок — фашисты рвались к Москве!

По переулкам Замоскворечья шагали ополченцы, шагали нестройно — с одышкой, с гирями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной выправке.

Как другие, я переживал тревогу и, как другие, событиями был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. О «Красной звезде» я расскажу дальше, сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить — другого выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было.

Начали приходить телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост»,

«Ля Франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио — и для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов.

Лозовский сказал мне, что Сталин придает большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги главным образом для Америки — славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили С. М. Михоэлс, С. М. Эйзенштейн, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, архитектор Б. М. Иофан, а также П. Л. Капица и другие. (Некоторых из выступавших или подписавших обращение восемь лет спустя арестовали только потому, что они входили в Еврейский антифашистский комитет.)

В тот самый день ко мне пришел мой давний друг, польский поэт Броневский — его незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении, многим возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов, он усмехался: «Я это понял раньше тебя...» Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме, он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, то его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму — не потому, что там лучше, а потому, что он поляк...

Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу: вот настоящий интернационалист!.. Что-то в мире изменилось, я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях XIX века, ненавидели национальную ограниченность, верили, что границы доживают свой век. В годы первой мировой войны все происходившее меня ошеломляло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании

Беженцы. Июнь 1941 г.

Часовой на улице Горького. Москва, 1941 г.

Ополченцы. 1941 г.





я понимал горе народа, но там была гражданская война; подвиг интербригадовцев как бы продолжал Коммуну, Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важное и цепкое — земля. Я сидел на московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами, она говорила: «Петенька, не шали, пожалей меня!..» Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идея идеями, но есть и это...

В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми — противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были внове. У людей разные характеры, и они по-разному себя вели: одни были спокойны, другие с непривычки пугались, некоторые тащили в убежище мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставали меня в «Красной звезде». В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать (шутя мы называли этот погреб «презрением к смерти»). Когда я выходил рано утром и шел по улице Горького, я радовался: все дома на месте! Архитектура этих домов мне никогда не нравилась, но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, вышедших живыми из боя.

Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский — наш дом был оцеплен. Работали пожарники. Я испугался: что с Любой, Ириной? Вскоре я нашел их в переулке,— оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус, и всех удалили из дома.

Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя; я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной; помню его крик. Бомба разорвалась близко — на Якиманке.

Однажды я был на пресс-конференции: С. А. Лозовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены, и я оказался в убежище с американским писателем Колдуэллом и его женой. Мы разговорились; несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Е. П. Петровым. Мы шли по Никольской, видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке рыжели отсветы пожаров.

Еще в первые дни войны Лозовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно



отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом. Лозовский многое понимал, но у него были ограниченные возможности: решал А. С. Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. (Это было 3 сентября.) Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил: «Зажирели до войны...» Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что я должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Совинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился: «А вы не оригинальничайте...»

В другое время такой разговор меня обескуражил бы, но я продолжал работать: мне было не до сомнений. Наверно, такие минуты переживали тогда многие — одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не прерывал своей работы, борьбы; жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди, его пережившие, вспоминают о нем с гордостью.

Писатели долго (разумеется, не по своей воле) обходили первые месяцы войны молчанием, начиная повествование с контрнаступления в декабре 1941 года. А между тем все было решено именно в первые месяцы, тогда народ показал свою душевную силу.

Конечно, были растерянность и паника; много раз я слышал жесткое слово «доигрались»... Я был в деревне Афонино на Брянском фронте — ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо: у немцев порядок, приехали на машинах, аккуратно одеты, даже солдаты получают шоколад. Кто-то из солдат выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали.

Президиум еврейского антифашистского митинга. Сидят: С. Маршак, П. Маркиш, Д. Бергельсон, И. Эренбург. Стоят: Я. Флиер, Д. Ойстрах, И. Нусинов, С. Михоэлс, Я. Зак, Б. Иофан, В. Зускин, А. Тышлер, Ш. Эпштейн. Москва, 1941 г.

Польский поэт В. Броневский

С. А. Лозовский



В октябре хлеб стоял неубранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали: «Нечего панику разводить»,— а несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким, с «винтиками» и «колесиками»; в мирное время он, плохо ли, хорошо ли, работал, а осенью 1941 года требовалось другое: инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение.

Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентиках». Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу битую и недобитую интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте, работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях: с первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский, Кирсанов, Сурков, Лидин, Габрилович, многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горя не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, окостенение аппарата, а главное, страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и всем «интеллигентикам».

Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941 года,— имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов прогнал дым кадильниц. (Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться.) Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого, жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция.

Иностранцы ломали себе голову: хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделывались по шпаргалке: «русским мистицизмом», «долготерпением», «фатализмом Востока». После контрнаступления под Москвой один американский журналист говорил мне: «Никакой загадки тут нет — вас спасли размеры террито-





рии». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предместий Мадрида и неожиданно для себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре.

Помню беседу с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. (О всех трудностях Колдуэллу я тогда не мог сказать — мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали: когда смерть рядом, одной дисциплины мало — нужно самопожертвование.)

С точки зрения военного историка первые месяцы выглядят достаточно мрачно; небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагов огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны; было много беспорядка, хромала связь; немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери.

Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением — необстрелянными юнцами, говорил хорошо, по-человечески, признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки; рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом.

Там же я встретил одного из «испанцев» — танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся: «Помнишь?.. Та же картина... Только здесь, думаю, выстоим...» Мы сидели в избе. Изможденная крестьянка цыкала на ребенка: «Тише — генерал думает...»

По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали, и снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя, очень много, но, как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего не хочу идеализировать, это сущая правда: люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на костюм, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей.

На Волге я видел пожилого машиниста; он вел состав семьдесят два часа подряд, рассказывал, что, когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению: «А как же?.. Теперь иначе нельзя...» Ко мне в «Красную звезду» пришла старая еврейка из Винницы, рассказала, как ей удалось уйти, она прошла сто километров пешком; потом ее взяли на грузовик, и вот она несла чужого ребенка — родителей немцы убили. Из Орла вывозили музей Тургенева, и директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились: «Да кому нужна этакая рухлядь?» — в вагоне стоял старый, продырявленный диван; директор в сотый раз объяснял, что это диван-«самосон», так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались: «Вези...» Все это я рассказываю несвяз-



Крымская площадь в Москве. 1941 г.

но. Я написал «Бурю», там был план, сюжет; а сейчас, когда я вспоминаю те месяцы, слезы подступают к горлу: уж очень тяжело было людям, право, они этого не заслужили.

Немцы быстро продвигались к Москве. Одна маленькая девочка сказала матери: «Мамочка, да роди ты меня обратно!..»

«Красную звезду» перевели в подвал Театра Красной Армии, сказали, что там спокойнее — под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы; а ночи были темными; я упал, расшибся, статью в номер все же написал.

Что скрывать — настроение было отвратительное. Но людям необходимо посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте военных операций. Он ходил громко, как еж,— топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то — не просто, а военный — сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Богатырев решил, что Гудерьян — армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного...»

К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Е. П. Петров: приказ Щербакова эвакуировать Информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. В суматохе первых месяцев меня забыли ввести в штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорил, что я должен работать для заграницы, важнее всего, чтобы

я посылал статьи через Информбюро. Щербаков был секретарем ЦК, и спорить с ним не приходилось.

На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума — повсюду чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью последней части «Падения Парижа». Потом я огорчался, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе, горевал, что пропала бритва,— как я буду бриться?.. Повезли нас в пригородном вагоне; было очень тесно — трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне — работники Коминтерна (среди них Долорес, Раймонда Гюйо). На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить, но даже у него ничего не выходило. Афиногенов вслух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку: враг прорвал линию обороны и приближается к Москве.

В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна», потом несколько дней прожили в общежитии «Гранд-отеля», оттуда нас выселили: англичане потребовали места для горничных посольства.

Меня приютил на ночь Я. З. Суриц. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться, говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался.

Я писал статьи в коридоре здания, где разместились Наркоминдел и Совинформбюро,— машинку ставил на ящик.

Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие

Выступление И. Эренбурга в Центральном парке культуры. Москва, август 1941 г.
Днем аэростаты отдыхали
«...Я писал по пяти статей в день». 1942 г.



с фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан и продолжал стучать.

Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт, почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой?.. Они жили в «Гранд-отеле», много пили, порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию, утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Пирл-Харбор, американцы в «Гранд-отеле» подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву, там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Дженни.

Уманский описывал Америку, и от его рассказов становилось неуютно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне: «Боюсь, будет плохо...» — почему, он не объяснил: все-таки он был куда больше дипломатом, чем Суриц: умел вовремя замолкать.

В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой оказии выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора... Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среди поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым; некоторые не могли удержаться — признавались, что нас ненавидят. Я понимал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь.

В Саратове играл МХАТ. Ставили «Три сестры». Вершинин на сцене говорил: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...» Все слушали и вздыхали.

Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву. Лозовский отвечал: «Через неделю все прояснится. Пока что нужно работать...»

Я сидел и писал по пяти статей в день.





Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (он же Вадимов) сразу решил меня прикрепить к своей газете; говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить: вот этого я не умею. Он ответил: «На войне нужно все уметь». Два часа спустя я принес ему статью; он начал читать и рассмеялся, а смеялся он очень редко, да и не было в статье ничего веселого. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал...» Оказалось, что передовые нужно писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя: «Пойдет на третьей полосе...»

Может быть, фронтовикам нравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому, что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде.

Вот несколько фраз из моих статей того времени. «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять». «Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа...» «Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности... Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой...» «Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем...» «Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет...»

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничании. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек — не роман, а жизнь... Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа...»

В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент — труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

2

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из шлангов, моют, скребут... Начались занятия в школах... Во всех переулках баррикады... Очередь у кассы цирка...» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся...

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Харцевиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937 — 1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в один присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми немецкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-

Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку — он похож на послужной список любителя похождений. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.

Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.

При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.

Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многое из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам — Мандельштаму, Паустовскому,

Пастернаку, Федину, Бабелю — было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам — старшим, они только-только распрощались с молодостью.

Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен — эти не будут отсиживаться в штабах, я их видел у Халхин-Гола...» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение.

Однажды — это было в начале 1938 года — я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил: «Я пишу о пустыне Гоби... Когда я писал «Тихоокеанский дневник», «Подвиг», я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе... Мне очень хотелось бы написать про другую пустыню, но это невозможно... А нужно работать — иначе еще труднее...»

Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым: он страдал от перерождения человеческих взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным; больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых (тщетное) спастись любой ценой.

Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин, человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мяг-

Б. Лапин (справа) и З. Хацревин прощаются с кинооператором, улетающим последним самолетом из окруженного Киева. Сентябрь 1941 г.

Французский писатель Жорж Бернанос



кость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.

Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в Переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте, про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность — ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал: «Знаете, все-таки теперь легче — все как-то стало на место...» Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй...»

Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.

Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер...» Это последние его слова, которые до меня дошли.

Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы: приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте.

Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал звучание слов, недописанные строфы — он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств «очкастенький», как говорили чукчи, снисходительный ко всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта X века Рудаки, переведенные очень давно Лапиным: «...И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был...»

Девятого мая 1945 года был праздник; пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня, та, что никогда не зазеленеет,— память о близких...

3

Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом город, а я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, что, кроме Германии Гитлера, существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно

к этому прислушивались — немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться.

Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах: рабочий класс Германии силен, это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. «Конечно,— говорили красноармейцы,— офицеры — фашисты, наверное, и среди солдат попадаются люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел». Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немецкой армии.

На второй день войны меня вызвали в ПУР и попросили написать листовку для немецких солдат, говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на листовки и громкоговорители.

Листовок было много, казалось бы убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед.

Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки.

Редкие пленные (главным образом танкисты), которых я видел в первые месяцы войны, держались самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера: «Я гарантирую всем вашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для военнопленных. А к рождеству война кончится, и вы вернетесь домой». Среди этих военнопленных были рабочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые услышал от перепуганных пленных «Гитлер капут», но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, они снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно — боялись и русских и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков.

В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В двадцатые и тридцатые годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа — густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличность передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешках

пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. «Культура!» — восхищенно и в то же время печально говорили мне красноармейцы, пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер.

Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя, назвал их трусами. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смышленый паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода...»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее страшили благодушие, наивность, растерянность.

Я помнил «странную войну» — торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей... Война — страшное, ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные, грязные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»

В статье, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время — летом 1942 года, я говорил: «Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить... Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца. Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают и носят на спине детишек, убивают русских детей с таким же педантизмом, как и злые. Они убивают потому, что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови... Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что

он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят, как люди. Наша ненависть еще сильнее от того, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под культурных европейцев... Не о мести мечтают наши люди. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они снизошли до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гёте в Веймаре или библиотеку Марбурга. Месть — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами. Мы тоскуем о справедливости. Мы хотим уничтожить всех гитлеровцев, чтобы на земле возродилось человеческое начало. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты: я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера,— мысли и слова неуместны, да и не искренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев...»

Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат: мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально.

На войне человеку хочется порой улыбнуться, и я не только обличал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище «фриц». Вот названия некоторых коротких статей (я писал каждый день): «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц в Шмоленгсе», «Фриц-мистик», «Фриц-литератор» и так далее — десятки, сотни.

Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрна-

Каратели в деревне Рождество. 1941 г.

Зверства фашистов



ступлении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, дети. Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговорился, сказал, что ничего не может понять — он считал, что города бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа... В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы... Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое.

Война, начатая фашистской Германией, не походила на прежние войны: она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работящих обывателей в «факельщиков», сжигающих деревни, устраивающих охоту на стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры — война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовые зверства не только эсэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодеятельных палачей, а всю свою армию, связал десятки миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого, на вид добродушного немца; до войны он работал мастером в Дюссельдорфе, у него там была семья; он бросил русского младенца в колодец, потому что страдал бессонницей, принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом «чисто еврейское мыло» — его изготовляли из трупов расстрелянных. Да что вспоминать — это описано в тысячах книг.

Русский человек добродушен, его нужно очень обидеть, чтобы он рассвирепел; в гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на «виллисе» к переднему краю — меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом; незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у меня табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздобыв в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. «Где же твой табак?..» Он молчал. Наконец ему пришлось признаться: «Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клянчить... Одно из двух — или пускай их всех убивают, а если нельзя, так курить-то человеку нужно...» Это было в 1943 году, а год спустя возле Минска в Тростянце, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить — его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная, и вытер носовым платком края. Меня это разозлило: когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале

кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя, успели отойти, и полчаса спустя один принес пленному миску супа: «Жри, сволочь!»

(Да и я так вел себя: много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они «хорошие немцы», и подписывался — словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же.)

Геббельсу нужно было пугало, и он распространил легенду о еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ.

У меня сохранились вырезки из немѐцких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и продал их в Швейцарии, что меня обслуживает тот же биржевой маклер, что и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что я каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его «Трест Д. Е.», что я хочу превратить в пустыни земли, лежащие между Одером и Рейном, что я призываю насиловать немок и убивать немецких детей.

В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен».

Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартенштейне, накануне занятом нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немецкий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача: наконец он сказал: «Хорошо, но вот Илья Эренбург...» Мне надоело с ним разговаривать, и я ответил: «Не бойтесь, Ильи Эренбурга здесь нет — он в Москве». Врач несколько успокоился.

Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью, немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В утопическом романе «Трест Д. Е.», на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами. Конечно, во многом я ошибся: когда я писал эту книгу, в Руре стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими: Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами, а Брандево оказался Гитлером.

Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой «Норд», желая приподнять своих солдат, обескураженных отступлением, писал в приказе: «Илья Эренбург призывает азиатские народы «пить кровь» немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насиловали немецких женщин: «Берите белокурых женщин — это ваша добыча!» Илья Эренбург будит низменные инстинкты степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде»: «Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора, только немец способен сочинить подобные пакости. Мы идем в Германию за другим: за Германией».

Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах третьего рейха, и Нюрнбергский процесс, и многое другое.

В 1960 году муниципалитет Вены пригласил меня участвовать во встрече представителей искусства и литературы. Вскоре после этого я получил письмо от организатора встречи, австрийского социал-демократа, в котором он спрашивал меня, правда ли, что я в годы войны призывал насиловать немок. Западно-германский журнал «Шпигель» разъяснил, что «документы» о моем страшном прошлом были представлены венцам посольством Германской Федеративной Республики. А недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающий в Мюнхене, передал мне забавные фотодокументы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал: «В течение трех лет Илья Эренбург свободно, открыто, полный ненависти, говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд — не кто иной, как Гейнц Богарц, который в 1941 году выпустил книгу, восхвалявшую Гитлера, и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру.

В 1962 году мюнхенская газета «Зольдатенцейтунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги. Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насиловать немок; грозила издателю, называла меня «величайшим в мировой истории преступником». Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок. Другие, однако, возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса; и все же до сих пор реваншисты продолжают повторять: «Мемуары убийцы и насильника».

Повторяю — дело не во мне. Но среди пятидесяти миллионов жертв второй мировой войны нет одной — фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил.

В годы войны я повторял изо дня в день: мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови — все это может

остаться бенгальским огнем победы, эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая, нечистая политика.

Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет в «Ля марсейез»: «До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю — не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов... Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеи...» К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу «про запас», только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии... Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на развод, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови... Фашизм — страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных».

Я смотрю на старые газетные листы, и мне становится не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на развод фашистов. Оставили про запас кадры рейхсвера. Хотят дать германской армии ядерное оружие; поддерживают лихорадку реванша; продолжается то, что покойный Бернанос назвал «спекулянтской затеей»,— только на зеленом сукне уже не классические «бочки с порохом», не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться!

Я забежал на двадцать лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои; ехали мимо сожженных деревень. Кругом лежали, а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа, солнце казалось розоватым замерзшим сгустком, снег синел. На морозе лица мертвых румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал: «Видите, сколько набили! Эти в Москву не придут...» И — не скрою — я тоже радовался.

Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство — оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь». Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в

письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь...

4

Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб «Покровское»; а села не было — его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь деревню, спасут людей. Ведь в Белоусове не только все избы уцелели, а немцы побросали, убегая, свои вещи, в Балабанове, застигнутые ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальсонах.

Усталые красноармейцы ожесточенно врезались заступами в промерзшую насквозь землю: вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площади Малоярославца.

Немцы заботливо хоронили своих (пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал). Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами, с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось — шла война даже с мертвыми.

Колхозники тоже были разъярены. А один старик мне сказал: «Я думал, что немец распустит колхоз, а он, паразит, корову у меня забрал, всю посуду опоганил — ноги мыл, мать его!.. Вчера четверо пришли: просятся в избу — замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть...»

Стояли на редкость сильные морозы, а красноармейцы-сибиряки ругались: «Вот бы мороз настоящий, они бы мигом окочурились...» Один украинец рассказывал: «Как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло...»

Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались: «Вот уже не думали, что наши вернутся...» Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали: «До весны управимся...»

Генерал Голубев, усмехаясь, говорил: «Я две академии кончил. А эта — третья, посерьезнее». Он рассказывал, что побывал в окружении и вышел — в генеральской форме, но в лаптях. Говорили, что его армии сильно помогли рабочие Подольска: завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготовлять боеприпасы для минометов.

Все было для меня внове: песни, перцовка, обжигавшая нёбо, какая-то Машенька — не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались языки; ругали бюрократов; один офицер сердито говорил: «У нас прокурор чем хвастал? Количеством приговоров — перевыполнял норму»; другой задумчиво

сказал: «Хороших людей губили...» И, однако, все понимали, что защищают не только свою хату, но и Советское государство, милое им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов, а сущая правда. Народ голосовал — без агитаторов и не бюллетенями — кровью.

Во мне мешались два чувства: первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить — немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять: ведь немцы еще недавно заверяли, что рождество они встретят в Москве, и вот их гонят на запад!.. Да и вид пленных приободрял: замерзшие, с головами, замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие, они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом.

Взяли Медынь, начали говорить о Вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я (пророка из меня не вышло)... В день зимнего солнцеворота я писал: «Солнце — на лето, зима — на мороз, война — на победу...»

Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится. 18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными — новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Л. А. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в Петроградском политехническом институте кораблестроения; шла первая мировая война, и в 1917 году молоденького прапорщика отправили на фронт. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца — сдержанность, хорошо скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную

И. Эренбург среди бойцов под Волоколамском. 1941 г.

Л. Сейфуллина на Калининском фронте. 1941 г.





роль сыграла артиллерия: в его 5-й армии он не мог рассчитывать на пехоту — потери были большими, а пополнение задерживалось; развил целую теорию: при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать во всех фазах битвы. Он не только говорил с увлечением, но и меня увлек. Хотя военное дело — скорее искусство, чем точная наука, оно зависит от техники, и самые передовые концепции быстро устаревают. (Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники,— кинематограф; скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, а немые фильмы смотришь с усмешкой.) Леонид Александрович, конечно, не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь, только чтоб передать облик человека: в холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а, скорее, математика или инженера, хорошего русского интеллигента. (Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте, в Москве, в Ленинграде; помню вечер в мае 1945 года — мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, об игле Адмиралтейства.) При всей своей сдержанности, даже склонности к скепсису, Говоров, как и другие, был приподнят удачами, говорил: «Пожалуй, через недельку Можайск возьмем...» А Можайск взяли несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся: «Победителей не судят...»

Снова я увидел сожженные села — Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, но немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз — минус тридцать пять, крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белесое небо; ее муж был учителем математики, ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок; его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о «нормализации жизни», о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы, уходя, подожгли музей, и он еще горел. За два дня дивизия прошла около двадцати километров. Генерал Орлов шутил: «Скоро ко мне приедете...» (Он был из Белоруссии.) Ночью один майор раздобыл водку, колбасы, и мы пировали. Майор, загибая большие заскорузлые пальцы, считал: «До Гжатска шестнадцать километров. Можем дойти в два дня...» Но до Гжатска оказалось четыреста тридцать дней — предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали.

(Я не был одинок в своих надеждах. В. С. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне: «Люди точно стали иными — живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо! Население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они

готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом — народ словно вдруг проснулся... Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так. И есть много оснований так думать». Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он не предвидел последующих испытаний.)

А. С. Щербаков с насмешкой мне сказал: «А вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ!» Москва действительно теряла свой облик прифронтового города. Правда, ночью патрули останавливали на каждых ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице; но «ежи» с улиц убрали; прохожих стало больше. Открылась даже выставка пейзажей; в помещении было холодно, и люди любовались живописью в шинелях или тулупах...

Люди вспоминали о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор «Известий» позвонил мне ночью: «Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали как джентльмена. Это можно понять как намек — он ведь и к нам приезжал. Переделайте...» Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»: дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их отстаивал, как мог, ссылался и на глинистую почву, и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди остались желтыми. В «Красной звезде» как-то ночью начался переполох: «Увлеклись войной, а про даты забыли! Завтра пятая годовщина смерти Орджоникидзе...»

В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме — от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президиума угостили солониной; потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел шесть-семь лет спустя. Л. Н. Сейфуллина не выдержала: «Мой отец был обрусевшим татарином, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но, когда я слышу такие слова, мне хочется сказать, что я татарка...» Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну.

(В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, к кому тянешься, видишь очень редко. С Л. Н. Сейфуллиной мне привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. Я помню ее молодой — в Москве, в Париже. Маленькая, огромные глаза, чуть насмешливая улыбка — было в ней большое обаяние.

В двадцатые годы книги Сейфуллиной сыграли крупную роль в становлении советской литературы. Меня они привлекали искренностью — никогда Лидия Николаевна не знала того, что в писательской среде называли «двойной бухгалтерией». Пуще всего она боялась лжи. Ее любили люди, непохожие друг на друга,— Маяковский, Бабель,

Фурманов, Есенин, Светлов, Лидин. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никакие литературные школы или направления не могут породить длительной дружбы. Лидия Николаевна была чрезвычайно скромной, она вскоре была оттиснута, ее не замечали, точнее, старались не заметить. Правдивость — это не литературное направление, и совестливость не художественный метод. Сейфуллина была всего на два года старше меня, и я поверил в правдивость ее ранних книг, но в те времена они были мне далеки. А к Лидии Николаевне я сохранил до конца любовь за ее душевные качества.

В последний раз я встретил ее в Союзе писателей возле вешалки; разговор был коротким, и все же, как и при былых встречах, мы оба обрадовались. Она хворала, с трудом ходила, но в душе оставалась той же. Умерла она в апреле 1954 года, и, проживи еще полгода, она узнала бы о реабилитации своего друга И. Э. Бабеля... А в моей памяти она осталась — порой шутливая, даже озорная, порой возмущенная, с той обостренной совестью, которую мы, вспоминая литературу прошлого века, называем «русской».)

В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было...» Ему удалось бежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали пить, о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал — не помню.

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме

В штабе Л. А. Говорова. Справа налево: И. Эренбург, Л. А. Говоров. 1941 г.
Н. Тихонов (второй справа) на Пулковском фронте
За невской водой. Ленинград. Зима 1942 г.
Ленинград. Огород перед Исаакиевским собором. Лето 1942 г.





людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных, нетопленых квартирах лежат умершие — у живых нет сил их вынести, похоронить.

Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи — пламя свечи, голубая и розовая Калуга... У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу. (С той поры прошло почти четверть века, и многие из тех, с которыми я встречался в трудные годы войны, выпали из моего зрения — одним слишком хотелось мнимой славы, другие преждевременно состарились и превратились в чтимые многими окаменелости былой эпохи. А с Маргаритой Иосифовной я подружился. Помню обед на правительственной даче в 1957 году, когда ее незаслуженно поносили, ее голос был еле слышен, как голос маленькой пичуги среди урагана, но она стойко отвечала. Бог ты мой, насколько это важнее, чем все славословия и даже чем поэтические вечера в Лужниках,— сохранить свое достоинство, не дать ветру задуть крохотный светильник!)

В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацревине — «пропали без вести». Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали — я иногда отворачивался.

Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лисицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса.

Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием; все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице «Москва» еще можно было получить еду; как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал: «Мы еще эту печенку вспомним»; действительно, через месяц все изменилось. Я получал в ЦДРИ один обед, его ели почти всегда трое, а то и четверо.

В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили — Шапиро, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати — для Юнайтед Пресс, для «Марсейез», для английских и шведских газет.





Почти каждый день мне приходилось выступать — то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчиков. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос, люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря: тростник мыслил.

Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах, и вот одна статья («Враг») кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к редактору «Известий», писал Щербакову, но ничего не добился; его перестали печатать. Рассердились и на Е. Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». К. А. Уманский говорил: «Скучно! Немцы в Гжатске. Идет переброска дивизий из Франции. Мне поручили написать ноту о зверствах. А тут открывают второй фронт — наступление на Женю Петрова...»

Но бог с ними — с начетчиками, перестраховщиками и помпадурами,— в годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта, из тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин — о наших женщинах в годы войны мало написано, а они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области: «От Семеновой Елизаветы Ивановны. Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Козицино враг, у меня, у Семеновой, первой взяли корову. Потом у меня взяли гусей. Я стала не давать, дали мне по щеке. И затопотал он на месте: «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке, и закричали: «Уйди! Пускай враг жрет». На другой день ко мне пришли, брали последнюю овцу. Я стала плакать, не давать. Германский тогда затопотал ногами и закричал: «Уйди, матка!» Когда я обернулась назад, он выстрелил. Я от ужаса упала в снег. А последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без средствий с троими детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии — Круглов Алексей Егорыч, Круглов Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады! А мы будем вам помогать, чем только можем».

Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов: «Здравствуй, любимый братец Митроша! Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом я хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами... Когда пришло извещение о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает: «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филю убили, то мама сразу обмерла. Мы очень плакали целые два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал: «Папа, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно, и здоровье мое хорошее...» Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю, Митроша, отомсти немцам, за своего братца. Будь героем!.. Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься... Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока



Москва готовится к обороне. 1941 г.

ничего. Наташа бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо, хлеба нет, есть совершенно нечего. Из колхоза дадут 9 кгр. на 7 человек на 5 дней. На нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего. Все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого братца, он погиб за счастье народа...»

Вот отрывки из письма О. Хитровой: «Часто слышишь, что теперь война и поэтому скоро и нам конец и поэтому не стоит делать хорошо. А разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уж раньше смерти умрешь, то победы не увидишь... Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит, вообще на все смотрит спустя рукава. А зачем это? Ведь от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддалась такому настроению, услышу плохую сводку с утра — и весь день все из рук валится. А теперь душой скрепилась. Услышу сводку — плохо, а я себе говорю — назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти! Если у нас где-нибудь шпион, пусть увидит, что мы держимся...»

Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково, Эдды Халифман: «...Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я «по негожести», как

говорят в Котельникове, была от него освобождена. Перед самым уходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, взяла в руки свои работы — вот лексикология французского языка, работала над ней год, вот история французского литературного языка XIX века — два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание — четыре года работы, поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев, вы знаете, что это значит... Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восьмилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фашистов и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в зоо, а в степи. Много было страшного. Потеряла здесь отца. Пришли известия с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе, страдания сочетаются с жгучей ненавистью, то становишься крепким, хочешь, как шутливо говорят мои друзья фронтовики, «выдержать рентгеновское просвечивание войной»... Нелегко приходится — новая среда, новое окружение требуют новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового Совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки... Чтобы выдержать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы...»

Я и теперь разволновался, перечитав груду писем, тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать «рентгеновское просвечивание войной»...

Жил я в гостинице «Москва» (моя квартира была повреждена при бомбежке), жил как в раю, или, вернее, как в «Княжьем дворе» в 1920 году,— тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, я в феврале дописал последние главы «Падения Парижа». Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице,— Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров, как всегда, был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас многое переменится. Суриц сердился: «Люди не так легко меняются,— и, понизив голос, добавлял: — Он тоже не изменился...» Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил: «Лучше ждать худшего»...

К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Г. К. Жуков рассказал нам, как протекало наступление; битва за Москву закончена; может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом нео-

жиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина, говорил он без привычных трафаретов — «гениального стратега» не было, да и в тоне не чувствовалось обожания; поэтому его слова на меня подействовали. Он повторял: «У этого человека железные нервы!..» Рассказывал, что много раз говорил Сталину: необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву; дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал: нужно подождать — через три дня прибудет такая-то дивизия, через пять дней пододвинут противотанковые орудия. (У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые перебрасывали к Москве.) Только когда Жуков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я записал рассказ Жукова.



Г. К. Жуков под Москвой. 1941 г.

Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией прежде всего его «гениальности». Большая советская энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами; в хронологии событий, где приведены почти шестьсот важнейших, сто относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствиям и приемам. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены «десять сталинских ударов». Приложена фотография: «Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вел переговоры с фронтом». Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль в победе над Германией непомерно преувеличивалась. Но рассказ командующего Западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят.

(Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина. А наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из «Огонька». Снова припомню слова Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить...»

Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое; люди надолго

сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от Ягоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели — трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже «тьмы низких истин». Однако бывают обманы, которые принижают человека, и я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду.)

В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если и вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы, что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном «сокращении линии фронта» не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый удар, не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку: наступило страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предрешила.

Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости; техника у рейхсвера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941—1942 года обозначилась слабая сторона фашистской армии — она оказалась пригодной только для наступления, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома.

5

Я сейчас задумался над этой книгой; я пишу предпоследнюю часть, приближаюсь, следовательно, к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выглядят черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался и с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но я с ними не дружил — не потому, что был особенно зорким, просто судьба смилостивилась. Были и у меня разочарования, порой я если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызывавших душевное принижение многих, не хочу судить, тем паче что не убежден в своем беспристрастии.

Все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить.

Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря: все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже двенадцать лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась,

но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, я вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть.

Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова. Он меня изумил прежде всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо и вместе с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коробило — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».

На следующий день солдаты говорили со мною о генерале, хвалили его: «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»...

Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за Безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон.

Потом я увидел расщепленный лес, он казался мертвым. Снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млел и чуть поникал. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку.

Мы прошли в блиндаж; видимо, там жили немецкие офицеры: стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского какао. Санитары выносили раненых. Власов говорил: «А до Петушков не дошли... Треклятые Петушки!.. Впрочем, так нужно — прогрызаем их оборону...»

Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На

И. Эренбург среди летчиков. Зима 1942 г.

И. Эренбург (третий справа) в 20-й армии. Второй — генерал А. А. Власов





КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили; вернее, говорил Власов — рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду, простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменилось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной Поляны — начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил»... Многое он критиковал: «Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейца, кто командует его батальоном, он отвечает «рыженький», даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Суворов умел себя поставить...» Желая что-либо похвалить, повторял: «Культурно, хорошо». Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался: «Мы до них доберемся...» Вскоре после этого сказал: «У них есть чему поучиться. Видали в блиндаже кровати? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат уважает своего командира, не ответит «рыженький»...» Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю, не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают...»

Среди ночи он разнервничался: немцы осветили небо ракетами. «На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверно, возьмут назад ложбинку...» Часто он вставлял в рассуждения поговорки, прибаутки, были такие, каких я раньше не знал; одну запомнил: «У всякого Федорки свои отговорки». Еще он говорил, что главное — верность; он об этом думал в окружении. «Выстоим — верность поддержит...»

Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный: «Товарищ Сталин оказал мне большое доверие...» Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину — поехал на передний край проститься с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные: «Пообедаем...» В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки. А я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолюбивым, но смелым; тронули его слова о верности. В статье, посвященной боям за Безымянную высоту, я коротко описал командующего армией.

Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование 2-й ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда, и я подумал: что ж, выбор неплохой...

Четыре месяца спустя, а именно 16 июля, немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира; он прятался в избе, был одет как солдат, но, увидев немцев, закричал, что он генерал, и, приведенный в штаб, доказал, что действительно является командующим Особой армией генералом Власовым.

Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, расска-

зал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку, и ругался.

Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образовывает из военнопленных армию, которая будет сражаться «на стороне Германии — за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя».

Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне: «Жидовская собака Эренбург кипятится», подписана листовка «Власовцы». Я вспомнил, как рослый генерал в бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал, и выругался (правда, не цветисто — я не Власов).

Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переоделся. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было — было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его посадят, в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил, он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: «У всякого Федорки свои отговорки»...

Власову удалось набрать из военнопленных несколько дивизий. Одни пошли измученные голодом, другие потому, что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими, и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузена рассказывали о жестоких расправах власовцев с населением. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания.

В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой Должик. Их окружил батальон, они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков, третий и санитарка были тяжело ранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика Напивкова, а девушке, обливавшейся кровью, грозили пистолетом — хотели, чтоб она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было двадцать девять лет.

А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я полу-

чил письмо с припиской: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев: «Дорогой Илья Григорьевич! Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина». Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение; несколько человек струсили, убежали к немцам, других убили; живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем боевом друге.

Я сейчас говорю не о фашизме, а о людях.

Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на все, решительно на все. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. (Все о нем давно позабыли, даже его подручные, вовремя убежавшие в американскую зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а «свободный мир», им неудобно вспоминать о том, что они были власовцами.)

Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всесущ — он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы давно потерявшего дар удивления.

6

Передо мной маленькая фотография: редакция «Красной звезды» ночью. Я принес очередную статью, за столом капитан Копылев, рядом стоит Моран; лампа освещает газетную полосу.

Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945-го — с ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помню, как седой от пыли, измученный солдат (та пехота, что шагает) упрямо повторял: «Нет, ты мне дай «Звездочку»...» У меня сохранилось письмо от женщины из Томска: «Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни...» В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Конечно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди.

В 1941—1943 годы газету редактировал Д. И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не щадил ни себя, ни других. Я был с ним под Брянском. В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Миномет...» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!» О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить — он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох»: после того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывал полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь наверху не понравиться. Так вот генерал Вадимов если и «ловил блох», то без лупы; часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что, когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», это означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось не часто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авдеенко, который незадолго до войны по приказу Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом — писал, что Авдеенко «боевыми действиями искупил свою вину». Очерк был напечатан. Раза два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге. Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали эринии; пожалуй, он был прав — фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против «рептилий», против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из ЦДРИ, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала

Ночью в редакции «Красной звезды». Р. Д. Моран, Г. Копылев, И. Эренбург. Москва, 1941 г.

И. Эренбург и Д. Ортенберг под Можайском. 1941 г.





не поверил, потом рассвирепел и отправился ни более ни менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплинговские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям.

В конце июля 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте; сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев объяснил: «Умчался... Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке... В общем, его сняли. Щербаков его не выносит...»

Вадимов вскоре уехал на фронт, в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей; он написал в ответ: «Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бурь!»

Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала — это был Н. А. Таленский, новый редактор «Красной звезды». Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя, к счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Таленским я ездил в 1962 году в Брюссель на совещание «Круглого стола», посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком.

Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет свои, а тогда частенько писал передовицы — Вадимов шагал, чуть прихрамывая, по кабинету и объяснял, что именно Моран должен написать. Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в «Известия», его арестовали как «космополита», и я снова его увидел только в 1955 году.

Работал в редакции М. Р. Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в немилость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменилось, кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво. А он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 году я поехал с ним в Америку, и о нем, о его судьбе напишу в последней части этой книги.

Ортенберг сумел прикрепить к газете хороших писателей. В. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Е. Петров в начале войны писал для «Известий», но последние, севастопольские очерки появились в «Красной звезде». Среди военных корреспондентов газеты были и другие

писатели — Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить А. Н. Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу — составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет — словом, делал, что мог.

Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете коптилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов или Карпов швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко. «Одновременно с этой запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает — сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем Советского Союза, о его геройстве узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул — в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «...Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка; на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке — напротив все еще занятого немцами Киева — я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне — о жизни, об искусстве. Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер походил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь я моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня...» Мы расстались будто старые

друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб как солдат — от пули.

На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Соже — Симонова, у Можайска — Ставского, в Белоруссии — Твардовского, в Вильнюсе — Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе — нам было не до этого.

Я вспоминаю конец сороковых годов... Трудно себе представить, что во время войны мы жили как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья — А. Я. Таиров, П. П. Кончаловский, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, А. А. Игнатьев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг; мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта: «...Чего, например, стоят все эти стишки о том, что солдат идет в бой, распевая песню о любимой или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты «Синего платочка»? Неужели так и не подымется смелый, авторитетный голос в защиту русской поэзии против пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать, а что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы». Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне: «Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово — потому, что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантируют прямоту и резкость суждений — лучшие качества в критике...» Письмо было подписано Н. Грибачевым.

Признаюсь, меня в те годы мало огорчали даже трескучие стихи. (Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все заглушал.) Просматривая уцелевшие записные книжки, я нахожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей, даже не журналистов — артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать.

Генерал П. И. Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила «Двенадцать заповедей» — инструкцию, подписанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. П. И. Батов пишет: «Политработники 65-й армии использовали «заповеди» в беседах с бойцами. Помнится, у чеботарцев беседу проводил лично командир полка. Гневный смех. Резолюция: «1. Клянемся бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге. 2. Послать «заповеди» товарищу Эренбургу и просить раздраконить фрицев через

«Красную звезду». Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях.

Одну из моих статей 1942 года я озаглавил «Жить одним!». Прожить жизнь одним очень трудно, это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах да еще, может быть, ученому. Человек — сложное существо: не птица и не рыба, он живет в различных стихиях, живет разным и по-разному. Но, видимо, почти каждому приходится хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, от привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941—1945 годы — в годы «Красной звезды»...

7

Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков — просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать — мы или немцы.

Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам почитаю стихи». Я приготовился к очередному испытанию — кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах.

Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где ревут орудия. Я повторял: «Еще... еще...»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался.

Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно:

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
                можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки...
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
                идет охота.
Будь проклят
                сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
                и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо...

Бой был короткий.
                  А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
                  я кровь чужую.

Я видел первую мировую войну, пережил Испанию, знал много романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью — романтически приподнятых или разоблачительных — Стендаля и Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны; многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком, лира — лирой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. А Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-добровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи — Думиничи — Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. (При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда...»)

В то утро он мне прочитал и «Балладу о дружбе». Слово «баллада» еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем не романтичными. Боец знает: один из двух должен погибнуть, выполняя задание,— он или его друг.

Мне дьявольски хотелось жить,—
пусть даже врозь,
                  пусть не дружить.
Ну, хорошо,
            пусть мне идти,
пусть он останется в живых...

Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с тем мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления: «На сажень человеческого мяса нашинковано»... Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие. «Священная война»? Не те слова! И вот я услышал стихи Гудзенко...

В то утро я ни о чем его не спрашивал — слушал стихи; узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в ИФЛИ и слышал мои стихи о Париже в сороковом году.

(Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке: «Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней...» Так часто бывает

при первой встрече: мы не знали друг друга и рисовали собеседника, руководствуясь своей собственной душевной настроенностью.)

Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Морану; звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью.

Он пришел снова, мы пригляделись друг к другу. Я его полюбил.

Стихи его напечатали. Потом устроили вечер в Клубе писателей; он вошел в литературу. Время было военное: быстро призывали, быстро признавали, быстро и забывали.

Он был смелым и удивительно чистым; перед смертью он не оробел; а в литературной среде на первых порах выглядел смущенным подростком. Расскажу об истории с двумя строками, которые я привел выше:



Семен Гудзенко. Портрет работы Л. Козинцевой-Эренбург. 1947 г.

Будь проклят
сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.

Редактор потребовал замены. Гудзенко послушно написал:

Ракеты просит небосвод
и вмерзшая в снега пехота.

Я его спросил, при чем тут небосвод, он виновато улыбнулся: «Что я мог сделать?..» (Прошло пятнадцать лет. Гудзенко умер, и в издании 1956 года появился новый вариант, столь же нелепый: «Тяжелый сорок первый год и вмерзшая в снега пехота» — как будто солдат, которому кажется, что он притягивает мины, академически размышляет: год тяжелый. Только в 1961 году, после того как начала оттаивать вмерзшая в снега поэзия, восстановили подлинный текст.)

В феврале 1945 года он мне писал с фронта: «Посылаю вам пять стихотворений — печатных и непечатных. Пишу вообще много, записные книжки полны, но что из этого получится, бог знает. Если что из стихов можно напечатать, будет хорошо... В стихах чернилами даны печатные варианты. Я ведь обучен цензурой с первого стиха».

В 1942 году Гудзенко говорил о будущем сурово и с доверием. Как все его однополчане, да и как почти все его соотечественники, он верил, что после победы жизнь будет лучше, чище, справедливее.

Гудзенко, едва оправившийся от тяжелого ранения, в Москве попал под машину. Он долго пробыл в тылу; работал в Сталинграде, в вы-

ездной редакции «Комсомольской правды». Оттуда он прислал мне свои стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило, как открытие:

...И наконец-то
　　　　　　с третьим эшелоном
сюда пришла
　　　　　　сплошная тишина.
Она лежит,
　　　　　　неслыханно большая,
на гильзах
　　　　　　и на битых кирпичах,
таким
　　　　　　сердцебиеньем оглушая,
что с ходу засыпаешь
　　　　　　　　　　сгоряча.

В сентябре 1943 года он мне писал: «Собираюсь на Украину. Киев не дает покоя. Вероятно, скоро там буду. О тыле больше писать здесь не могу. Снова пишу о фронте. Что получится?»

В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробегала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке: «Гудзенко спрашивал, зачем ввели раздельное обучение, вводят форму, рассказал, как обидели еврея-киевлянина. За год он очень повзрослел».

Гудзенко шел с армией на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытаний? В 1942 году Гудзенко писал:

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

В 1945 году изменились не только названия городов, где шли бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам:

Занят Деж,
занят Клуж.
Занят Кымпелунг.
...Нет надежд.
Только глушь.
Плачет нибелунг.

Незадолго до победы он писал мне: «Война на нашем участке еще настоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву... Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется...»

Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал старую, вылинявшую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов — он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона. Он знал, что это большие дела большой столицы, но что «у каждого поэта есть провинция», признавался:

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция —
Война...

Есть в его книжке такая запись: «Читал на станкозаводе имени Орджоникидзе... Слушали... Мне самому от своих стихов было скучно...»

Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он ни писал, в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо: он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал, слыл примерным оптимистом. (Я вспоминаю его юношеское признание: «Вечные спутники счастья — сорок сомнений и грусть».) Как-то мимоходом он сказал мне: «Я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно...» Я не возразил, а может быть, он ждал возражений, не знаю.

Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал:

Мы не от старости умрем,—
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Это напоминало обычную армейскую песенку. А в 1952-м мне рассказали, что Гудзенко болен — последствия военной контузии, сделали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом...

Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной и далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане.

До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я!

За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло; может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я; да и время было не очень-то благоприятное для задушевных бесед. Два или три дня спустя он забежал ко мне на минутку, будто бы забыл надписать книгу, постоял, поулыбался и, уже прощаясь, сказал: «Многое не так получилось... Но мы еще увидимся, поговорим...» Больше я его не видел.

Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала эпоха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных — снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц — февраль, в очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года — незадолго до первой оттепели.

Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь

у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи,— Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи; они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до войны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое он назвал «Мое поколение», навязчиво повторяется строка:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...

Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темной передней: «Многое не так получилось...»

А Гудзенко до слез жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года, когда на короткий срок поднялся выше всех, увидел и сказал...

8

Десятого марта 1942 года мне позвонил представитель сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор «Метрополя» согласился предоставить крохотный номер. (Умывальник стыдливо прикрыли скатеркой.) По тому времени обед был прекрасный; дали водку. Гарро оказался подвижным французом, небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно де Голлю в Лондоне: для англичан он эмигрант, и только. Гарро строил планы: почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий? Можно начать с авиации. О положении во Франции он отзывался, скорее, мрачно: «Возмущаются немцами почти все, но, что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие...» Себя он неизменно называл «якобинцем».

Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Пети, журналист Шампенуа, турецкий консул и настоятель московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал: «Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать «бедную Германию». Для них война — это партия в крикет...»

Я рассказывал о том, что видел на фронте, и отец Брон возмущался фашистскими зверствами. Вскоре после этого А. С. Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части: «Напишите для них листовку — вы ведь бывали в Словакии...» Я сразу подумал о Броне: среди словацких крестьян было много верующих, и на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства (дипломаты еще находились в Куйбышеве). Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость и что

с Ватиканом нельзя шутить. Мы говорили о догматах церкви, о положении на фронте, о де Голле. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горючего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передвигаться, чтобы причащать умирающих, а получив отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом.

В апреле, когда я получил за «Падение Парижа» Сталинскую премию, Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля. А генерал Пети прислал длиннущий трут для зажигалки: всю войну, в отличие от отца Брона, я мог не беспокоиться о бензине.

Генерал Пети был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа; я был у него во Дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался недолго — не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, оасовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал: «Вчера меня пластиковали...»

В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро: «Второй фронт отложен — возврат мюнхеномании», «Англичане и до войны проводили уик-энд в Дьеппе — увеселительная прогулка, а мы поверили», «Вы воюете у Сталинграда, а они обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободить от немцев и в свою очередь оккупировать»...

Двадцать восьмого сентября 1942 года Советское правительство признало Национальный комитет сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать от лица французского народа. Гарро меня обнимал. Он выступил по радио со страстной речью: «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверья между СССР и Францией, которая вернет себе престиж и величье». В ресторане «Арагви» Гарро восклицал: «Мы должны повесить всех генералов вермахта, это не военные, а преступники!..»

В декабре 1944 года в Москву приехал де Голль, его сопровождали генерал Жюэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли в тупик: де Голль не хотел признать новое польское правительство («Люблинский комитет»). Меня пригласили на обед во французское посольство. Дам не было, и рядом с де Голлем сидели С. А. Лозовский и я. Де Голль почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать де Голля — он ведь человек XVII века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны

были переполнены, и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение. А генерал де Голль вздумал обратиться к ним с приветствием. Услышав, что высокий француз — генерал де Голль, роптавшие испугались: будут неприятности. В вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «мерси». Де Голль рассердился и добрый час доказывал мне, что московская толпа напоминает ему каторжников. Для меня он был человеком Сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции.

Генерал Жюэн показался мне бравым военным. На «Жизели», пока танцевала Уланова, он дремал, говорил: «Я думал, что у вас, по крайней мере, нет всей этой чепухи с привидениями...» На следующий день он увидел Ансамбль Красной Армии. Когда начали плясать вприсядку, он вскочил и радостно крикнул: «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что потом он солидаризировался с ОАС.

Бидо пил водку и злился. Подошла последняя, решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Бидо для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что де Голль пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Де Голль уехал в посольство, Молотов и Гарро договаривались о спорных формулировках пакта. Гарро мне рассказал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой, обмотанной мокрым полотенцем: «Господин министр, наденьте брюки,— мы договорились, вам нужно подписать документы».

В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсейез», издавал ее Киллиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсейез» ответил мне газетной статьей: «Больше года Россия почти одна несет тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал ответа на свои обращения. Сегодня мы можем ему ответить... Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнут за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами...»

Война рождает то, что мы называли «чувством локтя». У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной у генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками,— Морис Торез, Гарро, Жан Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства Шмитлейн, Шампенуа, Горс, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильнюса несколько бутылок старого бургундского — мне их дали танкисты, разочарованно говоря: «Илья пишет крепко, а любит квас...» На бутылках значилось по-немецки: «Только для вермахта. Продажа запрещена». Я позвал к себе московских французов. Гарро чокался с Торезом «за победу»; вино мы пили с особенным удовольствием — оно ведь предназначалось для немецких офицеров.

В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков — эскадрилья «Нормандия». Французов поместили возле Иванова, там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа; мы повезли подарок — патефон и пластинки. Приехали мы как раз к сочельнику, который во Франции празднуют все, как у нас Новый год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила: в ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку — назначала свидание. «Нормандия» стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французы, не привыкшие к таким зимам, зябли. Но летчик, получивший записку, решил попытать счастья и добраться до девушки по указанному ею адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили, и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело говорил: «Все равно я ее найду...» Французам устроили пышный ужин. Все выпили, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из подавальщиц мне шепнула: «Молятся.. Убьют их, да еще на чужбине...»

Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до Сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали «Тютю». Генерал Захаров после гибели капитана Литтольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтоб Тюлян не рисковал собой: «Вы — командир, не имеете права...» Но Тюлян погиб летом 1943 года под Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный, он был доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил: «Положение очень тяжелое»... Мы его похоронили на Немецком кладбище (по странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе

И. Эренбург в авиадивизии «Нормандия». Около Орла. Начало 1943 г.

Восстание в Париже. Август 1944 г.



Наполеона на Россию). Санитарка плакала. Погибли капитан Литтольф, лейтенанты Тедеско, Дервилль, де Сейн, Дени, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два Героя Советского Союза уцелели: Альбер, в прошлом рабочий завода Рено, и аристократ — виконт де ла Пуап. (Один из его предков был генералом Французской революции, сражался против шуанов, а потом в Италии против Суворова.) «Нормандия» стала «Нормандия — Неман», на ее боевом счету было триста сбитых самолетов. В нашем небе сражались девяносто пять французских летчиков, из них в живых осталось тридцать шесть...

Я навещал летчиков «Нормандии» возле Орла, потом около Минска; встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант де Сейн погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли позабыть, как советские бойцы спасли в заливе Фришгафф лейтенанта де Жоффра? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях... Кровь оказалась вязкой.

Двадцать второго августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщения о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гарро: «Париж победил...» Я пошел во французское посольство. Там были генерал Пети, Гарро, Шампенуа, сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький патефон беспрерывно исполнял «Марсельезу». Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жана Ришара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили: за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Парижский комитет освобождения. Я спросил Гарро, кто это полковник Роль,— в одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гарро восхищенно ответил: «Кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае, он герой!»

Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы.

Летом 1946 года я был в Париже, там устроили торжественный вечер. Зал Плейель (тот самый, где три года спустя собрался Первый конгресс сторонников мира) был переполнен. В президиуме сидели Эдуар Эррио, Ланжевен, Торез, генерал Пети. Ждали председателя Совета министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя «фликами» (так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде). Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить — он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался; я его вовремя поддержал; в зале, наверно, думали, что мы обнимаемся... Все же он произнес речь, восхвалял меня...

Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство, мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву, я попросил у французов

транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. «Флик» зорко глядел, чтоб я не улизнул, проводил меня на борт швейцарского самолета; видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер Почетного легиона, а воришка, которого ведут в каталажку.

Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего рейхсвера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже, захваченном немцами. (Гарро когда-то мечтал, что всех генералов Гитлера повесят; говорят, он теперь изменился; я его не встречал.) Недавно возле Реймса состоялся парад — французские солдаты маршировали рядом с немецкими.

Когда я был мальчиком, танцевали кадриль — джаза еще не было; в этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал: «Кавалеры меняют дам!» В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрили. В 1912 году русские газеты писали о единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. Сербы, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой; началась война между Болгарией — с одной стороны, Сербией и Грецией — с другой. Турция, в свою очередь, напала на болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начала войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Д'Аннунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрепилось прозвище «латинская сестра». В 1940 году «сестра» напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно.

Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали; я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1939 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе; вспомнил рассказы о партизане, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году; и мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетом и что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики.

Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки:

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город...

Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

В другом стихотворении имеется горькое признание:

Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?

Но это сказано в сердцах — я не мог, да и не могу относиться к Франции как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет.

Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями, арго Бельвилля или Менильмонтана березовый лесок, где летом 1943 года располагалась эскадрилья.

Я знаю, что забвение — закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое — как под влиянием событий невольно деформируются человеческие взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия: шагаешь, и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют «временем» или «историей»: «Налево! Направо! Поворот кругом! Шагом марш!» Потом остается вежливо отмечать: с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись...

9

После долгой и суровой войны все радовались весне. Мы нежились на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминаю Думиничи. До войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны — все, что оставалось от Думиничей. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал: «Санитария! А ему, гаду, что? Ему лишь бы поломать... Сходил бы я сейчас в баньку! Только, я думаю, этому конца не будет, наверно, еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите, да покрепче. Люди очень переживают... Вчера политрук говорил: «Да если он, нахал, сунется, мы его так тряхнем, что он свою фрау не узнает». А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Осипова, паразит, убил. В газете про него было... Вы мне объясните, почему он, гад, людей убивает?..»

В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли; да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса О. Ф. Берггольц мне рассказывала, что, когда ее арестовали,

в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине, резкие движения причиняли ему боль; об этом мало кто догадывался — Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму, зима их, скорее, выручила — приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других, может быть, так думал,— если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда не соответствующих действительности.

Два месяца спустя я слышал от военных: «Зря мы силы разбрасывали — Юхнов, Сухиничи... А к обороне не приготовились». У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться, нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история — любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранию художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. В сборнике русских пословиц, собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла; есть там и такая поговорка: «Черт ли писал, что Захар комиссар».

Восемнадцатого мая в сводке говорилось о наших больших успехах на Харьковском направлении. Я сидел, писал статью, когда пришел полковник Карпов и, загадочно усмехаясь, сказал: «О Харьковском направлении не пишите — есть указания...» Неделю спустя немцы сообщили, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 июня мне позвонил Щербаков: «Пишите за границу о втором фронте»... Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте.

Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов: Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску, что марбургские бурши дивятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным.

Я сидел и писал, писал ежедневно в «Красную звезду», писал для «Правды», для ПУРа, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала.

В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял: «Такого драпа еще не было...»

Отступление казалось более страшным, чем год назад: тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма, полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать; все же мне удалось летом 1942 года сказать долю правды — никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до этого, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в «Правде»: «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил: «Об этот стол все расшибаются». Я спросил:

«Почему не переставите?» Он ответил: «Заведующий не распорядился. Переставлю — вдруг с меня спросят: «Почему это ты придумал, что это означает?» Стоит и стоит — так спокойней...» У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия». А вот из статьи в «Красной звезде»: «Кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае — напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители... Война — большое испытание и для народов и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено... По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу...»

На фронте было много бестолочи и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение.

Москва была одновременно и глубоким тылом, и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки:

Жил-был у бабушки серенький козлик.
Сказка-то сказкой, а немцы-то возле...

На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи. Люди хмурились, молчали. Все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев: «Отечество в опасности!»

К. К. Рокоссовский (второй справа), И. Эренбург (третий) в группе командиров. Сухиничи, май 1942 г.

Книжный базар в Москве. И. Эренбург и С. Маршак. Июль 1942 г.

У. Черчилль и И. Сталин. Москва, август 1942 г.



У меня сохранилась записная книжка того лета; записи коротки и несвязны — даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни.

Из Керчи приехал Сельвинский, говорил: «Бойцы научились, генералы нет»,— рассказывал о панике, о немецких зверствах — загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии — агония города: развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке.

Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали.

Я спросил английского посла Керра, когда же откроют второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина,— он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и не важно — пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк.

Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздались крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала.

Прибежал в возмущении корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро — цензура ему вычеркнула фразу: «от Воронежа до Дона восемь километров».

Женщина продавала картошку — сорок пять рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил десять рублей. В Москве жила француженка Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила: «Ванечка приехал, привез бутылку масла...»

Двадцать шестого июля был книжный базар. Писатели надписывали свои книги. Одна женщина запротестовала: «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся.

А. Н. Толстой пыхтел в трубку, говорил: «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те...»

Двадцать девятого июля был опубликован указ об учреждении новых орденов — Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина; в нем шла речь не об орденах,





а об оставлении без приказа Ростова и Новочеркасска, о беспорядке, панике; так дальше продолжаться не может, время опомниться: «Ни шагу назад!..» Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне: «Отец обращается к детям и говорит: «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому...» Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения — как справку.

Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу.

Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда.

В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию — хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти: «Мое сердце из красного сахара».

Я получил дневник секретаря полевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля: «Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00... Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны... Уничтожен также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотки...» Я напечатал дневник и получил письмо старшины из Буденовки, который знал расстрелянных. Фридрих Шмидт признавался в дневнике: «Я не могу больше есть...» Трудно было жить, зная, что такие люди под боком.

Мне прислали «Народный календарь, спутник сельского хозяйства», его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день тогда я прочитывал страшные документы — о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унизить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь? Но так порой бывает — возмущает деталь; я разозлился, выписал «памятные даты»: «Январь. 12-е — рождение Геринга и Розенберга, 29-е — рождение Чехова. Февраль. 10-е — смерть Пушкина, 23-е — смерть Хорста Весселя, 24-е — годовщина провозглашения Гитлером программы национал-социалистической партии, 26-е — смерть Шевченки» и так далее. Я вдруг припоминал и ругался: «Геринг и Чехов! Хорошо!..»

Пятнадцатого августа было собрание писателей.

А. А. Фадеев говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не пить. В тот день немцы заняли Элисту.

Казах Аскар Лехеров писал мне с фронта: «Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть как герой...»

Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины. На заводах

работали дети и в перерывах затевали игры. Все мешалось — геройство и оцепенение, духовный рост и жестокий быт.

С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил: «Не рассчитывайте — никакого второго фронта не будет...» Я писал резкие статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандарт», «Дейли геральд», говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты печатали статьи, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденций, но английские министры, даже информации, в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа.

Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Леланд Стоу был оптимистом, говорил: «Скоро будет десант во Франции или в Голландии»,— оптимизм у него был прирожденным, как у Е. П. Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне: «Наверно, второй фронт откроют через неделю-другую...» Хиндус и Верт, напротив, были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее, помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха... И если мы порой смеялись, то невесело: открывая американские консервы, именовавшиеся «тушенкой», фронтовики злобно приговаривали: «Ну, откроем-ка второй фронт»...

В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги: простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались: договорятся или нет? Прибежал Шапиро: «Гарриман недоволен результатами». Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся: «А кто доволен? Разве что Петен?» Коммюнике было туманным.

Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьеппе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали: «Теперь немцы скиснут!..» Меня спрашивали, где Дьепп. Я был настроен скорее скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций, Сталин убедил Черчилля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову: нужно ли посвятить высадке в Дьеппе передовицу.

Иллюзии длились недолго: десант в Дьеппе оказался небольшим рейдом. (До войны на воскресенье в Дьепп приезжало очень много англичан — уик-энд, дешевая экскурсия.) Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение? В редакции Моран декламировал стихи Полежаева:

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь —
Он любит есть
И после сесть
На пароход...

Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьепп рядовые англичане, но у нас люди возмущались — им казалось, что их обманули. На войне исчезают многие хорошие чувства; часто я ловил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы; в газетах его называли «боевой выручкой». Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом счету полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем «бутылками» пять танков,— можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня и людей, с которыми я встречался,— самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть — каждый раз это потрясает, кажется чудом, и, как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни.

Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой,— она может быть понятной всем, но, будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое — совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, я не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники начали военные операции летом 1944 года, а не 1942. Уилки, а позднее Иден говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели «лишних жертв». Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. «Лишние жертвы» достались нам. Понять подобный расчет можно — не такие уж это сложные выкладки, а вот забыть о происшедшем трудно — почти у каждого из нас оно связано с личным горем.

10

В сентябре генерал Ортенберг разрешил мне поехать ко Ржеву, где начиная с августа шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится: «Наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя, и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда». В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека — бои были очень кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда, и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок.

Зарядили дожди; вопреки утверждению редактора «Правды», они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог! Машины буксовали, и с отчаянными криками «раз» их пытались столкнуть с места. Кое-где

дорога была устлана срубленными деревьями, и замызганные «виллисы» подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали ко Ржеву долго. Вместо Торжка, Старицы, сожженных немецкой авиацией, чернели обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотоносной породы.

С одного из бугров можно было разглядеть Ржев; от него мало что оставалось, хотя издали он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев; все время я видел два жилых корпуса — тот, что повыше, солдаты называли «полковником», второй — «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем боя; изуродованные снарядами и минами деревья казались кольями, натыканными в беспорядке. Земля была изрезана окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую.

Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись.

В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились рядом в таких же окопах. Глушили басы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов.

Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали; создался быт — толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При робком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей (их называли «автоматчиками»), заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел гово-

Расстрел в деревне Мякотино. 1 мая 1942 г.
В Ржеве. 1942 г.





рить — предпочитали вспоминать или загадывать. Когда взвивались ракеты, кто-нибудь спокойно ругался: «Развесил, гад! Сейчас начнет...» Два часа спустя другой сплевывал: «Вот паразит! Это он пикирует...» В штабе раздавали ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги; санитар жаловался: «И часа поспать не дают...» Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли: «Ока, дай мне Звезду». По наивной конспирации полки, батальоны именовались в телефонных разговорах «хозяйствами». Командир кричал Оле или Вере: «Да что вы, вашу мать, мешаете!..» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь — почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи; они часто пугливо ежились — слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал: «Подвиг старшины Кузьмичева. По заданию командования...» Потом он делился новостями с приятелем — инструктором по партучету: «Говорят, Мехлиса снимут, вот это будет номер!..»

За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой, она возмужала, и хотя все знали, что на юге происходят страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелеют, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый суеверно старался об этом не только не говорить, но и не думать.

Порой все как-то притихало; порой бои разгорались. Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы укрепляли свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей — русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Багаутдинов говорил: «Маленько их пощекотали...» У колхозника Шумского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. «Стариков жалко,— повторял он,— вот где у меня скребет...» У него было мягкое русское лицо, с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска, он тихо повторял: «Бить их!..»

Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова, в прошлом уральского сталевара. Он воевал исступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с трофеями — приносил автоматы, снайперские винтовки. Он говорил подполковнику Самосенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат! У меня немецких шестнадцать штук было — роздал, противно мне из них стрелять...» Подполковник говорил: «Да ты отдохни денек...» Прытков отказывался: «А кто наступать будет?..» Он жил одним. После контузии он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы: «Оглох!.. Ничего — там услышу!..» (Где «там» — я так и не понял.) Он повто-

рял: «Гады!.. Гады!..» А глаза горели, шевелились губы, чувствовался душевный подъем.

Солдат Илья Горев мне сказал: «От них сердце сохнет...» И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу: мы жили в такой ненависти к фашистам, в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескавшейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года...

Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно — трое детей, она болезненная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились военными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову: «Совести у них нет! Что солдат, что ребенок — для них все одно. Да таких убить мало. А что с ними делать?..» Он замолк, насыпал самосада в клочок газеты (читать не любил) и тихо добавил: «Вот, говорили, магазины у них хорошие, товаров много. А вы объясните, душа у такого есть?..»

Над Мишей Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам — то Светлане, то Леночке. Я записал рассмешившие меня строки:

На фронте нет ни розы, ни Пегаса,
Но фриц наставил много всюду мин.
А я до наступательного часа
С тобой, любовь! С тобой влечу в Берлин!

Он обижался, что ни одно из его произведений не было напечатано в дивизионной газете: «Там признают одни шаблоны. Напиши я про гвардейскую честь, сейчас же тиснут...» И вот этот Миша, когда немцы атаковали, подбил танк. Генерал Чанчибадзе вручил ему Красную Звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови: «А что я, дам танку дорогу?..» Он посвятил стихи об ордене связистке Груше, но их не напечатали.

Еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется, его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парикмахеров, он стриг и брил молча. Никто не понимал, как он пошел за «языком» и дотащил на себе рослого немца; да и он не умел объяснить: «Скучно стало. Ну, и вспомнил разное...» Я не стал допытываться, что он вспомнил; наверно, у него остались в оккупации близкие — он был минчанином. Я только спросил: «Страшно вам было?» Он пожал плечами: «Я когда полз, ничего не чувствовал. А может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню — и страшно...»

С американским журналистом Леландом Стоу мы были у генерала П. Г. Чанчибадзе, порывистого, веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич, невозмутимый, произносил цветистые тосты, хотел уложить американца. Леланд Стоу — смелый человек, он был на различных войнах: в Испании, в Норвегии, в Ливии; пить он умел, но не выдержал: «Больше не могу».

Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на донышке и сказал мне: «Вы ему переведите — вот так наши воюют, а так воюют американцы...» Стоу рассмеялся: «В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем...» На следующую ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перепуганный женский голос: «Кто там?» — «Свои». Женщина нас впустила, недоверчиво осмотрела. «Я уж думала, не хрицы ли...» (Она говорила вместо «фрицы» — «хрицы».) Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски, она заплакала: «Хрицы!..» Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала: «Чего они сидят у себя? Что нам, подыхать всем?..» Я перевел ее слова Стоу, и он отвернулся: это был не тамада... Проснулся ребенок, заплакал, и женщина его баюкала.

Под Ржевом неожиданно я встретил «испанку» — Эмму Лазаревну Вольф. Она работала по контрпропаганде. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было, и нам казалось, что так всегда будет: полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подрос ее сын; она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитника Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои...

«У меня был товарищ, замечательный командир, отличился в финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали»,— рассказывал мне генерал А. И. Зыгин, человек смелый и хороший. Было это в темную звездную ночь на тихом участке фронта. Мы сидели в палатке на берегу. (Алексей Иванович шутил: «Домик на Волге».) Он размышлял вслух: «Дотянем до конца, тогда все будет по-другому... А то пакости много. Вот напечатали в «Правде» пьесу «Фронт». Все правильно. Только почему поздно спохватились? Сколько невинных загубили! А подхалимов на высокие места расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все,— труса праздновал... Как по-вашему — Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает, обманывали его, говорили: подготовка блестящая... Теперь-то он не может не видеть... Говорит он правильно. Но кто должен выполнять? Все те же...»

Мысли генерала Зыгина тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом, оно у меня сохранилось: «У меня пропали жена, ребенок (говорю, как о вещи, «пропали» — люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей). Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы... Никогда я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь... Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска... Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и кого следует жестоко высечь за нерадивость или жульничество... Возможно, печать старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка, ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика! Сталин бьет в набат. Газеты не преминут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кам-

панию. Успокоить себя и других прежде даже, чем кончится «историческая» кампания. Они ведь кричали: «Не забывайте мудрых исторических слов сверхгениальнейшего (это обязательно, хотя в этом меньше всего надобности) Сталина. Но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и т. д.» Это же самоубийство!.. В общем, многое мы делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит...»

Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не знаю, дожил ли капитан М. Шестопал до наших дней. Да и о многих других мне ничего не известно. Я писал в те годы:

Слов мы боимся, и все же прощай!
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто...
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске...

Маленькая разодранная записная книжка; многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой: «Передать жене Кокорина, что он жив и воюет» — и номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокориным, даже не помню, где его встретил, кажется, в редакции армейской газеты, а наверно, говорили мы по душам — у ржевского леса...

11

Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты «Гётеборгс хандельстиднинг», а год спустя узнал от А. М. Коллонтай, которая была нашим послом в Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне.

Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году, на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой, одета была не так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу,— личное счастье, для которого создан человек, немыслимо без всеобщего счастья.

А познакомился я с Александрой Михайловной только двадцать лет спустя в Осло, где она была полпредом.

Хотя ей было под шестьдесят, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказывалась и в манере поспорить, и в мечтаниях — было это в 1929 году, когда еще легко было и спорить и мечтать. Меня поразила ее популярность — многие встреч-

ные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге.

Александра Михайловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Домонтовича, ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было восемнадцать лет, когда она вышла замуж за инженера Коллонтая, от которого вскоре ушла: семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности: нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Коллонтай пришлось уехать за границу. (Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшебадене на даче у шведского актера Карла Герхарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. «Другой такой умницы я не встречал,— восклицал он,— обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Коллонтай обладала огромным тактом...»)

В 1914 году немцы посадили Коллонтай в тюрьму за антимилитаристические выступления. Потом она уехала в Швецию, и нейтральное, казалось бы миролюбивое, правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Коллонтай пришлось уехать в Канаду.

У Александры Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарища Коллонтай, которая уехала в Петроград, в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар Временного правительства князь Белосельский, он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Коллонтай назначили наркомом государственного призрения, она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, подготовляла декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был написан Александрой Михайловной, в нем, конечно, не было ни «матерей-одиночек», ни «внебрачных детей». С 1922 года по 1946-й Коллонтай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции.

Почему я увлекся послужным списком, биографией, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? Шестьдесят лет Коллонтай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах. Обидно это сказать, но у нас плохо помнят хороших людей.

Меня подкупал естественный демократизм Александры Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с чопорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала: «Это мой личный секретарь». Обедали в посо-

льстве все вместе — сотрудники, шоферы, работница. Коллонтай обладала даром воспитывать, и много молодых людей, работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием.

В 1929 году она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве, ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев, ей нравился Ван Гог. В 1933 году мы разговорились о литературе. Александра Михайловна удивлялась: «Прислали мне два новых романа. Ну зачем эти пай-мальчики? После Толстого, Достоевского, Чехова... Да так можно отучить читать».



А. М. Коллонтай. Париж, 1909 г.

В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Паленсию, оживилась, когда Паленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях: «Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно...» Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: «Как дома?» И поспешно добавила: «Можете не отвечать — я знаю...» Когда мы расставались, она сказала: «Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве...»

У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны, писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе: «Работаю я очень много, и дела большие»,— такой у нее был характер.

Я бывал у Александры Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжала работать. С нею советовались сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков — хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить. Умерла она восьмидесяти лет от роду.

Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политике. Швеция, как известно, во второй мировой войне оставалась нейтральной; однако правительство разрешило Гитлеру провозить через шведскую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрепя сердце мирились, третьи возмущались.

Газета «Гётеборгс хандельстиднинг» была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее.

Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел предупредил шведов, что «статьи Эренбурга в гётеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия».

Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа — «Стокгольмс тиднинген», «Гётеборгс морген», «Афтонбладет» и другие. Особенно образно выражалась «Дагспостен»: «Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы».

Господин Тегнер, редактор распространенной спортивной газеты «Идроттсбладет», бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими ужасающими вещами.

Статьи, которые печатала гётеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и «Франкфуртер цейтунг» писала, что «все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору». Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о «свирепости русского медведя» и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию.

Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андерс Эрне. Он опубликовал статью «Илья Эренбург в Швеции», в которой писал: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армия в донских степях истекала кровью.

В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвильян» было напечатано следующее: «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом».

Редактор «Гётеборгс хандельстиднинг» профессор Сегерстедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты; А. М. Коллонтай писала мне: «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят...»

В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андворда. Он зажигал камин, угощал вином, был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоминали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне: «Не обращайте внимания на директора почты. Он директор, и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди. Они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно...»

Пять лет спустя после конца войны я попал в Швецию. Был я и в Гё-

теборге, и в газете «Гётеборгс хандельстиднинг» (не было там уже профессора Сегерстедта) напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился: я уже задолго до этого понял, что там, где все решает политика, память — обременительный предрассудок.

Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Мэром, со многими другими. Я понял, что норвежский посол был прав: в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали А. М. Коллонтай.

Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный театральный зал; освещают только сцену. А на сцене появляются актеры, исчезают — все зависит от событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подходил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сняли с афиши: красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но вставлять свои реплики не в их возможностях. А когда порой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр...

12

Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути: вместе с фотокорреспондентом «Красной звезды» С. И. Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое: ясно, что произошел перелом, прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места — победа обеспечена.

Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы добрались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым

По дороге в Касторную. 1943 г.

И. Эренбург на Брянском фронте. 1943 г.





светом снежное поле, трупы, искромсанные снарядами, расплющенные танками. Мы постояли и ушли в избу.

Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходившие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, «опели», «ситроены», «фиаты», на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванными боками, штабные бумаги, куски туловищ, походные кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфели, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длиннущими ресницами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег.

Зрелище убитого поражает даже на войне — невольно задумываешься: откуда он родом, зачем пришел, кого оставил, и в этом чувстве — нечто человеческое. Но в Касторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдата. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума, а снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами — макет давно исчезнувшего мира.

Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи тридцать километров. «Бью и с ног валюсь — засыпаю...» Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. «Ну что тут поделаешь? Окружили-то мы их, а я гляжу — кругом фрицы... Даже не знаю, как это мне в голову пришло, наверно, с перепугу, схватил одного за руку, говорю: «Молодец, что сдаешься, гут, очень гут...» А они руки подняли...»

У меня записано: «Старшина Корявцев попал в ледяную воду. Командир роты говорил: «Иди в дом — простынешь». А старшина отвечал: «Мне и не холодно — злоба отогревает...»

У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый — седая щетина. Он усмехался: «Говорят, «еврейское счастье», а вы посмотрите — мне действительно повезло: три пальца оторвало, а два осталось, и те, что надо,— могу продолжать. Я вам признаюсь: есть желание дойти до Чернигова...»

Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зинскером. Это был немолодой и неглупый человек. Вначале он мне сказал: «Я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить — он стоит того, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость — это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым, опытным командирам... Конечно, искоренение коммунизма или ликвидация евреев входят в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится — война есть война. Но видите ли, насилия, грабежи способны развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не главное...» Он замолчал и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался:

«Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штрома были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая история!.. Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельникова, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любят получать подобную информацию: опасно доложить фюреру — имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций... Следовательно, службу информации можно переименовать: мы занимаемся скорей дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот — генерала Кейтеля, Кейтель — фюрера. Цепочка, на ней Германию тащат в пропасть...»

Мы пробирались дальше, и в Щигры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером, долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец нас впустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку — хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал; я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она заплакала: вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже; он летчик, последнее письмо она получила в начале войны; спрашивала меня, как его разыскать,— номер полевой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его вожделений — консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила: «У нас много всего — немцы побросали, а мы вечером подобрали...» Я спросил, как держались немцы. Она сказала: «Сами знаете — разве это люди? Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил...» Мальчик ее перебил: «Мама, дядя Отто каждый день приходил, он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела: «Не выдумывай глупостей!..» Мальчик упрямо повторял: «Я не придумываю. Дядя Отто обещал принести домик из шоколада...» Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал: «Не бойтесь, я не расскажу»,— и вышел. (Эта сцена мне запомнилась; в романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о «дяде Отто».)

Полковник мне сказал, что задержали предателя — «полицая». В маленькой комнате сидел человек лет тридцати пяти. Он приподнял голову и поглядел на меня тусклыми, водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в Щиграх «курсы для полицейских». Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулингу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. «Безмозглость... Я никогда не отличался практичностью...» Он начал всхлипывать: «Струсил, а теперь свои бьют...» Минуту спустя он вдруг осмелел: «Нет, вы

скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали «курсы» — я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить — я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинулись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы...»

В городке оставались деревянные домики: хорошие дома немцы, перед тем как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище — длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом: партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли пятьдесят заложников, а весной на площади повесили шесть женщин — за связь с партизанами. Когда их вели на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумяненную девицу, крикнула: «Стыдно быть немецкой подстилкой...» (В «Буре» я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов:

Вы прически сделали под немецких куколок,
Красками намазались, вертитесь юлой,
А вернутся соколы — не помогут локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.)

Замучили братьев Русановых...

Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Косарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу; а когда встали, поле было в больших черных пятнах.

Началась сильная вьюга. Водитель ругался, каждые сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать,— дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться — было четыре часа. Еды у нас не было, мы мерзли. Мотор заглох. Одет я был, скорее, плохо: шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что, как только рассветет, пойдет искать жилье. А водитель и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо; в общем, я замерзал.

Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное — задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы — Корнейчук, В. Л. Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четырех тысяч метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался — оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно.

А вот ночь между Косаржей и Золотухином я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось! Кажется, в жизни я не испытывал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел при-

мириться с судьбой, хотел нас спасти. Чуть рассвело, он сказал: «Иду». Я ответил, что это глупо; поглядел — он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался.

Майор дал мне стакан водки; я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натощак, в обычном состоянии я лежал бы под столом; а тут мы закусили и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск.

(Летом 1962-го после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что мао-мао не племя, а партия, мой сосед Н. И. Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро.)

Мне передали папку, на ней значится: «О пребывании на фронте Ильи Эренбурга. В деле подшито и пронумеровано 35 листов. Начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года». В папке — сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым: «Прибыли в «Топаз», выезжаем в части», «Прибыли в «Прожектор», «Выехали в хозяйство Черняховского». Телеграммы адресованы в «Бархат» — так называлась Москва. «Прожектор», «Закал», «Топаз», «Кадмий» — были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов всполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генералам Черняховскому, Пухову, корреспондентам «Красной звезды» — полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резонно отвечал: «Очевидно, Эренбург застрял в пути, вот уже четыре дня сильная метель, дороги для проезда непригодны». Но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже всполошил Любу и успокоился, только получив телеграмму: «Прибыли Курск штаб 60 армии».

В Курске я сел за статью — впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете.

Немцы пробыли в Курске пятнадцать месяцев, там я увидел, что такое «новый порядок», о котором писали «Курские известия», выходившие при оккупантах. Я разглядывал людей то оцепеневших, то возбужденных и говоривших без умолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смялковский; я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марселлу; голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру.

Открыли несколько предприятий — трикотажную фабрику, кожевенный завод, мельницу. Процветали комиссионные магазины, но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком — он донес, что в подвале прячутся две старухи-еврейки, вошел в доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре сульфазолом, выпив, он говорил: «А все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы — бандиты. Но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девчонкам чулки?..»

Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все: «Я вам доверяю: я читала ваш роман про любовь, не помню названия, какая-то француженка... Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски. Но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыхала таких слов. Вот и растрогалась... А теперь — расплата...» Она жадно глядела на меня — искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм «Хиросима — моя любовь»: молоденькая француженка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата; немцев прогнали, над девушкой издеваются, бреют ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героиню фильма. Я долго думал о «странностях любви». Почему же не нашлось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб; ее отправили рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу — Привалову, немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, и сиделки сказали немцам, что он умер. А других убили в предместье Щетники. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызения совести, даже терзаться, кто его знает? Но мне тогда было не до «странностей любви».

Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой воде; записал: «Зоя — вот комсомолка!» (Потом я иногда получал от нее письма, мы разговаривали не больше часа, а она осталась в моей памяти человеком, душевно близким.)

Я повидал и других смелых, благородных людей, но не скрою: мне было тяжело. Я знал, что население узнало всю меру страданий — нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно поэтому приметы благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер? Чем торговал тот румяный рыжеусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов,

видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было — они сражались в нашей армии. Непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым»,— сказала мне старая женщина в Орле. (Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца — об этом потом мне рассказали в горсовете.) Курск я особенно хорошо запомнил потому, что он был первым освобожденным городом, который я увидел.

В Курске я познакомился с генералом И. Д. Черняховским. Он поразил меня молодостью; ему было тридцать шесть лет; порывистый, веселый, высокий, он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне непохожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на «парадоксальное положение» — «русские ударяют с запада, и мы порой вынуждены прорываться на восток». Иван Данилович говорил: «В общем, они забыли свою же теорию «клещей». Мы у них кое-чему научились...» Будучи танкистом, он, однако, говорил: «Танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это, скорее, конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я, скорее, верю в утопический роман Уэллса, чем в размышления де Голля, Гудериана или наших танкистов. Учишься, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины...» При следующей встрече он заговорил о роли случайности: «Я не знаю, какую роль сыграл насморк Наполеона во время решающей битвы. Об этом слишком много писали... Но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории,— конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться...»

Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухова, он говорил о Сталине: «Вот вам диалектика — не теория, а живой пример. Понять его невозможно. Остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа окажется такой клубок противоречий...»

Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать:

Нас водила молодость
В сабельный поход...

Смеялся: «Если разобраться, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории... Багрицкий, говорят, любил птиц. Но вы знаете, в Умани один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают — тоже поэзия...»

Мне пришлось потом беседовать о Черняховском с военными, которые его хорошо знали. Они видели его совсем другим, чем я. Видимо, с разными людьми он говорил по-разному — был сложным. На

войне ему неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945 года я был в Восточной Пруссии, в городке Барнштейне. Черняховский позвонил в штаб армии, звал меня к себе: «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору...» Три дня спустя он был убит.

Других генералов я встречал потом в Верховном Совете, на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит или пишет мемуары. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым; под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями...

Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка (бои на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя). Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традициях гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в избе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат, разувшись, он бубнил: «Идти да идти... Ноги по колено оттопаем... А письмо я вчера получил, бог ты мой!..» Я заснул, так и не дослушав, о чем было письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал таких писем?..

13

С К. А. Уманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице «Москва», что я, и мы встречались чуть ли не каждый день (вернее сказать, каждую ночь; я поздно приезжал из «Красной звезды» — в два, иногда в три часа ночи. Константин Александрович в то

И. Д. Черняховский встречает И. Эренбурга. Курск, 1943 г.

Герберт Уэллс и К. А. Уманский в Москве на Красной площади. 1934 г.





же время возвращался из Наркоминдела: Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку). В июне 1943 года К. А. Уманский уехал в Мексику, и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное, и хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пуд.

Я сейчас задумался: почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встречался; я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего, я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многое предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло: но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами: они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом: он так и не понял, почему за него заступился «штафирка» Эмиль Золя. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов.

С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом — время было малоподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции,— Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он увлекался конструктивизмом, и, наверное, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», я встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда я начал работать в «Известиях», он был заведующим отделом печати Наркоминдела, дружил с Кольцовым, не сомневаюсь, что я его встречал,— в Куйбышеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым.

Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись, все его увлекало — и симфонии Шостаковича, и концерты Рахманинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет «мыслящих машин». В его номере на пятом этаже гостиницы «Москва» я встречал адмирала Исакова, писателя Е. Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновско-

го. С разными людьми он разговаривал о разном — не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни.

Говорят, что эрудиция связана с памятью; теперь на Западе в моде состязания — человеку ставят публично неожиданные вопросы: в котором году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисление и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающихся провожают смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не значит, что их можно назвать просвещенными. Память у Константина Александровича была редкостная, но запоминал он то, что его интересовало; в его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски; вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал: «Через полгода я буду говорить по-испански»,— и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком. Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы. (Хотя в конце сороковых годов на пост посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать, очевидно считая, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше.) Но Уманский не только потому быстро овладевал языками, что отдавался своей работе, нет, ему хотелось свободно беседовать с Пабло Нерудой, с Жаном Ришаром Блоком, с Анной Зегерс, читать в подлиннике Поля Валери, Брехта, Мачадо.

Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задыхаться. Иногда он не выдерживал, говорил: «Снова неприятности: я предложил отступиться от шаблона — и влетело... Первая страна социализма, а пуще всего боятся «новшеств», инициативы...» Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся — вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

Об американцах он говорил: «Способные дети. Порой умиляешься, порой невыносимо... Европа разорена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу: зачем жечь, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите... Не судите об американской политике по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии...»

Как-то он сказал мне: «Моего «босса» рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького,— должны нравиться... Удивительно не то, что они ничего не смыслят в искусстве, это скорее естественно: искусство не их дело. Плохо, что каждый из них считает себя знатоком».

В другой раз мы говорили о Пикассо (Константин Александрович его очень любил); он сказал: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома, кото-

рый не знает английского языка, он скажет: «Галиматья, сумбур вместо поэзии». Помните слова Сталина об опере Шостаковича?.. А еще есть Жданов... Все, чего они не понимают, для них заумь. А их вкусы обязательны для всех».

Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманский, говоря о новом после Мексики в Москве Бассольсе, просит: «Вам стоит уделить ему время и не дать ему «скиснуть» в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на латиноамериканские, европейские и прочие темы доставят вам то же истинное удовольствие, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуренито». В другом он пишет: «Посылаю вам каталог-монографию Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные сюда из США, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода».

Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай — человека, которому было тридцать семь лет, назначили на ответственнейший пост посла в Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы — с 1936 по 1940-й. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил Е. А. Гнедин, человек умный, знающий, автор книги памфлетов, и Гнедина посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался: новый мир, новые люди — он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. (Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его суждениям.)

И вдруг все изменилось: с неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился; узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. (Я знал, что есть у него в жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».) И вот неожиданно разыгралась драма...

Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками.

Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена, Раиса Михайловна, уезжала почти в бессознательном состоянии.

Год спустя Уманский писал мне: «...Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М.— инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницей и дали мне некоторые правильные советы, которых я — увы — не послушался»... Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался

припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, обнадежить, не помню.

В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было сорок два года.

На траурном собрании в Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и самый крупный писатель Мексики Альфонсо Рейес, актриса Долорес де Рио; одна мексиканская поэтесса издала «Оду Константину Уманскому». Видно, люди искусства и там почувствовали в нем своего...

Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя? Это звучит кощунством, но если я представляю себе его в 1962 году, то уж никак не в 1952-м. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли «литвиновскими», но по формации, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались не у дел, как ближайший друг Уманского Б. Е. Штейн, или были отправлены Берией далече, как Е. В. Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в ней не представляю. Еще меньше я его представляю в 1949 году — в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним сталось бы дальше: в дело вмешалась судьба — несчастный случай или диверсия — отказал мотор, отказала любимица Константина Александровича — жизнь.

14

Говорят: глубокая ночь, глубокая осень; вспоминая 1943 год, мне хочется сказать: глубокая война. Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменилось — началось освобождение нашей земли от захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались

В штабе генерала И. Х. Баграмяна. В центре — И. Эренбург, справа И. Х. Баграмян. Июль 1943 г.



перейти в наступление. Их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб: «До Берлина 1958 километров». Было это в сердце России, немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону.

Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так: люди и годы — это жизнь, моя жизнь, одна из очень многих. Годы войны были длинными. Никогда ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал, в блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие реляции, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины, но не помню, кто мне сказал: «Злоба сердце выгрызла»; не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил: «Старший лейтенант войдет с нами в Киев»; не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я, вдруг отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой: «Да ты не плачь, не то я заплачу...» Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тине машины, санбаты, наспех вырытые могилы — все это сливается в одно: стояла глубокая война.

Если бы я писал сейчас роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных людей, окрестить их, разместить в Брянских лесах или на другом берегу Десны, но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связный вымысел может показаться правдоподобнее разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события,— ничего не поделаешь, я ограничен памятью, а у памяти свои законы, человек не знает, почему ему запомнилось одно и почему он запамятовал другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит беллетрист, заполняя бреши увлекательными новеллами, есть и другие — автор прочитывает много книг, старается объективно установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верную картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил.

(У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные: был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, названия деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы.)

В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой, никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки; порой я набредал на подбитые немецкие — новинки того сезона «тигры», «фердинанды». Штаб генерала И. Х. Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами и беседками. Кругом было много деревень, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами; все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили

люди. В книжке названия: Льгово, Кудрявец, Стайки, Бояновичи, Пеневичи, Хвастовичи...

Осенью я увидел Украину: Глухов, Клишки, Чаплеевка, Обтов, Короп, Понорница, Коробковка, Щорс, Городня, Добрянка; кусок Белоруссии: Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горностаевка, Тереховка, Тереха; снова Украина: Красиловка, Козелец, Остер, Летки, Бровары, Богдановичи, Семиполки; правый берег Днепра: Жары, Лютеж...

Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат, как стихи: в них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с подвигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались «населенными пунктами».

Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большущими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин Сталинграда; хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию: «А мы их в клещи, мы теперь ученые...» Младший лейтенант Ионсян говорил: «Он, подлец, до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался — я ведь бакинец. А я вам откровенно скажу: я его и тогда презирал...» Танкист Красцов мне сказал: «Галей ее зовут. Вот фото — ничего особенного, а по-моему, исключительная. Может быть, она про меня забыла — не знаю. Я из Пскова, говорили, будто успела выбраться, а как ее найдешь?.. Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять. Что я такое? Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорей всего, убьют, воюю с начала, два раза был ранен — выкарабкался. В общем, это не главное... У меня такое в голове, что смешно сказать, будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин...»

Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей

Под Орлом. У майора Харченко. И. Эренбург — первый слева. Июль 1943 г.

Танкист-тацинец лейтенант А. М. Баренбойм после госпиталя. 1943 г.

Танкист-тацинец старшина И. В. Чмиль

Фотокорреспондент С. Лоскутов и И. Эренбург. 1943 г.





Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл Сож?

Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с В. С. Гроссманом мы просидели полночи у генерала С. С. Мартиросяна. Он поразил нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте; приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил: «Вот идешь и попадаешь на такого человека...» В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь: у каждого свое дело, свой дом, своя скорлупа. А на войне все путается: люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял. (Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне, что он вышел в отставку и живет в Ереване.)

Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года, по просьбе танкистов-комсомольцев, командир первого батальона Четвертой гвардейской бригады полковник Бибиков зачислил меня «почетным красноармейцем» в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкистами-тацинцами, особенно со старшиной И. В. Чмилем и лейтенантом А. М. Баренбоймом. Встречался я с тацинцами и в Белоруссии, был у командира корпуса генерала А. С. Бурдейного, он меня познакомил со многими бойцами, бывали тацинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году И. В. Чмиль писал: «Я еще молод, год рождения 1918, родом я из славной и любимой Полтавщины, с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил. Подумаешь — и обидно становится: как мы жили счастливо и весело! У меня было четыре сестренки, все меньше меня. У меня были папаша и мамаша. У меня была любимая девушка...» Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контужен, несколько раз выбирался из горящих танков — словом, хлебнул горя. После войны он женился, учился в техникуме, теперь он в городе Шауляй сотрудник горфинотдела, жена его Антонина Васильевна работает на эпидемстанции. У них трое детей: Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне: «...Да, никому не





хочется снова пережить ужасы войны — обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире черные силы. Неужто мне еще придется сесть за рычаг Т-34?..»

А. М. Баренбойм работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. И. В. Чмиль мне написал: «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбойм погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Баренбойм жив, послал адрес и получил вскоре письмо: «Саша — это любимец и герой всего нашего корпуса, любимец всего личного состава. Оказалось чудо: он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу богу, но выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб...» Мне трудно объяснить, почему меня так радуют письма Ивана Васильевича и Александра Менделевича; ведь встречался я с ними редко, но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто.

Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны Гавриил Никифорович бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пилорамщиком. «Стала болеть раненая нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца... В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался... Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, дома, среди семьи. Вот если бы вы приехали ко мне в гости...»

Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любование. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью.

В селе Богдановичи остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала,— видно солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку.

В Козельце женщина рассказывала: «Сколько Шуре было? Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца: «Дяденька, не убивай! Я жить хочу. Пошли лучше в Германию». Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал — застрелил...» В маленьком Козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек.

Возле Триполья, на дороге в Обухов, я видел яр и дощечку: «Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и расстреляно 700 человек — стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Мария Билых с пятью детьми и 65-летней матерью и Горбаха Дуня с двумя сыновьями».

Житель Пирятина П. Л. Чепурченко рассказывал, как его пригнали

рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу шестьсот евреев. Чепурченко вдруг услышал — его окликали. Среди трупов был Рудерман, ездовой валечной фабрики: лицо у него было в крови, один глаз вытек, он просил: «Добей меня!..» «Живыми зарывали, земля ходила»,— рассказывала женщина.

Я видел предателя-старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал: «Зря народ волнуется. Сами сказали: «Иди в старосты». А что я плохого сделал? Давал характеристики, и только. Пальцем никого не тронул...»

Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала: «Ослепла коровушка! Не может она... Идет, а не видит. Да и я надорвалась, гляжу и не вижу. Да разве можно так жить?» У коровы были очень ясные, спокойные глаза, а на спине большая плешь.

«Теперь легче будет — наша берет,— рассуждал старик,— на покрова малина — это на жизнь...» На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия: «Пять часов стою, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских нема ничего...»

Я сидел ночью у Сожа. Немцы бомбили мост — восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил понтонеров Эбро: там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального, не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного: даже смерть представляют буднично. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, «а тут немец путается, мешает».

В Чернигове было тихо. На земле валялись каштаны, похожие на полированные камешки, и я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими «камешками». Разрушенный дом, осталась только мемориальная доска: здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку.

В Васильевке из шестисот дворов уцелели тридцать. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали тридцать семь человек и убили, убили глубокого старика С. К. Полонского и тринадцатилетнего Адама Филимонова. Жена одного из расстрелянных говорила: «Ты напиши — жить мы не сможем — душа не выдержит...» «Факельщики» жгли за селом село, клали солому, не жалели горючего — жгли не от злобы, а деловито — выполняли приказ. Сожгли Тереховку. Колхозницы поймали одного «факельщика» — он залез в скирд,— закололи вилами.

У одного старосты нашли список расстрелянных, в списке: «Музалевская Римма Николаевна трех лет, Давыдов Виктор Михайлович одного года».

Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороду теребил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать — и вдруг закричала. До сих пор слышу этот крик... В Корючкове

священник пошел к немцам с крестом — просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадьей.

Вот еще рассказ, записанный в книжечке: «Она, конечно, чужая, одни говорили, будто еврейка, другие — что с партизанами дружила, одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дите, и она дите хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили, а дите живое, ползает. Мы просили: «Дай дите». А один немец молодой выбежал, схватил и головкой о камень...»

Глухов, Козелец немцы, уходя, не успели сжечь, сожгли потом с воздуха.

Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся: «Ничего, дострою... Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатки. Мужьев у них поубивали, а жить нужно...»

Белел песок. Фотокорреспондент Кнорринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат: «Дождался — днепровская вода, такой другой нет...» Вечером мне рассказали, что он погиб — только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу.

Боюсь, эти несвязные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны. В 1943 году я раза два или три ходил на собрание московских писателей. Люди, приставленные к литературе, тогда требовали «монументальных полотен»: искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания, а во время войны было не до строительства, и вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали.

Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать литературу,

И. Эренбург в освобожденной деревне. Белоруссия, 1943 г.

К. Симонов и И. Эренбург. На Десне. 1943 г.

В армейской газете. И. Эренбург — второй слева. 1943 г.

И. Эренбург разговаривает с пленными из французского легиона. Белоруссия. 1944 г.





а ее отстоять — язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой — каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать, приходили бойцы, говорили: «Почему про Осипова нет? Когда паром затонул, он выручил». «Напишите про Хакимова — может, родные прочитают». «Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова, он вырежет, матери пошлет».

Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира — случайный эпизод, что никакие «тигры» не спасут Гитлера. Изо дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов: того требовали не только бойцы, но и совесть.

Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был, но в них нет ничего о моей личной жизни: я писал о том, чем жили тогда все — о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве.

Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаяние, надежды.

Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом...

Я запомню, как последний дар,
Этот сердце леденящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла горестную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,
Он со мной, как пепел деревень,
Как белесая больная тень,
Как тифозной бредовой беды
Красные и черные скирды,
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.





Мне было за пятьдесят; я невольно вспоминал первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картин и чувств.

...Мой век был шумным, люди быстро гасли,
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?..

1943-й не походил на 1941-й — понемногу все становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмотреться, даже к войне, сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое?

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине:

Был час один — душа ослабла:
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.
Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: «Почему «и»? Хорошо, не сберегли искусство, но сберегли другое...» Да, но и много, очень много потеряли. Почему я вспомнил про искусство? Да потому, что яблоню нужно вывести, вырастить, это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла.

Кто знает, как мы ненавидели войну! А другого не было: фашисты несли с собой дикость, зверства, культ силы, смерть. Народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди родились не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя):

Скажи, здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный суров,
Как некий важный маятник,
Отмеривая ход часов,
Без устали качается.

Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой:

По рытвинам, средь мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми — мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек — хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня.

Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади Козельца:

Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют, сожжены.
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.

Вернусь к строке, приведенной выше: мне казалось, что я освободился от того, что назвал «высокими заблуждениями». Это было еще одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын, ни «убийц в белых халатах» — тех лет, когда народ, разбивший в бою расистов, увидел, как всерьез переименовывают сыры или пирожные и как мимоходом губят людей. Но разве это мерещилось малышу в Козельце, когда он смутно улыбался? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть двадцать два или двадцать три года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть другой. А сын Чмиля, Игорь Ивано-

вич, которому нет и пятнадцати лет... Тащить на гору камень, чтоб он оттуда скатывался? Нет, с этим не мирится совесть! И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, я отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни — человек со всем может расстаться, только не с надеждой.

15

Седьмого ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием; собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты — словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами и шишками». Оглядев зал, П. П. Кончаловский шепнул мне: «Напоминает холст Эдуара Мане»... Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груди генералов изнемогали от орденов. Гарро неистово размахивал фалдами фрака и, выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать об интригах англичан в Алжире: «К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых...» Английский посол Керр, забыв о присущей ему чопорности, со всеми чокался «за победу», пил водку и вскоре стал походить, скорее, на советского писателя, чем на британского дипломата. С. А. Лозовский обнимал генерала Пети: «Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну. Мы их расколотим». «On va battre les Fritzs à Minsk et à Biarritz» («Фрицев побьют в Минске и в Биаррице»). Генерал прослезился. А. Н. Толстой явился во фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов: «Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит мессы»... И. С. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего позументами, сказала: «Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый?..» Американский журналист Шапиро говорил: «Впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит союз!..»

Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев. Союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось Московское совещание министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья «все же нечто вроде второго фронта».

Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции «Красной звезды» кто-то спросил, не дать ли географическую справку о Сицилии, редактор возмутился: «Совершенно ни к чему...» После сообщения, что второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из

Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы ТАСС, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан — дружба дружбой, а политика политикой.

Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны; в день рождения Черчилля ему поднесли пирог с шестьюдесятью девятью свечами — по числу прожитых лет. (На праздничном пироге прибавилось всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла «холодная война».) Мы, конечно, не знали будущего. Но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий: мы жили одним — остановить врага. А начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули созвездия первого салюта, я начал присматриваться, задумываться.

Еще летом из Лондона вернулся И. М. Майский. Я обрадовался подаркам — лезвиям для бритвы, записной книжке, вечной ручке, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гитлера — боятся Красной Армии. Майский рассказывал мне, что с де Голлем англичане не считаются.

В конце года С. М. Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии.

(Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в Петербурге, прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считая, что грохот орудий связан с неприятностями; как только радио передавало позывные, он начинал неистово выть. На такую сцену однажды попал Верт и сказал: «Теперь я вижу, что это действительно английская собака — боится советских побед».)

В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол Керр держался чрезвычайно светски, спрашивал Любу: «Вы, конечно, прустианка?» — и добавлял: «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара.

В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов, меня удивили и невкусная еда, и простота, порой переходящая в фамильярность, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали

кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют «военной тайной». Я понял, что ценитель литературы — разведчик, и быстро его оборвал: «Я не военный, а писатель, вернемся лучше к Честертону».

О вечере у Гарримана я рассказал Лозовскому; он нахмурился: «Лучше, когда вас приглашают в посольства, спрашивайте... А к американцам вообще не стоит ходить».

Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллеса; он сообщал, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски, говорил о добрых чувствах к советскому народу; его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью.

Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для «Красной звезды», «Правды», для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее: что-то изменилось. Я это почувствовал на себе.

Летом Совинформбюро попросило меня написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить третий рейх. Один из помощников А. С. Щербакова — Кондаков — забраковал мой текст, сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: «Это бахвальство». Я счел слова Кондакова далекими от того, что мы называем интернационализмом, и написал А. С. Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в ПУРе. Разговор был длинным и тяжелым для обоих. Щербаков сказал, что Кондаков «переусердствовал», но в моей статье нужно кое-что снять — я должен понять ситуацию, «настроения русских людей». Я ответил, что русские бывали разными — Горький или Короленко рассуждали иначе, чем Пуришкевич. Щербаков рассердился, но перевел разговор на другую, пожалуй, смежную тему; он похвалил мои статьи и вместе с тем покритиковал: «Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейне... Бородино теперь ближе, чем Парижская Коммуна». Я заговорил о судьбе Лидина: с первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно ответил: «Не умеет писать для народа». (Потом я узнал, что одна из корреспонденций Лидина рассердила Сталина.) А Щербаков усмехнулся: «Вы многого не понимаете. Прислушиваетесь к тому, что скажет Литвинов или Майский. А они оторвались от положения у нас...» Я огрызался и в конце концов сказал: «Теперь война, немцы еще сильны,— значит, я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным». Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся: «Что вы будете делать после победы?» Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. «А я знаю,— сказал Щербаков,— буду трое суток подряд спать». Я поглядел на него: у него было одутловатое, бледное, усталое лицо.

Должна была выйти моя книга «Сто писем» — статьи и письма, полученные от фронтовиков; мне казалось, что в этих письмах раскры-

вается душа народа. Книгу набрали, сверстали и вдруг запретили. Я спрашивал почему, мне не отвечали; наконец один из работников издательства многозначительно сказал: «Теперь не сорок первый...»

Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину, и Сельвинского обругали. «Правда» обрушилась на Платонова: «Выкрутасы вместо простоты». Устроили собрание писателей, осудили (разумеется, единодушно) книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зощенко. Новая газетная статья пополнила ряды «вредителей», она была посвящена К. И. Чуковскому, написавшему сказку для детей «Бармалей»: «Пошлые выверты К. Чуковского вызывают отвращение». Е. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон»; он предугадал будущее: рыцарь Ланселот освободил город от дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что жители горюют о «милом Дракоше», который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. «Литература и искусство» писала: «Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». Обличали Паустовского: в сценарии о жизни Лермонтова он осмелился сказать, что поэта тяготил мундир николаевской армии. Все это напоминало тридцатые годы. А немцы еще сидели в Орше и обстреливали из орудий Ленинград...

В «Красной звезде» работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года — в редакцию пришли сотрудники ГБ, срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Таленский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. «Кружкова арестовали...» Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. Недавно я встретил П. П. Кружкова, который, разумеется, реабилитирован.

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего опричнину. С. М. Эйзенштейн, по указанию Сталина, работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. (Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал: «Смыть».) А. Н. Толстой мне сказал: «Я еще в Ташкенте написал пьесу о Грозном. Конечно, хочется работать над «Петром», но положение такое... Вот побьют Гитлера, тогда кончится вся эта пакость, обязательно кончится».

В конце 1943 года в Магадане вышло издание «Падения Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена, в 1935 году вернулся в Советский Союз, а в 1937 году был арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты.

Каждый день приносил нововведения. В городских десятилетках ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один педагог доказы-

вал, что мальчиков надо сызмальства обучать военному искусству, а девочек рукоделию. (Вскоре после смерти Сталина раздельное обучение было отменено). Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумают мундиры для поэтов, на погонах будут одна, две или три лиры — в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым.

Напечатали текст нового гимна, в нем прославлялись Сталин, «Великая Русь». Я вспомнил «Интернационал» и задумался.

Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное, будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые тащили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира. Продовольствия было в обрез. Жены ответственных работников обсуждали, кому дали лимит, кому половину, кому — ничего,— лимитом назывались карточки, по которым можно было покупать товары в закрытых распределителях на полтораста или семьдесят пять рублей. Обыкновенные граждане сокрушались: «Опять не отоварили по карточкам крупу...» Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно — подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу: хотели развлечься да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подругу, что Маша перестала писать мужу и сошлась с хромым музыкантом, говорили, конечно, и о том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет.

В ноябре Шостакович прислал мне записку — просил прослушать его Восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг

И. Эренбург, Д. Шостакович, Н. Тихонов. 1942 г.

«Сто писем» фронтовиков И. Эренбургу. Сверка. 1943 г.

И. М. Майский и И. Эренбург. 1956 г.

А. Толстой и И. Эренбург в группе. Харьков, 1943 г.





раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все.

В 1943 году впервые показались те тучи, которые пять лет спустя нависли над нами. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимания на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, порой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями.

Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма,— кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились. Но мы верили, что победа принесет справедливость, что восторжествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой и что Берия снова откроет огонь по своим. Пусть мы многого не предугадали, но с нежностью, да и с гордостью я вспоминаю мечты тех лет.

Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не славословия «гениальнейшему полководцу», не саженные батальные полотна, даже не ордена, а память о невернувшихся, неиссякающие слезы — это живая вода народной совести.

16

В декабре 1943 года умер Ю. Н. Тынянов. Познакомился я с ним еще в двадцатые годы, когда он был одним из вдохновителей «Опояза» — вместе с Б. М. Эйхенбаумом, В. М. Жирмунским и В. Б. Шкловским. Он начал с того, что не создавал литературу, а изучал ее, но изучал на-





столько вдохновенно, неожиданно, что его книга «Архаисты и новаторы» остается и поворотом в литературоведении, и книгой художника.

Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал: я был самоучкой с огромными провалами в познаниях, которые может дать средняя школа, писал романы с грубейшими ошибками и словесными, и школьными (в «Хулио Хуренито» спутал Этну с Везувием). Вместе с тем я был задорен, искал новую форму романа, отрицал то, что защищал годом раньше, и вот Тынянов, этот воистину «петербуржец» (в старом значении этого слова), неизменно учтивый, даже в злых репликах,— меня стеснял, порой страшил.

Вспоминаю один разговор: Тынянов говорил, что время литературных школ миновало — новатор может быть архаистом, и к Пастернаку ближе всего Мандельштам. Меня рассердило, что Юрий Николаевич повторял: «синкопический пеон» — я тогда не знал, что это значит, и постыдился признаться.

Весной 1936 года Юрий Николаевич приехал в Париж — больной, его подкашивала редкая и страшная болезнь: рассеянный склероз. Я глядел на Тынянова другими глазами: передо мной был не литературовед, но автор книг, которые были большими событиями в моей жизни. Я не сразу решился написать о нем в книге воспоминаний: я ведь писал не о книгах, а о людях, но потом решил, что нельзя промолчать о человеке, произведения которого мне помогли многое понять.

Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков, герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора. Поэзия в полвека, когда я искал, думал, писал, казалась, да и кажется, мне более значительной, чем проза, требующая большего отступа, но в советское время было написано немало значительных романов и рассказов. Я встречался со многими писателями, известными еще до революции,— с М. Горьким, Буниным, А. Ремизовым, Андреем Белым, А. Н. Толстым, Е. Замятиным, с людьми моего поколения — Фединым, Паустовским, Бабелем, Тыняновым, Зощенко, Вс. Ивановым, Катаевым, Олешей, Леоновым, с теми, кто родился уже в XX веке,— Фадеевым, Шолоховым, Авериным, Гроссманом. Гейне писал, что каждый человек — это мир, и надгробные памятники высятся над развалинами исчезнувших миров. Задолго до него английский поэт Донн напомнил о связи таких миров: колокол звонит не только по усопшему, но и по тебе. Я любил одни книги, был холоден к другим, но все, что делали мои современники, было связано с моей жизнью. Я не говорю об И. Э. Бабеле — он был моим другом, и я часто вспоминаю о нем, как о своем учителе, но учился я и на книгах других современников. Разобраться в эпохе мне помог Тынянов.

Эти слова могут удивить — Тынянов ведь писал исторические романы и рассказы, причем выбирал эпохи мрачные: Николая Первого, Павла, конец Петра. Он превосходно знал историю и никогда не пытался вразрез правде приписать прошлому что-либо от современного. Он был человеком, сдержанным не только в жизни,— садясь за рабочий стол, он умел владеть собой, может быть, поэтому его книги казались некоторым суховатыми. Однако никогда не было крупного и при-

том честного автора, который мог бы хорошо писать о событиях, лежащих вне его душевного мира, о людях ему далеких и чуждых.

В романе «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянов писал: «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы».



Ю. Тынянов. 1941 г.

Юрий Николаевич любил шутить, говорить о пустяках, стойко боролся против болезни, но был он человеком очень грустным, и грусть Грибоедова была для него не страницей истории. Он родился в один год с Бабелем и Пильняком, которые умерли в углах наименее удобных. Тынянов ненадолго их пережил, хотя умер он на своей кровати.

«Подпоручик Киже» и «Восковая персона» были нам глубоко понятны. В то же самое время, зная только «Кюхлю», я писал о приключениях злосчастного Лазика Ройтшванеца, которого события носили по миру, из города в город, из страны в страну. Однажды ему предложили заняться кролиководством — это было модное в ту пору занятие. Ему послали пару кроликов, но только их выпустили из корзины, как собака их загрызла. Бедный Лазик тотчас написал о своей очередной неудаче, но в ответ пришел запрос, сколько крольчат принесли производители. Лазик понял, что есть люди, для которых всего важнее статистика, и начал подсчитывать, сколько кроликов могло бы быть у него, не будь зловредной собаки. Когда цифра стала внушительной, приехало начальство. Он повторил: «Я же вам писал, что парочку сразу загрызла собака»,— но гости отмахивались: «Где же кролики?» Подпоручик Киже был куда счастливее — он родился от описки писаря — «подпоручики же», но никто не осмелился признаться в этом Павлу. Царь приказал отправить подпоручика Киже в Сибирь. Его не было, но он был, и конвойные гнали его по Владимирке. Павел его помиловал, приказал жениться на придворной фрейлине. В церкви жениха не было, но невесту обвенчали. Павел произвел его в генералы, и вот однажды он позвал его во дворец. Павлу сказали, что генерал Киже заболел, в несколько дней он умер. Пустой гроб торжественно похоронили.

Восковая персона была изображением Петра, снабженная пружинами, она могла передвигаться. Ее отправили в кунсткамеру, пружины сломались, и бедная восковая персона оказалась среди различных «натуралий» — младенцев-уродов в спирту.

Тынянов прекрасно знал историю, он умнее многих других разгады-

вал некоторые черты современности, но то, что мы называем «политическими событиями», его мало волновало. Он приехал в Париж в весну, когда рождался Народный фронт. Я был наивен, ходил на митинги, верил, что теперь фашизму будет нанесен смертельный удар. Юрий Николаевич не спорил, он отвечал «возможно». Он попал в город, который хорошо знал по романам, документам, планам, гравюрам. Ему хотелось побродить по Пале-Рояль, как то делал В. Л. Пушкин, найти место, где выступал с докладом Кюхельбекер, он вспоминал А. И. Тургенева и Вяземского, читал карту вин, как давно знакомый текст: «Моэт... Клико... Нюи...»

Он и в Париже, где можно бросать окурки на пол, сомневаться в таблице умножения и плевать на все авторитеты, оставался сдержанным — боялся выдать свое незнание быта, осторожно расспрашивал, как вести себя в кафе. Были в нем мягкость, обаяние, которые всех разоружали.

Потом он сел за «Пушкина». Эта книга, по его словам, должна была ответить на многие трудные вопросы, показать, как разум, гений, гармония победили муштру и невежество. Однажды я спросил его: «А стихи после польского восстания, возмутившие Мицкевича?» Он кивнул головой: «И это...»

Вспоминаю нашу последнюю встречу тревожной весной 1941-го, за три недели до начала войны. Тынянов жил тогда в Пушкине, в писательском доме творчества, на бывшей даче А. Н. Толстого. В саду цвели нарциссы и тюльпаны. Мебель в гостиной была из красного дерева, на стенах висели картины. Все казалось мирным. Юрий Николаевич ласково улыбался. А говорили мы, разумеется, о войне. Помню, Тынянов сказал: «Может быть, в Германии отвратительного вида революция?..» Он все же был воспитан на логике прошлого века: ему представлялось невозможным оглупление большой цивилизованной страны.

А «Пушкина» он не написал, закончил только начало — детство, отрочество поэта. Юрий Николаевич умер, не дожив до пятидесяти лет, а в последние годы болезнь мешала ему работать. Свою разгадку Пушкина он унес в могилу.

Я часто вспоминал и вспоминаю прекрасный рассказ о мнимо-малолетнем и, увы, вполне совершеннолетнем Витушишникове, который умел одно — бить в барабан. Я порой себя чувствую именно таким недорослем, и за это тоже спасибо Тынянову.

Я был на его похоронах. После Сталинградской победы многое менялось на глазах. Звание и форма определяли положение человека. Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре, и веночки были из бумажных цветов — попроще, поскорее.

Я стоял у гроба и думал: мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов...

17

Для простых смертных все выглядело пристойно: на театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительств антигитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба.

Американцы предпочли де Голлю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили — генерала Жиро. Де Голль предпочитал себя. Во Франции многие из его сторонников не хотели договориться с партизанами-франтирёрами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Вадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров, в том числе и Вадольо. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу, в Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый ЭАМ. В Лондоне нашло пристанище польское правительство; Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения; возник Союз польских патриотов; в лесах Польши имелись отряды правых — Армии крайовой и левых — Гвардии людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно.

Разумеется, я не был посвящен в секреты дипломатов, но по характеру своей работы кое-что знал: меня приглашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных.

Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять все, что мне нравится в Англии,— и Хартию вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественникам, неизменно говорил: «А вот господин Эренбург, который признает в Англии только трубки, газон и терьеров...» Керр был хорошо воспитанным скептиком, но не позволял себе говорить то, что думал; только однажды на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии он признался: «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?..»

В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого А. Н. Толстой называл «мастером трубочных дел». Янкелевич изготовлял замысловатые трубки и продавал их любителям. Его арестовали, кажется, именно за незаконную торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркоминдел решил поднести Черчиллю подарок — старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась

поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог поблагодарить судьбу или Черчилля. А вот директору фабрики «Ява» приезд английского премьера принес только хлопоты: от него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил: сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто это ракета. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в особенности...» С чем он меня поздравлял, я не знал, но, в свою очередь, улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем.

Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне: «Вы, кажется, не очень любите англичан?..» Я решил, что Керр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Иден так думает. Он ответил: «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил: «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение; Иден поспешно улыбнулся: «Это шутка. Конечно, мы все союзники, и лично я очень люблю французов...»

Впрочем, другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил: «С Францией будет трудно — там больше предателей, чем повсюду». Английский корреспондент Уинтертон признавался: «Лучше без французов...» Уилки доверительно сказал мне: «Роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место».

Естественно, что французы — посол Гарро, советник Шмитлейн, молодой Горс, генерал Пети — частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам: боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Пети; были Торез, Жан Ришар Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое: после первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию Прирейнской области; рассказывал, как союзники восхищались порядком, организацией, как влюблялись в немок; никто не сомневался, что мир обеспечен; а в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза: «У нас теперь одна надежда — русские не допустят повторения!..»

В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел А. Н. Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове — на верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен «мягкий мир», к тому же успел выпить пол-литра.

(С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери — в прошлом ультралевый — по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа

остался у нас, писал во французских газетах, выходивших в Лондоне. После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он привязался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и честолюбия, и житейской смекалки, в минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи — для себя, нигде их не печатает.)

Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали — их страны не знали фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах — у тех были свои расчеты; но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены; армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран.

Вряд ли норвежский посол Андворд восхищался советской системой, но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сибаритом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина; Андворд вспоминал Норвегию, общих друзей, говорил: «Надеюсь, что «фау» образумят англичан. Они хотят с гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известия о расправе с нашими студентами. Вы правы — микстуры не помогут, нужна хирургия...»

Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм, он представлял самую маленькую страну — Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам пришел перебежчик. Полковник сказал мне: «Фриц говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца...» Меня привели к перебежчику. Это был молодой паренек-крестьянин. Он попросил у меня бумаги: «Хочу написать письмо...» Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал: «Ее высочеству великой герцогине Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил свой долг и перешел на сторону Красной Армии...» Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился; он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. (Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в Политехнический,— чуть было его не задушили.) Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым, что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он — председатель Общества дружбы с Советским Союзом; выступает на митингах; все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время.

Бывал я часто у посла Чехословакии Фирлингера. С ним было легко говорить: он понимал, что такое фашизм. Понимала это и его жена, милая, очень живая француженка.

Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он припомнил наш давний разговор: «Я уже знал, что Чехословакия обре-

чена...» Потом он добавил: «Для нас единственное спасение — в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут придерживаться разных политических убеждений, но в одном они бесспорно сойдутся — Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее».

Ко мне приходили югославы — один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы — сочетание монументальности с движением, нравился и человек — он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов в Серебряном Бору. Там я встретил партизан и партизанок. Они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии,— чувствовался демократизм, прямота. Мне с ними было хорошо.

Иностранные корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении; я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь, они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были видные журналисты — Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под Ржев. Он знал войну — был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным; написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начиналась «холодная война». Кругом были нарядные коттеджи. Цвели розы. Люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил: «Помните Ржев? Там мне было спокойней. Можно прожить без комфорта, без надежды труднее...»

Конечно, инкорам было нелегко: в газетах было больше статей, чем сообщений; цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник — заведующий отделом печати. После пресс-конференции каждый старался обогнать других и первым прорваться к окошку телеграфа. Бывали драки; однажды американский корреспондент проколол покрышки на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф.

Корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро хорошо к нам относился, но ныл: от него требуют сенсаций, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие, окончательно его подкосившее: Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Кессиди. Шапиро прибежал ко мне потрясенный: «Я тоже посылал вопросы... Ассошиэйтед Пресс правее, чем Юнайтед... Почему Сталин решил меня погубить?..» Успокоить его было невозможно, он и слышать не хотел, что Кессиди просто повезло — его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде «утешительного приза» отдел печати МИДа разрешил Шапиро поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись в Москву, он мне сказал: «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения Юнайтед Пресс это не может сравниться с тем, что получил Кессиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Ассошиэйтед Пресс?..» А Кессиди ходил именинником, показывал всем

подпись Сталина под ответами на вопросы и ухитрился получить в «Арагви» четыре бутылки вина: «Мне пишет Сталин...»

Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел один развязный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люба и, не зная, кто у меня, спросила: «Вы что, продаете сахар?..» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколько дней спустя я рассказал о нем Толстому. Алексей Николаевич загрохотал: «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся, понимаешь? Решил сразу отдарить, ничего у меня под рукой не было, я отдал самопишущую ручку «ваттермана». Взял, подлец...» Мы долго смеялись. (Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова «американская помощь»...)

О сахаре можно было забыть; но имелись вещи посерьезнее — раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались все яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии. Развязка приближалась.

Первого июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных французов из «легиона», организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы: в 1812 году русские почти окружили армию Наполеона и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми командовал генерал Эбе (о генерале я знал потому, что часто в Париже проходил по улице, названной его именем). А «легионеры» застряли на Березине: они были трусливыми, но жадными наемниками, их остановили чемоданы — не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть «все равно как», другой описывал нужду, лишения — «в минуту слабости согласился», третий ссылался на «загадочные пути судьбы», четвертый приговаривал: «Я глубоко

Американский журналист и Леланд Стоу (в центре) под Ржевом. 1942 г.

Л. Стоу и И. Эренбург в США. 1946 г.





штатский человек. В Париже у меня маленький ресторан «А ля флёр де лис». Клиенты всегда меня хвалили. В кулинарии я не ошибался. Другое дело политика...» «Легионеров» поместили вместе с немецкими пленными, среди которых оказалось много эльзасцев. Потом мне рассказали, что эльзасцы ночью избили «легионеров».

Я побывал у летчиков «Нормандии». Французы рассказали, что, когда шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе; каждый раз его задерживали, наконец его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Лиоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку «Нормандия». Над Березиной было его боевое крещение, и вот он погиб... Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии», они посмеялись, сказали с презрением: «Не думайте, что таких много. Это наши «власовцы»...» Я улыбнулся: твердо верил во Францию.

Да, не скрою, я верил в замечательное будущее — иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе: решат дело не дипломаты, не политиканы, а народы — они-то хлебнули горя. Значит, фашизм будет похоронен навеки.

А инкоров я встретил где-то между Борисовом и Минском. Они были счастливы и потому, что видели победу союзной армии, и потому, что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент «Таймса» — он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдаться, и, увидев штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатилетний мальчик Алеша Сверчук, тот пригнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент «Таймса», естественно, радовался.

Скажу откровенно: в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска я не думал о том, как решится греческий вопрос, признают ли американцы Тито, что скажет Иден о поляках. Я думал: как пробраться в Минск — вокруг бродили немецкие дивизии.

18

В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался: почти все дома невредимы; четверть часа спустя раздались взрывы, и домов не стало.

Весь день работали саперы — вытаскивали мины; успели спасти большой Дом правительства, некоторые другие дома. Однако, бродя по городу, я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе! За два дня до этого я был у генерала Черняховского; он мне сказал: «Теперь мы не гоним противника — мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на восток от Минска, поэтому трудно было проехать в город — на шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел»,— сказал мне один

танкист, и я подумал, что война подходит к концу, улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград — это город, который много раз жгли, разрушали; в нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучились, строили, и вот — щебень, обгоревшие развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь — просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка.

(Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета Мира, я застрял в Минске — погода была нелетная. Меня выручил П. У. Бровка — повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, дома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне восхищался ими: люди ужинают, спорят, ревнуют; наверно, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка.)

Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал: мне повезло, хоть в Минск я не опоздал! Генерал Вадимов мне не давал свободы! Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску, и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество. В 1944 году, уже не будучи редактором «Красной звезды», он писал мне с фронта: «Вспоминаю вас, рассказываю о том, что с вами невозможно ездить на фронт, потому что вы обязательно хотите быть впереди всех, даже впереди боевых порядков». Конечно, это было абсолютно несправедливо, но генерал Вадимов внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года «Красная звезда» послала К. Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену Военного совета 13-й армии генералу Козлову (копию мне недавно дали): «У вас находится Илья Эренбург, в целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал». А вот в Минск я добрался вовремя; да и потом ездил куда хотел — мне удалось исчезнуть; в редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверно, снова предпринял бы розыски.

Черняховский был прав: Минск наши армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытаясь прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона, майора, в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал: «Фрицы у вас замечательно получаются, наверно, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишете, как вы разыскиваете, кого описать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или

приходится выдумывать?..» Я не успел ответить — раздалась дробь пулеметов: огонь открыл немецкий полк, пытаясь прорваться на запад.

Я поехал на запад, в Раков, в Ивенец, и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу: окруженные немцы, изголодавшись, напали на хлебный завод.

Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит: «Я немец, а не дерьмо...» Один немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне: «Конечно, в данный момент преимущество на вашей стороне — Германия вынуждена сражаться на двух фронтах. Но вы должны признать, что танковые прорывы, охваты — достижение немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам...» Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев: войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться этим вряд ли приходится.

Обер-лейтенант в Вильнюсе, на кладбище Рос (там был сборный пункт для пленных), говорил: «Я на Восточном фронте с самого начала. В сорок первом мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все переменилось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильно. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует». Он помолчал и неожиданно добавил: «Я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем?..» Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик — смертельно раненная ворона упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный, как статуя.

Тацинцев я встретил у границы Литвы: они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск: «Мы не по дорогам шли — лесом, болотами, смешно сказать — где только заяц бегает. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись...»

Стояли очень жаркие дни, дождя давно не было, и плотные тучи удушливой пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, расплющенных, перевернутых, загораживали путь. Старшина Белькевич говорил: «Я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, семнадцать годов... Убили, то есть, буквально накануне — второго числа — соседи видели... —Он вытер рукавом лицо; пот, смешавшись с пылью, образовал маску.— Пыль-то какая!.. — Потом тихо добавил: — Как мы вошли в город, отпросился домой, бежал. А сестренки нет...» И такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть — к тоске, к беде, к одиночеству, только не к чужому горю; много раз я это чувствовал в те годы.

А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих рассказов! В Ракове я пошел к настоятелю собора ксендзу Ганусевичу. Он сидел, старый, тихий, среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила

из окна младенца; подбежал «факельщик», деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой: «Я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксендза, он болел, не мог ходить, они его замучили. В Дорах собрали всех в православную церковь и сожгли. В Першай убили двух ксендзов. В Писании сказано: «Он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Я старый человек, но как будут жить после этого молодые?..»

Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал: «Письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем — осталась одна, хочет попрощаться с товарищами Паши...» Все примолкли; вскоре уснули. Мне не спалось, я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксендза.

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев — минских и привезенных из Праги, Вены. Обреченных привозили в душегубках (машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли «геваген»; машины усовершенствовали — кузов опрокидывался, сбрасывал тела удушенных; новые машины именовались «гекнипваген»). Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Треблинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать — нет слов.

Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели Тростянец. Кажется, нигде война не была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала, и стоял сильный смрад.

Я говорил с командующим пехотной дивизией генерал-лейтенантом Окснером. Когда его взяли в плен, он был одет как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных, он мне сказал, что идеи, которые вдохновляют вермахт, живы и рано или поздно восторжествуют. Я спросил его о Тростянце, он ответил: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести...» — «А почему вы переоделись?» — «Не хотел унизить звание — немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал: «Мы оказались в положении маленького народа — против нас огромные государства: Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя Голиа-

фами...» У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников.

Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой: «У Воронежа вы воевали лучше...» Гельвицер ответил: «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера, он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками...» Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах: часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии кучка офицеров пыталась выступить против Гитлера; это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманивал страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое — он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные действия перебросятся на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростянце они не говорили...

Передо мной номер «Зольдатенцейтунг», я гляжу на портрет военного в мундире: генералу танковых войск фон Заукену, кавалеру ордена железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось семьдесят лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Заукен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов... Я ничего не могу с собой поделать: я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных — гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город; помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов; помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев — стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр. Да и не в нем дело. «Зольдатенцейтунг» в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данциг, Судетскую область. Значит, снова?.. С этим не мирятся ни разум, ни совесть.

В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запад настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат — он воевал в первую мировую войну,— говорил: «Вы про пехоту не забывайте. В двенадцать дней прошли почти четыреста километров. У пехотинца теперь свой мотор — сердце, человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал: «Осерчали...» Видят, что немцы понаделали, и торопятся — кончать пора...»

Картины менялись, и картина оставалась той же: по-разному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов: чернели дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплац» («площадь Свободы»). Кажется, в Красном, а может быть,

в тех же Ольшанах фабрикант Рихард Садовски заставлял прохожих сходить с тротуара, подымать руку, восклицать: «Хайль!» Алексей Петрович Малько (я записал имя) рассказал, как немцы сожгли его дочек Лену и Глашу, это было в деревне Брусы. Возле Сморгони бойцы нашли в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора и что «немцы сыпали маме песочек в рот, а мама кричала». Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячу двести евреев; портной, когда немец приказал: «Танцуй!» — плюнул и крикнул: «Убивай скорей, ты свое еще получишь!..» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми,— не знаю, убили ли жителей или угнали, а может быть, люди убежали в лес.

Все выглядело, как год назад возле Глухова или Чернигова; но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса; отовсюду стреляли, и незнакомый мне майор закричал: «Ложись!..» В этот день наши танкисты были уже далеко — прошли полпути к Каунасу; а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавших, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии.

Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала П. А. Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял: «Прошлым летом танки играли другую роль, тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, вырываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя. Без головы, разумеется, тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались — мало места для инициативы. Вот после войны, надо надеяться, будем жить разумней». Мне понравился маршал: молодой, живой, разбирался не в одних военных операциях, но и во многом другом — в политике наших союзников, в литературе, даже в различных сортах рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на поле боя, но и (это, может быть, еще труднее) в будничной гражданской жизни.

Никогда раньше я не был в Вильнюсе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно — дома, барочные костелы, узкие старые улицы. Редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется. Несут раненых. Ведут на кладбище Рос пленных. Солдат мало — они выбивают немцев из пригородной рощи. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки. Да и сейчас в городе немцы прячутся, постреливают из автоматов.

Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой: «Зря ходите — они из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-таки...»

На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году — я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко; он был хорошим рассказчиком, я охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, когда мы годами не видались, я о нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было — и кинокамеры,

и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У Остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли мы к костелу святой Анны. Павленко рассказал — Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич. Кое-где лежали тела убитых горожан; помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века; рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рассматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник; вдруг зевнул: «Дождь... Давайте-ка пойдем перекусить. У меня бутылка французского коньяка». Мы выпили, и Петр Андреевич сказал: «Помните, как я вам показывал Стамбул, святую Софию. Это было в двадцать пятом или двадцать шестом,— почти двадцать лет... Жизнь была шумной, а написать почти ничего не удалось. Вы мне сказали как-то, что я люблю приврать, когда рассказываю. Ну не так прямо, но я понял... Отнесите за счет эпохи — пар требует выхода. В литературе, хочешь не хочешь, а ври, только не так, как вздумается, а как хозяин велит. Что и говорить, он человек гениальный. Но об искусстве нечего и мечтать. А в общем, все ерунда. Выпьем лучше за победу...»

Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы, прочитав, рассмеялся: «Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к вам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то спрашиваю — никто толком не знает, одни говорят — сто, другие — полтораста. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске, пишет, что ждет со дня на день, болеет, боится, что не дотянет...»

Я встретил группу партизан-евреев, они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговорился с двумя девушками — Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партию в Понары — там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация Сопротивления, ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий, коммунист Виттенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтоб он явился, не то уничтожат все гетто. Виттенберг сказал товарищам: «Вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убили...» Его замучили. Пятистам заключенным удалось бежать; они сражались в отрядах «За победу», «Мстители», «Смерть фашизму». Рахиль и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись; у меня сохранилась фотография: я с группой партизан.

На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса: немцы в роще начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями; выглядели люди страшно — просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды; но почти все улыбались — самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выно-

сили из немецких машин барахло. Говорили, что будут выдавать хлеб.

Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы: в стеклянной банке я нашел сухари из черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверно, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии — группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с видом Ниццы. На полке стояли книги — польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать — и бросил. Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной? Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо. Ведь мучился человек в этом романе из-за тонкостей любви. Может быть, они встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не закапывали живьем, не сажали в душегубки. Не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверно, жена майора ждет не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа! А может быть, именно оттого, что победа близка, можно задуматься, затосковать?..

Я приподнял ковер, которым майор завесил окно.Светало, утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул.

19

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о минском котле, о боях в Вильнюсе, о летчиках «Нормандии». В свою очередь, он поделился новостями: «Судя по радиоперехватам, партизаны начинают занимать города в Дофинэ, в Лимузене,— и, суеверно понизив голос, добавил: — Кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию...»

Россия рано вошла в мир Жана Ришара; говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, я вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года, подписей было много, а текст написал студент Сорбонны, двадцатилетний Ж. Р. Блок. Он восторженно встретил рождение Советской республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на съезд советских писателей; он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране,— достопримечательности, образцово-показательную жизнь.

Вторично он приехал в Москву весной 1941 года, приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. А. Н. Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через

Казань, он разыскал Блока, который снимал комнату в татарской семье; комната была подвальной. Жан Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте: «Скоро немцев расколотят...» «Да что ее,— добавлял, смеясь, Алексей Николаевич,— он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное — сводки, хлеб не убран, люди повесили нос — словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается...»

Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам: рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех не перечислить, назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан Ришар захворал; пришел врач и ужаснулся, мне позвонили: «Истощение на почве длительного недоедания...» А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь.

Жан Ришар мучительно переживал вынужденную разлуку с родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса. А в те годы был грохот бомб и молчание. Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими — с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто: окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось шестьдесят лет, выглядел он моложе, может быть, потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтескьё, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку: «Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз — для других и для себя...»

Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он

И. Эренбург среди еврейских партизан, бежавших из гетто. Вильнюс, 1944 г.

И. Эренбург и В. Гроссман под Киевом. 1943 г.

Жан Ришар Блок. Париж

И. Эренбург и Ж. Р. Блок — марка, выпущенная обществом «Франция — СССР»





неожиданно сказал: «Мне перевели новый указ о браке...» Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать: «Теперь война, не стоит об этом задумываться...»

Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он вскользь упомянул, я прочитал где-то под Минском; кругом стреляли, я засунул газету в карман и, как Блок, сказал себе: не нужно об этом думать. У войны свои законы: стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ о браке продолжал линию, которая наметилась год назад: обязательная регистрация, судебное разбирательство для развода, понятие матери-одиночки, все это было куда ближе к дореволюционному законодательству, чем к декретам первых лет революции, но я жил тогда одним — разгромом фашизма, все остальное мне казалось второстепенным.

Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года: он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером.

Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась первая мировая война, и с нею началась новая эпоха. А Жан Ришар успел и написать хороший роман «...и компания», и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это было связано не с подпольем, не с провокаторами и «провалами», не с тюрьмой, а с благородными речами Жореса, с верой в разум, в прогресс. Я приезжал во Флоренцию зеленым юношей, духовно неприкаянный, всегда голодный и восхищенный красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан Ришар, профессор французского института, отец троих детей, эрудит и гуманист; искусством кватроченто он любовался не как воришка, прокравшийся в богатый дом, а как законный наследник.

Может быть, именно поэтому первая мировая война была для него катастрофой,— он должен был решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Ролланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим





собой — он знал, что Роллан из своего швейцарского далека рассуждает правильно; но знал и другое — немцы вторглись во Францию, нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен — на Марне, в Шампани и у Вердена, последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дна. Ромен Роллан любил Блока, но поведение его осуждал: считал, что молодой Жан Ришар, подобно многим, культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые тридцать лет спустя продиктовали Блоку слова: «Теперь не стоит над этим задумываться». Накануне второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромену Роллану про роман Барбюса «Огонь»: «Он создал произведение захватывающее, но не долговечное. Он удовлетворился замечательным показом декорации и силуэтов. Но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это — главное».

Двадцатые годы, первая половина тридцатых были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только сгибаться, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан Ришар — романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес; но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами,— эссе.

Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией мысли, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтеня до Сартра, от Стендаля до Жана Ришара Блока видели в эссе возможность объединить обостренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году, и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что вопросы, которые мучили Блока тридцать лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу.

В предисловии автор «Судьбы века» говорил: «Я не обращаюсь к политикам. Беседуя со мной, они потеряли бы время. Они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным...» Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром; задолго до этого выбрал себе место, вступил в партию он много позднее, но называл себя и тогда коммунистом. В конце двадцатых годов он предвидел предстоящее затемнение:

«Снова рабочий Калибан и музыкант Марсий — хранители подлинной культуры. Им нужно быть зоркими, потому что мы видим начало второго средневековья. Подымается волна нового нашествия... Эти новые варвары уже обосновались у нас. Они управляют нашей промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами».

Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека: «Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой, это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей». Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страстью к спорту. До Гитлера, до многого другого он предостерегал: «Итак, мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством... Восемнадцать лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн», эта ересь становится религией...» И далее: «Мы идем к диктатуре всемогущей полиции — я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ». Он говорил также о развитии точных наук и техники — без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание,— мне хотелось показать Жана Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают.

В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания означала объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго — видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена: «Мне тоже хочется писать о женщине, о любви, мне хочется выразить в словах, так, как это не выражали прежде, свист иволги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отступают под самолетами, перед танками, и у меня во рту горечь этого отступления...» Для раздумий больше не было места.

Начиная с той поры Жан Ришар снова жил как солдат. Год спустя в Париже начала выходить газета «Се суар»; ее редакторами были Блок и Арагон. Жан Ришар писал не о свисте иволги, а о «невмешательстве», о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход «Се суар». Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевеном и Валлоном выступили в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье — это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель; полиция пришла и за Жаном Ришаром, случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал. Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан Ришар узнал, что его мать, восьмидесятишестилетнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Ос-

венциме; дочь Франс увезли в Гамбург и там казнили. Начала выходить «Се суар», и Жан Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в Национальную ассамблею. Он почти каждый день выступал на митингах — надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва — Париж», правил корректуру, и в марте 1947 года скоропостижно скончался.

Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительна, а я уже говорил, что Жан Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным: «Писатель не только официальный прославитель завершенных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении... К счастью, у писателей другое назначение!» В той же речи Блок выступил против канонизации лжеклассических форм, которая обозначилась в речи Жданова: «Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие — летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него, но у войны свои законы; он писал о том, о чем писали многие: что Мюнхен — измена, что нельзя жить под игом фашизма, что американское золото хочет заменить германский булат. Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой и, только оставаясь сам с собой, «заменял» глаза образцового солдата и оптимиста на свои — на глаза обреченного художника.

Я не помню, когда с ним познакомился, кажется, в 1926 или в 1927-м. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр «Судьбы века» с надписью Жана Ришара,— по ней я вижу, что в 1932 году он меня считал своим другом. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа: подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, Блоки меня навещали, поддерживали. А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к Блокам. Жан Ришар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что нас сближало? Да то, о чем мы редко говорили: общность судьбы.

Жан Ришар писал: «Нужно ли говорить, что Советский Союз не рай и что там можно встретить не только праведников...» Он не был слепцом. В книгу «Москва — Париж» он включил статью «Илья Эренбург — наш друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который

я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислял некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал: «Восемьдесят три русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства — как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства «чудовища Пикассо»!» Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, он мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо — большой художник, он знал, и переубедить его было невозможно. Когда в одной редакции он услышал разговоры о том, что «евреи предпочитают фронту Ташкент», он спокойно ответил, что во время процесса Дрейфуса он уже слышал такие разговоры и в лицее бил за них по лицу будущих фашистов. Он видел чванливых бюрократов, взяточников; несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что Тухачевский был не предателем, а жертвой мании преследования и самодурства?.. Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию «пятой колонны». Он начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается...

Чем он утешался в часы, когда ему становилось невмоготу? Иногда писал стихи. Иногда переводил стихи. Во время первой мировой войны, раненый, в полевом госпитале, он начал переводить Гёте. В годы второй мировой войны он переводил вторую часть «Фауста». Этим многое сказано.

Конечно, доброта — прирожденное свойство, и, наверно, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений; но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец в Освенциме? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан Ришар был человеком редкой доброты.

Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Ж. Р. Блок писал: «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения.

20

Приехал в Москву на короткую побывку Василий Семенович Гроссман. Мы просидели до трех часов утра, он рассказывал о фронте, мы гадали, как сложится жизнь после победы. Гроссман сказал: «Я теперь во многом сомневаюсь. Но не в победе. Пожалуй, это самое главное...»



В. Гроссман. 60-е годы.
Одна из последних фотографий

Война раскалывала семьи, разводила довоенных друзей, и война завязывала новые узлы. С Василием Семеновичем я подружился в первые месяцы войны. До этого я знал только его книги. Помню, как в Париже я прочитал напечатанный в «Литературной газете» один из его первых рассказов — «Четыре дня». Вероятно, он мне понравился не только потому, что был хорошо написан, но и потому, что в манере письма я почувствовал нечто от Бабеля. Потом я начал читать «Степана Кольчугина», он показался мне «классическим», а я еще не умел радоваться успеху произведения, написанного в чуждой мне манере.

Война отодвинула в сторону литературные распри. Кажется, обо всем мы говорили с Гроссманом, но меньше всего о форме или языке романа.

Я нашел в старой записной книжке такие строки: «17 ноября 1941. Немцы передают, что взяли Керчь, начали наступление на Москву и Ростов. Утром в колхозе. Бессарабская девушка-свинарка, в беличьей шубке. Аэродром без охраны. Районный центр Кинель. На вокзале толстяк обгладывает курицу, показывает удостоверение — эвакуируется в Уфу. «А почему здесь сидите?» — «Простыл». Потом тихо: «Они и в Уфу придут». В Куйбышев приехали Гроссман и Шкапская. Приехали на санях. Гроссман говорит: «Все в голове перепуталось».

Нам как раз тогда отвели квартиру; в ней разместились Гроссман и Габрилович. Начались бесконечные ночные разговоры — днем мы сидели и писали. Василий Семенович прожил в Куйбышеве две недели; потом пришел приказ от редактора «Красной звезды», и он улетел на Южный фронт. Я вскоре уехал в Москву. Он много рассказывал и о растерянности и о сопротивлении — отдельные части дрались стойко, а хлеб не убран. Рассказывал о Ясной Поляне. Начал повесть «Народ бессмертен», когда я потом ее прочитал, многие страницы мне показались хорошо знакомыми.

Разные у нас были не только литературные приемы или восприятие живописи (Василий Семенович любил то, что мне казалось неприемлемым), но и характеры разные — нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я «минималист»: от людей да и от лет требую малого. Может быть, это верно — человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Все или ничего!»; очевидно, «минима-

листами» люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе.

В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений (Фадееву это было близко, и он долго, страстно защищал роман «За правое дело»). Повествование Гроссман прерывал долгими размышлениями. После войны я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев, авторское отступление только ослабляет силу главы. Он рассердился: «То, что вы называете «отступление», для меня главное, это наступление...» Я не стал спорить: я считал его крупным и честным художником, который вправе писать так, как ему хочется. Он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка.

Он был доподлинным интернационалистом и часто меня упрекал за то, что, описывая зверства оккупантов, я говорю «немцы», а не «гитлеровцы» или «фашисты»: «Нельзя отнести эпидемию чумы к национальному характеру. Карл Либкнехт был тоже немцем...» (Только однажды он вышел из себя. Это было в сожженном немцами селе Летки — мы ждали наступления на Киев. Я разговаривал с пленным — одним из «факельщиков». Со мною были Гроссман и немецкий писатель-эмигрант, которого Василий Семенович знал. Гроссман все время молчал. Когда мы ушли, он сказал мне: «Может быть, вы и правы...» Я удивился, чем поразил его пленный,— он отвечал, как тысячи других. Василий Семенович сказал, что дело не в пленном, а вот его знакомый все время старался найти оправдание для «факельщиков».)

Гроссман с огромным уважением относился к истории, обычаям, литературе всех народов Советского Союза. О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал: «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете. Для вас жизнь — это поэма, и чем запутанней, тем лучше. А жизнь — это притча».

Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, под которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть «Народ бессмертен» из списка представленных на премию вычеркнул Сталин. Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова,— за все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но попытаться истолковать различные притчи жизни.

Гроссман оказался в Сталинграде в конце лета. Он написал оттуда

ряд очерков, которые мне кажутся самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет. Почему генерал Ортенберг приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее — по любви к молодому и талантливому писателю, это понятно. Но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих пор не понимаю. Месяцы в Сталинграде и все, что с ними связано, запали в душу Гроссмана, как самое важное. Писали об этом многие другие, но только Некрасов, который был офицером-сапером, и Гроссман, которого сталинградцы считали не журналистом, а своим боевым товарищем, смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы.

Первая часть романа Гроссмана «За правое дело» была напечатана в 1952 году, а в феврале 1953 года в «Правде» появилась статья одного писателя, напоминавшая не критику романа, а обвинительное заключение. В редакции мне говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился. Это неровный роман, в нем все достоинства и все недостатки Гроссмана: есть люди, почти насильно выведенные на сцену, длинные рассуждения, но есть и главы потрясающей силы. Я никогда не забуду ночь перед переправой на правый берег Волги и подростка-офицера, который перебирает вещицы в вещевом мешке; это мог показать только большой писатель.

В 1946 году была первая репетиция: Гроссман опубликовал пьесу, написанную им еще до войны, «Если верить пифагорейцам». Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». Ругать Гроссмана было беспроигрышной лотереей.

Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели...» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо писать»,— я не обижался. В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно, это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходить? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло. Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой.

Василий Семенович продолжал работать. Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману. Я увидел военных корреспондентов «Красной звезды» — пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не

поддержали, не согрели? Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Эта старая история: судьба, видимо, не любит максималистов.

21

В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно называли «Черной книгой». Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета «Конногвардеец»), В. Соболев («Вперед на врага»), Т. Старцев («Знамя Родины»), А. Левада («Советский воин»), С. Улановский («Сталинский воин»), капитан Сергеев («Вперед»), корреспонденты «Красной звезды» Корзинкин, Гехман, работники военной юстиции полковник Мельниченко, старший лейтенант Павлов, сотни фронтовиков.

На Нюрнбергском процессе было установлено, что гитлеровцы в Германии и на захваченной ими территории других стран убили все еврейское население — около шести миллионов душ. В 1941—1942 году в нашей печати об этом мало писали: фашисты в своих листовках уверяли, будто они воюют не с русскими, не с украинцами, а только с евреями. Передо мною одна из бесчисленных листовок, которыми немцы закидывали наш передний край: «Товарищи! Видели ли вы когда-нибудь сами эти «немецкие зверства» по отношению к русскому народу, о которых денно и нощно твердит советская пропаганда, все эти эренбурги?.. Да! Немцы безжалостно истребляют жидов. Туда им и дорога!» Советские журналисты (в том числе и я) считали своим долгом показать лживость таких утверждений. Я написал сотни статей, в которых рассказывал, как гитлеровцы убивали русских детей, вешали девушек Белоруссии, жгли украинские села. В 1944 году мне казалось, что пришло время обнародовать документы об уничтожении фашистами еврейского населения.

Я знал, что сухие цифры перестали производить впечатление, и начал собирать дневники, письма, которые передавали мучения, пережитые отдельными людьми. Много сил, времени, сердца я отдал работе над «Черной книгой». Порой, когда я слушал рассказы очевидцев или читал пересланные мне письма — к сыну, сестре, друзьям, мне казалось, что я в гетто, сегодня «акция» и меня гонят к оврагу или рву. Я писал в 1944 году:

...Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,

Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня...

Я хочу, чтобы мои слова о «несметной родне» были бы правильно поняты. Мне чужд любой национализм, будь он французский, английский, русский или еврейский. Я испытываю глубокое отвращение к расовой спеси, все равно к какой — к немецкой или к американской. Притом я не верю в таинственные свойства крови. Тургенев, которому удалось видеть живого Пушкина, вспоминал: «Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без бровей и курчавые волосы...» «Африканские губы» не помешали Пушкину стать самым ярким выразителем русского национального гения. Правда, в домах некоторых американских негров я видел рядом с портретом Александра Дюма портрет Пушкина — хозяева их почитали вдвойне — в их жилах текла африканская кровь. Я не мог осудить негров — они хотели противопоставить все, что могли, расовой надменности «белых» американцев. Не могу я осудить и евреев, которые, сталкиваясь с антисемитизмом, начинают к месту и не к месту вспоминать, что еврейская кровь текла в жилах Маркса, Гейне или Эйнштейна. Над тем, что я еврей, меня заставили задуматься не воображаемые зовы моей крови, а вполне реальные антисемиты. Есть нерушимый человеческий закон — солидарность униженных и оскорбленных. Если какой-либо сумасшедший диктатор начнет убивать людей с рыжими волосами, возникнет солидарность рыжих. Если люди, падкие на суеверия, вдруг уверуют, что все зло в веснушках, один веснушчатый, встретив другого, будет относиться к нему как к товарищу по беде, не станет пудрить лицо, а, наоборот, постарается найти доводы в пользу веснушек.

Осенью 1944 года, когда я рассказывал о Тростянце, один из литераторов с усмешкой сказал: «Кровь заговорила...» Да, конечно. Я вспоминаю слова Юлиана Тувима — заговорила кровь, не моя, а жертв Тростянца.

Я говорил, что в составлении «Черной книги» принимали участие многие русские писатели, военные, юристы, ученые. Хочу напомнить о тех знаках солидарности, которые меня глубоко волновали. Помню, как я обнял узбекского поэта Гафура Гуляма, когда осенью 1943 года он приехал в Москву: в самом начале войны, возмущенный гитлеровскими зверствами, он написал стихотворение «Я — еврей». Помню страстные строки Павло Тычины, выступления Паустовского, Вс. Иванова, Сейфуллиной, стихи Мартынова о нюрнбергском портном, написанные еще накануне войны.

У меня сохранились сотни писем, дневники, записи. Я перечитал их и, хоть прошло двадцать лет, снова испытал ужас, смертельную тоску. Не понимаю, как мы это пережили и как хватило сил жить: не о смерти я говорю, даже не о массовых убийствах, а о сознании, что нечто подобное могли совершить люди в середине XX века, жители высокоцивилизованной страны.

Один из узников рижского гетто писал в своих записках, что в том же бараке находился известный историк С. М. Дубнов, которому тогда исполнилось семьдесят один год. Среди комендантов гетто был Иоганн Зиберт, человек, когда-то учившийся в Гейдельбергском университете. Дубнов читал в Гейдельберге до первой мировой войны лекции по истории Древнего Востока. Зиберт, узнав, что в гетто находится его бывший учитель, пришел к нему и долго смеялся: «В молодости я был настолько глуп, что ходил на ваши лекции. Какой вздор вы нам рассказывали! Хотели, чтобы мы размякли и поверили в торжество гуманизма. Смешно!..» Иоганн Зиберт не отказал себе в удовольствии лично присутствовать при убийстве Дубнова. Вот это страшнее всего. Значит, мало всеобщей грамотности, университетских аудиторий, высокоразвитой техники, чтобы оградить людей от одичания.

Я мечтал издать «Черную книгу» и теперь приведу несколько страниц из нее не для того, чтобы помучить себя и читателей,— нужно помнить о том, что было, в этом одна из порук, что люди не допустят повторения.

Эвакуация почти повсюду проходила беспорядочно и в трудных условиях. Здоровые мужчины были далеко — сражались. В самом начале войны немцы захватили Белоруссию, Украину, Литву, Латвию — земли, где издавна жило много евреев. В некоторых городах, как Вильнюс, Рига, Минск, гитлеровцы убивали евреев постепенно, в течение двух-трех лет. Молодым иногда удавалось бежать из гетто, и они воевали в партизанских отрядах. В других городах, как в Киеве или Харькове, все евреи были убиты вскоре после прихода немцев. Из десятков тысяч людей спаслись десятки; одних прятали местные жители, другим удалось перейти линию фронта. Немало городов и местечек, где никто не спасся. Часто после освобождения города русский или украинец сообщал своему земляку-еврею, бывшему на фронте, о судьбе его семьи.

Вот письмо учительницы поселка Борзна (Черниговская область) В. С. Семеновой Я. М. Росновскому: «...18 июня 1942 г. глубокой ночью, когда все спали, пришли в еврейские дома, забрали всех — 104 человека и повезли к селу Шаповаловка, где был противотанковый ров. Глубокого старика Уркина спросили перед тем, как застрелить: «Хочешь жить, старик?» Он ответил: «Хотел бы увидеть, чем все это кончится». Двадцатидвухлетняя Нина Кренхауз умерла с годовалой девочкой на руках. Учительница Раиса Белая (дочь переплетчика) видела, как расстреляли ее шестнадцатилетнего сына Мишу, сестру Маню с детьми (младшему было несколько месяцев), она уже не понимала ничего и только волновалась, что потеряла очки...»

Письмо лейтенанту Выпиху от Соколовой из Артемовска: «...В их

число попали и ваши близкие родственники — мать, Бетя, Роза и Софочка. Их загнали в карьеры Военстроя и замуровали заживо. Надо еще вам передать слова Софочки, она плакала, говорила: «Почему наших так долго нет? Когда придут, расскажите». А мать ваша говорила, что одного хотела бы — увидать перед смертью сыновей...»

Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»

Город Хмельник (Винницкая область) был захвачен немцами 18 июля 1941 года. Из десяти тысяч евреев здесь спаслись относительно многие — двести шестьдесят, часть сражалась в партизанских отрядах. Спасся и А. К. Беккер, который прислал мне описание того, что пережил; там были такие строки: «...Сколько я ни умолял разрешить мне идти вместе с семьей, чтобы жене было легче вести детей на смерть, ничего, кроме ударов прикладами, не вышло... Погнали в сосновый лес за три километра от города, там уже были приготовлены ямы. Все растеряли друг друга. Ребенок четырех лет Шайм — отца у него не было, а мать убили раньше — шел, как взрослый, в колонне... У ямы людей поставили в ряд, заставили раздеться и детей раздеть догола, так стоять при страшном морозе, а затем сойти в яму. Дети кричали: «Мама, зачем ты меня раздеваешь? На улице очень холодно...»

Розовая школьная тетрадь; это дневник студентки Сарры Глейх. Изумительно, что она бегло, порой бессвязно, изо дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября, через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих, ходили в военкомат, просили их эвакуировать; им ответили, что «эвакуация не предвидится раньше весны». 8 октября она пишет: «Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируемся, нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, отъезд обеспечен...» В тот же вечер она продолжает: «В 12 часов дня в город вошли немцы, город отдан без боя...» Через много страниц запись: «19 октября. Завтра в 7 часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе...» «20 октября... Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли смерть 9000 еврейского населения. Велели раздеться до сорочки, гнали по краям траншеи, но края уже не было — все было заполнено трупами, в каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом — мой папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, все поцеловались. Фаня все не верила, что это конец: «Неужели я никогда

не увижу солнца?» А Владя спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, здесь нехорошо». Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти. Бася шептала: «Владя, тебя-то за что?» Фаня обернулась, ответила: «С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту». Я не выдержала, схватилась за голову и начала дико кричать. Мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: «Тише, Сарра». На этом все обрывается. Когда я пришла в себя, были уже сумерки, трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы стреляли, уходя, чтобы раненые не могли уйти, так я поняла из разговора немцев, они боялись, что много недобитых, и они не ошиблись. Было много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери несли на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на них валялись трупы... Я начала выбираться из-под трупов, встала, оглянулась. Раненые копошились, стонали. Я начала звать Фаню. Оказался рядом Грудзинский. Он был ранен в обе ноги, попытался встать и упал. Какой-то старческий голос напевал «лайтенах», это было ужасно...» Сарра Глейх 27 ноября, после месяца блужданий в степи, узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла, ей удалось добраться до отряда красноармейцев.

Письмо двадцатилетней Буси, которая жила в Краматорске, оно датировано августом 1943 года и начинается словами: «Милые мои, дорогие тетушки!» Это письмо показывает, что переживали те немногие, которым удалось спастись; может быть, это было еще страшнее, чем ожидание смерти. (Да и Буся пишет: «Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, а пусть знает, что «жизнь — замечательная штука», как сказал Киров, и в то же время жизнь не стоит и копейки, совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет...») Она рассказывает тетушкам о 20 января 1942 года: «...Мороз 30 градусов. По улице идут женщины с вещами. Их подгоняют полицейские. Потом сажают в машины, везут к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, и семья Шнейдера, жены братьев Браиловских с детьми, был Рейзен с Полиной, он хоть перед смертью настоял на своем — в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым. Хватит! Я хочу только знать, не презираете ли вы меня за то, что я оставила Мину? Оправдываться не буду. Я сказала маме: «Ты как хочешь, а я бегу». Как я могла сказать такое маме? Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь. Она пошла со мной, несколько раз порывалась вернуться — с другими на казнь, заговорила о долге. Я как сейчас помню, осмотрелась — дома закрыты наглухо, никто не пустит обогреться. Пусть замерзнем, пусть поймают, повесят, только не идти самой!.. Судите меня сами, и если признаете виновной, пусть будет по-вашему, не считайте меня больше «любимой племянницей». Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение, и я это перенесу, как вынесла многое, как, наверно, вынесу еще много неожиданного и страшного».

Я спрашивал себя не раз, что чувствовали немецкие солдаты, видя, как убивали беззащитное население, или узнав о расправах от своих товарищей. Вероятно, были такие, что ужасались происходящим, но

молчали от страха, да и нужно было жить — идти в бой, шутить, пить и петь на отдыхе — лучше было не думать о растерзанных детях. Мне известен, однако, случай, когда немецкий солдат спас женщину с детьми; было это в Днепропетровске в 1941 году; обреченные ждали, когда их погонят ко рву. Тогда к Б. Тартаковской подошел солдат и тихонько сказал: «Я вас сейчас отсюда выведу»; он добавил: «Кто знает, что еще случится с нами...»

У нас почти ничего не писали о предателях; во время войны упоминали мимоходом — были военные суды, которые выносили приговоры, а потом совсем замолкли. Может быть, потому, что тогда занимались другим: обвиняли честнейших людей, зачисляли в преступники Лозовского, Майского, Переца Маркиша, драматурга Гладкова, писателя А. Исбаха, Рубинина, Квитко, Бергельсона. А настоящие предатели, разумеется, были: Власов и его помощники, бендеровцы, различные бургомистры, члены управ, полицейские. Не понимаю, почему о них нужно молчать; было их немного, и набирались они среди отбросов общества. Достаточно заглянуть в газеты, выходившие в оккупированных городах,— «Голос Ростова» или «Пятигорское эхо», чтобы увидеть, как низок был не только моральный, но и культурный уровень предателей. Во Франции оккупанты нашли маршала Петена, Лаваля, Дорио — это не наши «старосты». Гитлеровцам повсюду нужны были писатели, готовые их поддержать и оправдать. У них были Гамсун, Дрие ля Рошель, Селин, Эзра Паунд. А за русского писателя им пришлось выдавать некоего Октана, который клялся, что бывал в Клубе писателей и пил там водку. Мелкота, человеческий мусор. Разумеется, различные «полицаи» усердствовали, вытаскивали из подвалов обезумевших старух, волокли к месту казни детей и для того, чтобы успокоить себя, лихо улюлюкали.

Были и мародеры, жаждавшие поживиться на чужой беде, занять квартиру семьи, которую не сегодня завтра убьют, вытащить из домов барахло; они торопились, боялись прозевать. Жадных и бесчестных людишек было не много, но они бросались в глаза.

За укрывательство евреев немцы вешали или расстреливали; и все же нашлось немало советских людей, которые, рискуя жизнью, прятали у себя евреев. М. М. Файштог, которой удалось убежать из Евпатории, писала мне: «Некоторые из тех, кого я считала друзьями, струсили, отшатнулись, а спас меня незнакомый мне человек Н. И. Харенко». Так в жизни бывает часто — цену человеку узнаешь в трудный час. Во всех письмах, дневниках, воспоминаниях спасшихся — имена русских, белорусов, украинцев, литовцев, латышей, которые помогли человеку уйти от смерти. Есть в Днепропетровской области село Благодатное, в нем бухгалтер колхоза П. С. Зиренко скрывал тридцать две души — семь еврейских семейств из Донбасса. Конечно, колхозники догадывались, кто в хатах, но на вопросы немцев или «полицаев» отвечали: «Здешние».

В марте 1944 года я получил письмо от офицеров части, освободившей Дубно, они писали, что В. И. Красова вырыла под своим домом убежище и в течение почти трех лет прятала там одиннадцать евреев,

кормила их. Я написал об этом М. И. Калинину, спрашивал, не сочтет ли он справедливым наградить Красову орденом или медалью. Вскоре после этого Калинин вручал мне орден. Когда церемония кончилась, Михаил Иванович сказал: «Получил я ваше письмо. Вы правы — хорошо бы отметить. Но видите ли, сейчас это невозможно...» М. И. Калинин был человеком чистой души, подлинным коммунистом, и я почувствовал, что ему нелегко было это выговорить.

В часы больших испытаний — все проверяется: и душевная чистота, и смелость, и любовь. Гитлеровцы повсюду объявляли, что при смешанных браках «эвакуации» (так они называли массовые казни) подлежат только лица еврейского происхождения и дети, у которых отец или мать евреи. В документах «Черной книги» я нашел несколько рассказов о том, как русская жена или русский муж шли на смерть, говоря, что они — евреи.

Я возвращаюсь к мысли, которая меня преследует, когда я вспоминаю прошлое: человек способен на все. Однажды ко мне в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве под Киевом он был ранен, попал в окружение и, переодевшись, пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось; он пошел к сестре жены; та испугалась, начала уговаривать его покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала: «Держите жида!..» Какие-то прохожие оглянулись, но прошла колонна грузовиков, и Мазуру удалось скрыться. Он побрел на восток, дошел до Таганрога. Там его спрятала русская женщина — К. Е. Кравченко. Незалеченная рана дала осложнение. Мазура отвезли в больницу. Русский врач Упрямцев, узнав, что Мазур еврей, снабдил его паспортом одного из умерших. Мазур снова пошел на восток. Кравченко немцы арестовали, выдали ее. Упрямцев спас многих, а летом 1943 года немцы его расстреляли. Мазур перешел линию фронта на Дону, сражался под Сталинградом, получил орден, был снова ранен. Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хорошо, когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем. Я повторял: «Вы ее знаете. Откуда мне знать, почему она так поступила?..» Он стукнул кулаком по столу: «Вы обязаны знать — вы ведь писатель!»

Теперь я должен рассказать о другой чете. Это было в местечке Монастырщина, Смоленской области. Исаак Розенберг, служащий загса, был тяжело ранен в бою неподалеку от Монастырщины; ночью он дополз до своего дома. Жена Наталья Емельяновна спрятала мужа в подполье под печкой. У них было двое маленьких детей; матери удалось их спасти — она заявила немцам, что это дети не от Розенберга, а от первого мужа. От детей она скрыла, что в доме прячется отец,— боялась, что они проговорятся. Розенберг ночью выходил из подполья, выпрямлялся, ел. Однажды четырехлетняя девочка увидела в щель чьи-

то глаза и в страхе крикнула: «Мама, кто там?» Мать спокойно сказала: «Разве ты не видишь, что это крыса, у нас много крыс...» Розенберг на обрывках немецких газет вел дневник, записывал, что рассказывала ему жена, свои ощущения. Одна из страниц дневника посвящена кашлю — он простудился, его душил кашель, но он сдерживался, писал: «Я никогда не думал, что может быть еще такая свобода — кашлянуть...» Наталья Емельяновна заболела сыпняком. Детей взяли соседи, а она терзалась — муж умрет с голода. Она вернулась домой через две недели и нашла мужа ослабевшим, но живым.

В сентябре 1943 года наши войска подошли к Монастырщине. Немцы оказывали сильное сопротивление, они прогнали жителей местечка, и Наталья Емельяновна с детьми убежала в лес. Она вернулась, когда увидела первых красноармейцев. Дома не было, еще дымилась зола, чернела печь. Иссак Розенберг задохся от дыма. Он прожил под печкой двадцать шесть месяцев и умер за два дня до освобождения. Наталья Емельяновна сидела у печи, и в руке у нее была газета — кусок дневника.

Работая над «Черной книгой», я все время удивлялся — то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю, да и не пойму, хотя, по словам Семена Мазура, я должен, как писатель, все понимать. В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман; она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка...» А потом прижала дочь к себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...» Не знаю, что меня больше потрясло — поведение врача или старосты...

«Черная книга» была закончена в начале 1944 года. Ее читали, перечитывали, редактировали. Я поместил в «Знамени» несколько отрывков. В Румынии издали перевод первой части. Наконец книгу сдали в производство. В конце 1948 года, когда закрыли Еврейский антифашистский комитет, рассыпали набор «Черной книги», забрали гранки и рукопись.

У меня хранилась часть документов — дневники, письма, записанные рассказы. В 1947 году я передал их в Вильнюсский еврейский музей. Этот музей год спустя закрыли, и я считал, что документы пропали. Они оказались у меня: незадолго до ликвидации музея его директор принес две большие папки ко мне; меня в Москве не было, и папки десять лет пролежали между старыми рукописями и книгами.

В 1956 году один из прокуроров, занятых реабилитацией невинных людей, приговоренных Особым совещанием за мнимые преступления, пришел ко мне со следующим вопросом: «Скажите, что такое «Черная

книга»? В десятках приговоров упоминается эта книга, в одном называется ваше имя».

Я объяснил, чем должна была быть «Черная книга». Прокурор горько вздохнул и пожал мне руку.

В начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» напечатал дневник четырнадцатилетней девочки Маши Рольникайте, заточенной в гетто Вильнюса, потом отправленной в лагеря смерти и чудом уцелевшей. Дневник снабжен предисловием поэта Эдуардаса Межелайтиса; он пишет: «Чтобы этого больше не повторилось...» О том же думали двадцать лет назад Василий Семенович Гроссман и автор этой книги воспоминаний.

22

В записной книжке среди военных новостей (а их осенью 1944 года было немало), среди цитат из иностранных газет и заметок — с тем-то обещал встретиться, туда-то дать статью — я нашел такую запись: «6 октября. Вечер у Кончаловских. Разговор о Париже. Каков он теперь? П. П. о том, как учился в Париже. Академия Жюльена. «Стога» Моне. Сезанн — ключ. Французская живопись была и осталась реалистической — ничего религиозного. О Пикассо. Художник это форма, цвет плюс мысль».

Мы поздно засиделись. Петр Петрович увлекся, и я как-то ожил — почувствовал, что кроме «душегубок», развалин, сводок есть на свете природа, цветы, хлеб, искусство.

Познакомился я с Кончаловским в двадцатые годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле, это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость

В одном из гетто. Немецкая фотография, присланная советскими бойцами для «Черной книги»

Маша Рольникайте. 1941 г.





присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало.

Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным — движения, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку — он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приводилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно: Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно; в жизни он знавал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить — он обладал чувствительностью художника, а вот повалить его не удалось никому, хотя были люди, которые об этом мечтали.

Я расшифрую короткую запись, с которой начал рассказ о Кончаловском. О Париже мы говорили часто: Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана — ее выбирали молодые художники потому, что там не было муштры, которая изводила всех в Государственной художественной школе; а профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая академию Жюльена, Кончаловский смеялся: «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матисс мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугеро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать. Лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоранс, его картины висели в Люксембурге — огромные батальные сцены, у нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил. Я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом, в петербургской школе, я жалел даже о Лорансе...»

Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня, порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись: «Это были восхитительные «Стога» Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было... В 1891-м...» Вот тогда-то я про себя усмехнулся: в тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под восемьдесят, он не только просиживал над холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками.

Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова, Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась, изменилось и зрение, он искал свой путь или, как он любил говорить, «метод». Он увидел Ван Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль, был счастлив, что может купить

краски в лавочке, куда приходил Ван Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, исступленным Ван Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским; но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван Гога: «Я постоянно питаюсь природой. Иногда преувеличиваю, изменяю все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия».

Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался: перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывания Сезанна о живописи.

Кончаловскому было тридцать четыре года, когда на первой выставке «Бубнового валета» его работы вызвали одобрение одних, издевку других.

Я заглянул в том Большой советской энциклопедии, изданный в 1951 году, и нашел там строки, посвященные «бубнововалетцам»: «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма. Выступая врагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого (отсюда вызывающее, крикливое название объединения), «бубнововалетцы» маскировали свои реакционные позиции требованием «новой» формы. Однако их космополитическое «новаторство» сводилось к подражанию П. Сезанну и А. Матиссу». Правда, буква Б — вторая в азбуке, будь она тридцать второй — о «Бубновом валете» были бы строки несколько более грамотны. Однако если теперь восстановлены некоторые истины в истории архитектуры, литературы или музыки, то с живописью дело обстоит хуже. «Бубнововалетцы» умерли, но к их картинам пришиты волчьи билеты, выданные людьми, сведущими в чем угодно, только не в искусстве.

Энциклопедия, обличая «Бубновый валет» и назвав в списке виновных Кончаловского, указывает даты — 1910 — 1926. Это, на мой взгляд, самая яркая эпоха в творчестве Кончаловского.

Я не могу никак привыкнуть к тому, как порой мы пренебрегаем достижениями нашего искусства. Недавно я был в фондах Третьяковской галереи (попасть туда нелегко, но говорят, что и в рай не каждый вхож). В тесных темных коридорах хранятся замечательные картины, относящиеся к годам расцвета русской и советской живописи: холсты Кончаловского, Лентулова, Машкова, Сарьяна, Шагала, Фалька, Ларионова, Рождественского, Гончаровой, Куприна. Я вспоминаю натюрморты, портрет Якулова, мост через Нару и другие работы Кончаловского эпохи «Бубнового валета». При чем тут империализм? (Можно, кстати, добавить, что французский империализм никогда не вдохновлялся Матиссом, как Матисс никогда не вдохновлялся французским империализмом.) Официальная Россия встретила выставки «бубнововалетцев» издевками, улюлюканьем, а благожелательно к ним отнеслись такие «сторонники империализма», как Луначарский и Маяковский. Конечно, название «Бубновый валет» довольно бессмысленно,

но в те времена были в ходу нелепые наименования. («Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Дюфи, Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи.)

Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты «бубнововалетцев» и обрадовался. В Париже я знал о новой русской живописи только по статьям «Утра России» или «Русского слова» и думал, что «бубнововалетцы» слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор.

Конечно, Кончаловский, как все «бубнововалетцы», многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений, но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах: парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздьями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что, когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троицких игрушках.

Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о «грубости», «стихийности»: они не поняли, что перед ними — выражение иного характера, иной природы, иных традиций.

Осенью 1944 года Петр Петрович с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров; это может удивить — ведь люди, которые в течение десятилетий его «прорабатывали», делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую — иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто «фотография служит подспорьем». Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году: «Я подвесил шутки ради настоящий калач на нитке, под цвет фона, долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи «Бубнового валета» (конечно, без подвешенного калача) остается воплощением «антиреализма».

Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь; это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым; много ездил по свету, много работал — написал тысячу семьсот холстов; всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике; был у него дом в Буграх, сад с сиренью, гости — он был

большим хлебосолом; с женой Ольгой Васильевной жил душа в душу, обожал детей, внучат; ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками — с А. Толстым, с С. Прокофьевым, с Пикассо, с Мейерхольдом; умер в восемьдесят лет и почти до самого конца сохранял бодрость; любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она, скорее, иллюзорна, нежели реалистична.

Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством; об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом семьдесят килограммов: не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное — холсты, путь живописца.

Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло,— достаточно вспомнить мытарства Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Кончаловский стал академиком; периодически устраивались его персональные выставки. Опять скажу: все это так и не так.

Среда, естественно, влияет на художника или писателя; нужно обладать фанатическим упорством Фалька, чтобы не поддаться похвалам и хулам, премиям и проработкам, докладам, книгам отзывов, диспутам («диспуты» в те времена состояли в одном — все хвалили или все ругали). Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Мне кажется, что с начала тридцатых годов в некоторых работах Кончаловского проступает иллюзорное сходство с природой. А он не халтурил, работал честно и много; но, по его признаниям, прежнего «полного удовлетворения» не было.

Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех»,— и мудро объяснял другим, почему Пикассо — великий реалист нашего века.

Ему устраивали юбилеи, присудили премию, но художники, которые в те времена ведали искусством, его едва терпели.

Вот слова из записной книжки Кончаловского: «Пушкин в письме к брату, Льву Сергеевичу, писал 14 марта 1825 года: «У нас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос «Один сижу в компании»...» И у нас ересь! Говорят, в живописи живопись не главное! Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток — живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи — живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства».

Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему «иллюзорного сходства» (так он говорил). Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюр-

мортах, и в удивительно молодом «Полотере», которого Петр Петрович написал в 1946 году.

...Он оставил много прекрасных холстов и все же, мне думается, не дал того, что мог бы дать при огромном таланте, высокой культуре, редкой работоспособности — путались в ногах «еретики», блюстители иллюзорного реализма навешивали на большие, крепкие ноги далеко не иллюзорные пудовые гири.

Характер у Петра Петровича был чудесный; он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее, говорила: «Я — сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором...»

Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников: «Он ведь был за границей — примчался — снял лучшие работы — и «Полотера», и «Буйвола», и ранние «испанские» холсты. А сейчас будет выступать — приветствовать...» Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко.

В 1949 году я был в Тамбове; сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что «безыдейная» сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцену из заводской жизни. Неожиданно рабочие запростестовали: «Оставьте нам нашу сирень!»

Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал: «Вот это — награда...»

Многие прекрасные работы Кончаловского и теперь можно увидеть только в раю, куда очень трудно проникнуть. Непонятно. Издают ранние стихи Маяковского, произведения Хлебникова, а картины покойного академика и лауреата, отнюдь не абстрактные — каждый разберет, что именно на них изображено,— старательно скрыты от глаз посетителей.

Конечно, пройдет год, два — и лучшие вещи Кончаловского переедут в музейные залы. А для друзей, знавших и любивших Петра Петровича, он остается в памяти необычайно живым, зеленым пятном среди пустыни: повалить его все-таки не удалось.

23

В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и — одних лучше, других хуже — узнал. Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел.

Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла В. В. Константинова, преподавательница, жившая в Кашине; она рассказала, что ее дочь Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник

Ины. Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя — было много газетной работы. Начав читать дневник, я не мог от него оторваться.

Дневник начинался с 1938 года — Ине тогда было четырнадцать лет; она записывала свою жизнь в течение четырех лет; это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы: похоже и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха.

После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области; там мало заводов, большая базарная площадь, старые церквушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы; и Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами; кроме Ины, у них была вторая дочь — Рена, младшая.

Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры в «свадьбу», в «бутылку-указку», в «американку», танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки («Математика мне всю жизнь портит»), старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного.

У нее была подруга детства Люся, с нею Ина делилась всем и, когда родители увезли Люсю в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом «А», попала в девятый «Б» и сразу подружилась с Таней и Леной. В детдоме, куда она часто ходила, ей нравились Валя Амбражунас и Оля Руманова. «Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова — все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала». «Лидочка Кожина. Какая она прелесть. Идеальная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ». «Подружилась с Кларой Калининой». Когда началась война, Ина пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. «Ростовчанин Заславский, молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот». В школу поступили новые ученики: «Москвич Женя Никифоров и Рэм Меньшиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята». «Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы! По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный». В ноябре 1941 года — эвакуация. Ина попадает в далекий город, в чужую школу; два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями — с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Ина становится партизанкой; ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике: «Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути! Он умный, чуткий, тонкий!» О комиссаре Абрамове: «Удивительно интересный человек, такой образованный и тоже... тонкий (это мое выражение, я-то его хорошо понимаю)». Вот ее товарищи по партизанскому отряду: «Гриша Шевачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик... славный парень. Игорь Глинский. Чудесный мальчишка... поразительное чувство юмора. Умный, начитанный... Макаша Березкин. Ну, прелесть!.. Всегда весел,

всегда улыбается. Не отказывается ни от какого дела...» Потом она пишет сестре: «Зоя была моей лучшей подругой. Замечательная девушка! И она погибла геройской смертью. Именно геройской. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, комбрига Арбузова, радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шевачева. И вот из их остался только Игорь». В отряде был пятнадцатилетний Вадик Никоненок. Девушки удивленно спрашивали Ину: «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала: «А он такой интересный...»

Она была веселой, прыскала, как и полагается девчонке. «У Феди Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала... И вдруг меня вызывают. Я даже не знаю, что и отвечать. Кое-как по подсказкам ответила и получила «хорошо». Но среди ответа вдруг меня такой смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось...» «Сегодня был в пионердоме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки... Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах. Затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали неимоверно...»

Ина читала много и беспорядочно. В пятнадцать лет она записывает: «Взяла Шиллера «Статьи по эстетике»... Жаль только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу». Философией, кажется, она не увлекалась. Как многие ее сверстницы, восхищалась «Мартином Иденом», плакала над «Оводом». Ее волновали самые несхожие авторы — ·Мамин-Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Ю. Герман, Вербицкая и Андре Жид. Ина любила стихи. В шестнадцать лет ей нравился Надсон, и она отрицала Маяковского — знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейне так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока; в старой «Ниве» нашла его ранние стихи.

Она увидела в московском музее картины старых итальянцев. «Картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мазня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и «выразительностью», нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится «Джиоконда», фрески итальянских мастеров... Никто не напишет «Божественной комедии» и «Анны Карениной». Мир теряет самое лучшее — красоту...»

В шестнадцать лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала: «Неправда!», над осуждением Маяковского: «Заблуждение!»

А любовь к красоте оставалась, ее Ина никогда не считала заблуждением.

Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Ина хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой,

она переменила планы и в 1944 году просила мать послать документы в авиастроительный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором, но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи.

Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала — «вот это настоящая любовь». В пятнадцать лет она влюбилась в товарища по школе: «Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его... Я любуюсь им только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жюльена Сореля? Не может быть! Ведь он действовал из гордости, а я люблю...»

Левушка уехал, Ина о нем тосковала. «Мама говорит, что я не его люблю, а идеал, который я создала... По-моему, нет. Ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки люблю. Люблю все в нем, даже недостатки». Прошло три месяца, и Ина в страхе спрашивала себя: «Я не понимаю — неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно? Только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его. А этот... Нет, совсем не то. С этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит...» Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. «Я танцевала с ним! Вдруг подходит он ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все... Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и кажется, выходит...»

Ина узнала ревность: «Опять он провожал ее домой!» Она сердилась на себя: «В любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком». Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму: «Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия. Да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда!»

В 1940 году она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома — Максимом Пирушко и Федей Германом. «Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не простился с ней. У Феди сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Караганде, а где отцы — неизвестно. Они, оказывается, как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания, уходят куда-нибудь, где никто не мешает, и говорят обо всем». Ине в 1937 году было тринадцать лет; беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а для Максима и Феди аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило Ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федя стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. «Вчера они сказали мне самую неприятную вещь — пришел приказ из наркомата, чтобы воспи-

танников детдомов старше четырнадцати лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут...» Она пишет дальше: «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции... Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне по-настоящему хорошо и весело... Я танцевала немножко... Но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный. Как он говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше «tête-à-tête» обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама говорила об этом... Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима...» «Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить!..».

В дневнике Ины меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела «подлиз». Она была комсомолка, входила в совет Осоавиахима. Осенью 1940 года она писала: «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра — неизвестно...» Ина болезненно относилась к любой фальши; в дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигавшейся войной, и неискренними, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине: «Ведь это ложь!.. Ну зачем это?.. Люси нет, и не с кем поговорить на эту тему...» В шестнадцать лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду.

В дневнике Ины много обычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста; есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии придавала ей особую душевную настроенность? В четырнадцать лет она писала: «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом. Скоро зайдет солнце. Все должно было бы быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но... Вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра — они живут настоящим, реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях, например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-то затхлом городишке, где никаких событий...» Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере: «Я имею двойную душу. Первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим — мечтами. Эта душа, грустная, тоскливая, покидает меня иногда. И тогда я становлюсь современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы... Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека...»

О смерти Ина впервые подумала, прочитав «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева: «Какая это жуткая вещь — чувствовать неизбежность, близость смерти! Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать

конца и даже не думать о нем, то казалось, что я буду кого-то умолять, бесцельно метаться».

В Кашине покончил с собой один педагог. Ина была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы: «Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился В. В. Жигарев, учитель из техникума... Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко сознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую!»

«Луна... Снег... И тишина, тишина. Как в сказке. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес. И наступит сказка... Как мелко все то, о чем мы плачем, чему радуемся! Как бедна и прозаична наша жизнь! Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно, стоящее того, чтобы перед ним преклониться,— смерть, шаг в неизвестное и несуществующее».

Май 1941 года был в жизни Ины счастливым: «Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И... и я, что называется, по уши!.. Ну можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты?..» «Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность...» «Мы все время сидели рядом с Мишей. Провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам «горько». Опять целовались...» «Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди... А впереди жизнь!» Миша читал Ине стихи Фофанова:

Все тает, надежды и годы...
И память о милом когда-то,
Как лед пробужденной природы,
Растает... уйдет без возврата.

Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных?

Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня... Боже мой!..»

Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет... На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!»

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?»

Вернувшись из эвакуации в Кашин, Ина узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла (а может быть, убедила себя), что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в райвоенкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сандружинниц и «неплохо стреляет». Ответа долго не было. Ина ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя: «Когда же

кончится эта проклятая война?», старалась развлечься: «Иногда танцуем под патефон. Мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях. А на самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов... И так скупы наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться. Да и скоро они кончатся...»

Развлечения действительно скоро кончились: в июне 1942 года Ину послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калинина: «Я знаю — это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше. Я все равно не выдержала бы маминых слез...»

Сражалась она хорошо, об этом рассказывают уцелевшие товарищи; ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в «заданиях» — взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить о ее боевой жизни: героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма. Многое предрешила взыскательность к себе, прямота, честность.

Однажды Ину послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитлеровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Ина молчала. За полгода до начала войны ей вырывали зуб: «Я так плакала, и сама не знаю, когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума». А когда фашист ее пытал, она молчала: «Я думала только об одном — как бы не показать свою слабость».

Она писала матери нежные, простые письма: «Иногда ночью вдруг проснусь от того, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь — и нет никого, и все пусто». «Мне теперь все время вспоминается домашнее, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь». «Вы все-таки считаете меня чуть ли не героем. Напрасно. Я всего только советский человек».

Отец Ины, Александр Павлович, был направлен во вражеский тыл. Он встретил Ину и рассказывал мне, что, когда он назвал ее девочкой, она запротестовала: «Папа, я уже не девочка, я разведчица Второй Калининской партизанской бригады». Однако, узнав, что у отца в вещевом мешке сласти, Ина попросила: «Дай сладенького...»

Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала: «Безумно влюбилась в одного товарища, и он любил. А потом он погиб. Думала, с ума сойду. Ты ведь знаешь мой характер...»

Портрет Ины был бы не полным, если бы я опустил одну запись в ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата; это казалось ей легким. Она записала в дневник, как расстреливали предателя-старосту: «Держался он твердо. Ни слова не сказал. Только концы пальцев чуть дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в него Зойка. И рука не дрогнула. Молодец! А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно».

В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их: «Немцы!» Ина поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам: «Уходите!» — и, встав на колено, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу, под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и двадцати лет.

Я написал об Ине вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали — чуть приглаженный: не хотели, чтобы героиня говорила об изнанке жизни, а это яснее показывает ее верность, душевное мужество. В этом, как и во многом другом, она была — повторяю ее слова — «советским человеком»: она многим до войны возмущалась, а в трудный час пошла защищать советскую землю.

Я дал дневник Ины Э. Ю. Триоле, она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах.

В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком, мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича, и, конечно, мы снова говорили об Ине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы, не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материки, острова, скоро, наверно, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ об Ине Константиновой в книгу, посвященную моей жизни: Ина помогла мне многое еще раз проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим.

Мне кажется, что короткая жизнь Ины помогает понять, почему советские люди выдержали испытание и победили. Это исповедь поко-

Ина Константинова. 1941 г.

Восточная Пруссия. Встреча И. Эренбурга со старыми друзьями-тацинцами. 1944 г.





ления, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это ни звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Ины, я говорю и о себе.

24

В 1944 году один из военных корреспондентов «Красной звезды» писал обо мне: «На забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке, с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек».

Когда в конце января я сказал генералу Таленскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся: «Только придется вам надеть форму, а то, чего доброго, вас примут за фрица». Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать «господином комиссаром».

Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома; рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчибадзе; он усмехался: «Это не Ржев...» Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался: мало снарядов. (Немцы продержались в том «котле» еще два месяца.) В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои, хотя накануне сводка сообщала о взятии города. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся. Мины были заложены повсюду — в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон: «Слушай, прибавь огонька — он, черт, огрызается...» А солдат рассказывал о товарище: «Говорил: «Фрицы выдохлись»,— а дня не прошло — я его притащил в санбат, посмотрели и говорят: «Поздно»...»

Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась — пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацветали подснежники, лиловые крокусы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной.

От мысли, что мы продвигаемся в глубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей, гладкой дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось: неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями — тацинцами. Мы долго, улыбаясь, бессмысленно повторяли: «Вот, значит, где...»

Почти у каждого было свое горе: погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью заму-

чили в Гомеле — ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог ты мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи!.. Но на дорогах жалобно скрипели телеги, метались без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших, все помнил, но одно дело фашизм, рейх, Германия, другое — старик в нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком простыни.

В Растенбурге красноармеец яростно колол штыком девушку из папье-маше, стоявшую в витрине разгромленного магазина. Кукла кокетливо улыбалась, а он колол, колол. Я сказал: «Брось! Немцы смотрят...» Он ответил: «Гады! Жену замучили...» — он был белорусом.

В том же Растенбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью, а он делал все, чтобы оградить население немецкого города. Он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография: дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Майор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку — родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее, может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверно, повторял про себя слова о «священной мести», а в Растенбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет.

Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну — не на полотне баталиста, не на экране, а под носом: расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недоеные коровы, а чей-то долгий пронзительный визг застревает надолго в ушах.

Некоторые города были разбиты артиллерией; в Крейцбурге уцелела только тюрьма; среди развалин Велау я не нашел ни одного немца: все убежали. Другие города уцелели; в Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось шестьдесят тысяч человек — треть населения осталась.

Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих; зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали «хайль Гитлер». Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная поблажка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники и адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютом, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что «порядок в доме — порядок в государстве» или что «трудись — и увидишь сладкие сны». В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «соль», «перец», «тмин», «кофе». На полке красовались книги: Библия, стихи Уланда, иногда том Гёте, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий — «Майн кампф», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Прус-

сия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Тапиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта: «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей, и стало не по себе: кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты — огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофеи — погоны русского офицера, фотография разрушенной Варшавы, портреты местных благотворительниц.

Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся: «В такой берлоге можно жить». Другой выругался: «Сволочи, жили хорошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши»,— он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне.

Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Г. И. Анисимова, когда прибежал лейтенант: «Разрешите доложить?» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены тридцать — сорок человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцарцы, и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось — к генералу привели человека в костюме, перепачканном углем, давно не бритого, который представился: «Карл Бренденберг, вице-консул Швейцарии». Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много швейцарцев, они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывести всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранная грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил: «В Берне предвидели события.— И, чуть усмехнувшись, добавил: — В Берне, но не в Эльбинге...»

Генеральный викарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру (о том же говорили и два пастора). Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жителей врасплох: они верили не только Гитлеру, но и его помощникам, а гаулейтер Эрих Кох еще в начале января писал: «Русские никогда не прорвутся в глубь Восточной Пруссии — за четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров». Цифра успокаивала. В Либштадте я нашел незаконченное «свидетельство об арийском происхождении» — 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов: 26 января в Либштадт вошли советские танки.

В 1944 году я часто спрашивал себя: что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию? Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а миллионы своих соотечественников, что они — избранная нация, что плутократы и коммунисты, объединившись, лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными, дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью

вульгарного ницшеанства и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе: «Растенбург всегда будет немецким!» «Эльбинг не сдастся!», «Граждане Тапиау помнят о Гинденбурге. Смерть русским!» Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции «вервольфов»; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое «вервольф»; он ответил: «Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии...» Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: «В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: «Клянусь быть вервольфом и убивать русских!» Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрявшие жители призывного возраста вели себя как пай-дети. Гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке: «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он мне служил консервным ножом. А про заколотых красноармейцев я не слыхал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, зловещей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но, в отличие от мифических вервольфов, они предпочитали временно нарядиться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта.

Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми: с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора

Один из городов Восточной Пруссии. 1944 г.

Кенигсберг в день взятия нашими войсками. 1944 г.





Марбургского университета, у стариков, у школьников — хотел понять, как они относятся к идее «народа господ», к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду я слышал то же самое: «Мы ни при чем...» Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсовцы; другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов; третий клялся, что был связан со своим шурином, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга, в селе Хоэнвальд, один немец поднял кулак, приветствуя «господина комиссара»: «Рот фронт!» В его доме нашли альбом любительских фотографий: вешают русских, возле виселицы доска с крупной надписью: «Я хотел зажечь лесопилку, подсобник партизанов»; еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого «ротфронтиста» примолкнуть, он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов: «Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверно, приходил к моему брату, мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии — в России я не был. Можете мне поверить: в душе я коммунист...»

Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других — все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немец, который возвращался с запада в Прейсиш-Эйлау, он сказал: «Герр Шталин хат гезигт, их гее нах хаузе» («Господин Сталин победил, я иду домой»).

Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об Освенциме, о «факельщиках», о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев; потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо.

Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу, все (на некоторое время) схоронилось, залезло в щели — упрощенное ницшеанство и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла: откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу — принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед: «Они идут замечательно сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени...»

Комендантом города назначили строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление — правила. Один наш комендант, смеясь, говорил: «Я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней — что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить: один спрашивает, может ли забраться на крышу

и залатать дыру, другой — куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа...»

В Эльбинге я увидел необычайную очередь: тысячи немцев и немок, старухи, маленькие дети жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному, на вид самому миролюбивому: «Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверное, знаете, в каких кварталах еще стреляют...» Он вначале сетовал — потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место: русские, наверно, поставят охрану и можно будет спокойно переждать; он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвая. Я его не спрашивал о Гитлере — знал, что́ он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный. Мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы он взял себе пальто. Он испугался: «Что вы, господин комиссар! Это ведь трофеи русских...» Я предложил ему выдать письменное удостоверение; подумав, он спросил: «А у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит».

По Растенбургу меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка, все на него кричали. Теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали: «Добрый день, господин Вася!»

Позднее в западногерманской печати много писали о «русских зверствах», стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить — мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа — в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость гражданского населения, а растерянностью: мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заметались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе, близкому концу войны. А глядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло — развалины городов, метель из пуха на дорогах или приниженность, покорность жителей. В те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирную госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу — Настю из Орла.

Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал злорадства, во мне смешивались брезгливость с жалостью, и это порой отравляло то большое счастье, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми — с советскими девушками, с граж-

данами и солдатами порабощенных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи: один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин нашел свою сестру с двумя детьми — одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла те рвы, которыми хвастал Эрих Кох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала: «Вася!.. Васенька!..» А старший мальчик восхищенно разглядывал две медали на груди дяди Васи.

Кого только не привелось мне встретить! Среди освобожденных были люди разных стран, разных профессий: французы-военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, несколько американцев, студент из Афин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость.

Французы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток — им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо стряпать, и, зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан.

В плену все научились немного говорить по-немецки, бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции: люди понимали друг друга.

В Эльбинге, в бараках, где содержались военнопленные, я видел правила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки — сто пять душ. Железнодорожник Чудовский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустном Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу — русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, у нее работали только одна украинка и один итальянец; за них она вносила шестьдесят марок в «арбейтсамт». Теперь это известно всем, а тогда это меня потрясало: воскресили рабство античного мира, но вместо Еврипида — Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополя — Освенцим.

Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия тифа. Гитлеровский врач говорил: «Лечить их нечего, все равно умрут...» Каждый день зарывали умерших. «Я видел,— говорил француз,— как вместе с трупами зарывали еще живых, вспомнить не могу без ужаса...»

В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку — это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые и поэтому убедительные записи: «26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш! Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе: дура, ведь наша берет, и плачу, плачу. Вспомнила Петю. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня? Все

равно, лишь бы жил! Я знаю, что мне не дожить до свободы. Но теперь я наверно знаю, что наши победят... 11 ноября. Мой день рождения. Вспомнила, как приходили Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего И. Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки!..»

Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с нею приключилось потом, но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении, под Ржевом, у Сталинграда.

В Гутштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизией уговаривал меня, чтобы я задержался, пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря я увидел развалины: по монастырю била артиллерия. На земле валялась груда книг — маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах, я видел такие в других городах: молитвенники, псалтыри, Библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как, сам не знаю почему, наклонился и поднял маленькую книжицу. Я обомлел — первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году! Второй том, третий, четвертый... Стихи одного из друзей Ронсара — Реми Белло. Томик произведений Лукиана во французском переводе. (Лукиана я потом подарил Я. З. Сурицу, а Ронсара и Белло берегу.) На первой странице отметка: такой-то купил там-то, заплатил столько-то. В XVI веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом всеми Гутштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку — немцы не разобрали, что это за книги; в них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились.

В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел — раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в «Падение Парижа» — их читает Жаннет Дессеру:

Признает даже смерть твои владенья,
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские поля — не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах...»

Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!..»

Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога — сожженные села, Борисов. Кожевенный завод, где гитлеровцы убивали... Снег еще милосердно прикрывал сожженную, изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости.

Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости примешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, близость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Ронсара. В 1940 году в Париже я писал:

Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара.

Короткое стихотворение кончалось словами:

Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны,— потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство?.. Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге — думал о жизни.

25

Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад: «Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о событиях, которые не стали достоянием истории»; многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о последних неделях войны.

Вокруг Кенигсберга, на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве громыхали салюты; они были трех классов — первый из трехсот двадцати четырех

Освобожденные французы — бывшие пленные. 1944 г.

Ялтинская конференция. У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин. 1945 г.





орудий двадцать четыре залпа, а третий из ста двадцати четырех двенадцать залпов. Москвичи к ним привыкли — бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжалось ракетами. «За что салют?» — спрашивала в фойе театра девушка подругу, та отвечала: «Маленький — за какой-то венгерский город...» Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали Победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в предшествующие годы. Наступали те последние четверть часа, которые кажутся вечностью.

В марте генерал Таленский покинул «Красную звезду». С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для «Красной звезды», для «Правды», для еженедельника «Война и рабочий класс».

Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии, от леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в «Красной звезде» с моим ответом, писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира и поэтому не можем предоставить господу богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что, когда слепые политики отдали Чехословакию в руки фашистских палачей, их именовали «ангелами мира», на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами.

Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением леди Гибб. (Кажется, еще больше писем получила леди — мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем.) Между тем леди Гибб случайно оказалась в центре внимания: дело было, конечно, не в ней; начиналась борьба между людьми, решившими уничтожить фашизм, и вчерашними «мюнхенцами», сторонниками «мягкого мира». Не сердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разоружить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это ни звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Эльзасе и в Арденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германии, «способной преградить путь коммунизму», хотя бы часть ее военной силы.

Брэйлсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехословаков обеспечить равноправие судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы ТАССа выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу: военнопленные немцы готовились к карьере поли-

цейских в оккупированной Германии; по словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией.

Начиная с февраля 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь да рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дейли телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика: «Такие меры разваливают сельское хозяйство Германии». В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители треста «ИГ». Видный американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал «атлантическую общность».

Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик — литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен, знал, какими жертвами оплачена победа над гитлеровской Германией.

Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельные случаи насилия в городах Восточной Пруссии, возмутившие нас всех, я привел в «Красной звезде» письмо, полученное мною от офицера Б. А. Курилко: «...Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величия советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унизят себя...» Я писал дальше: «Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей, мы не стыдимся этого, мы этим гордимся... Советский воин не тронет немецкой женщины... Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами...»

«Холодная война» еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «То, как Эренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов пятидесяти конгрессменов, двадцати комментаторов и дюжины политических экспертов... Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика; это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложенным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и теперь получают то, что они затеяли. Только те, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации. Эренбург знает, о чем говорит... Красная Армия знает, что она делает... Многие из наших конгрессменов, дипломатов, публицистов этого еще не

знают. Мы не привыкли к войне, но мы участвуем в величайшей в истории войне, и рано или поздно мы это поймем. В Америке должны больше читать Эренбурга...»

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!», мало чем отличавшуюся от предшествующих. Рассказывая, что Маннгейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся советской оккупации, чем англо-американской. «Хватит!» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма.

Двенадцатого апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн.

Тринадцатого апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Г. Ф. Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв «Правду», я увидел большой заголовок «Товарищ Эренбург упрощает», статья была подписана Г. Александровым. (Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не рассказал мне об этом потому, что испытывал некоторую неловкость; может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи.)

Г. Ф. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец, что я объясняю переброску немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как это — провокация, маневр Гитлера,

Статья Г. Александрова. 18 апреля 1945 г.

И. Эренбург читает письма фронтовиков. Апрель 1945 г.



Товарищ Эренбург упрощает

На улицах освобожденной Вены



попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции.

Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать об эпизоде, который причинил мне много трудных часов.

Я еще раз оказался наивным, а мне было пятьдесят четыре года: я не могу сослаться на молодость, неопытность; видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александрова: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем и с другим — хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осудить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой.

«Красная звезда», разумеется, перепечатала статью Александрова. Редактор со мною разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статей Эренбурга; об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ЦК, тому же Г. Ф. Александрову, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась: «...Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как Вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория...» Ответа я не получил.

Только 10 мая — на следующий день после Победы — «Правда» поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться, и для людей, обладающих памятью, вставил без кавычек цитаты из моих статей — о том, что нам чуждо чувство мести и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма.

К сожалению, статья Г. Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту всполошились: уж не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились — понимали, что реки крови не бутылка чернил и что одна статья не

изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрюка или Бухенвальда, что фашистским главарям не приходилось рассчитывать на пощаду, но промышленники Рура, генералы рейхсвера, крупные чиновники третьего рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, понимали, где они найдут влиятельных защитников.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Г. Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку (не скрою: я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях).

Фронтовики присылали мне в утешение подарки; об одном расскажу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год VII республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с барельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей!» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне ни нравилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка.

Пришел Суриц, сказал: «Зря огорчаетесь. Это не против вас, просто в его нравах. Узнаю почерк...» В общем, он оказался прав. Несколько недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о статье Г. Александрова вспоминают только реваншисты из «Зольдатенцейтунг».

А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают,— требовалось крылышко, под которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет божий, снова заговорить о «красной опасности», о «защите Запада», об «исторической миссии Германии». На моем столе свежие газеты — сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судетских немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать. Тяжело и вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать. Но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом — братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день; впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет.

26

В конце апреля сводка Совинформбюро сообщила, что в западном предместье Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуар Эррио. Два дня спустя мне позвонили: «Эррио спрашивает, в Москве ли вы, он хотел бы вас повидать».

Эррио обнял меня: «Малыш, это было нелегко!..» Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на «ты».

Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко — в посольстве у В. С. Довгалевского, в палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии, раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал; я чувствовал, что он ко мне расположен, но смешно было говорить о дружбе: между нами были два десятка лет, позволившие ему называть меня «малышом», да и жили мы в различных мирах — для премьер-министра, председателя парламента, мэра Лиона литература была отдыхом, а для меня политика являлась, скорее, военной службой, чем страстью или профессией.

У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти: большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки — все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эррио с огромнейшим животом. Родился он в Шампани, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом: «Как вы думаете, нам дадут перекусить?..»

Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы: «Вошел ваш офицер, солдаты. Я закричал: «Француз! Эдуар Эррио!» И можете себе представить, он знал мое имя, пожал руку, смеялся, повторял «Эррио» на русский лад...» (Эррио постарался произнести свою фамилию с ударением на первом слоге.) Он говорил, что видел панику, понимал: не сегодня завтра наступит развязка — убьют или освободят. «Но хорошо, что меня освободили ваши — ведь вся моя

Телеграмма летчиков И. Эренбургу

Эдуар Эррио (в центре) освобожден из плена

Лион Фейхтвангер в гитлеровском концлагере


РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
И. Г. ЭРЕНБУРГУ
ИЗ ПРАГ НР 1031/257 [illegible] 4/5 08-4[illegible]
ДОРОГОЙ ИЛЬЯ, СЕГОДНЯ 8/5-45 МЫ ЛЕТЧИКИ
[illegible] НАХОДИТЬСЯ В БЕРЛИНЕ
В РАЙОНЕ РЕЙХСТАГА НА КОТОРОМ ВОДРУЖЕНО
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ И ГДЕ МЫ ЧЕСТНО ПОРАБОТАЛИ
ОТМЕЧЕНЫ В ПРИКАЗЕ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОЧЕНЬ УДИВЛЕНЫ, ПОЧЕМУ
НЕ СЛЫШНО ВАШЕГО ГОЛОСА,? КТО ТЕБЯ

[illegible] ЛЕТЧИКИ СОЕДИНЕНИЯ ГЕНЕРАЛ-
МАЙОРА СЛЮСАРЕВА ЧИТАЯ ВАШИ [illegible]
НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ
[illegible] НАС РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ
ОТДАЧЕЙ [illegible] НЕ ДАВАЛИ ВРАГА
НЕ [illegible] ДОРОГОЙ ДРУГ, [illegible] ТАК, КАК Т
[illegible]-СЛЮСАРЕВ [illegible].
[illegible]1031/257 10-30 [illegible]

политическая биография связана с идеей франко-советской дружбы. Вы-то это знаете... А я начинаю думать о биографии — нужно, чтобы все увязалось...»

Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Многое из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это воспринимает Эррио. Я увидел, что не ошибался, считая его одним из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть — со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали.

Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале ВОКСа военную кинохронику. Он восхищенно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил: «Шесть тонн женских волос»,— и вдруг увидел, что Эррио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал: «Я об этом не знал... Мне, видимо, время умереть — я ничего не понимаю... Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг «Дело». Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем, и вся Франция раскололась. Мне было двадцать шесть лет, я кричал до хрипоты. Золя, Жорес, Анатоль Франс... Шли телеграммы — Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, все протестовали... Одного невинного послали на Чертов остров!.. Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. «Шесть тонн женских волос...» Я знаю, что это — нацисты, немцы, но ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен...»

Немцев он не любил, говорил: «Больше всего меня удивляет их коварство. Даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, и в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном — после короткой передышки отыграться, восстановить первенство «великой Германии». Однако нелюбовь к немцам у Эррио не связывалась





с расизмом или шовинизмом: он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовищно — для человека, который часто стоял во главе правительства большой державы в середине XX века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, «сдержать данное слово», «спасти честь». «Нужно платить долги Америке — мы ведь дали слово», «Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещания?», «Мы обманули чехов, это пятно на чести Франции», «Бельгийский король, сын «короля-рыцаря», поступил недостойно: капитулировал, не запросив союзников», «Нельзя сложить оружие — мы связаны договором с Англией».

В трагические дни июля 1940 года Эррио поддерживал проект отъезда правительства в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость: просил, чтобы его Лион объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Эррио все же взывал к его чувству справедливости. Собрали Национальную ассамблею, депутатам было предложено отречься от себя и похоронить республику. На первом заседании председательствовал Эррио, в своей речи он сказал: «Наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение...» Рассказывая мне о том времени, он признавался: «Это было одной из самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит Республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести и он не осмелится поднять руку на свободу...» Эррио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену. Но он не мог принять обвинений, выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир: «Они повиновались долгу, чести...» Профашистские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Эррио мне говорил: «Настоящие каннибалы!..» (То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная чернь во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами.) В начале июня 1941 года Эррио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции: помилуйте, немцы лишают депутатов Эльзаса и Лотарингии права называть себя членами французского парламента! В августе 1942 года, когда Германия казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Эррио выступил трижды: он протестовал против расстрела немцами заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию; возмущался преследованиями французских евреев; наконец, вернул свой орден Почетного легиона после того, как такие же ордена были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эррио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию.

Если подойти к этим противоречивым поступкам как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эррио был одним из лидеров радикалов — этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян Юга и крупных дельцов, свободолюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя «младорадикалами», и все же удивительно, как столь

противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эррио сформировался в прошлом столетии, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому и молодой Советской Республике, что он мог в перерыве между двумя заседаниями Совета министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Лиона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным.

После второй мировой войны правые упрекали Эррио за то, что он якшался с «красными», а левые говорили о его неблагодарности: «Он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты». Эррио ничего не забывал, просто он оставался самим собой — непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Лионе. Среди прочего мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считаю обращение французского правительства с Улановой и другими артистами московского балета позорным: их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступать, ссылаясь на события в Индокитае. Эррио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь же письмо, адресованное мне: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого я, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю Вас, что большинство французов в этом согласны со мною». Он дал мне листок: «Можете напечатать...»

Вскоре после этого болезнь Эррио обострилась — он не мог передвигаться. В августе 1954 года Национальное собрание должно было ратифицировать договор о «Европейском оборонительном сообществе», говоря проще — о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эррио приехал на заседание палаты; он не смог подняться на трибуну и выступал, сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франкосоветском сближении, и обратился к депутатам с предостережением: «Видите ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны».

В 1956 году в Лионе состоялось совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященное опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в кабинете Эррио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем; он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир; что оружие в руках боннского правительства — угроза всей Европе; он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел.

В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики. Отношения между союзниками были, скорее,

натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эррио: «Русские справлялись, когда вы предполагаете уехать,— это больше, чем намек...» Видимо, кому-то хотелось рассорить Эррио с его советскими друзьями.

У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек «золотого руна», позвонил Эррио, но мне ответили, что он «неожиданно уехал». Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо: «Ваш табак я получил в Тегеране. По моим расчетам, его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический День Победы, не удалось завершить должно пребывание в Москве. Но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра».

Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца Четвертой республики. Его пристрастия и отталкивания не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства, мюзик-холлов и строгой диеты; а любил он традиции якобинцев, Лион, Декарта, русских, Бетховена, красноречье, популярность и вино «божоле».

В 1954 году, когда я был у него, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого, спившегося Верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона,— сказал он,— а знаете ли вы стихи лионской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабэ?» И он прочитал начало одного из ее сонетов:

Живу и гибну и горю — дотла,
Я замерзаю, не могу иначе —
От счастья я в тоске смертельной плачу,
Легка мне жизнь, легка и тяжела.

Может быть, этими стихами лучше всего закончить рассказ об Эррио. Но чтобы вернуться к нити повествования, напомню: второго мая он говорил мне: «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями за одержанную победу», а девятого мая на заре его посадили в самолет.

27

Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Браззавиль: ждал развязки.

Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут.

В апреле я писал: «В Германии некому капитулировать. Германии нет, есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности». Гитлеровская Германия умирала, как и жила,— бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось ни одного полка, ни одного города,

который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главарей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гардины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь — белые тряпки выползали из всех окон. Союзники теперь продвигались быстро: один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцоллернов, школьники, одураченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш. А фашистские главари закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались.

Первого мая немецкое радио сообщило, что Гитлер, погиб, как герой, в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Геббельсом, Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Дениц объявил, что возглавляет новое правительство; однако составить его было трудно — оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали, скорее, о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле.

Вечером 7 мая я слушал Браззавиль: в Реймсе представители Деница и германского командования подписали акт о капитуляции; от Советского Союза документ подписал полковник... Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет речь,— диктор не мог выговорить русское имя (оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал,— он был военным атташе во Франции). Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию; мне сказали, что нельзя доверять слухам, возможно, это провокация — попытка сепаратного мира, так или иначе военные действия продолжаются.

Восьмого мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта — за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон — друзья и знакомые спрашивали: «Вы ничего не слыхали?» — или таинственно предупреждали: «Не выключайте радио...» А московское радио рассказывало о боях за Либаву, об успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско.

Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно — почти повсюду окна светились: люди не спали.

Начали выходить на лестницу, некоторые неодетые — их разбудили соседи. Обнимались. Кто-то громко плакал. В четыре часа утра на улице Горького было людно: стояли возле домов или шли вниз — к Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков, и солнце отогревало город.

Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали: трудно его описать — ничего не происходило, и, однако, все было полно значения — любое лицо, любое слово встречного.

Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью, она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мною шла женщина и мальчик, который все время повторял: «Вот это майор. Ура! Старший лейтенант, орден Отечественной второй степени. Ура!..» У женщины было милое изможденное лицо; вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она; наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно. Девочка сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал: «Вечная память погибшим»; майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал: «Жена просила: «Скажи»,— она простыла, лежит... Гвардии старшина Березовский. Две личные благодарности от товарища Сталина...» Кто-то сказал: «Ну, теперь скоро вернется...» Старик покачал головой: «Погиб смертью героя, восемнадцатого апреля, командир написал... Жена просила: «Ты расскажи...»

Я говорил, что было много печали: все вспоминали погибших. Я думал о Борисе Матвеевиче, и мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло; думал о том, что мы жили рядом, а я с ним мало разговаривал, то есть говорили мы много, но все о другом — не о главном. Я думал о добром Жене Петрове, вспоминал, как он, смеясь, говорил: «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Прокакина-Стукала». Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье: «Вы не пижон, и Можайск не Ницца...» Вспомнил товарищей по «Красной звезде», молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, тацинцев, Черняховского, Юрия

Встреча на Эльбе
Война кончилась
Берлин. 1945 г. За водой
Советские бойцы раздают берлинцам хлеб. 1945 г.





Севрука из «Знамени», ездового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома — «полковник» и «подполковник», как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга. Все Ржев да Ржев...

Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский:

...Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

Днем на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться: кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал: «Ну меня за что?..» В ответ кричали «ура». Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул: «Эренбург!» Начали и меня качать. Неприятно, когда тебя подкидывают вверх, а главное, неловко: я молил «хватит», но это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше.

«Кончилось»,— я повторял это Любе, Ирине, Савичам, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей или что она школа мужества, никакие Киплинги и киплингствующие, никакая романтика «мужских бесед у костра» не прикроют ужаса убийства оптом, судьбы выкорчеванных поколений.

Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно: в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал он нас не как 3 июля 1941 года «братьями и сестрами», а «соотечественниками и соотечественницами». Прогремел небывалый салют — палила тысяча орудий, дрожали стекла; а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но не удивило. Он — генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали: «Сталину ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять, я привык к тому, что есть люди, их радости, горе, а где-то над ними — Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали; он стоит на трибуне Мавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей,





решает их судьбы. Я сам писал о Сталине-победителе. Ведь это он привел нас к победе. Древние иудеи никогда не думали, что бог любит людей: они знали, что, поспорив однажды с сатаной, Иегова убил всех сыновей и всех дочерей праведного Иова, разорил его, наслал на него проказу только для того, чтобы доказать, что Иов останется верным своему хозяину. Они не считали бога добрым, они считали его всемогущим и в благоговении не решались выговорить его имя. Когда-то В. В. Вересаев говорил мне: «В соборе святого Петра есть статуя апостола, туфля стерлась от поцелуев — металл поддался. Можно, конечно, не верить в святость Петра, но туфля производит впечатление — губы оказались сильнее бронзы...» В отличие от обычая иудеев имя Сталина произносилось постоянно — не как имя любимого человека, а как молитва, заклинание, присяга. Вересаев был прав, говоря о туфле. Когда я писал о Сталине, я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о предсмертных письмах, заканчивающихся словами: «Да здравствует Сталин!» Борис Слуцкий много позднее написал:

Ну, а вас, разумных и ученых?
О, высокомудрые мужчины,—
вас водили за нос, как девчонок,
как детей, вас за руку влачили.

Вероятно, это справедливо. Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли — ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смушкевича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими командирами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но скажу откровенно: в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных (вернее, изреченных) Сталиным, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали, как «аминь».

Наверно, все в тот день чувствовали: вот еще один рубеж, может быть, самый важный,— что-то начинается. Я знал, что новая, послевоенная жизнь будет трудной — страна разорена и бедна, на войне погибли молодые, сильные, может быть, лучшие; но я знал также, как вырос наш народ, помнил мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди «космополиты», ленинградское дело, обвинение врачей, свирепый обскурантизм,— словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на XX съезде,— я счел бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был.

Начиная с середины апреля я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о распрях между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивляло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги.



День Победы в Москве. 9 мая 1945 г.

В моем блокноте записана передача французского радио — беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли в ставке; отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Гитлер совершил непростительную ошибку, направив удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я надеюсь, что ваши правительства поступят разумнее, ведь через десять лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. Радиопередачи сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деницем, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было неспокойно.

А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Удастся ли победить зародыши национализма, расизма, которыми гитлеровцы заразили многих. Война показала не только душевную отвагу народа, но и цепкость, жадность, равнодушие; люди закалились, но и огрубели; нужны новые методы воспитания — не окрики, не зубрежка, не кампании, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начала добра, доверие, огонь, исключающий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное — что теперь будет делать Сталин? По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу — оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленны-

ми, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили, как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря. Я думал о различных указах, продиктованных Сталиным, и минутами спрашивал себя: не повторится ли тридцать седьмой? Но опять меня подводила логика, я говорил себе: в тридцать седьмом был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит. Красная Армия показала свою силу. Народ пережил слишком много... Прошлое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику — за обязательный предмет в школе истории.

Я говорю об этом потому, что хочу понять, почему поздно вечером того необычайного дня я написал стихотворение с заголовком «Победа». Оно недлинное, и я его приведу целиком:

О них когда-то горевал поэт;
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали —
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине.

Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанное и вдруг смутился: читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял. Победа! Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу,— плохо подготовленный, застигнутый врасплох, он не сдался, стоял насмерть под Москвой, у Волги, повернулся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, последующую эпоху окрестят «русским веком»...»

Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о девятом мая другим: это был день необычайной близости всех, и сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались,— в улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город.

Последний день войны... Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил — столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так держались.

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей,— о горе, о мужестве, о любви, о верности.

КОММЕНТАРИЙ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ*

По первоначальному плану в четвертой книге речь шла о событиях 1933—1939 гг.; завершалась она рассказом о поражении Испанской республики. В конце 1961 г. И. Э. сдал рукопись в «Новый мир» и приступил к работе над пятой книгой, посвященной событиям второй мировой войны. Когда были написаны первые шесть глав (февраль 1939 — июнь 1941), И. Э. решил включить эти главы в четвертую книгу, с тем чтобы начать пятую 22-м июня 1941 г. Легче всего объяснить это решение желанием автора воспользоваться привычной советским читателям периодизацией исторических событий (И. Э., однако, писал не учебник истории, но книгу о своей жизни, а в ней 22 июня 1941 г. неотрывно от предшествовавших роковых дат эпохи). Возможно, что, рассказав о времени, которое он вспоминал с отвращением, и подойдя к не менее тяжким событиям лета 1941 г., И. Э. ощутил, что они имеют для него совершенно иную психологическую окраску (годы Отечественной войны у писателя было полное право вспоминать с гордостью); возможно, имели также место и иные соображения — отделив повествование об Отечественной войне от предшествовавших ей сложных и закрытых для общественного обсуждения событий, И. Э. облегчал прохождение рукописи через цензуру.

В марте 1962 г. Твардовский получил шесть дополнительных глав четвертой книги. Проходили они в журнале трудно. И. Э. «с болью в сердце», как он писал Твардовскому, шел на уступки, стараясь сохранить главное.

Четвертая книга мемуаров «Люди, годы, жизнь» вызвала сильнейшую атаку просталинских сил, предпринявших фронтальное наступление на «оттепель». В настоящем издании эта книга впервые печатается без изъятий.

Глава 1

Стр. 7 *У меня не сохранилось текста сценария* — Фрагмент сценария «Николай Курбов» см. Лит. Ленинград. 14 июня 1934.; в предисловии к публикации И. Э. писал: «Я верю в талант и мужество Майльстоуна и хочу надеяться, что картина, которую он сделает, окажется полезной для разрушения некоторых легенд, созданных в Америке о Советском Союзе, так и для утверждения всей правды нашей революции».

---

* Условные сокращения при ссылках на произведения И. Эренбурга см. в 1-м томе.

Он сделал фильм о советских людях — «Наш русский фронт» (1942) смонтирован Л. Майльстоуном и Й. Ивенсом по материалам советской боевой кинохроники; «Северная звезда» (1943) — по сценарию Л. Хеллман.

Стр. 8 *«Путь в прошлое обогатил Мальро...»* — эссе «Андре Мальро» (1933) — см. ЗР. С. 272.

Стр. 10 *подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»* — Guehenno Jean. «Journal d'un homme de 40 ans» (1934); надпись на книге: «Илье Эренбургу от всего сердца. Ж. Геенно» (АЭ); цитата — в переводе И. Э.

Стр. 11 *К. А. Федин в одной статье вспоминал* — «Западная трагедия» (Известия. 1 мая 1934).

Глава 2

Стр. 14 *Ильф оставил... план фантастического романа* — см. Ильф И. Записные книжки. М., 1957. С. 147—149.

«На мой взгляд, его последние записки...» — см. сб. «Воспоминания об Ильфе и Петрове». М., 1963. С. 25.

Глава 3

Стр. 18 *вечером написал статью* — О событиях февраля 1934 г. в Париже см. статьи И. Э. в «Известиях» — «На улицах Парижа», «Париж накануне всеобщей забастовки», «Париж, 12 февраля» (10, 14, 15 февр.).

Глава 4

Стр. 19 *хеймвер* (или хаймвер) — организация, созданная для борьбы с революционным движением (1918—1938); с 1930 г. носила профашистский характер.

шуцбунд — боевые дружины социал-демократов.

Стр. 20 *В Брно я написал очерки для «Известий»* — печатались 6, 9, 12, 15 марта 1934 г.; составили книгу «Гражданская война в Австрии» (М., 1934). 3 марта 1934 г. И. Э. писал из Праги В. А. Мильман: «В Чехословакии я работал день и ночь: опросил детально множество участников австрийских событий, потом написал цикл статей... Эти статьи уже переводятся на немецкий, французский, английский и чешский. Я придаю им значение, т. к. наша информация в данном случае не стояла на высоте...» (АЭ).

Стр. 21 *Я писал в «Известиях»...* — из очерка «Начало новой главы» (Известия. 15 марта 1934. См. С7. С. 635).

Редакцию газеты несколько смутили эти строки — И. Э. 9 марта сообщил Мильман, что послал в редакцию «очень решительное письмо»: «Дело в том, что австрийский очерк напечатан не только с купюрами, но и с недопустимой отсебятиной» (АЭ); это подействовало: «Последние очерки,— сообщал И. Э. 21 марта,— были напечатаны хорошо».

Стр. 22 *горняки Астурии попытались повернуть ход событий* — см. статью И. Э. «В горах Астурии» (ИР. С. 57—62).

Глава 5

Стр. 23 *Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик»* — В изд. «Малик» выходили переводы почти всех книг И. Э. в блестящем оформлении брата издателя художника Джона Хартфильда. 9 марта 1933 г. И. Э. писал Мильман: «Немецкие события отразились и на мне. Не только погибло мое издательство, но в нем погибли пять тысяч марок — мой гонорар от американской фирмы «Юнайтед артист», которая делает теперь «Жанну Ней», и часть денег для меня передала «Малику»...» (АЭ).

Стр. 25 *«Проезжему кажется, что в Европе — война...* — из очерков «В джунглях Европы» (см. ЗР. С. 201).

Глава 6

Стр. 28 *Бухарин напечатал мою статью* — Известия. 26 июля 1934. (см. также С7. С. 639—647).

Стр. 29 *Фразу... что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул* — см. ст. «В защиту культуры» (ж. «Большевик». 1949. № 2).

Глава 7

Стр. 31 *Расписаны были кулисы пестро* — из стих. Гейне «Довольно! Пора мне забыть этот вздор», пер. А. К. Толстого.

Стенографический отчет съезда — «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет». М., ГИХЛ, 1934; далее все выступления цит. по этому изд.

из семисот осталось в живых, может быть, полсотни — на съезде было 377 делегатов с решающим голосом и 220 — с совещательным.

Я председательствовал на заседании — на утреннем и вечернем заседаниях 25 авг. 1934 г. при обсуждении доклада К. Б. Радека «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства»; по ходу заседания И. Э. переводил речи А. Мальро, Г. Инара, Ж. Р. Блока и Л. Арагона.

Стр. 32 *Приветный знак ашугу дан* — стихи С. Стальского (пер. А. Суркова) прочел А. Безыменский.

Стр. 34 *Мальро выступил дважды* — 23 и 25 авг.; второе выступление было ответом на высказывания Л. Никулина о пессимизме романа Мальро «Условия человеческого существования».

Стр. 35 *Шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина* — Н. И. Бухарин выступил 28 авг. с докладом «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР»; из здравствующих поэтов Бухарин выше всех оценил Б. Л. Пастернака.

В заключительном слове А. М. Горький... сказал — «В докладе т. Бухарина есть один пункт, который требует возражения. Говоря о поэзии Маяковского, Н. И. Бухарин не отметил вредного — на мой взгляд — «гиперболизма», свойственного этому весьма влиятельному и оригинальному поэту».

Стр. 36 *Я выступил с длинной речью* — см. С 6. С. 517—527.

Глава 8

Стр. 39 *«Эренбург видит мир в контрастах...»* — из ст. А. Гурвича «Писатель и действительность. Контрасты» (см. Красная новь. 1935. № 12. С. 204).

Стр. 41 *Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова...*— Не ограничившись этим, И. Э. напечатал ст. «О судьбе наших художественных ремесел» (Известия. 20 февр. 1935), способствовал организации выставок изделий художественных промыслов в СССР и за рубежом.

про... Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены — В ст. «Эренбург и Мазин» газ. «Горьковский рабочий» 29 марта 1936 г. писала: «Почти два года назад Эренбург со своим другом французским писателем А. Мальро приехал в Загорский музей игрушки. Здесь и произошло его знакомство с Мазиным. Оба писателя были поражены свежестью, силой и непосредственностью мазинского искусства... Работы городецкого маляра в мировой столице искусства — Париже — произвели большое впечатление. Друзья писателя, живописцы с крупными именами, оживленно жестикулировали перед странными для Франции формами наших прялок. Роскошный голландский журнал воспроизвел на своих страницах мазинские жанры. Нынешней осенью писатель... увез в Париж несколько новых работ Мазина. Москва этим летом увидит его труды на особой выставке».

Стр. 42 *фильм «Встречный»* — режиссеры Ф. Эрмлер и С. Юткевич (1932).

Стр. 43 *Критики приняли мою повесть... благожелательно...*— безусловно положительных откликов прессы удостаивались лишь самые слабые книги И. Э. («Не переводя дыхания», «Девятый вал»); И. Э. на этот счет не обольщался; даря «Не переводя дыхания» О. Г. Савичу, надписал книгу с иронией: «Саве — «роман бодрости и оптимизма» 24 XII 36 И. Эренбург», имея в виду одноименную рецензию К. Зелинского (Правда. 5 июня 1935).

Глава 9

Стр. 45 *Я написал в Москву длинное письмо* — письмо Сталину, отправленное 13 сент. 1934 г. из Одессы, содержало предложение о перестройке работы Международной организации революционных писателей (МОРП), находившейся во власти рапповских установок, в организацию с широкой антифашистской платформой. Политическая программа такой организации, подчеркивал И. Э., должна быть широкой и в то же время точной: «1. Борьба с фашизмом. 2. Активная защита СССР»; в письме отмечалось значение Первого съезда писателей для такой работы: «Можно смело сказать, что работа съезда подготовила создание большой антифашистской организации писателей Запада и Америки» (АЭ). 23 сент. 1934 г. Сталин направил записку Кагановичу: «Эренбург прав... Надо ликвидировать традиции РАПП в МОРПе... Хорошо бы расширить рамки МОРП (1. Борьба с фашизмом. 2. Активная защита СССР) и поставить во главе МОРП т. Эренбурга. Это большое дело» (цит. по маш. копии из архива ИМЛ, ф. 3, оп. 1, ед. хр. 4591, хранящейся в АЭ).

«Что-то физики в почете...» — из стих. «Физики и лирики» (впервые — в «Литгазете» 13 окт. 1959).

Лирики читали и не улыбались — см. ст. М. Дудина «Счастье», стих.

Л. Ошанина «Какое равнодушье в этих строках» и его ст. «О модных именах и новаторстве» (Литгазета. 27 окт., 8 дек., 10 дек. 1959).

Стр. 46 *«Записки французской школьницы»* — книга Ирины Эрбург вышла впервые в альманахе «Год семнадцатый» (№ 4. М., 1934); отд. изд. в 1936 г. под названием «Лотарингская школа».

Стр. 48 *рыжий Ромка* — Р. О. Якобсон.

Глава 10

Стр. 49 *я написал для газеты очерки* — «Саар» (Известия. 24, 28 и 29 дек. 1934; вошли в ГН).

советник посольства показал мне телеграмму из Берна — цит. по ст. «Добрые взаимоотношения» (см. ГН. С. 46).

Стр. 50 *Выступил М. М. Литвинов* — цит. по ст. «Дождь и Женева» (см. ГН. С. 44).

Стр. 51 *в статье* [Вандервельде] *были неожиданные признания...* — цит. по ст. «Ночи Эйпена» (см. ГН. С. 72).

Я писал тогда — из ст. «Ночи Эйпена» (см. ГН. С. 66)

«Круглый стол» — Неправительственная международная организация «Круглый стол Восток — Запад», создана в середине 50-х гг.; И. Э.— один из ее организаторов.

Глава 11

Стр. 52 *Андре Жид «не видел перед собой ничего...»* — из эссе «Путь Андре Жида» (1933) — см. ЗР. С. 279.

Стр. 53 *я... назвал его «стариком со злобой ренегата...»* — из ст. «Герои Астурии» (Известия. 3 ноября 1937). В ст. шла речь о захвате франкистами Астурии и о зверской расправе над населением, поддерживавшем республику. В то же самое время франц. писатели А. Жид, Ж. Дюамель, Р. М. дю Гар, Ф. Мориак напечатали протест против преследования республиканцами деятелей ПОУМ (рабочей партии марксистского единства — левой организации троцкистов), ни словом не обмолвившись о репрессиях фашистов в Астурии. Эта несбалансированная позиция и вызвала острую критику И. Э., считавшего немецкий, итальянский и испанский фашизм главной опасностью эпохи. «...Перед моими глазами стоит Андре Жид с поднятым кулаком, улыбающийся тысячам наивных рабочих. Я слышу его голос — он говорил мне это год тому назад: «Я не могу спать, я все время думаю об испанских республиканцах». Это отвратительно и жалко... Вчера в газете «Диарио де Наварра», в органе палачей Астурии, перепечатан на видном месте «протест» нового союзника марокканцев и чернорубашечников, старика со злобой ренегата, с нечистой совестью, московского плаксы — Андре Жида. Я хочу забыть об этой низости».

Стр. 54. *«Записи об Андре Жиде»* — см. M a r t i n d u G a r d R. Notes sur André Gide. Paris, 1951; на русск. яз. не переводились.

Стр. 55. *Летом 1936 года, будучи в Москве* — А. Жид прилетел в Москву в сопровождении писателя П. Эрбара 17 июня 1936 г.; 20 июня он выступил с трибуны Мавзолея на похоронах Горького; 26 июня встретился со студентами Московского пединститута им. Бубнова; затем до конца июля отдыхал в Гру-

зии (2 авг. «Известия» напечатали его письмо Л. П. Берии с похвалами Грузии); на конец пребывания А. Жида в Москве пришелся процесс над Зиновьевым и Каменевым, кончившийся расстрелом соратников Ленина,— это существенно повлияло на отношение А. Жида к СССР.

При жизни он опубликовал дневники первых военных лет — цит. в переводе И. Э. (на русск. яз. не изд.). В СССР изданы дневники А. Жида 20—30-х гг. 7 апр. 1932 г. А. Жид записал впечатления от прозы И. Э.: «Рвач» Эренбурга; книга — замечательная, подлинной и несомненной новизны; необыкновенный ум и верность подачи» (см. Жид А. Страницы из дневника 1929—1932. М., 1934. С. 92).

Глава 12

Стр. 58 *ваш товарищ... назвал Сартра и О'Нила «шакалами»* — Из речи А. А. Фадеева: «Если бы шакалы научились писать на машинке, если бы гиены умели пользоваться вечным пером, то наверное их произведения напоминали бы книги Миллеров, Эллиотов, Мальро и прочих Сартров» (Литгазета. 29 авг. 1948).

Успеху [конгресса] *содействовало поведение советских писателей* — Г. Манн писал 16 июля 1935 г. Т. Манну: «Речи русских — Эренбурга, Алексея Толстого, Кольцова — были целиком посвящены защите культуры. Большего требовать нельзя... Я... думаю про себя, что без русской поддержки Западной Европе — конец» (см. Манн Г.— Манн Т. Эпоха. Жизнь. Творчество. М., 1988. С. 249).

Мне запомнились... выступления наших писателей — Речи приводятся по кн. «Международный конгресс писателей в защиту культуры» (М., 1936), куда не вошла только речь И. Э. Бабеля.

Стр. 59 *В очередном очерке для «Известий»* — см. Известия. 26 июня 1935.

один московский литератор...— установить точно, о ком идет речь, не удалось, известны сходные высказывания, относящиеся к более позднему времени (март 1936 г.): «Эренбург делает медвежью услугу Пастернаку, когда утверждает, что лесорубы на Севере читают стихи Пастернака... Это, конечно, неверно. И когда он таким образом старается делать литературную погоду за границей (всякому лестно делать литературную политику), он в достаточной степени дезориентирует французских читателей и писателей» (выступление Л. В. Никулина на общемосковском собрании писателей — см. Литгазета. 27 марта 1936). Получив стенограмму речи Никулина, И. Э. 5 апр. 1936 г. писал А. С. Щербакову: «Я... не могу обойти молчанием вопрос о той «литературной политике», которую я якобы провожу за границей. В этой «политике» я руководствуюсь общеполитическими резонами, а не моими личными литературными вкусами. Дело не в том, нравятся ли мне Пастернак, Бабель, Шолохов и др., а в том, что может легче и верней привлечь к нам западноевропейскую интеллигенцию» (АЭ).

«Комсомольская правда» осудила... меня — В ред. ст. «Откровенный разговор (о творчестве Б. Пастернака)»: «Иные «друзья» не раз оказывали медвежьи услуги Пастернаку. Когда Илья Эренбург в Париже приветствовал Пастернака как «поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая честь отнюдь не враги», он должен был понимать, что этот оскорбительный

«комплимент» по существу мало отличается от поучений Безыменского. «Высокая совесть» представляла здесь колебания поэта, те самые, которые поэт преодолевал, а «мастерство» — это все, что осталось в устах Эренбурга от творчества поэта, который никогда не был версификатором» (Комс. правда. 23 февр. 1936).

Я писал Щербакову — «Когда я был в Москве, я говорил с т. Ангаровым касательно моих очерков о парижском конгрессе. На столе т. Ангарова лежала выписка из одной моей телеграммы, касающаяся Пастернака. Т. Ангаров сказал мне, что он проверял, правильно ли утверждение, будто я говорил, что совесть поэта только у Пастернака. Я вижу теперь ту же цитату в статье Инбер и, что гораздо плачевнее, в редакционной статье «Комсомолки». Последняя утверждает, что этими словами я «приветствовал Пастернака в Париже». Это либо злостное искажение, либо недоразумение. Вы были на конгрессе и знаете, что я никакими словами ни Пастернака, ни других писателей не «приветствовал». Тон статьи в «Комсомолке»... заставляет меня задуматься над словами т. Ангарова и над отношением ко мне руководящих литературной политикой товарищей. Если она совпадает с «К. П.», то я с величайшей охотой буду впредь воздерживаться от каких-либо литературно-общественных выступлений и в Союзе и на Западе» (АЭ).

Стр. 60 *Я написал резкую статью о сюрреалистах* — ст. «Сюрреалисты» (Литгазета. 17 июня 1933; вошла в ЗР, а также в кн. «Глазами советского писателя». Париж, 1935). И. Э. писал о ж. «Сюрреализм на службе революции» (редактор А. Бретон) и его авторах: «Эти философские юноши, занятые теорией рукоблудия и философией эксгибиционизма, прикидываются ревнителями революционной непримиримости и пролетарской чистоты... Их программа ясна: после цитат из Маркса — вывеска публичного дома... Среди них мы встречаем имена поэтов, которые еще недавно писали настоящие стихи: Андре Бретона и Поля Элюара... От Артура Рембо, который писал гениальные стихи и который сражался за Коммуну, до этих жалких выродков, способных только на мелкое ерничество,— шестьдесят лет, вся жизнь целого класса, вся судьба большой культуры». Ст. И. Э. имела широкий международный резонанс; Й. Рыбак вспоминал, что в Праге писатели разделились на тех, кто симпатизировал И. Э., и тех, кто был за Бретона (см. Рыбак Й. Иду на красный свет! М., 1986. С. 149).

подошли два сюрреалиста...— один из них — А. Бретон.

Стр. 61 *Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат* — В Президиум Ассоциации вошли: А. Жид, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Манн, Т. Манн, М. Горький, Э. Форстер, О. Хаксли, Б. Шоу, С. Льюис, Валье Инклан, С. Лагерлёф; в секретариат: Ж. Р. Блок, А. Мальро, А. Шамсон, Л. Арагон, И. Бехер, Г. Реглер, М. Кольцов, И. Эренбург, А. Эллис, У. Фрэнк, Р. Альберти, Н. Рост.

Стр. 62 *Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии* — 5 апр. 1936 г. И. Э. писал М. Е. Кольцову: «Я не очень-то верю в предприятие с энциклопедией — боюсь, что трудно будет преодолеть марксисткофобию англичан и двух третей наших французов. Но посмотрим, как развернется дело» (ФЭ).

разговаривая с ... озорной девочкой Таней, [Уэллс] становился естественным — Т. М. Литвинова писала И. Э. 21 апр. 1962 г.: «Спасибо за теплую строчку обо мне — я ее ощутила именно как **Ваше** доброе и милое отношение

ко мне. Что касается Уэллса — «естественность» его тогда проявилась вот в чем: Костя Уманский велел мне с Зиной прогулять его в саду — он захмелел и грозил раскиснуть. Мы взяли его под руки, он попеременно мокро заглядывал нам в лицо, дышал перегаром, говорил, что Ленин — великий человек, а Сталин — нет (чем весьма нас эпатировал тогда) и пытался — не знаю, как бы это выразить политературней — лапать нас, а мы пытались отцеплять его приапические когти» (ФЭ). Позднее, 21 нояб. 1964 г., на запрос И. Э. Т. М. Литвинова прислала открытку, в которой нарисовала расположение гостей за столом на даче Литвинова: «Тридцать лет назад мы сидели так... В комнате, стеклянные двери которой были раскрыты настежь, на террасу. Напилась я с горя, оттого, что Вы на меня не обращали внимания, а из-за Вашей и Уэллсовой спин папа грозил мне кулаком... Было много закусок, горячих и холодных (грибы в сметане), т. ч. когда принесли бульон, Уэллс удивился, что у русских суп на десерт».

Глава 13

В воспоминаниях «Дружба с художником» вдова Фалька А. В. Щекин-Кротова приводит слова И. Э.: «По моему первоначальному плану я должен был писать о Фальке позднее, в книге о 50-х годах. Но мне хочется сделать это поскорее, чтобы «продвинуть» его искусство, я дам главу о нем в 30-х годах, в связи с Парижем, где мы с ним познакомились. Мало ли что может случиться, надо успеть...» Книга Эренбурга сделала имя Фалька популярным. Многие заинтересовались творчеством Фалька, почерпнув свои первоначальные сведения о нем у Эренбурга» (см. ВЭ. С. 232).

Стр. 63 *Я писал в «Известиях»* — из ст. «На французской земле» (см. ГН. С. 164—168; исправлено).

Когда я писал роман «Падение Парижа»... — В записной книжке И. Э. за 1944 г. среди деловых записей военной поры такая: «У Фалька. Прекрасные парижские пейзажи. Они казались мне в Париже трагичными. Здесь кажутся грустными, элегичными... Превосходство пейзажа над портретом» (ФЭ).

Стр. 64 *Глубокий взор вперив на камень* — из стих. Е. Баратынского «Скульптор».

Стр. 66 *Фальк писал в одном из писем* — из письма франц. худ. критику Жану Кайму (1956) (см. Фальк Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1981. С. 14).

Стр. 67 *«...мы его будем бить рублем...»* — «Это сказал недоброй памяти Александр Герасимов, он был в 40-е годы царь и бог, он не то́лько говорил, он действовал — пристально следил, чтобы Фалька ни один музей не закупал... Мне рассказывал один художник, как А. Герасимов на трибуне в МОСХе изображал, как он топчет ногами «формалистов»: «Мы их! Так вот с ними расправимся, с этими «Фэ»! — Фальком, Фаворским, Фонвизиным»... Фальк, присутствовавший в зале, встал и вышел вон...» (из письма А. В. Щекин-Кротовой комментатору — СК).

Он писал в 1954 году — цит. по записи, сделанной со слов Фалька А. В. Щекин-Кротовой.

Привезли Фалька — в гробу — Гражданская панихида по Фальку состоя-

лась 4 окт. 1958 г. «Было много цветов, музыки: играла Мария Гринберг Шопена и Бетховена, пела Нина Дорлиак — Баха. На стенах зала художники повесили картины Фалька. Народу было много, это были друзья и почитатели. Их горе было искренним; последнее слово сказал Эренбург. Он предсказал, что вскоре наступит то время, когда музеи будут спорить из-за картин Фалька. Это время пришло» (Щекин-Кротова А. В. Становление художника. Новый мир. 1983. № 10. С. 227).

Глава 14

Стр. 68 *хоронили умершего в Москве Анри Барбюса* — Барбюс умер 30 авг. 1935 г.; 1 сент. И. Э. написал для «Известий» ст. «Памяти Барбюса», 7 сент. передал информацию о его похоронах — см. Иностр. лит. 1983. № 10. С. 212—214.

Стр. 69 *Надежду видел я, и, розы тоньше* — из стих. «На митинге» (1939) — см. Ст. С. 147.

Стр. 71 *выдержки, которые я привел в газетной статье* — ст. «Пляска смерти» (Известия. 7 ноября 1935) — см. ГН. С. 79.

Глава 15

Стр. 72 *моего приезда в Москву...* — И. Э. прибыл в Москву 12 ноября 1935 г.; он сообщил встретившему его в Можайске корреспонденту, что должен был приехать вместе с А. Жидом, но тот заболел и передал ему теплое обращение к советской молодежи (Веч. Москва. 12 ноября 1935).

Стр. 73 *«Я слышал, что говорили о литературе...»* — из ст. «Традиции Маяковского» (Известия. 6 февр. 1936. См. С 6. С. 542).

Стр. 74 *Издательство «Советский писатель» решило переиздать... «Хуренито»* — Для этого от И. Э. потребовали «покаянного» предисловия; 9 авг. 1935 г. он писал Мильман: «То, что я могу сказать,— это то, что книга написана в 1921 году, а сейчас 1935. Конечно, несколько более пространно, но и только. Или о судьбе дальнейшей всех учеников, не касаясь самого Хуренито. Предисловие должно быть выдержано в духе книги. Объяснить различье эпох могу, но «отмежевываться», «покаяться» и пр.— «нет» (АЭ). Так возникла ст. «Пятнадцать лет спустя» (Крокодил. 1936. № 6), но она не помогла выходу книги. И. Э. обратился к А. С. Щербакову («Пожалуйста, присмотрите, чтобы в какой-нибудь папке не было бы похоронено переиздание «Хуренито», которым занят «Советский писатель» — 23 янв. 1936, АЭ) — это также не помогло. 9 июня 1936 г. И. Э. писал Мильман: «Все это очень прискорбно и очень серьезно... Я никак не согласен на поправки, и если они настаивают, необходимо добиться расторжения договора» (АЭ). Книга не вышла; не последнюю роль в этом сыграло бухаринское предисловие, сопровождавшее все советские издания «Хуренито» с 1923-го по 1928 г. Роман был переиздан в составе Собр. соч. И. Э. (без 27-й главы «Великий Инквизитор вне легенды»).

Художники устроили диспут о портрете — продолжался на 10 заседаниях весь дек. 1935 г.; выступление И. Э.— см. Лит. газета. 24 дек.

В Доме кино я сказал — Дискуссия прошла 26 ноября 1935 г.; выступили

И. Э., Довженко, Райзман, Рошаль. «Наше искусство страдает сильнейшим формализмом,— сказал И. Э.,— но формализм следует искать не у тех, кого называют формалистами, а у тех, кто является натуралистом. Это и есть формалистическое, внешнее, совершенно равнодушное и бездушное искусство» (ФЭ).

«Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных» — из ст. «Горе уму» (Известия. 24 ноября 1935).

Стр. 75 *«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи...»* — Эти слова из письма Л. Ю. Брик Сталину, но уже от его имени, были приведены в передовой статье «Правды» 5 дек. 1935.

«Сумбур вместо музыки» — ред. ст. «Правды» 28 янв. 1936 (подзаголовок — «Об опере «Леди Макбет Мценского уезда»).

С музыки легко перешли на литературу — кампания борьбы с «формализмом» прошла в февр.— марте 1936 г. в порядке обсуждения редакционных статей «Правды»; в докладах Ставского, Кирпотина, Алабяна, Керженцева и др. поносились многие мастера искусств.

рисунки [В. Лебедева] *были объявлены «мазней»...*— в ред. ст. «Правды» «О художниках-пачкунах» (1 марта 1936).

Еще хуже пришлось художникам — Кампания против них началсь публикацией в «Правде» ст. В. Кеменова «Формалистические кривлянья в живописи» (6 марта 1936).

Стр. 76 *Его покаяние было признано «туманным», «неискренним»* — имеется в виду выступление «Мейерхольд против мейерхольдовщины» (Литгазета. 20 марта 1936).

Редактор «Литературной газеты» писал...— ст. Л. М. Субоцкого «Нужен ответ делом» (Литгазета. 27 марта 1936).

Стр. 77 *«Я знаю, что люди сложнее...»* — КдВ. С. 240.

Не зря я слепоту зову находкой — из стих. «У приемника» (1939) — см. Ст. С. 150.

Стр. 78 *«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале* — Знамя. 1936. № 5.

Из книги изымали целые страницы...— из 12-й главы, содержавшей портретную галерею от Брюсова до Бабеля, изъяли портрет Андрея Белого, из 19-й главы — абзац об А. Жиде.

изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова — ошибка: на вклеенном в весь тираж листке (С. 45—46) имя С. Б. Членова осталось; изъяты упоминания о Г. Я. Сокольникове и Н. И. Бухарине (хотя до янв. 1937 г. Бухарин и оставался номинально редактором «Известий», но уже шла его открытая травля в печати). Еще весной 1936 г. редакция «Знамени» рекомендовала И. Э. убрать упоминания Сокольникова и Бухарина, но он отверг этот совет, настояв на сохранении следующего текста: «Сокольников был старше меня. Он казался мне стратегом: мало разговаривал, почти никогда не улыбался, любил шахматы. Бухарин был весел и шумен. Когда он приходил в квартиру моих родителей, от его хохота дрожали стекла, а мопс Бобка неизменно кидался на него, желая покарать нарушителя порядка» (Знамя, № 5. С. 21). Имя С. Б. Членова фигурировало в предварительных материалах по делу Н. И. Бухарина, но в окончательный сценарий процесса не вошло.

Глава 16

Стр. 81 *Газета монархистов «АВС»* — 30 сент. 1936 г. сообщила о поездке в Испанию «советского эмиссара» Ильи Эренбурга; выходила в Севилье.

Стр. 82 *я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры* — Присутствовавший на докладе А. В. Эйснер запомнил И. Э. таким: «Сидя за столиком на эстраде банкетного зала ресторана, где собралось около ста человек, он, заложив руки в карманы, раскачиваясь на стуле, с убийственным сарказмом обрисовал типы титулованных контрреволюционеров мадридских салонов... Насмешливая улыбка постепенно сползала с его губ. Стул под ним перестал раскачиваться. Тонкий голос звучал все громче, в нем зазвенели металлические нотки. Он предупреждал. Народный фронт в Испании в опасности...» (Иностр. лит. 1957. № 6. С. 251—252).

Глава 17

Стр. 89 *«И по улицам кровь детей...»* — из стих. «Объяснение», перевод И. Э.; вошло в кн. Неруды «Испания в сердце».

Алькальде (или алькальд) — глава муниципалитета, в деревне — выборный староста.

Стр. 91 *Вот моя запись...*— цит. по ст. «В Толедо» (1936; см. ИР. С. 98; исправлено).

Стр. 92. *«поумовцы»* — от POUM («Пролетарская партия марксистского единства» — левая организация троцкистской ориентации).

И. М. Майский... пишет об этом подробно — см. Майский И. Испанские тетради. М., 1962.

Стр. 93 *мои статьи были исковерканы* — очерки «Письма из Испании».

Стр. 94 *корреспондент... «Дейли мейл» Гаррат* — о нем ст. И. Э. «Мистер Гаррат» (Известия. 14 окт. 1937).

Стр. 96 *наши военные советники носили различные имена* — Валуа — полковник Б. М. Симонов (арестован в 1938 г., расстрелян 14 авг. 1941 г.); Лоти — полковник Д. О. Львович (арестован в 1938 г., погиб в 1942 г. в концлагере на Колыме); Молино — маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский; Гришин — начальник Разведуправления Красной Армии Я. К. Берзин (расстрелян в 1938 г.); Григорович — генерал-полковник Г. М. Штерн (расстрелян в окт. 1941 г.); Дуглас — генерал-лейтенант авиации Я. В. Смушкевич (расстрелян в окт. 1941 г.); Николас — адмирал флота Н. Г. Кузнецов; Вольтер — главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов; Ксанти — генерал-полковник Х. Д. Мамсуров; Петрович — Маршал Советского Союза К. А. Мерецков.

Глава 18

Стр. 101 *он напечатал в «Известиях» покаянную статью...*— «Добить до конца!» — напечатана 24 авг. 1936 г. в номере, где публ. смертный приговор Г. Е. Зиновьеву, Л. Б. Каменеву и др. участникам процесса. «Глубокий стыд наполняет меня,— писал Антонов-Овсеенко,— потому что в 1923—1927 годах я оказывал Троцкому поддержку несмотря на то, что слышал четкий предупреждающий голос... Только в октябре 1927 года я порвал на деле с оппози-

цией... Тогда я написал товарищу Л. М. Кагановичу, что в отношении оппозиционеров «выполнил бы любое поручение партии». Было ясно,— да, вплоть до расстрела их, как явных контрреволюционеров».

Глава 19

Стр. 104 *С Дуррути я познакомился в 1931 году* — см. очерк «Испанский эпилог» (1932) — ИР. С. 45—49.

Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе — Р. Л. Кармен вспоминал: «Мы с Ильей Григорьевичем Эренбургом с трудом разыскали штаб Дуррути в Каталонии под Уэской, почти всю ночь просидели в подвале разбитого дома. Дуррути пламенно излагал Эренбургу свои политические взгляды... Илья Григорьевич часто своими вопросами припирал его к стене, Дуррути вскакивал, горячился и даже вдруг в сердцах воскликнул, что за такие слова может и расстрелять. На рассвете, усталый, грустный, он провожал нас к машине, дал конвой и крепко пожал на прощанье наши руки...» (Кармен Р. «Но пасаран!» М., 1972. С. 279—280).

Стр. 106 *я писал В. А. Антонову-Овсеенко* — см. Вопр. лит. 1973. № 9. С. 211—214.

Стр. 107 *Имя я помнил... полковник Глиноедский.*— Дочь Марины Цветаевой, А. С. Эфрон, отвечала И. Э. на его запрос 8 ноября 1961 г.: «О Глиноедском... Человек он был замечательный и очень мне запомнился. Офицер белой армии, а до того — участник первой империалистической; попал в немецкий плен, раненый. Бежал из госпиталя, спрятавшись в корзине с грязным окровавленным бельем, ежедневно вывозившимся в прачечную. Познакомилась с ним в «Союзе возвращения»; вел он какой-то кружок — политграмоты, что ли, политэкономии — не помню... Выделялся среди прочих преувеличенной подтянутостью, вьпутюженностью, выбритостью, был холодноват в обращении... Потом поняла, какой страшной ценой нищий человек сохранял свое человеческое достоинство... А когда началась Испания, Глиноедский первым попросил его отправить туда... Стесняясь высокопарных слов, он говорил о том, что, согрешив оружием, оружием же и искупит» (АЭ).

Стр. 110 *Я написал об этом в одной из газетных статей* — ст. «Барселона под обстрелом» (Известия. 15 февр. 1937; см. ИР. С. 131—132).

Я... получил отповедь от... Ставского — выступление на собрании оборонных писателей; И. Э. ответил «Письмом в редакцию» (Известия. 5 марта 1937), в котором напомнил, что именно говорил о восприятии испанскими бойцами фильма «Мы из Кронштадта».

Описав В. А. Антонову-Овсеенко... я добавлял — из письма от 17 ноября 1936 г. (см. Вопр. лит. 1973. № 9. С. 213).

Глава 20

В журнальной редакции четвертой книги М. Е. Кольцову посвящено лишь два абзаца главы о советских людях, воевавших в Испании. Отношения И. Э. с Кольцовым не были близкими, и многое в противоречивой фигуре Кольцова было И. Э. неясно. «Он жадно хватался за все новые факты, всплывавшие из небытия истории, которые могли помочь найти искомое, но ускользавшее

объяснение,— писал об И. Э., работавшем над мемуарами, А. К. Гладков.— О Михаиле Кольцове, например, Илья Григорьевич... рассказывал интереснее, чем писал, но и Кольцов не был для него достаточно ясной и понятной фигурой... И когда в печати появились воспоминания брата М. Кольцова, художника Бориса Ефимова, он был взволнован ими, трижды перечитал (как он сам мне сказал) и все время возвращался к ним в разговоре» (ВЭ. С. 269). Тогда же, в 1965 г., и была написана глава о Кольцове; напечатана впервые в С9.

Стр. 112 *туманно упоминает о работе... Мигеля Мартинеса* — см. Кольцов М. Испанский дневник. М., 1958. С. 18—20, 189.

Он... плохо говорил только о погибших...— И. Э. прежде всего имеет в виду ст. М. Кольцова «Убийца с претензиями», напечатанную в «Правде» в марте 1938 г. (с «иллюстрациями» Б. Ефимова) и посвященную Н. И. Бухарину, который в течение 10 лет, будучи главным редактором «Правды», печатал Кольцова, помогал ему и написал предисловие к его Собр. соч. (т. 1. М., ЗиФ, 1928).

я написал заявление — письмо М. Е. Кольцову от 16 июля 1937 г.; заканчивалось словами: «Считаю необходимым указать, что лично с Вашей стороны я встречал неизменно товарищеское отношение, которое глубоко ценю» (ФЭ).

Стр. 114 *«Михаил Кольцов, каким он был»* — М., 1965; расширенный вариант воспоминаний Б. Ефимова — см. Огонек. 1987. № 34.

видел... его жену Лизу и Марию Остен — Елизавета Ратманова, корреспондент «Комс. правды»; Мария Остен (Гроссхенер) — немецкая писательница и журналистка, подруга Кольцова.

Глава 21

Стр. 118 *«Гайлорд»* — отель в Мадриде, где жили советские военные и дипломаты; описан в кн. «По ком звонит колокол».

Стр. 119 *с болгарами Петровым и Беловым* — под этими именами в Испании сражались Фердинанд Козовский и Карло Луканов.

Я прочитал дневник одного итальянского офицера — напечатан в переводе И. Э.— Известия. 2 и 3 апр. 1937.

Стр. 120 *В статье о битве под Гвадалахарой* — «На поле битвы» (март 1937) — см. ИР. С. 153.

Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года — см. в ст. «На западном направлении» (Красн. звезда. 13 сент. 1941).

Стр. 121 *«День в Каса-дель-Кампо»* — Известия. 10 апр. 1937; см. ИР. С. 170—172.

я упомянул и про канарейку — см. стих «Батарею скрывали оливы» (1938) — Ст. С. 134.

Глава 22

Написана в 1965 г., впервые — в С9. 23 марта 1967 г. О. Г. Савич в частном письме поделился впечатлением от этой главы: «Если хотите познакомиться со мной, достаньте 9-й том Эренбурга и прочтите 22 главу 4-й части, она новая. Я это знакомство сделал не без удивления, но я ведь не судья».

Стр. 122 *«Воображаемый собеседник»* — роман Савича в СССР вышел в 1928 г. в изд. «Прибой» (Ленинград), больше не издавался.

Стр. 125 *Он начал переводить испанских поэтов* — избранные переводы вошли в кн. О. Савича «Поэты Испании и Латинской Америки» (М., 1966); четыре издания выдержала кн. «Два года в Испании» (самое полное — 1966 г.).

Глава 23

Стр. 126 *Жил он... в гостинице «Флорида»* — «В пробитой снарядами гостинице «Флорида» остался один жилец,— писал И. Э. в репортаже «Мадрид в апреле 1937», который ему удалось напечатать лишь в 1954 г.— Это Эрнест Хемингуэй. Он не может расстаться с Мадридом. Его зовут в Америку, он не отвечает на телеграммы. Он пьет виски и что-то пишет: наверно, диалог — Мадрид и девушка» (см. ИР. С. 169).

Стр. 129 *«Впереди пятьдесят лет необъявленных войн...»* — слова Филиппа Ролингса из «Пятой колонны» (см. Хемингуэй Э. СС. Т. 3. С. 100).

Стр. 130 *Я с ним снова встретился в конце июля 1941* — неточно; записи И. Э.: «14 авг. Роман Хемингуэя... 17 авг. Переделкино. Хемингуэй... 20 авг. Кончил Хемингуэя. Изумительный конец» (ФЭ).

Стр. 131 *В августе 1942 года... я писал...* — из ст. «Эрнест Хемингуэй» (В2. С. 119—120); эту статью И. Э. не смог тогда напечатать (в зап. кн. И. Э. 13 авг. 1942: «Фадеев звонит: «Вы хвалите Хемингуэя, а роман против нас» — запрещение романа было причиной запрещения статьи И. Э.; тем не менее он добился включения ее в том «Войны»).

Стр. 132 *Роман «По ком звонит колокол» многие поносили* — в СССР роман издали лишь в 1968 г., уже после смерти И. Э. Настойчивость, с которой И. Э. пишет здесь о романе, большие цитаты из него — часть той огромной и многообразной борьбы, которую вел И. Э. в послесталинское время за право советских людей иметь доступ к значительным явлениям мировой культуры XX века.

я получил письмо от Хемингуэя — 16 мая 1946 г.: «Пишу, чтобы сказать тебе, как я был бы счастлив снова видеть тебя и предложить тебе остановиться в моем доме, если ты пожелаешь. Я часто думал о тебе все эти годы после Испании и очень гордился той потрясающей работой, которую ты делал во время войны. Пожалуйста, приезжай, если можешь, и знай, как счастлив будет твой старый друг и товарищ увидеть тебя. Всегда твой Эрнест Хемингуэй» (ФЭ).

Теперь опровержения не было...— Сохранился тогдашний отклик И. Э.: «Когда я приехал в студию телевиденья — меня просили сказать несколько слов о той потере, которую переживают миллионы моих соотечественников,— меня окружили рабочие студии, спрашивали, при каких обстоятельствах погиб Хемингуэй, расспрашивали о нем,— это его читатели. Горько, что умер большой писатель. Больно, что умер человек, на любви к которому сближались далекие друг другу люди и народы» (Вопр. лит. 1981. № 12. С. 304).

Глава 24

Стр. 135 *он рассказал мне эпизод, который... сделал стержнем снятого им в Испании фильма* — «Кровь Испании» (1939); 29 янв. 1939 г. И. Э. писал в «Известиях»: «Надо ли рассказывать о том, как трудно делать фильм в стра-

не, которая воюет? В Барселоне было мало электроэнергии. Съемки в павильоне приходилось делать по ночам. Холодно на фабрике. Холодно в комнате Мальро. Актеры, да и режиссер между двумя съемками тихо мечтали о пачке папирос или о куске мяса. Однако с каким восторгом они работали!.. Бывший подполковник испанской армии Андре Мальро выиграл еще одно сражение». 7 июля 1939 г. после просмотра фильма И. Э. писал: «Глядел фильм Мальро об Испании и разволновался» (АП).

Стр. 137 *я долго глядел на старого гончара* — об этом одно из лучших стих. И. Э. «Гончар в Хаэне» (1939) — Ст. С. 138.

Стр. 138 *я... вспомнил село Буньоль* — см. очерк «Деревня Буньоль» (ИР. С. 160—162).

Стр. 139 *«Свобода, Санчо...»* — слова Дон Кихота из гл. 58 2-го тома романа, пер. Н. Любимова.

Глава 25

Впервые под заголовком «Генерал Лукач» — Правда. 20 мая 1962.

Стр. 141. *«Думал о судьбе...»* — из письма жене и дочке 24 апр. 1937 г. (см. Залка М. Избранное. М., 1955. С. 524).

Стр. 142 *узнал на себе, что такое «культ личности»* — А. В. Эйснер был арестован в Москве в 1940 г., реабилитирован в 1955 г.

помню Янека — Янек Барвинский, командир польского батальона.

Глава 26

Стр. 144 *Людвиг Ренн... писал в своей книге воспоминаний* — см. Renn Ludwig. Im Spanischen Krieg. Aufbau-Verlag. Berlin, 1959.

Стр. 146 *Я... взял газету, где цитировал его речь* — известинские репортажи И. Э. с писательского конгресса см. ИР. С. 207—215.

Стр. 147 *только А. Л. Барто... не вспомнила про Тухачевского и Якира* — в репортажах с конгресса И. Э. позволил себе не приводить соответствующих высказываний советских делегатов о «врагах народа» Тухачевском, Якире и др.; равно как из всех пассажей в адрес А. Жида он привел лишь слова Х. Бергамина.

Стр. 149 *пошел передавать отчет в газету* — см. очерк «Брунете» (ИР. С. 218—219).

кажется, это был Максимов — старший советник центрального фронта; вскоре был отозван в Москву и расстрелян.

Недавно мне прислали номер «Мундо обреро» — сохранился у В. В. Вишневского; речь И. Э. была напечатана и в «Известиях» (Наступление. 12 июля 1937; см. ИР. С. 215—218).

Стр. 150 *«Хорошо здесь...»* — И. Эренбург «Что человеку надо». М., 1937. С. 17.

Глава 27

Стр. 150 *я передал очерк «Барселона перед боями»* — Известия. 14 дек. 1937, под назв. «Перед боями».

маленькая, хрупкая... Габриэла — Габриэла Абад-Миро работала секретарем у М. Е. Кольцова, затем у О. Г. Савича.

Стр. 151 *большие события в Китае* — в 1937 г. Япония, ранее оккупировав северо-восточный Китай, начала войну за захват всего Китая.

Стр. 152 *Я передал по телефону очерк* — «На Теруэльском фронте» (Известия. 18 дек. 1937. См. ИР. С. 235).

Глава 28

Стр. 154 *Мы приехали в Москву 24 декабря* — «Из Испании в СССР приехал Илья Эренбург для участия в работах пленума Союза советских писателей, происходящего в Тбилиси. Эренбург пробудет в СССР 12—15 дней и снова вернется туда, где пробыл почти весь год, непрерывно корреспондируя в «Известия» (Илья Эренбург в Москве. Литгазета. 26 дек. 1937).

Артем Веселый был когда-то перевальцем — большинство участников литературной группы «Перевал», возникшей в 1923—1924 гг. при редактировавшейся А. К. Воронским «Красной нови», в 30-е гг. репрессированы.

Стр. 155 *все стоя аплодировали* — в черн. варианте: «Люба, сидевшая со мной, шепнула: «Я устала — вставать и вставать» (ФЭ).

Стр. 156 *А. А. Фадеев принес несколько стихотворений Мандельштама* — Н. Я. Мандельштам пишет, что перед тем В. Б. Шкловский и В. П. Катаев устроили встречу Мандельштама с Фадеевым, после чего Фадеев имел беседу о Мандельштаме с членом Политбюро А. А. Андреевым; однако стихи Мандельштама напечатаны не были, а сам он вскоре был арестован и погиб. Ссылаясь на Л. М. Эренбург, Н. Я. Мандельштам пишет: «Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощания со слезой и апробирование их арестов и уничтожения» (Юность. 1989. № 8. С. 42).

я написал только две статьи — «За жизнь» (Известия. 30 марта 1937) и «Кровь зовет в бой» (Известия. 1 мая 1937); кроме того, в ряде изданий печатались интервью с И. Э., а в ж. «Лит. критик» — ст. «Дух испанской литературы» (1937. № 5).

о «сталинском наркоме» — имеется в виду Н. И. Ежов.

Пришел как-то Бабель — в черн. варианте: «Пришел Бабель и с тем юмором, которого он никогда не терял, рассказывал о наркомах, которых то и дело снимали: «Они садятся теперь на самый краешек кресла»... Пришла жена Савича Аля и рассказала, что арестовали их друга молодого талантливого физика» (проф. Ю. Б. Румера.— *Б. Ф.*) (ФЭ).

Стр. 160 *«Фашизм задолго до того...»* — по-видимому, цит. по рукописи; сходное — в ст. «Свет в блиндаже»: «За десять лет до войны проклятая Германия вмешалась в нашу жизнь» (см. В2. С. 328).

«Ночью у себя в комнате...» — из ст. «За жизнь» (см. ИР. С. 245).

Глава 29

Написана в 1965 г.; напечатать ее И. Э. попыток не предпринимал. Впервые (в сокращении) под названием «Мой друг Николай Бухарин» — Неделя. 1988. № 20.

Стр. 162 *в коридоре Бутырской тюрьмы я увидел Гришу* — И. Э. содержался в Бутырской тюрьме с 30 мая по 11 июня 1908 г. (ЦГИАМО, ф. 623, оп. 1, ед. хр. 2073), а Г. Я. Сокольников — с 14 ноября 1907-го по 16 января 1909 г., после чего был выслан в Сибирь (там же, ед. хр. 1590).

Стр. 163 *Я пришел к Сокольникову... увидел его молодую жену* — писательница Г. И. Серебрякова; в кн. «О других и о себе» (М., 1971. С. 394) она вспоминала, как тогда «в Лондоне Илья Эренбург подсказал мне, какой породы купить себе пса. По его совету мы приобрели шотландского терьера Будлса, или Бульку...».

я прочитал о судебном процессе — процессе так называемого «Антисоветского троцкистского центра», по которому обвинялись Ю. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Г. Я. Сокольников, Н. И. Муралов, Л. П. Серебряков и др.; проходил в Москве 23—30 янв. 1937 г.

Больше Сокольникова я не видел — 15 июля 1936 г. Г. Я. Сокольников был освобожден от должности зам. наркома лесной промышленности и вскоре арестован. Его имя упоминалось в ходе процесса Зиновьева — Каменева (авг. 1936), а в янв. 1937 г. по решению суда он был приговорен к 10 годам заключения. По одним источникам — он был расстрелян в самом начале Отечественной войны, по другим — убит в тюрьме в 1939 г. (см. Моск. нов. 1988. № 25. С. 10).

Стр. 164 *Бухарин написал предисловие к... «Хулио Хуренито»* — 25 ноября 1922 г. И. Э. писал из Берлина Полонской, сообщившей ему о фактах изъятия в Петербурге 1-го (берлинского) изд. «Хулио Хуренито» как книги опасной: «То, что он «опасен»,— я знал. Но это заметили как будто поздновато: ведь Госизд. купил у меня второе издание, оговорив, что снабдит оное предисловием, которое должны были писать или Бухарин (я хотел) или Покровский. М. б. теперь они передумают (точнее их). Напиши мне подробно все, что знаешь об изъятии этой книги» (АП). Госизд. выпустил «Хулио Хуренито» в 1923 г. с кратким предисловием Н. И. Бухарина, назвавшего роман «увлекательнейшей сатирой». Все последующие советские издания «Хулио Хуренито» выходили с предисловием Бухарина (1927 и 1928 гг. изд.).

В 1922 году он приезжал в Берлин — в апр. 1922 г. Н. И. Бухарин и К. Б. Радек возглавляли делегацию Коминтерна на берлинской конференции трех социалистических Интернационалов для обсуждения возможностей совместных действий рабочих в Европе. От Бухарина И. Э. узнал, что «Хулио Хуренито» понравился Ленину (5 мая 1922 г. И. Э. писал Шкапской: «Хуренито мне дорог потому, что никто (даже я сам) не знает, где кончается его улыбка и начинается пафос. Об этом пишут, спорят и пр. Одни — сатира, другие — философия etc. В нем я более чем где-либо правдив, без обязательств хоть к. н., хоть иллюзорной цельности. Популярность неважна (хотя мне было и занятно узнать, что при всей остроте и актуальности, он очень понравился Ленину и Гессену)» (ФШ).

Стр. 165 *Бухарин вместо «Правды» стал редактором «Известий»* — редактором «Правды» Бухарин был до 1929 г., редактором «Известий» — с февр. 1934 г.

Напечатал также статьи... — «За наш стиль» (15 окт. 1934), «Поэзия и правда» (27 июня 1935), «Горе уму» (24 ноября 1935) и «Традиции Маяковского» (6 янв. 1936). «Письмо Дусе Виноградовой» — см. Известия. 21 ноября 1935.

Особенно резок был Демьян Бедный — с нападками на Бухарина высту-

пали также А. Сурков, которого Бухарин назвал «застрельщиком фракции обиженных», А. Жаров, В. Инбер, А. Безыменский.

Стр. 166 *«Я действительно допустил слишком резкие заявления и выпады»* — заявление Н. И. Бухарина в адрес президиума съезда было оглашено 1 сент. 1934 г.

«Не нужно вам писать» — 2 дек. 1934 г. среди прочих откликов на убийство Кирова «Известия» напечатали письмо, подписаное Л. Леоновым, В. Лидиным, А. Новиковым-Прибоем, Б. Пастернаком и И. Э. (его автором, судя по всему, был И. Э.).

В апреле 1936 года Бухарин приехал в Париж — И. Э. к тому времени закончил работу над «Книгой для взрослых», где вспоминал начало своей революционной деятельности под руководством молодого Бухарина; именно в Париже Бухарин познакомился с рукописью «Книги для взрослых» (10 мая 1936 г. в письме к Мильман И. Э. просит проследить, чтоб «Известия» напечатали отрывок из книги: «Отрывок, если Н. И. хочет, пусть сам выберет... он роман читал» — АЭ).

Французы устроили его доклад в зале Мютюалите — доклад на заседании Ассоциации по изучению культуры 3 апр. 1936 г.; русский оригинал не сохранился; франц. пер. был сделан А. Мальро и опубл.; обратный пер. на русск. см. Вопр. истории естествозн. и тех. 1988. № 4, а также — Сов. культура. 13 сент. 1988.

было указано на участие Бухарина в «правотроцкистском центре» — Впервые имя Бухарина упоминалось на первом процессе (Зиновьева — Каменева), и 21 авг. 1936 г. прокуратура объявила о начале следствия по делу Бухарина и Рыкова (23 авг. «Известия», гл. ред. которых оставался Бухарин, поместили статью: «Расследовать до конца связи Бухарина, Рыкова и других с подлыми террористами»). В начале сент. объявили об отсутствии «юридических данных для привлечения к судебной ответственности» и о прекращении следствия. 24 янв. 1937 г. К. Б. Радек на суде заявил: «Бухарин мне сообщил, что у них в центре многие думают, что было бы легкомыслием и малодушием на основе результатов убийства Кирова отказаться вообще от террора; что, наоборот, нужно перейти к планомерной, продуманной, серьезной борьбе, от партизанщины — к плановому террору» (Процесс антисоветского троцкистского центра. М., 1937. С. 56).

Николай Иванович написал письмо будущим руководителям партии — см. Огонек. 1988. № 17. С. 31.

один крупный журналист — М. Е. Кольцов.

Стр. 167 *Это были они, но я их не узнавал* — А. М. Ларина (Бухарина) пишет в книге воспоминаний «Незабываемое»: «...у меня были даже сомнения, действительно ли это был Бухарин, не подставное лицо, загримированное под Бухарина... Спустя много лет, когда я вернулась в Москву, И. Г. Эренбург, присутствовавший на одном из заседаний процесса и сидевший близко от обвиняемых, подтвердил, что на процессе наверняка был Николай Иванович. Он же рассказал мне, что во время судебного заседания через определенные промежутки времени к Бухарину подходил охранник, уводил его, а через несколько минут снова приводил. Илья Григорьевич заподозрил, что на Николая Ивановича действовали какими-нибудь ослабляющими волю уколами, кроме Бухарина больше никого не уводили.

— Может, потому, что больше остальных его-то и боялись,— заметил Илья Григорьевич» (Знамя. 1988. № 10. С. 141—142).

я был на заседании, когда Крестинский неожиданно отказался от показаний — 2 марта 1938 г. на первом заседании процесса при опросе подсудимых, признают ли они себя виновными, при возобновлении заседания после краткого перерыва Крестинский вновь отказался от показаний; на веч. заседании 2 марта Крестинский продолжал отказываться от показаний и только на веч. заседании 3 марта он подтвердил предварительные показания.

Все мне казалось нестерпимо тяжелым сном — Карикатурист Б. Ефимов свидетельствует: «Я сидел в Октябрьском зале Дома союзов рядом с Ильей Эренбургом. Он учился с Бухариным в одной гимназии, много лет был с ним в дружеских отношениях. Теперь, растерянный, он слушал показания своего бывшего одноклассника и, поминутно хватая меня за руку, бормотал: «Что он говорит?! Что это значит?!» Я отвечал ему таким же растерянным взглядом» (Огонек. 1988. № 43. С. 3).

Глава 30

Стр. 169 *его звали Анхель Сапика* — см. очерк «Эбро» (ИР. С. 313).

«ты что — троцкистом стал?» — эта фраза должна была в концентрированной форме выражать мысль И. Э., что даже честные и проницательные люди, если они не видели событий 1937 г. своими глазами, не могли тогда судить о них сколько-нибудь верно. О. Г. Савич, по свидетельству А. Я. Савич, прочтя эти строки И. Э., был очень огорчен — он считал, что это какая-то ошибка памяти И. Э., поскольку был убежден, что таких слов никогда не произносил. Известно, что Б. А. Слуцкий обсуждал с И. Э. вопрос об изменении этого текста, но И. Э. оставил все как есть.

Стр. 171 *старого кривого парикмахера* — см. очерк «Вокруг Лериды» (ИР. С. 270).

Стр. 172 *я разговаривал с пленным... Куртом Кетнером* — см. очерк «Кто они» (Ир. С. 268—269).

«Известия» напечатали мою статью — «О верности и вероломстве» (2 июля 1938; см. ИР. С. 274—277).

Стр. 173 *Рекете* — вооруженные отряды карлистов.

Стр. 175 *Он принял меня... и сделал заявление* — см. «Декларация президента Мануэля Асанья» (Известия. 20 июня 1938).

Стр. 176 *я не любил боя быков* — см. стих. «Бой быков» (1938) — Ст. С. 132—133.

Стр. 177 *Живут в пещере...*— перевод И. Э.

я снимал мост, чтоб послать фотографию в «Известия» — см. Известия. 14 окт. 1938.

Глава 31

Стр. 180 *Иван Аксаков потом писал* — см. Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 323.

Стр. 181 *А час спустя заря позолотила* — см. Ст. С. 135.

Стр. 182 *Что здесь делают шкаф и скамейка* — из стих. «Батарею скрывали оливы» (1938) — см. Ст. С. 134.

Под оливами могилу вырыв — из стих. «Русский в Андалузии» (1938) — см. Ст. С. 137.

Додумать не дай... — стих. без назв. — см. Ст. С. 140.

Закончится и наше время — из стих. «Самоубийцею в ущелье» (1939) — см. Ст. С. 149.

Глава 32

Стр. 185 *Я заканчивал очередную корреспонденцию* — ст. «Второй Седан» (Известия. 2 окт. 1938).

«Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом — первая публикация Поля Жослена: «Политическая борьба во Франции».

о герое Ламартина — имеется в виду книга Ламартина «Жослен» (1856).

Стр. 186 *Мои статьи не прошли бесследно* — ст. «Эльзасские ученики Генлейна» (Известия. 16 окт. 1938) и «Еще одно предательство» (Известия. 26 окт. 1938).

Стр. 187 *«Я говорю не о нужде...»* — из ст. «Грусть Франции» (Известия. 27 ноября 1938).

Стр. 188 *Пятого декабря я писал в Москву...* — из письма В. А. Мильман (АЭ), исправлено.

«Наступление противника началось...» — из ст. «На фронтах Испании» (Известия. 24 дек. 1938).

Глава 33

Стр. 188 *я пошел к поэту Антонио Мачадо* — см. ст. «Вокруг Лериды» (ИР. С. 271).

Наша жизнь — это реки — пер. И. Э.

Потом он сказал о смерти... — цит. по ст. «Умер поэт Антонио Мачадо» (Известия. 24 февр. 1939; см. ИР. С. 367).

Стр. 189 *Ты говоришь — ничего не пропадает* — из цикла «Пословицы и песенки», пер. И. Э. специально для мемуаров.

Стр. 190 *Разглядывая мой череп* — из того же цикла, пер. И. Э.

Стр. 191 *книги Мачадо с его надписями сберег* — две книги Мачадо из собр. И. Э. — в ГЛМ: Полн. собр. стих. (Мадрид, 1936) с надписью: «Илье Эренбургу с уважением и восхищением от Антонио Мачадо» (ГЛМ-И-1300) и Полн. собр. театральных пьес Антонио и Мануэля Мачадо (т. 2. 1936) с аналогичной надписью обоих авторов (ГЛМ-И-1301).

Ты на моем пути — вода иль жажда? — перевод И. Э.

Глава 34

Стр. 194 *Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался* — под именем Котова в Испании находился Н. И. Эйтингон, ответственный работник НКВД, один из организаторов убийства Л. Д. Троцкого, впоследствии

генерал-лейтенант ГБ; в 1952 г. арестован, затем освобожден, в 1957 г. снова арестован, в окт. 1964 г. снова освобожден.

Стр. 195 *передать о заседании кортесов в «Известия»* — см. «Борьба до конца» (Известия. 5 февр. 1939; ИР. С. 359—362).

В сырую ночь ветра точили скалы — стих. «В январе 1939».

Стр. 196 *кто только его не обнимал!* — И. Э. прежде всего имеет в виду торжественный прием, оказанный Риббентропу Сталиным и Молотовым в авг. 1939 г.

Стр. 197 *О слезы на глазах!* — из цикла М. Цветаевой «Стихи к Чехии».

Помню, как на перевале Арес...— см. ст. «Исход» (ИР. С. 365).

Глава 35

Стр. 198 *Я попросил Савича написать мне из Москвы* — по возвращении в Москву Савич написал И. Э. и получил ответ от 26 мая 1939: «Дорогой Сава, сейчас пришло твое письмо... Я по-прежнему ничего не делаю для газеты и продолжаю пописывать лирические стишки. Испанские стихи Вишневский взял для «Знамени» и послал мне прочувствованное письмо. По-прежнему встречаемся с испанцами... Надеюсь вскорости вызволить Габриэлу (секретарь Савича была интернирована во Франции, И. Э. удалось добиться ее освобождения.— *Б. Ф.*). Она мне пишет. Как-то обедал с Андре (Мальро.— *Б. Ф.*) ... Были у нас Альберти с Нерудой, пили... читали стихи. Я прочитал Кестлера «Испанское завещание», книга производит страшное впечатление (первая об Испании)... Очень прошу тебя, Сава, часто мне писать...» (архив А. Я. Савич). На это письмо Савич уже не рискнул ответить (почти все советские участники испанских событий были арестованы по возвращении в СССР, и напоминать о себе письмом за границу было рискованно).

мои корреспонденции перестали печатать — последняя публ. И. Э.— в «Известиях» 12 апр. 1939 г. («Расправа с испанскими республиканцами» и «Подготовка новых агрессий»), следующая появилась в «Известиях» лишь 26 июня 1941 г. («Париж под сапогами фашистов»).

Максима Максимовича сняли — смещение М. М. Литвинова в мае 1939 г. с поста наркома иностранных дел сопровождалось разгромом литвиновского дип. аппарата, проводившимся под руководством Молотова, Маленкова и Берии; это открыло Сталину путь для прямых переговоров и союза с гитлеровской Германией.

Стр. 199 *Написал предисловие к одной из моих книг* — Ф. Раскольников написал предисловия к двум книгам И. Э.: «10 л. с.» (1930) и «Виза времени» (1931).

он сидел у меня на улице Котантен... похожий на обезумевшего ребенка — написано еще до реабилитации Ф. Ф. Раскольникова (1963), отсюда дипломатическая сдержанность формулировки (цель И. Э.— провести через цензуру представление о Раскольникове не как о «враге»). Однако и эта попытка «оправдания» Раскольникова после 1965 г. подверглась нападкам (Л. П. Тарасов-Василевский, сотрудник ГБ, работавший в 1939 г. в Париже, в 1966 г. охарактеризовав «Открытое письмо» Раскольникова Сталину как «чудовищный, недопустимый для коммуниста и советского человека факт», написал, имея в виду книгу «Люди, годы, жизнь»: «Спустя 20 лет кое-кто в своих воспоминаниях

о встрече с Раскольниковым в тот период утверждал, что он находился в состоянии сильного смятения и был похож на растерявшегося ребенка. Вероятно, этим хотели смягчить или даже оправдать его поступок...» (Огонек. 1966. № 8. С. 24).

Стр. 200 *опубликовал открытое письмо Сталину* — 22 июля 1939 г. Раскольников напечатал в Париже ст. «Как меня сделали врагом народа»; «Открытое письмо» Сталину напечатано во Франции в ж. «Новая Россия» лишь в окт. 1939 г. (после гибели Раскольникова 12 сент.). Фрагменты письма см. «Огонек» (1987. № 26), полностью — газ. «Смена» (Ленинград), 5 мая 1988.

а полгода спустя умер — в журн. варианте о последних днях Раскольникова говорилось так: «...чувствовалось, что он душевно болен. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, а полгода спустя заболел острым нервным расстройством и умер» (Новый мир. 1962. № 6. С. 129). На такую трактовку повлияло и письмо М. В. Раскольниковой-Канивез к И. Э.; 15 марта 1962 г. он ей отвечал: «Меня очень смущает одно место в Вашем письме. Вы пишете, что Ваш муж скончался от воспаления мозга. Я был тогда во Франции, и во всех газетах подробно сообщалось о самоубийстве Ф. Ф. Раскольникова. Очень прошу сообщить мне, является ли самоубийство — которое мне кажется трагическим исходом всего предшествующего — действительным, или то было газетной ошибкой? Мне кажется, что уточнение этого вопроса и предстоящее публикование моих воспоминаний могут способствовать пересмотру отношения к памяти Ф. Ф. Раскольникова» (ФЭ). В 1965 г. И. Э. убрал воспоминания о «душевном расстройстве» и причинах смерти, зато упомянул о письме Сталину.

В 1940 году в Москве вышла... «Верность» — Сб. стих. «Верность» вышел из печати 30 апр. 1941 г. (ФЭ).

Верность — вместе под пули ходили — из стих. «Верность», см. Ст. С. 151.

По тихим плитам крепостного плаца — начало стих. без назв. (1939) см. Ст. С. 145.

Стр. 201 *Я знаю, век, не изменить тебе* — из стих. «Монруж» (1939), см. Ст. С. 142.

Я знаю все — годов проломы, бреши — из стих. «Ты тронул ветку...» (1939), см. Ст. С. 147.

Стр. 202 *соглашение между Советским Союзом и Германией* — пакт о ненападении, подписанный Молотовым и Риббентропом 23 авг. 1939 г.

последний номер «Правды» — за 24 авг. 1939 г.

1 сентября Молотов заявил... — заявление о ратификации советско-германского пакта на заседании Верховного Совета СССР 31 авг. 1939 г.: «Советский Союз пришел к договору с Германией, уверенный в том, что мир между народами Советского Союза и Германии соответствует интересам всех народов, интересам всеобщего мира» (Правда. 1 сент. 1939).

Глава 36

Стр. 204 *Слова Молотова о «близоруких антифашистах»...* — из выступления 31 авг. 1939 г. в Верховном Совете: «Надо признать, что в нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали о... провокаторской роли наших врагов (Англии и Франции.— *Б. Ф.*). Тов. Сталин, учитывая это обстоятельство, поставил во-

прос о возможности других, невраждебных, добрососедских отношений между Германией и Советским Союзом. Теперь видно, что в Германии в общем правильно поняли это заявление т. Сталина и сделали из этого практические выводы. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение т. Сталина блестяще оправдалось (Бурная овация в честь тов. Сталина)» (Правда. 1 сент. 1939).

Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу — ответ на поздравление с 60-летием («Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего шестидесятилетия мои самые теплые поздравления. Иоахим фон Риббентроп»): «Благодарю Вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. И. Сталин». (Правда. 25 дек. 1939). В те же дни «Правда» напечатала поздравления Сталину и его ответы тем главам государств, которые эти поздравления прислали: Адольфу Гитлеру, Чанкайши, фашистскому правителю Словакии Тисо, турецкому министру Сараджоглу, руководителям Эстонии, Латвии и Литвы, а также главе Народного правительства Финляндии О. В. Куусинену, жившему в Москве.

меня навещали... Андре Мальро...— в черн. варианте: «Андре Мальро не одобрял советско-германского пакта, но он считал политику правительства лицемерной, низкой. Он порой приходил ко мне» (ФЭ).

Стр. 206 *Фернандо рассказал...*— художник Фернандо Херасси.

Глава 37

Стр. 207 *Он побеждал чужие города* — из сонета «Увидев Рим с холмами неживыми», пер. И. Э. (см. ТД. С. 67).

Стр. 208 *В 1934 году Марке поехал... в Советский Союз...*— В 1933—34 гг. ВОКС пытался организовать приезд в СССР французских художников Пикассо. Дерена, Синьяка, Матисса, Вламинка, Дюфи, Марке, Фриеза и устроить их выставки. И. Э. в Париже по поручению ВОКС вел с ними переговоры (см. его переписку с ВОКС — ЦГАОР, ф. 5283, оп. 7, ед. хр. 198); это не удалось, и Марке приехал в Москву как турист.

Стр. 209 *Его жена написала про его последние дни* — см. Марке Марсель. Альбер Марке. М., 1968. С. 117—119.

Проходят дни, за годом год — из стих. Аполлинера «Мост Мирабо», пер. И. Э.

Глава 38

Стр. 212 *ордер на арест, который исходил из кабинета... Петена* — об аресте И. Э. вслед за переговорами, которые он вел с де Монзи, см. в романе Л. Арагона «Коммунисты» (Арагон Л. СС. Т. 7. М., 1959. С. 350—353, 441—442, 462—463).

Стр. 213 *Николай Николаевич приехал за мной* — в черн. варианте дальше так: «Войдя в квартиру, он сразу узнал Николя, который помогал полицейским

при обыске в торгпредстве: «Ах, ты снова этим занимаешься? Русский, а дрянь! Тебе не стыдно?» (ФЭ).

Стр. 215 *моя дача в Переделкине кому-то приглянулась* — дачу И. Э. отобрал В. П. Катаев; инцидент имел резонанс в писательских кругах, и Катаев заявил дочери И. Э.: «Если Ваш отец действительно вернется (!), дача будет ему возвращена». 17 окт. 1940 г. (уже после возвращения И. Э. в Москву) М. М. Шкапская писала Е. Г. Полонской: «Дачу ему (И. Э.— *Б. Ф.*) Катаев так и не вернул, я советовала повоевать, но И. Г. говорит, что он «не привык к таким методам» (АП). А. Т. Твардовский высказался против публикации эпизода о даче (в письме к И. Э. 5 апр. 1962 г.), И. Э. вынужден был пойти на компромисс и слова о даче снять.

Стр. 216 *Умереть и то казалось легче* — из стих. цикла «Париж, 1940» (см. Ст. С. 161—165).

Глава 39

Стр. 218 *Не для того писал Бальзак* — из цикла «Париж, 1940».

Часы не били. Стали звезды ближе — из стих. «Упали окон вековые веки» (цикл «Париж, 1940»).

ко мне пришла А. А. Ахматова — встреча произошла 5 июня 1941 г. (по зап. книжке И. Э.).

Стр. 219 *Когда погребают эпоху* — 1-е стих. из цикла Ахматовой «В сороковом году» (впервые напечатано лишь в 1946 г.); И. Э. вписал эти стихи вместе со стих. Мандельштама «Мне на шею кидается век-волкодав» в зап. книжку во время встречи с Ахматовой.

назову его вымышленным именем Львов — Лев Петрович Тарасов (Василевский), советский консул в Париже в 1940 г., полковник ГБ. Эренбург запрашивал работавшего в Париже с Тарасовым Н. Н. Иванова, стоит ли упоминать его имя; 10 июля 1962 г. Н. Н. Иванов ответил: «По вопросу о Тарасове-Василевском я говорил в авторитетной инстанции... Мне сказали, что точно установлено, что Тарасов-Василевский — старый провокатор, со стажем этой работы в 30 лет, он загубил много людей. Он был исключен из партии в январе 1957 г. Неоднократно обжаловал решение КПК (в том числе писал Молотову и др.). Не исключено, что Молотов и др. знали о некоторых заслугах Тарасова на его спец. работе, м. б. в начале 1957 г. они могли посодействовать ему... Молчание об этом лице — лучший выход из положения» (АЭ). Это убедило И. Э. в целесообразности использования вымышленного имени «Львов». Но все эпизоды с «Львовым» вызвали резкие возражения А. Т. Твардовского («Сотрудники советского посольства, приветствующие гитлеровцев в Париже. «Львов», посылающий икру Абетцу. Мне неприятно, Илья Григорьевич, доказывать очевидную бестактность и недопустимость этой «исторической детали» — в письме от 5 апр. 1962 г.); все попытки И. Э. сохранить в книге правду о событиях лета 1940 г. были отклонены («с горечью снимаю все о «Львове» и о сотрудниках посольства»,— писал И. Э. Твардовскому в ответном письме — АЭ). Л. Тарасову (Василевскому), занявшемуся лит. работой, было важно «попасть» в мемуары И. Э.; не найдя в них упоминания о себе, он попросил свидания с И. Э., а получив отказ, прислал длинное письмо, в котором облил грязью тех, кто знал о его прежней деятельности, и предупредил, что сам расскажет «о времени

и о себе». После смещения Хрущева такая публикация стала возможной (см. Л. Тарасов. В оккупированном Париже. Огонек. 1966. № 7—9).

меня от его рассказов подташнивало — в черн. варианте дальше так: «Я. З. Суриц меня давно предупреждал: «При Львове не говорите ничего лишнего». Я старался молчать, но иногда выходил из себя и повторял: «Фашисты, убийцы, палачи!» (ФЭ).

он плохо говорил по-французски — В письме к И. Э. Тарасов утверждал, что И. Э. сам попросил взять его в поездку, чтобы увидеть жизнь оккупированной Франции («По-французски я, действительно, говорю хуже Вас, однако, выполняя ответственную и деликатную, скажем, работу, я не прибегал к помощи переводчиков») — АЭ.

Стр. 220 *не мог же я гордиться тем, что будучи советским гражданином огражден от произвола гитлеровцев* — в черн. варианте дальше так: «Я не мог радоваться привилегиям, которые Львову казались естественными. Между Советским Союзом и третьим рейхом существовали дружеские отношения, но не между мной и гитлеровцами, захватившими Францию. Я их ненавидел, и много сил требовалось, чтобы скрыть это чувство» (ФЭ).

Глава 40

Стр. 222 *А в Москве настроение было скорее свадебным* — субъективное впечатление И. Э., приехавшего из разгромленной Франции, пересекшего на поезде гитлеровскую Германию, о тогдашней Москве вызвало протест Твардовского: «Свадебное настроение в Москве 40 г.? Это, простите, неправда. Это было уже после маленькой, но кровавой войны в Финляндии, в пору всенародного тревожного предчувствия. Нельзя же тогдашний тон газет и радиопередач принимать за «свадебное настроение общества» (АЭ). «В 1940 году я и на родине чувствовал себя одиноким,— писал И. Э. в черн. варианте,— я знал, что фашисты на нас нападут, а большинство людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, наслаждались миром. Беспечность диктовалась и газетами, и органами Берии, и внутренним желанием людей (редкостное совпадение)».

Я написал В. М. Молотову — в черн. варианте дальше так: «Я еще не знал, что вата для ушей — необходимый атрибут власти».

мое имя нигде не упоминалось — в течение года (с авг. 1939 по 31 авг. 1940) впервые за многие годы периодика не печатала И. Э. совершенно.

Стр. 223 *Я. В. Смушкевича... расстреляли за две недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз* — неточно; Смушкевич был арестован за 2 недели до войны, а расстрелян вместе с 19 другими военачальниками (включая Г. М. Штерна) 28 окт. 1941 г. (см. Моск. новости. 1988. № 24. С. 16).

Стр. 224 *Меня принял заведующий иностранным отделом* — в черн. варианте так: «Иностранным отделом ведал Ф. М. Шпигель. Он бегло полистал рукопись и честно сказал: «Не подходит» (ФЭ).

моя книга об Испании не смогла выйти — сб. «В Испании 1936—1938» сдан в набор 3 июня 1938 г., подписан в печать в сент. 1938 г.; верстка тщательно выверена И. Э., во многих местах ее — возражения автора против цензурных сокращений; на титуле виза: «По исправлении печатать. 25.II. 1939» (АЭ).

очерки были напечатаны в «Труде» — «Разгром Франции» (см. Труд. 31 авг., 4, 7, 11, 19 сент. 1940 г.).

Мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко — сообщение об исключении А. Авдеенко из Союза писателей напечатано в передовой ст. «Важнейшие задачи Союза писателей» (Литгазета. 15 сент. 1940) вместе с обвинениями в адрес пьес Леонова «Метель» и Катаева «Домик».

приходил за объяснениями — в черн. варианте дальше так: «Арестовывали теперь в розницу — не мели, а дометали. В последний год перед войной из моих знакомых исчезли И. К. Луппол, Левидов, Смушкевич, Н. Н. Иванов» (ФЭ).

Будет день, и прорастет она — из стих. «Города горят» (1940) — см. Ст. С. 159.

Стр. 225 *Кончен бой. Над горем и над славой* — начало стих. без назв. (1940) — см. Ст. С. 157.

он согласился пропустить и лирику — С. А. Дангулов вспоминал: «При первой встрече Пальгунова с Эренбургом я был... Эренбург был настроен воинственно, полагая, что его стихи будут подвергнуты, быть может, коррективам, и заметно смешался, когда заметил, что его позиция возражений не вызывает» (Октябрь. 1985. № 6. С. 183). Стихи И. Э. в 1940 г. печатались в ж. «Знамя» (№ 9, 10, 11), «30 дней» (№ 9—10), «Звезда» (№ 10).

Не туманами, что ткали Парки — из стих. «Лондон» (янв. 1941) — см. Ст. С. 168. И. Э. добился публикации этого стих. (правда, без назв.) еще до войны (стихи о Лондоне Ахматовой и Тихонова напечатаны существенно позже).

Стр. 226 *Тотчас вышел английский перевод* — 5 янв. 1956 г. И. М. Майский писал И. Э.: «В 1942 г., будучи послом СССР в Лондоне, я получил гранки Вашего романа на русском языке для издания его в Англии. Прежде всего я сам его прочитал. Роман произвел на меня огромное впечатление, и я решил принять все меры для скорейшего доведения его до английского читателя. В конце 1942 года, перед Рождеством, книга, наконец, вышла на рынок. Я рекомендовал ее в особом письме, которое, как это часто бывает в Англии, было напечатано на бумажной суперобложке книги» (ФЭ).

В декабре 1940 года он писал...— см. Вишневский Вс. СС. Т. 6. М., 1961. С. 322.

Я попытался попасть на прием к... А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным — в черн. варианте дальше так: «Один наш общий знакомый спросил Александра Александровича, почему он так неприязненно относится ко мне. Фадеев ответил: «Он слишком хорошо жил за границей». Ср. в зап. кн. И. Э.: «20 апр. 1941. Лер о доводах Фадеева — «хорошо жил». 23 апр. Фадеев неуловим» (ФЭ).

писал для «30 дней», «Вокруг света» — в «30 днях» напечатано 25 небольших очерков И. Э. (1940. № 11—12; 1941. № 1—3, 5), в «Вокруг света» — 2 очерка (1940. № 11; 1941. № 1). В ФЭ сохранились гранки ненапечатанного очерка «Париж», набр. для альм. «Глобус».

Стр. 227 *Алиса Коонен умела потрясать слушателей* — см. рецензию И. Э. «Алиса Коонен — Эмма Бовари» на спектакль Камерного театра (Веч. Москва. 28 мая 1941).

Стр. 228 *его казнили в Праге* — А. Симон-Катц проходил по делу ген. секр. ЦК КПЧ Р. Сланского и расстрелян вместе с ним в 1952 г.

Стр. 229 *«Просим Эренбурга в президиум»* — в черн. варианте дальше так:

«Я не хочу, чтобы меня дурно поняли. Фадеев был умным, интересным человеком, талантливым писателем, но он занимал ответственный пост и на этом посту не мог не делать того, что делали другие; если я вспомнил об этих мелочах, то, конечно, не для того, чтобы умалить Александра Александровича, а только для того, чтобы молодые читатели поняли, в каких условиях жили и работали писатели, в том числе сам Фадеев» (ФЭ).

Познакомился в Харькове с... Борисом Слуцким — в зап. кн. И. Э.: «9 мая 1941. У студентов. Слуцкий. Задор, а за ним эклектика» (ФЭ).

5 июня. Вечером была Анна Андреевна — полная запись такова: «Ахматова. «Ничему не удивляться». Поэма-реквием о Гумилеве. Стихи о Париже. О Мандельштаме и Анненском» (ФЭ).

Опровержение ТАСС — опубл. 14 июня 1941 г. «Германия,— говорилось в нем,— так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз».

Выступил Молотов, волновался — в черн. варианте: «Выступил Молотов, чувствовалось, что он взволнован — заикался больше обычного» (ФЭ).

КНИГА ПЯТАЯ

Работа над пятой книгой продолжалась весной и летом 1962 г. Сохранилось несколько черновых планов пятой книги, отличающихся от окончательного варианта (менялся порядок следования глав, отказался И. Э. от идеи написать портретные главы о Михоэлсе, Черняховском, Сейфуллиной, ограничившись более кратким повествованием о них, зато возникли портреты Тынянова и Гроссмана; глава о Сурице и Литвинове переместилась в шестую книгу).

«Новый мир» в № 10 за 1962 г. объявил, что работа над пятой книгой закончена и она будет напечатана в 1963 г. Публикация ее и началась с № 1, но в том же месяце открылась яростная кампания против мемуаров И. Эренбурга — статьей В. Ермилова в «Известиях» (29 янв. 1963). Тогдашний гл. редактор газеты А. Аджубей, зять Н. С. Хрущева, теперь утверждает, что публикация этой статьи была предпринята по личному указанию Л. И. Брежнева, тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета СССР (Молодежь Эстонии, 6 мая 1989). В результате «Новому миру» было запрещено дальнейшее печатанье мемуаров, и автору пришлось искать такие аргументы, которые заставили бы Хрущева отменить запрет. «Я не беспокоил бы Вас,— обратился И. Э. к главе партии и правительства,— если бы начало пятой части в январском номере «Нового мира» не заканчивалось словами «Продолжение следует». Напомнив, что не было случаев, когда бы печатающееся произведение прервали на такой фразе, И. Э. выразил опасение, что это удивит советских читателей и будет использовано антисоветскими кругами за границей, тем более что переводы мемуаров вышли во многих странах; все это поставит его как общественного деятеля в ложное положение. Аргументы подействовали, печатание разрешили, но антиэренбурговская кампания набрала новые обороты — в нее включились секретарь ЦК Ильичев и сам Хрущев. Окончание пятой книги было напечатано с существенными изъятиями в № 3 вслед за текстом разгромного выступ-

ления Хрущева на встрече с представителями творческой интеллигенции (март 1963), значительная часть которого была направлена против не прочитанной им книги «Люди, годы, жизнь».

Здесь пятая книга печатается по авторской рукописи.

Глава 1

Стр. 232 *Им посвящены прекрасные повествования...*— имеются в виду книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Э. Казакевича «Звезда» и «Двое в степи», В. Гроссмана «Народ бессмертен» и «За правое дело» (с рукописью романа «Жизнь и судьба» И. Э., видимо, не был знаком), В. Пановой «Спутники», О. Берггольц «Дневные звезды», А. Бека «Волоколамское шоссе», Г. Бакланова «Пядь земли».

Стр. 234 *На еврейском митинге выступил и я* — Первый еврейский радиомитинг состоялся 24 авг. 1941 г. Выступление И. Э. под заголовком «Евреям» напечатали «Правда» (25 авг.) и «Известия» (26 авг.). «Мой родной язык русский,— говорил И. Э.— Я — русский писатель. Сейчас я, как все русские, защищаю мою родину. Но гитлеровцы напомнили мне и другое: мать мою звали Ханой. Я — еврей. Я говорю это с гордостью. Нас сильней всего ненавидит Гитлер... Я обращаюсь теперь к евреям Америки как русский писатель и как еврей... Евреи, в нас прицелились звери! Наше место в первых рядах. Мы не простим равнодушным. Мы проклянем тех, кто умывает руки. Помогайте всем, кто сражается против лютого врага. На помощь Англии! На помощь Советской России!» (см. В1. С. 292—293).

ко мне пришел... Броневский... Я с ним встретился впервые... при Пилсудском — в 1928 г. В зап. кн. И. Э. упомянуты встречи с Броневским 8 окт., 18 и 23 дек. 1941, 16 нояб. 1943.

Стр. 237 *Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентиках»* — Сталин на параде 7 ноября 1941 г. сказал: «Наши людские резервы неисчерпаемы... Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики».

Стр. 240 *Повезли нас в пригородном вагоне* — в черн. варианте: «Мы простояли полдня; потом нас посадили в пригородный вагон. Со мной оказались Петров, Афиногенов, Шостакович. Мы ехали долго — 5 дней» (ФЭ).

Стр. 241 *В Саратове играл МХАТ* — в зап. кн. И. Э.: «14 дек. 1941. МХАТ. Фальшь игры. Грусть Чехова. Москвин».

Стр. 242 *«Какая же это передовица?..»* — Д. И. Ортенберг писал впоследствии в кн. «Время не властно»: «Больше Илье Григорьевичу не поручалось писать передовые...» (М., 1979. С. 98; далее цит. это изд.— в коммент.).

несколько фраз из моих статей того времени — цит. ст. 1941 г. «Выстоять» («Кр. зв.». 12 окт.), «Мы выстоим» («Кр. зв.». 28 окт.), «Испытание» («Кр. зв.». 4 нояб.), «Нет тыла» («Волжская коммуна». 4 нояб.), «Солнцеворот» («Кр. зв.». 23 дек.).

«Придет время для «Войны и мира»...» — из ст. «Музы в походе» (Лит. и иск-во. 13 янв. 1942).

Глава 2

Стр. 243 *«Как всегда многолюден и шумен Крещатик...»* — из очерка «Киев в эти дни» (17 сент. 1941) — см. Лапин Б. Избранное. М., 1958. С. 566.

Лапин выпустил сборник стихов — Лапин Борис. 1922-я книга стихов. М., 1923. Тир. 500 экз.

Стр. 246 *Ирина долго надеялась на чудо...*— В дек. 1941 г. В. С. Гроссман писал И. Э. с Юго-Зап. фронта: «Я усердно расспрашиваю о Лапине и Хацревине. К сожалению, пока ничего не узнал. Едва узнаю хоть что-нибудь, тотчас сообщу, конечно. Здесь Долматовский, он дважды был в плену, сейчас едет работать в армию. Масса людей возвращается сейчас из окружения, даже самого далекого. Возвращаются также многие пленные» (АЭ).

Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи — изданы в 1976 г.— см. Лапин Б., Хацревин З. Только стихи. М., предисловие К. Симонова.

Глава 3

Стр. 248 *В статье... «Оправдание ненависти»* — Правда. 26 мая 1942.

Стр. 253 *Я писал в 1944 году* — далее цит. ст. «Справедливость» (Война и раб. класс. № 12) и «Помнить!» (Правда. 17 дек.).

«Европа мечтала о стратосфере...» — из ст. «На пороге» («Кр. зв.». 1 янв. 1943), исправлено.

Глава 4

Стр. 254 *Генерал Голубев, усмехаясь, говорил* — см. ст. «Весна в январе» («Кр. зв.». 14 янв. 1942).

Стр. 255 *«Солнце — на лето...»* — из ст. «Солнцеворот» («Кр. зв.». 23 дек. 1941).

18 января я был у генерала Говорова — Портрет Л. А. Говорова И. Э. дал в ст. «Можайск взят» («Кр. зв.». 21 янв. 1942). «В короткие минуты беседы,— свидетельствует Д. И. Ортенберг,— Эренбург удивительно точно схватил портретные черты командарма» (Время не властно. С. 113).

Стр. 256 *Генерал Орлов шутил* — см. ст. «Второй день Бородина» («Кр. зв.». 24 янв. 1942).

В. С. Гроссман... писал мне...— письмо не датировано (АЭ), написано в Воронеже в конце 1941 г., отправлено с оказией в Куйбышев.

Стр. 257 *Редактор «Известий»* — Л. Я. Ровинский, редактировал газету в 1941—44 гг.

редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди» — П. Н. Поспелов и Е. М. Ярославский.

Меня они [книги Сейфуллиной] *привлекали искренностью* — Еще в 1923 г. в Берлине И. Э. напечатал рецензию на кн. «Перегной» («Новая рус. книга», № 5—6); упоминания о Сейфуллиной в его парижских письмах 20-х гг. ироничны.

Стр. 258 *ко мне пришел поэт Долматовский...*— Е. Долматовский считал, что И. Э. «придал происходившему совершенно иной оттенок... Я рассказал

ему тогда, что после перехода линии фронта попал в особый отдел дивизии». Упомянув, что молодой оперуполномоченный видел его до войны, Долматовский пишет: «Оперуполномоченный особого отдела теперь увидел меня — седого, в клочковатой бороде. Он простодушно говорил, что не узнает меня. Мне пришлось читать стихи на память...» (Новый мир. 1978. № 2. С. 253—254).

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов — в зап. кн. И. Э.: «2 февр. 1942. Тихонов. Мертвых не убирают... Мочатся на Невском. Летаргия. Сам Тихонов изменился» (ФЭ).

Стр. 259 *Она мне прочитала печальные стихи* — «Калуга» (см. Алигер М. СС. Т. 1. М., 1984. С. 207).

обед на правительственной даче в 1957 году — 19 мая; в выступлении Хрущева на этом обеде, как и на совещании в ЦК 13 мая, подверглись разносу те явления литературы, которые были порождены XX съездом («Не хлебом единым» В. Дудинцева, альм. «Лит. Москва»). М. Алигер, наряду с Э. Казакевичем и В. Кавериным, входила в редколлегию «Лит. Москвы». В печатном варианте речи Хрущева говорилось: «Особо следует сказать о тов. Алигер, которая до сих пор придерживается того взгляда, что линия альманаха «Литературная Москва» была якобы правильной, она берет под защиту опубликованные в альманахе произведения, в которых протаскиваются чуждые нам идеи» (см. Х р у щ е в Н. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа. М., 1957. С. 23).

приказ о Лапине и Хацревине — Д. И. Ортенберг писал: «В ноябре 1941 г. мне принесли проект приказа об исключении Лапина и Хацревина из списка корреспондентов как «пропавших без вести». Прошло уже более двух месяцев, на чудо я не надеялся, но, щадя чувство Ильи Эренбурга и его дочери Ирины — жены Лапина, подписал его лишь в феврале сорок второго» (Время не властно. С. 429).

Стр. 262 *Командующий генерал Г. К. Жуков рассказал нам* — в зап. кн. И. Э.: «23 янв. 1942. У Жукова. Сталин. Записная книжка. И. В. сказал...» 24 янв. И. Э. передал для амер. агентства печати: «Для всего мира битва за Москву связана с именем генерала Георгия Константиновича Жукова... Генерал Жуков — человек большой воли и большой скромности. В разговоре он тотчас же находит точные и ясные формулировки» (Литгазета. 1 янв. 1985). В пору публ. мемуаров И. Э. Г. К. Жуков был в опале, и цензура изъяла из текста даже его инициалы.

Стр. 263 *репродукцию плохой картины* — имеется в виду картина Ф. П. Решетникова «Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин».

Глава 5

В черн. варианте начало главы иное: «Судьба в одном была ко мне милостива — никогда я не дружил с настоящими крупными злодеями. Я хорошо знал почти всех видных французских коммунистов былого времени, но только один раз встретил Дорио. Потом я его увидел в ресторане во время немецкой оккупации: я сидел в темном углу, а он обедал с немецким офицером. Я побоялся, что он меня узнает, но он, увлеченный беседой, ни разу не оглянулся. Он излагал гитлеровскому офицеру план пропаганды. Я невольно прислушался,

и меня затошнило, обеда я не доел. Когда я приехал в освобожденный Можайск, мне рассказали, что Дорио там был, но заблаговременно уехал. Он, по-моему, был злодеем, и, если бы я хотя бы раз с ним побеседовал, не смог бы об этом умолчать, хотя, конечно, обидно в книге о своей жизни уделять место таким персонажам. Все же я дошел до главы...» (ФЭ). Жак Дорио — бывший член Политбюро ФКП, ренегат со времен Испанской войны. И. Э. писал о нем в ст. «Две притчи» (Известия. 27 июля 1938. См. ИР. С. 292—293) и «Можайск — Париж» («Кр. зв.». 20 янв. 1942).

Стр. 265 *в моей записной книжке... я отметил* — в зап. кн. И. Э. 2 записи о Власове: «6 марта 1942. Власов «Не жалеть, а беречь». О Суворове»; «7 марта 1942. Утро. Власов уезжает. Маруся в ватнике. Петушки. Комиссар, который ходит сам по себе» (ФЭ).

Стр. 266 *В статье... я коротко описал командующего* — в ст. «Перед весной» («Кр. зв.». 11 марта 1942): «Генерал Власов разговаривает с бойцами. Любовно и доверчиво смотрят бойцы на своего командира: имя Власова связано с наступлением — от Красной Поляны до Лудиной горы. У генерала рост метр девяносто и хороший суворовский язык. Он говорит бойцам о немецком солдате: «Прошлым летом он воевал со смаком. А теперь?.. теперь он воюет с перепугу...»

Стр. 267 *три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина* — см. ст. «Четверо» (Правда. 28 марта 1942).

Стр. 268 *Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева* — см. ст. «Последняя ночь» («Кр. зв.». 10 марта 1943), где приведено письмо Мальцева.

Все о нем давно позабыли — интерес к фигуре Власова возродился на Западе в 70-е гг.; издана его подробная биография — см. Стеенберг Свен. Власов. Мельбурн, 1974.

Глава 6

Стр. 270 *киплинговские нотки... в очерках и стихах молодого Симонова отвечали его наклонностям* — «Если Эренбург под «киплинговскими нотками» понимал немногоречивую мужественность, то в этом его замечании есть большая доля истины. Нам в редакции нравились суровые, мужественно-сдержанные военные очерки Симонова. Но в особенности в редакции любили Симонова за его безотказность и смелость» (Ортенберг Д. Время не властно. С. 195).

Я послал ему сборник своих статей — «Война», кн. 2; надпись на ней: «Д. Ортенбергу. На память о... войне в «Красной звезде».

Когда он ушел, я хлебнул горя — Н. А. Таленского в марте 1945 г. сменил И. Я. Фомиченко.

Стр. 271 *В 1942 году он* [Лев Иш] *писал из осажденного Севастополя* — цит. по ст. «Сила слова» (Правда. 6 мая 1944).

Стр. 272 *Письмо было подписано Н. Грибачевым* — Это письмо, как и упоминание о немецких автоматчиках,— пример скрытой полемики в мемуарах И. Э. Военное письмо Грибачева, ставшего влиятельным функционером Союза писателей, контрастирует с послевоенной позицией его автора — неизменного и активного противника того, за что боролся И. Э. в послесталинское время. В 1957 и 1963 гг. Грибачев и др. спровоцировали Хрущева на резкие выступле-

ния против антидогматических сил в литературе; Хрущев назвал Грибачева «автоматчиком», думая его похвалить.

П. И. Батов пишет — см. Батов П. И. В походах и в боях. М., 1962. С. 104.

Глава 7

Стр. 273 *Когда на смерть идут — поют* — из стих. «Перед атакой» (см. Гудзенко С. Избранное. М., 1977. С. 17—18; далее — по этому изд.).

Стр. 274 *«Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому...»* — в очерке И. Э. «По дорогам войны» («Кр. зв.». 6 июня 1942).

«Вчера был у нас Илья Эренбург» — запись 20 мая 1942 г. Далее Гудзенко писал: «Выводы делает из встреч и писем. Обобщает, не заглянув в корень. Он типичный и ярый антифашист. Умен и очень интересно рассказывал... «Мы победим,— сказал он.— И после войны вернемся к своей прежней жизни. Я съезжу в Париж, в Испанию. Буду писать стихи и романы». Он очень далек от России, хотя любит и умрет за нее, как антифашист» (см. Гудзенко С. Армейские записные книжки. М., 1962. С. 35). Вот другое свидетельство об этой встрече: «Мы упоенно слушали Эренбурга. Он стоял в углу сцены, усталый, злой, мудрый. Говорил не спеша, размышляя вслух. Не стеснялся, не оглядывался. Это была совершенно непривычная, совершенно не ораторская манера. Она забирала, однако, сильнее, чем пламенное красноречие... Эренбург хотел поделиться своими мыслями о немцах... Вот, говорят, немцы — коммунисты, немцы — фашисты,— рассуждал он,— а по-моему, немец — прежде всего немец... Смешно было с нашим щенячьим жизненным и фронтовым опытом спорить с Эренбургом. Он видел гитлеровцев в Париже, читал их газеты и письма, беседовал с пленными. Мы просто-напросто не приняли этот тезис, не могли принять» (Кардин В. Пристрастие. М., 1972. С. 40—41). Гудзенко был не единственный, кто представлял себе во время войны И. Э. неким представителем Парижа в Москве. Война и тяжкие послевоенные годы показали, насколько это было не так.

Стр. 275 *Я читал стихи Гудзенко всем* — И. Э. наряду с П. Антокольским и В. Гроссманом рекомендовал его в Союз писателей; 3 марта 1943 г. Гудзенко записал: «Вчера был счастливый вечер перед моим двадцатиоднолетием — Эренбург просмотрел книгу «Однополчане» и написал в Госиздат Чагину: «Дорогой Петр Иванович! Горячо рекомендую Вам книжку стихов молодого поэта-фронтовика Гудзенко. На мой взгляд, это не только хорошие стихи, но это подлинные стихи о войне. Илья Эренбург» (ЦГАЛИ, ф. 2207, оп. 1, ед. хр. 11, л. 65).

Потом устроили вечер в Клубе писателей — 21 апр. 1943 г., И. Э. выступил с речью.

Только в 1961 году... восстановили подлинный текст — в серии Б-ка сов. поэзии (Гослит); однако в изд. 1971 г. (Гудзенко С. Завещание мужества. М., Мол. гвардия) снова печатали «Ракету просит небосвод» и лишь в изд. 1977 г. (сост. и подг. текста Л. Лазарева) восстановили подлинный текст.

Стр. 276 *...И наконец-то с третьим эшелоном* — из стих. Гудзенко «Сталинградская тишина»; *Каждый помнит по-своему, иначе* — из стих. «Память»; *Занят Деж, занят Клуж* — из «Трансильванской баллады».

«Война на нашем участке еще настоящая» — письмо Гудзенко написано после 15 апр. 1945 г., т. к. в нем есть отклик на ст. Г. Александрова «Тов. Эренбург упрощает»: «Я и мои друзья просим Вас упрощать по-прежнему. Газеты ежедневно переворачиваются в поисках Ваших статей» (ФЭ).

Стр. 277 *И у меня есть тоже неизменная* — из стих. «Я в гарнизонном клубе за Карпатами»; *«Мы не от старости умрем...»* — стих. без назв.

«Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения — «Я пришел в шинели жестко-серой», «Как без вести пропавших ждут», «И снова жизнь».

«До чего мне жить теперь охота» — из стих. «Я пришел в шинели жестко-серой».

«Многое не так получилось...» — по поводу этих слов Гудзенко Долматовский написал: «В мемуарах одного большого писателя я прочитал печальные строки о послевоенном Гудзенко. Этот писатель любил Гудзенко, но, как мне кажется, не понял его в сложную послевоенную пору. Трудных дней немало было у Семена, но он был неисправимым оптимистом и в этом качестве не менялся» («Каждый помнит по-своему» — предисл. к кн. С. Гудзенко «Завещание мужества». М., 1971. С. 8. В этой кн. помещены также и воспоминания о Гудзенко; воспоминания И. Э. не включены).

Стр. 278 *Нас не нужно жалеть...*— в черн. варианте у И. Э. далее так: «Не знаю, кого тогда нужно было жалеть: тех, что остались в братских могилах, или тех, кто вернулся...» (ФЭ).

Глава 8

Стр. 279 *Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля* — не сохр.; в ФЭ есть другая телеграмма — поздравление от 9 мая 1944 г. по случаю награждения орденом Ленина: «Господину Илье Эренбургу, Москва. Поздравляю большого писателя и верного друга Франции. Генерал де Голль».

Стр. 281 *и начали петь хором фривольные песенки* — 30 янв. 1943 г. И. Э. рассказывал в письме о встрече с летчиками «Нормандии»: «А когда на ревейон (сочельник.— *Б. Ф.*) французские летчики пели: «ма гранд мэр м'а доннэ сам су пур бретель э муа же сюи алле а бордель» (моя бабушка мне дала сто су на подтяжки, а я пошел в бордель.— *Б. Ф.*), подавальщицы в Иванове меня благоговейно спрашивали: «Это у них церковное?» (АП).

Стр. 282 *Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона* — грамота о награждении «г. Ильи Эренбурга, русского журналиста» подписана 22 янв. 1945 г. Шарлем де Голлем.

Стр. 283 *об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1940 г. Риббентропу* — см. примеч. к гл. 36 4-й кн.

Ты говоришь, что я замолк — из одноим. стих. (1945) — см. Ст. С. 192—193.

Стр. 284 *Зачем только черт меня дернул* — из стих. «Во Францию два гренадера» (1947) — см. Ст. С. 200.

Глава 9

Стр. 285 *из статьи в «Правде»* — «Дело наших рук» (11 сент. 1942).

Стр. 286 *Жил-был у бабушки серенький козлик* — из стих. И. Уткина «Про

бабушку и козлика, про немцев и партизан» (см. Уткин И. Я видел сам. М., 1942. С. 83). В зап. кн. И. Э. внесены 17 мая 1942 г.

Стр. 287 *Я пошел к Катаеву* — в зап. кн. И. Э.: «4 июля 1942. У Катаева. Ставский. Водка».

в пролет лестницы упал Янка Купала — в зап. кн. И. Э.: «28 июня 1942. Самоубийство Купалы. 29 июня. Купала был пьян, упал».

Стр. 288 *«Мое сердце из красного сахара»* — перевод И. Э. (см. «Поэты Франции 1870—1913. Переводы И. Эренбурга». Париж, 1914. С. 106—107).

Вот его запись от 25 февраля — цит. по ст. «Немец» («Кр. зв.». 13 ноября 1942).

«Народный календарь»... издали на русском языке немцы — см. ст. «Поганые святцы» («Кр. зв.». 25 сент. 1942).

Аскар Лехеров писал мне — впервые цит. в ст. «Сильнее смерти» («Кр. зв.». 18 июля 1942).

Стр. 289 *Британский лорд / Свободой горд...*— из стих. «Три нации» (см. Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1987. С. 465).

Глава 10

Стр. 290 *о битве на Волге я знаю... по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова* — очерки «Сталинград» (см. Гроссман Вас. Годы войны. М., 1946. С. 170—280); роман Некрасова «В окопах Сталинграда» (впервые под назв. «Сталинград» — Знамя. 1946. № 8).

Стр. 292 *«Говорят, Мехлиса снимут...»* — один из самых фанатичных сталинских сатрапов Л. З. Мехлис (в 1941—42 гг.— нач. ГлавПУРККА и зам. наркома обороны) в мае 1942 г. после разгрома советских войск в Крыму, где он представлял Ставку, был понижен в звании и должности.

Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги — см. ст. «Так зреет победа» («Кр. зв.». 9 окт. 1942).

Помню... Даниила Алексеевича Прыткова — см. ст. «Ожесточение» («Кр. зв.». 8 окт. 1942).

Стр. 295 *Слов мы боимся, и все же прощай* — из одноим. стих. (1944), см. Ст. С. 186.

Глава 11

Стр. 297 *Она* [Коллонтай] *писала мемуары для будущих историков* — не опубл.

мои статьи вызвали возмущение немцев — в зап. кн. И. Э.: «9 апр. 1942. Хавенсон (руководитель ТАСС.— *Б. Ф.*): немцы передали: «Эренбург угрожает шведам».

Стр. 298 *«...в Швеции вас ценят и любят...»* — 3 дек. 1941 г. А. М. Коллонтай телеграфировала С. А. Лозовскому: «Здешние левые газеты настойчиво просят статьи Эренбурга и его фронтовые заметки. Эренбурга здесь хорошо знают, и нам эти статьи будут весьма полезны. Попросите Эренбурга заготовить что-либо специально для Швеции» (ФЭ); 4 мая 1942 г.— И. Э.: «Ждем с нетерпением ваших статей. Газеты не дают нам покою. Телеграфьте день высылки. Посланник СССР Коллонтай» (АЭ).

Глава 12

Стр. 300 *я долго бродил вокруг Касторной* — см. ст. «Наша звезда» («Кр. зв.». 21 февр. 1943).

Стр. 301 *«Мама, дядя Отто... приходил...»* — из ст. «Верность» (Правда. 5 марта 1943), вошло в «Бурю» (С 5. С. 475).

Стр. 303 *В Курске я сел за статью* — «Новый порядок в Курске» («Кр. зв.». 26 и 27 февр. 1943); в 1943 г. вышла пятью отдельными изд.

Стр. 304 *«Хиросима — моя любовь»* — фильм Алена Рене (1959).

Стр. 305 *Нас водила молодость в сабельный поход* — из поэмы Э. Багрицкого «Смерть пионерки».

Глава 13

Стр. 307 *Его книгу... «Новое русское искусство» выпустило крупное берлинское издательство* — см. Umanskiy K. Neue Kunst in Russland 1914—1919. Potsdam — München, 1920.

Стр. 308 *«Моего «босса» рассердило...»* — В. М. Молотова, тогда — наркома иностр. дел.

Стр. 309 *«Вам стоит уделить ему время...»* — из письма от 28 нояб. 1944 г. «Излишне говорить,— продолжал Уманский,— что г. Бассольс, как и все передовые люди Мексики и полушария, является Вашим восторженным поклонником, и я знаю, что Вы очень легко найдете с ним общий язык» (ФЭ). И. Э. посылал Уманскому в Мексику свои книги; сохранились копии его телеграмм с запросами о латиноамериканских изданиях его книг.

Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели — «Однажды в годы войны я в лагере, прислонясь к мокрой сосне, к которой был прикреплен радиорупор, слушал Ваше выступление и навсегда запомнил, как Вы призывали к безотказной патриотической борьбе в защиту советской Родины и против фашизма словами о значении европейской культуры для прогресса человечества»,— написал Е. А. Гнедин на оттиске ст. «Судьба европейского наследства» (Новый мир. 1964. № 1), подаренном И. Э. «в знак глубокого уважения и привязанности» (ФЭ). В 1923—35 гг. Е. А. Гнедин напечатал в «Известиях» ок. 300 ст. и памфлетов (под псевдонимами Е. Александров, Номад, Е. Михайлов); однако они не были изданы книгой.

Стр. 310 *пришедшие проводить Уманских видели катастрофу* — В. А. Мильман, познакомив по поручению И. Э. с рукописью этой главы Д. А. Уманского, брата К. А., писала И. Э.: «Говорила с Уманским, показала ему главу... Что он добавил: при катастрофе спаслась одна сотрудница, но ее фамилии он не помнит... Он, как и многие товарищи, полагает, что катастрофа была подстроена Берия, который не любил Уманского, т. к. его любил Сталин» (АЭ).

люди искусства и там почувствовали в нем своего... — из ст. И. Э. на смерть Уманского в ж. «Nouvelles Soviétiques» (по-русски не публ.).

одна мексиканская поэтесса — Маргарита Пас Парадес (сообщено В. Н. Кутейщиковой).

Глава 14

Впервые под названием «1943-й» — Лит. газета. 21 авг. 1962.

Стр. 312 *майор Харченко...*— см. о нем ст. «Во весь рост» («Кр. зв.». 28 июля 1943).

Стр. 313 *моя дружба с танкистами-тацинцами* — см. восп. А. М. Баренбойма «Почетный танкист» (Знамя. 1984. № 2; напечатаны с купюрами, полностью — под назв. «Гвардии рядовой Илья Эренбург» в газ. Тацинского РК КПСС Ростовской обл. «Свет октября» 20, 23, 25, 27 ноября, 2, 4 дек. 1982). Письмо тацинцев И. Э.— «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны». Кн. 1. Лит. насл. Т. 78. М., 1966. С. 607. Переписка И. Э. с И. В. Чмилем — Писатели в Отечественной войне. М., 1946 (изд. Гослитмузея). С. 74—79.

Стр. 314 *Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина* — переписка И. Э. с Хандогиным — в кн.: Писатели в Отечественной войне. С. 79—84.

П. Л. Чепурченко рассказывал — см. ст. «Земля Пирятина» («Кр. зв.». 26 ноября 1942).

Стр. 315 *Я сидел ночью у Сожа* — см. ст. «Дело совести» (Правда. 29 окт. 1943).

Стр. 317 *Я запомню, как последний дар* — из стих. «В Белоруссии» (1943) — см. Ст. С. 181.

Стр. 318 *...Мой век был шумным* — из стих. «Я помню — был Париж» (1942) — см. Ст. С. 179.

Было в жизни мало резеды — это и след. стих. 1943 г. приведены полностью.

редактор моей книги — П. И. Чагин, редактор сб. «Стихи 1938—1958». М., Сов. писатель, 1959.

Стр. 319 *Скажи, здесь тоже жизнь была* — стих. 1943 г., не вошло в Ст., см. Эренбург И. Дерево. М., 1946. С. 56.

По рытвинам, средь мусора и пепла — это и след. стих. 1943 г. приведены полностью.

я не мог тогда предвидеть... судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын — см. повесть «Один день Ивана Денисовича» (Новый мир. 1962. № 11).

Глава 15

Стр. 320 *Седьмого ноября 1943 года... в особняке на Спиридоновке пышный прием* — в зап. кн. И. Э.: «Прием. Общий вид. Кончаловский: «Похоже на Манэ». Вспоминают 41 г. В. М. [Молотов] и пр. «Фронт — совершается победа» (подчеркивая). В. М.: «Тост без вопросов и комментариев: «За Эренбурга». Он же: «неутомимый». Он же в конце о немцах: «Они увидят... справедливость». Ш. пьяная с Толстым. Шапиро: «Впервые за 8 лет я чувствовал себя хорошо». Голландский посол: «Жаль, что нельзя увидеть Рублева»... Гарро о статье в «Труде». В. М. о Черчилле: «Я видел, что он любит Францию, когда он был у Сталина». [А. М.]. Герасимов не поздоровался. Шостакович: «8-я симфония — лучшее, что я написал, не потому, что последняя». Рейзен: «Вы один пишете о муках евреев». Корнейчук мне о разго-

воре со С[талиным?]: «Дело совести... Как живет? Работает? Хочу увидеть». Корнейчук: «Я ему сказал — стучит день и ночь. У него боевое сердце» (ФЭ).

6 ноября Сталин сказал — из докл. «26 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции».

Стр. 321 *из Лондона вернулся И. М. Майский...*— Об одном из выступлений Майского С. Е. Голованивский писал, вспоминая годы войны: «Как выразился наш посол в Англии И. М. Майский на узкой встрече в Союзе писателей, тогда существовало только два человека, влияние которых можно было сравнивать: имя одного — Эренбург, второго он не назвал, как видно испугавшись собственной идеи — сравнивать» (АЭ).

английский корреспондент Александр Верт — встречался и переписывался с И. Э. и после войны. Вспоминая лето 1942 г., он писал: «Каждый солдат в армии читал Эренбурга; известно, что партизаны в тылу врага охотно обменивали лишний пистолет-пулемет на пачку вырезок его статей. Можно любить или не любить Эренбурга как писателя, однако нельзя не признать, что в те трагические недели он, безусловно, проявил гениальную способность перелагать жгучую ненависть всей России к немцам на язык едкой, вдохновенной прозы; этот рафинированный интеллигент интуитивно уловил чувства, какие испытывали простые советские люди. С идеологической точки зрения то, что он писал, было неортодоксально, но из тактических соображений в тогдашних условиях было сочтено целесообразным предоставить ему свободу действий» (Верт А. Россия в войне. М., 1967. С. 295—296).

Стр. 322 *я получил письмо от вице-президента... Уоллеса* — «Дорогой Илья Эренбург, я только что начал изучать русский язык. И мое первое письмо я пишу Вам. Я хочу вам сказать, что когда я говорю о нашем веке как о «веке простого человека», я имею в виду именно ту народную душу, которая спасла вашу родину и которую вы так мастерски описываете в вашей статье «Заря». Я читаю ваши статьи всегда с большим интересом, в них звучит такая вера в народную душу. Да, будущее принадлежит народам со стойкой душой и с любовью к свободе. Желаю вам всего лучшего. Генри Уоллес» (ФЭ). И. Э. ответил 24 ноября 1943 г.: «Дорогой вице-президент, меня глубоко тронуло Ваше дружеское письмо. Вы, наверное, знаете, с каким вниманием следит наша общественность за Вашей работой и какой отклик находят среди советских людей Ваши выступления. Поэтому Вы поймете, как я обрадовался Вашей книге. Я недавно побывал на фронте, на Днепре, и мне хочется Вам сказать, что каждый красноармеец воодушевлен теми идеями справедливости и свободы, о которых Вы говорите в Вашем письме. Я посылаю Вам сборник моих статей («Война», т. 2.— *Б. Ф.*) и от души желаю Вам сил в Вашей столь ответственной работе. Искренне уважающий Вас Илья Эренбург» (ФЭ).

Один из помощников А. С. Щербакова Кондаков — забраковал мой текст — в зап. кн. И. Э.: «10 июля (1943). Обращение к евреям. Кондаков не звонит: советуется. 13 июля. Разговор с Кондаковым: о еврейском обращении: только 4-м писателям и поменьше адресов. Потом о тексте. Выкиньте, что фашисты ненавидят евреев, что среди евреев было много ученых и поэтов.— «Почему?» — Значит, у других было мало. Выкиньте, что «не буду говорить о героях. Имена многих знает советский народ» — Бахвальство. Гурову (сотрудник

Совинформбюро.— *Б. Ф.*) было неловко... Задержаны все 4 статьи о «14 июля». 14 июля. В «Известиях» и «Правде» — статьи о 14 июля (не И. Э.— *Б. Ф.*). В «Кр. звезде» и «Труде» нет моих. Карпов и (нрзб) возмущены. Ортенберг: «Вы правы». 15 июля. Кондаков не пропустил статьи. 16 июля. Письмо А. С. [Щербакову]. Ночью звонок. Насчет евреев «вместе имеют право». Это не бахвальство» (ФЭ).

Должна была выйти моя книга «Сто писем» — в зап. кн. И. Э.: «3 авг. Статьи о предателях не пропускают. Писал А. С. [Щербакову] также о «100 письмах»... «100 писем» не пропускают». Верстка кн. «Сто писем» (изд. «Мол. гв.», разрешение Главлита 24.VI. 43) в АЭ; в кн. 122 стр.; предисловие автора и 10 ст.: «Июнь» (1942), «Мы выстоим» (1941), «Оправдание ненависти», «Немец», «Убей», «Испытание огнем», «Твое гнездо», «Россия», «Судьба России», «Свет в блиндаже» (все — 1942). После каждой ст. идут фрагменты писем с фронта и тыла, связанные с темой ст. В 1943 г. «Сто писем» изд. в Москве по-французски; в 1945 г. вышли в Париже.

Стр. 323 *Сельвинский написал хорошие стихи о России* — «Россия» (Комс. правда. 11 июля 1943). В зап. кн. И. Э.: «13 июля «Известия» обругали Сельвинского (ред. ст. «Неразборчивая редакция».— *Б. Ф.*)... 22 авг. Фадеев о стихотворении Сельвинского: «Государственная точка зрения» (ФЭ).

«Правда» обрушилась на Платонова — ст. Ю. Лукина «Неясная мысль» о рассказе «Оборона Семидворья» обвиняла Платонова в «погоне за оригинальностью во что бы то ни стало» (8 июля 1943).

осудили... книгу Федина о Горьком — ст. Ю. Лукина «Ложная мораль и искаженная перспектива» (Правда. 24 июля 1944). Л. Озеров вспоминал, что на писательском собрании П. Павленко назвал книгу Федина «клеветой», а М. Шагинян признала ее вредной (Вопр. лит. 1987, № 11. С. 223).

«Пошлые выверты К. Чуковского...» — ст. П. Ф. Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского» (Правда. 1 марта 1944; ст. о книге «Одолеем Бармалея» — 1943 г.).

«Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом...» — из ст. С. Бородина «Вредная сказка» (Лит. и иск-во. 25 марта 1944).

газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего опричнину — в ст. «Правды» «Лекция о Грозном» сообщалось о лекции докт. ист. наук, проф. Р. Ю. Виппера 17 сент. 1943 г. в Колонном зале Дома союзов: «Во второй части своей лекции профессор Виппер ярким и образным языком излагает материалы, разоблачающие и опровергающие созданное некоторыми историками представление о Грозном как о бессмысленно жестоком тиране» (Правда. 19 сент. 1943); 30 сент. 1943 г. «Правда» сообщила об избрании Р. Ю. Виппера действительным членом Академии наук СССР.

я... написал в издательство восторженное письмо — 3 дек. 1942 г. И. Э. послал в Магаданское краевое изд. телеграмму: «Книги получил. Благодарю. Обрадован хорошим изданием. Прошу поблагодарить художника за прекрасные иллюстрации. Сожалею его имя не обозначено» (ФЭ). Ответная телеграмма: «Весьма признателен за положительную оценку книги. Фамилию художника

не могли указать ввиду особых условий Дальстроя. Начальник отдела пропаганды Политуправления НР 817 Соколов» (ФЭ).

ко мне пришла жена художника Шребера — в зап. кн. И. Э.: «9 окт. 1944. Жена художника Шребера, который иллюстрировал «Падение Парижа». Из Риги. В 35 г. из Парижа. В 37 г.— 10 лет. На рудниках. Теперь плакаты (учился у Колена)» (ФЭ). Информация жены Шребера — ошибочна. Автором иллюстраций к магаданскому изд. был худ. Б. М. Десницкий, бывший лефовец, потом зек. Подлинники 8 рисунков тушью Десницкого к «Падению Парижа» — в Гослитмузее (№ 16554/1—8).

Один педагог доказывал...— см. ст. «О раздельном обучении в школах» (Известия. 10 авг. 1943).

Стр. 324 *Шостакович прислал мне записку* — «Дорогой Илья Григорьевич, если Вы будете свободны 10 ноября, то выполните пожалуйста мою большую просьбу: сходите в большой зал Консерватории и послушайте мою 8-ую симфонию. Д. Шостакович. 9.XI.1943» (ФЭ).

Глава 16

Написана в 1965 г., впервые — в сб. «Юрий Тынянов, писатель и ученый (Воспоминания, размышления, встречи)». М., 1966. С. 182—186; начало ее было таким: «Я спрашиваю себя: почему в первой редакции моей книги воспоминаний я уделил недостаточно места Юрию Николаевичу Тынянову? Я ведь признавался, что его книги были событиями в моей жизни. Вероятно, я боялся, что не понял их автора: наши разговоры по большей части были случайными, малозначительными. Я все откладывал рассказ о Тынянове: мне казалось, что в книге о жизни он покажется отрывком из литературной статьи. Пора исправить и эту ошибку. Тынянов был человеком сложным, общительным, но замкнутым. Легче было им восхищаться, чем его понять. Он мог блистательно болтать о пустяках, мог добродушно отпускать язвительные реплики, мог, увлеченный, говорить о строке Дельвига или своего любимца Кюхельбекера, как астроном говорит о звездах или медик о болезнях, был неизменно учтив и, хотя родился в Режице, а учился в Пскове, казался мне воплощением идеального петербуржца».

Стр. 326 *Весной 1936 года Юрий Николаевич приехал в Париж* — в письмах из Парижа В. А. Каверину Тынянов упоминал сердечное отношение к нему Эренбургов («Люба за мной ходит, как за ребенком» — см. Каверин В. Письменный стол. М., 1985. С. 84—85).

Стр. 328 *Вспоминаю нашу последнюю встречу* — В. А. Каверин писал о «непостижимой точности», с которой И. Э. в ту встречу с Тыняновым предсказал начало Отечественной войны: «Первого июня 1941 года мы вместе поехали навестить Ю. Н. Тынянова в Детское Село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнется война?» — Эренбург ответил: «Недели через три» (ВЭ. С. 42); по зап. кн. И. Э.— это было 31 мая 1941 г.

Я был на его похоронах — В. Б. Шкловский 27 дек. 1943 г. писал Б. М. Эйхенбауму: «Двадцать третьего мы похоронили Юрия. Он умер в больнице 21-го в 10 часов вечера... С трудом устроили похороны. Тело было выстав-

лено в Литинституте... На похоронах были серапионы, Чуковский, Маршак, Фадеев, Эренбург. Объявления в газетах не было» (Вопр. лит. 1984. № 12. С. 210).

Глава 17

Стр. 330 *разговор с Иденом был куда интереснее* — в зап. кн. И. Э.: «11 окт. 1944. Прием у Молотова. Разговор с Иденом: «Вы больше франкофил, чем англофил». Молотов: «Эренбург — наш агитатор, нет, более того, душа К[расной] А[рмии]... Он прав, нужно добить Германию. Вас немцы не забудут» — «Они не забудут нас» — «Правильно» (ФЭ).

Стр. 332 *он знал войну... написал хорошие очерки* — очерки Л. Стоу из «Чикаго Дейли ньюс» перепечатаны под назв. «С Красной Армией на Ржевском фронте» в «Знамени» (1943. № 1).

Сталин ответил на вопросы... Кессиди — письменные ответы на вопросы корреспондента Ассошиэйтед Пресс Кессиди Сталин давал дважды: 3 окт. и 13 ноября 1942 г.

Стр. 334 *Особенно радовался корреспондент «Таймса»* — см. ст. «Путь к Германии» («Кр. зв.». 10 июля 1944).

Глава 18

Впервые под назв. «Лето 1944» — Советская Литва. 16 окт. 1962.

Стр. 334 *В Минск я попал 4 июля* — поездка И. Э. на фронт в Белоруссию и Литву описана в очерках: «Путь к Германии» («Кр. зв.». 19 и 20 июля 1944), а также в кн. Н. Денисова «1417 дней фронтового корреспондента» (М., 1969. С. 234—247).

Стр. 338 *Гельвицер подписал обращение* — оно заканчивалось словами: «Борьба против Гитлера — это борьба за Германию» (напечатано в «Правде» 26 июля 1944 г.). (Фамилия упоминаемого И. Э. генерала в тексте «Правды» — Голльвитцер.)

Глава 19

Стр. 341 *Пережил эвакуацию* — 31 окт. 1941 г. Ж. Р. Блок писал И. Э. из Казани: «За последние две недели я увидел и узнал многое, что с ужасом напомнило мне другую недавнюю эвакуацию. Жду третью. Без философских размышлений... У Маргариты ангина. Я ужасно простужен, и у меня приступ желчного пузыря. А мы ведь еще среди самых привилегированных. Жилье сносное, но вот помыться или... В университетской библиотеке я даже нашел французские книги. Я снова принялся за работу. Столица Татарии — непроходимое болото. Но настроение остается хорошим. Кстати, стоит прислушаться ко всем пораженческим и паническим разговорам наших уважаемых литераторов разных национальностей, чтобы из чувства противоречия сразу собраться... Какие известия о Лапине?.. Дружески Ж. Р. Блок» (ФЭ).

Стр. 344 *«Я не обращаюсь к политикам...»* — перевод И. Э.

Стр. 345 *«Мне тоже хочется писать о женщине...»* — из кн. «Espagne, Espagne!» Paris, 1936. P. 12; Перевод И. Э. В сов. изд. этой книги — Ж. Р. Блок «Испания, Испания!» (М., 1937) — эти слова не вошли.

Стр. 346 *У меня сохранился экземпляр «Судьба века» с надписью Жана Ришара* — «Моему другу Илье Эренбургу с восхищением Ж.-Р. Блок. 7 марта 1931» (АЭ); сохранились и более ранние автографы: на книге «...и компания» — «Илье Эренбургу — у меня с ним духовное сродство, а кроме того, сумма общих воспоминаний, уже немалая. Его старый друг Ж.-Р. Блок. 1930»; на книге «Offrande à la musique» — «Илье Эренбургу, которым я восхищаюсь и которого я очень люблю. Ж.-Р. Блок. Пуатье 1930 г.».

«Нужно ли говорить...» — из ст. «Сталинградец» в кн. «Москва — Париж», 1947, перевод И. Э.

Стр. 347 *Я... упомянул о холстах Пикассо, изрезанных фашистами* — в ст. «Ноябрьские туманы» («Кр. зв.». 16 ноября 1944) И. Э. писал: «...они вандальски уничтожают пятнадцать картин крупнейшего художника Пикассо, только потому, что Пикассо с народом, а не с пятой колонной»; об этом же упоминал И. Э. в ст. «Час искусства» (Сов. иск-во. 7 ноября 1944).

Когда в одной редакции — публикуя главу, И. Э. пришлось заменить разговор «в одной редакции» на разговор «в трамвае»; см. С9. С. 406.

«Теперь время для военных корреспондентов...» — из предисловия к кн. «Испания, Испания!», перевод И. Э.

Глава 20

Написана в 1965 г., впервые — Эренбург И. Люди, годы, жизнь, кн. 5, 6. М., 1966.

Стр. 348 *один из его первых рассказов — «Четыре дня»* — вошел в одноим. сб. рассказов В. Гроссмана (М., 1936).

Война отодвинула в сторону литературные распри — в этом смысле характерны взаимные высказывания Гроссмана и И. Э. об их военной публицистике. Гроссман: «И все же значимость работы Эренбурга — не в литературных достоинствах его статей, памфлетов, фельетонов, очерков, а в том, что с первых дней войны Эренбург в сотнях своих стремительных статей стал глашатаем тех скромных, простых людей в выцветших от ветра и дождя гимнастерках и пилотках, которые прошли через все испытания, сохранив богатство своего не грубеющего в боях сердца, своей человеческой души, своего разума, верного правде и свету» («Писатель — воин».— Лит. и иск-во. 6 мая 1944). Эренбург: «Я применил к книге Гроссмана («Годы войны».— *Б. Ф.*) эпитет «честная»; он вообще хорошо определяет этого писателя, большого, несколько неуклюжего, лишенного блистательности, да, пожалуй, и блеска, традиционного в своем желании подумать и мыслями поделиться за письменным или за чайным столом, писателя, который силен тем, что он не штурмом, а упрямо, осадой проникает в душевный мир героев» («Глазами Василия Гроссмана» — Литгазета. 23 февр. 1946, цит. по рук.).

Стр. 349 *будто его повесть «Народ бессмертен» из списка... на пре-*

мию вычеркнул Сталин — как перед войной он вычеркнул из списка лауреатов роман Гроссмана «Степан Кольчугин» (см. Огонек. 1987. № 40. С. 23).

Стр. 350 *в «Правде» появилась статья одного писателя, напоминавшая... обвинительное заключение* — Бубеннов М. О романе В. Гроссмана «За правое дело» (Правда. 13 февр. 1953).

Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса» — В. Ермилов (Правда. 4 сент. 1946).

Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать — Речь идет о романе «Жизнь и судьба», арестованном КГБ в 1961 г. В. Гроссман обратился с письмом к Хрущеву; он был принят Сусловым, который допускал возможность издания романа через 200—300 лет (Огонек. 1988. № 23. С. 21). Истоки неприязни Хрущева к Гроссману, ссылаясь на свидетельства писателя, приводит Н. Роскина: «Хрущев терпеть не мог Гроссмана — ...во время войны Хрущев, член Военного Совета, все приглашал Гроссмана зайти в его блиндаж, послушать его умные речи. Гроссман раз не пошел, два не пошел, ну, Хрущев и перестал его приглашать, да хорошенько это запомнил». См. Роскина Н. Четыре главы. Paris, YMCA-PRESS, 1980.

Похороны его были горькими... — в прощальном слове на панихиде по Гроссману, как свидетельствует Г. Я. Суриц, И. Э., в частности, сказал: «Он был тяжелый человек, тяжело жил и тяжело умер. Но он был до конца честный человек. Не обязательно у него учиться, как писать. Но обязательно учиться, что писать» (СК).

Глава 21

Впервые (с купюрами) — Эренбург И. Люди, годы, жизнь, кн. 5, 6. М., 1966. Полностью печатается впервые.

Стр. 351 *...пришло время обнародовать документы* — И. Э. собирал материалы о злодеяниях гитлеровцев на оккупированных советских территориях с самого начала войны; в его огромной почте — дневники, фотографии, свидетельские показания. План книги об уничтожении гитлеровцами еврейского населения СССР возник у И. Э. уже в 1943 г.

Я жил когда-то в городах — из стих. «Бабий яр» (1944), см. Ст. С. 187.

Стр. 352 *Тургенев вспоминал* — см. Тургенев И. С. Литературный вечер у П. А. Плетнева (ПСС. Т. 11. М., 1983. С. 13).

я обнял узбекского поэта Гафура Гуляма — в зап. кн. И. Э.: «4 дек. 1943. Вечер в клубе. Гафур Гулям «Я — еврей». Державин перевел. Толстой: Михоэлс плакал... 5 дек. Вечер узбеков. Я о Гуляме — он кинул в лицо: «я — еврей» (ФЭ).

Помню страстные строки Павло Тычины — стих. «Еврейскому народу» (1942), пер. Л. Озерова (см. Тычина П. Избранное. М., 1946. С. 303—305; с 1946 г. не печаталось).

стихи Мартынова о нюрнбергском портном — см. Мартынов Л. Стихотворения и поэмы. Л., 1986. С. 79—81.

Стр. 357 *почему его... хотела выдать врагу жена* — см. ст. «Победа человека» («Кр. зв.». 8 янв. 1944).

Стр. 358 *Ее читали, перечитывали, редактировали* — 5 марта 1945 г. С. А. Лозовский писал И. Э.: «...Я просмотрел материал для «Черной книги» под Вашей редакцией и материал, направленный для «Черной книги» Антифашистским Еврейским комитетом... То, что обработано нашими писателями... даст читателю потрясающую картину немецкого садизма, хамства и зверства. Такая книга, составленная группой крупных советских писателей, не только послужит делу возмездия, но и явится орудием борьбы для выкорчевывания фашистской политики и фашистской идеологии во всем мире». Далее Лозовский сообщил, что целесообразно издать две книги — одну в обработке писателей («Она будет издана на всех языках»), другую — для узкого круга — книгу документов. «Продолжайте Вашу полезную работу по составлению книги при участии группы советских писателей... Одновременно с этим Антифашистский Еврейский комитет будет подбирать материалы для официальной «Черной книги». И. Э. расценил это письмо как устранение его от работы по составлению сборника документов и написал В. С. Гроссману: «По решению С. А. Лозовского издание «Черной книги» поручается непосредственно Еврейскому Антифашистскому комитету. Поэтому Литературная комиссия, созданная мной для подготовки к печати этой рукописи, прекращает свою работу. Приношу Вам, Василий Семенович, сердечную благодарность за Ваше участие в работе Комиссии. Я глубоко убежден, что проделанная Вами работа не пропадет для истории» (ЦГАЛИ, ф. 1710, оп. 1, ед. хр. 123); аналогичные письма И. Э. отправил другим членам комиссии.

Я поместил в «Знамени» несколько отрывков — «Народоубийцы» (Знамя. 1944. № 1—2); 1-я часть кн. «Народоубийцы» под ред. И. Э. вышла в Москве в 1944 г. на идиш, 2-я — в 1945 г.; отд. изд. «Черной книги» по-русски впервые — в 1980 г. в изд. «Тарбут» (Иерусалим).

В конце 1948 года... рассыпали набор «Черной книги» — «Напечатать «Черную книгу» можно было только в том случае, если будет виза Жданова. От И. Г. Эренбурга, В. С. Гроссмана и Л. М. Квитко я знал, что рукопись у него. Она лежала долго. Чувствовалось, что Жданов тянет с ответом, боясь взять на себя ответственность даже в таком не государственного масштаба редакционно-издательском, вернее цензорском, деле... Наконец Жданов обратился к «хозяину», как тогда называли Сталина. Последовал немедленный отказ. По версии Эренбурга, Гроссмана, Квитко и др., Сталин якобы ответил так: «Зачем выделять именно эту пострадавшую нацию, если все нации у нас равны? Даже если мы знаем, что в этом рву, в этой могиле только одни евреи, мы должны говорить, что в ней все нации» (из письма комментатору поэта Л. А. Озерова, принимавшего участие в работе над «Черной книгой»).

Стр. 359 *дневник... Маши Рольникайте* — Рольникайте М. Я должна рассказать (Звезда. 1965. № 2, 3). И. Э. принимал деятельное участие в подготовке рукописи этой книги к изданию. 28 авг. 1962 г. он писал ее автору: «Я прочитал Вашу рукопись не отрываясь, нашел ее очень интересной и надеюсь, что она будет напечатана... После того, как книга выйдет на литовском языке, я помогу Вам в напечатании ее перевода на западные языки». В 1966 г. книга вышла в Париже с предисловием И. Э.

Глава 22

Впервые (с купюрами) — в составе шестой книги (Новый мир. 1965. № 3); печатается по авторской рукописи.

Стр. 361 *перевел с французского книгу Эмиля Бернара* — см. Бернар Э. Поль Сезанн, его неизданная переписка и воспоминания о нем. М., 1912.

Глава 23

Стр. 369 *Все тает, надежды и годы...* — из стих. «Все тает» (см. Фофанов К. Стихотворения. Л., 1962. С. 169).

Стр. 371 *Я написал об Ине* — см. ст. «Истоки героики» (Комс. правда. 5 ноября 1944).

После войны дневник издали — чуть приглаженный — см. «Дневник и письма Ины Константиновой». Калинин, 1957; предисловие И. Э.

Глава 24

Стр. 372 *«На забрызганном грязью «виллисе»...»* — из ст. К. Симонова «Неистощимое сердце» (Лит. и иск-во. 6 мая 1944).

я сказал... что хочу поехать в Восточную Пруссию — см. очерки «В Германии» («Кр. зв.». 22, 23 и 25 февр. 1945).

Стр. 379 *Признает даже смерть твои владенья* — Из Ронсара; пер. И. Э.

Стр. 380 *Не раз в те грозные, больные годы* — начало стих. без назв. (1940), см. Ст. С. 168.

Глава 25

Стр. 380 *многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю* — едва ли не самым горьким переживанием И. Э. был заметный рост антисемитизма, особенно тылового и чиновничьего; об этом говорит почта И. Э., его зап. кн. (вот неск. записей: «21 мая 1942 — Антисемитизм среди партчиновников... 4 нояб. 1942. Кружков просит — снять «хасидская», заменить «восточная». Аркин: «Лучше не говорить, что немцы убивают евреев»... 17 нояб. 1943. Украинский Наркомвнудел: евреев не пускают на Украину и говорят: «Они хотят приехать на все готовое». 8 окт. 1944. Бабий Яр — панихиду запретили. 15 окт. 1944. Был Бахмутский — не принимают в аспирантуру, как еврея. Написал Кафтанову...»). Эвакуированные из оккупированных районов писали И. Э. об издевательствах, которым подвергались («Недавно в трамвае,— писали из Ташкента,— мне пришлось наблюдать, как здоровенный верзила долго глядел на юношу без руки и изрек: «Нужно еще проверить, как этот жид потерял руку»). Писательница М. В. Алтаева-Ямщикова 14 мая 1944 г. обратилась к И. Э. с просьбой помочь ее друзьям — евреям, находившимся уже после освобождения в гетто Долмановка-Балта под Одессой,— местные власти

не предоставили им транспорта, а идти пешком десятки километров изможденные узники уже не могли. Таких писем было много.

Стр. 381 *С новым редактором мне было нелегко* — см. коммент. к с. 270.

Я напечатал это письмо в «Красной звезде» — «Ответ леди Гибб» (15 окт. 1944); откликам фронтовиков на письмо леди Гибб И. Э. посвятил ст. «Говорят судьи» («Кр. зв.». 3 ноября 1944).

Брейлсфорд... предлагал прежде всего помочь немцам — см. ст. «Адвокат дьявола» (Война и раб. кл. 1944. № 15. С. 25—27).

Стр. 382 *письмо... Б. А. Курилко* — см. ст. «Рыцари справедливости» (14 марта 1945).

Стр. 383 *Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!»* — впервые в «Правде», 9 апр. 1945, а «Кр. зв.» и «Веч. Москва» 11 апр. ее перепечатали. Ст. «Хватит!» стала последней военной статьей И. Э.— по указанию Сталина его перестали печатать.

Стр. 384 *Мне предложили написать статью о боях за Берлин* — ст. «В Берлине» впервые напечатана в кн. И. Э. «Летопись мужества» (М., 1974. С. 361—365).

«Правда» поместила мою статью «Утро мира» — в черн. варианте: «Статью посылали Жданову. Я ее много раз переделывал — с каждым днем менялась обстановка».

Что касается союзников, то некоторые из них... всполошились — И. Э. сохранил сводку сообщений из Совинформбюро: «Нью-Йорк, 15 апр. 1945. Ассошиэйтед Пресс распространило сообщение своего корреспондента о статье Александрова, в которой уточняется позиция Советского Союза в отношении Германии... Кессиди утверждает, что Александров отрекается от статей Эренбурга и что эта критика относится также к высказываниям Эренбурга по поводу второго фронта... Газета «Нью-Йорк таймс» полностью поместила сообщение АП из Москвы... Стокгольм, 15 апр. 1945. Газеты печатают сообщение Юнайтед Пресс из Москвы, в котором цитируется статья Александрова, критикующая точку зрения Эренбурга по вопросу ответственности немецкого народа за военные преступления... Нью-Йорк, 16 апр. 1945. Касаясь статьи Александрова, балтиморская «Сан» заявляет, что эта статья является обескураживающим признаком для держав оси... Лондон, 16 апр. 1945. Заголовок в «Дейли телеграф»: «Советы делают выговор Эренбургу» (ФЭ).

Стр. 385 *Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем...*— Корреспонденты И. Э. (фронтовики) относили статью Александрова на счет партаппаратчиков (но никак не Сталина) и высказывались об этом со смелостью победителей: «Прочитали мы на фронте статью Александрова «Тов. Эренбург упрощает»; прочитали и удивились. Неужели т. Александров только и делает, что слушает немецкое радио и делает из него выводы? Пусть лучше послушает наш фронтовой разговор с немцами снарядами и танками. Вы пишете правильно, что Германия есть одна огромная шайка. Надо дать запомнить немцам и **вообще всем**, чтоб со страхом сто лет смотрели на Восток... Майор Кобыльник»; «Мы одни, и только мы можем со всей глубиной нашей пламенной патриотической души понимать Вас так, как это есть в действительности. Для нас нет «упрощений», мы сами все видели собственными глазами (несколько

подписей)»; «Читал все Ваши статьи. Читал и «Хватит!» Прочел не только сам, но и товарищам. Читал статью т. Александрова «Тов. Эренбург упрощает». Разумеется, т. Александров говорит от имени ЦК и отражает линию партии, однако мой голос и голос моих товарищей с Вами. С комсомольским приветом Н. Канищев»; «Недавно прочитал статью в газете проф. Александрова. Кто такой Александров, мне неизвестно. Но я хоч и рядовой человек, но имею определенный взгляд на жизнь... Согласно морали, выработанной проф. Александровым, злодей называется злодеем только ночью, когда он крадется. Великий писатель нашей свободной страны, Вы пишете не для «учителей морали», а для нас, для народа. Мы ждем Ваших статей. Вишняк Федор Михайлович, инвалид Отечественной войны, орденоносец»; телеграмма: «Редакция газеты Красная звезда И. Г. Эренбургу. Дорогой Ильюша, сегодня 3/5 — 45 мы летчики имеем удовольствие находиться в Берлине в районе рейхстага, на котором водружено Знамя Победы и где мы честно поработали, отличены в приказе Верховного Главнокомандующего. Очень удивлены, почему не слышно Вашего голоса? Кто тебя обидел? Мы летчики соединения генерал-майора Слюсарева читая Ваши призывы с первого дня войны мобилизовали нас работать с полной отдачей любимой Родине, ненавидим врага. Не унывай, дорогой друг, шуруй так, как ты начал.= Слюсарев, Назаров». Еще 18 февр. 1943 г. боец М. Иловиц написал с фронта письмо в «Кр. зв.», восхищаясь работой И. Э., но были там такие слова: «Но я боюсь, чтобы этот же Илья Эренбург не изменил тона, когда мы дойдем до немецких границ, и не начал проповедовать, что все немцы — братья и виноват за все злодеяния и муки наших людей Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс и др.». И. Э. не изменил тона.

охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли... Бонапарту...— В 1966 г. И. Э. обратился к министру иностр. дел Громыко с письмом: «В течение 20 лет у меня находится подаренное мне в 1945 г. нашими фронтовиками охотничье ружье Бонапарта... Теперь, когда наши отношения с Францией улучшились, предо мной встал вопрос о возвращении этой, ценной для французов, реликвии. Будучи в Париже, я говорил с Андре Мальро о передаче мною этого ружья парижскому музею «Эн Энвалид». Обращаюсь к Вам с просьбой оформить разрешение на передачу мною ружья...» (ФЭ) В янв. 1967 г. в Париже И. Э. вручил ружье Бонапарта министру культуры Франции Андре Мальро.

«...Узнаю почерк...» — эти слова Я. З. Сурица убедили И. Э. не отправлять Сталину уже написанное письмо, в котором говорилось: «Прочитав статью Г. Ф. Александрова, я подумал о своей работе в годы войны и не вижу своей вины... В течение четырех лет ежедневно я писал статьи, хотел выполнить работу до конца, до победы, когда смог бы вернуться к труду романиста. Я выражал не какую-то свою линию, а чувства нашего народа... Ни редакторы, ни Отдел печати мне не говорили, что я пишу неправильно, и накануне появления статьи, осуждающей меня, мне сообщили из издательства «Правда», что они переиздают массовым тиражом статью «Хватит!». Статья в «Правде» говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к поголовному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, когда захватчики топтали нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупантов. Но и тогда я подчеркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А вернувшись из Восточной Пруссии, в нескольких статьях («Рыцари справедливости» и др.) я подчеркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим

мерилом, нежели гитлеровцы. Совесть моя в этом чиста. Накануне победы я увидел в «Правде» оценку моей работы, которая меня глубоко огорчила... Я верю в Вашу справедливость и прошу Вас решить, заслужено ли это мной...» (АЭ).

Глава 26

Стр. 390 *Живу и гибну и горю — дотла* — из стих. Луизы Лабэ; перевод И. Э.

Глава 27

Стр. 390 *«В Германии некому капитулировать»* — из ст. «Хватит!».

Стр. 393 *Под гром пальбы прощались мы впервые* — из стих. А. Твардовского «В тот день, когда окончилась война».

Стр. 394 *Ну, а вас, разумных и ученых?* — из неопубл. стих.

Стр. 396 *О них когда-то горевал поэт* — 1-е стих. из цикла «9 мая 1945», см. Ст. С. 196.

Б. Фрезинский

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ 5
КНИГА ПЯТАЯ 231
Комментарий 398

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Том второй

Редакторы
Г. Э. Великовская, Г. Д. Корженкова

Художественный редактор
Ф. С. Меркуров

Технический редактор
Н. Н. Талько

Корректор
С. Б. Блауштейн

ИБ № 7008

Сдано в набор 13.01.89. Подписано к печати 21.11.89. А 04306. Формат 60 X 90[1]/16. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 28. Уч.-изд. л. 34,18. Тираж 100 000 экз. Цена 5 р.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Диапозитивы текста изготовлены ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградским производственно-техническим объединением «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, Чкаловский пр., 15.

Минская фабрика цветной печати, 220115. Минск, Корженевского, 20. Заказ 26.

Эренбург И. Г.
Э 76 Люди, годы, жизнь: том второй.— М.: Советский писатель, 1990.—448 с.
ISBN 5—265—00669—9

«Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом» — так определил И. Г. Эренбург (1891—1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Издание выходит в трех томах (7 книг). Во второй том вошли книги четвертая и пятая.

Настоящее издание дополнено материалами, ранее не печатавшимися. Книга богато иллюстрирована, многие фотографии и рисунки публикуются впервые. Издание снабжено комментарием.

Э $\frac{4702010201-499}{083(02)-90}$ 163—89 **ББК84 Р7**


Jurkino

